Г. Троепольский

## Содержание

В первый том Собрания сочинений лауреата Государственной премии СССР Г. Н. Троепольского вошли рассказы и сатирическая повесть «Кандидат наук».

Издание сопровождено предисловием и примечаниями И. Дедкова.

---


- Гавриил Троепольский
  - 
  - Юрий Дедков
  - ПРОХОР XVII И ДРУГИЕ
    - 
    - Никишка Болтушок
    - Гришка Хват
    - Игнат с балалайкой
    - Прохор семнадцатый, король жестянщиков
    - Прицепщик Терентий Петрович
    - Тугодум
    - Один день
  - У КРУТОГО ЯРА
    - 
    - У Крутого яра
    - Совесть хлебопашца
    - Агрономы
    - Соседи
  - КАНДИДАТ НАУК
    - 
    - Кандидат наук
      - 
      - Глава первая
      - Глава вторая
      - Глава третья
      - Глава четвертая
      - Глава пятая

- Глава шестая
- Глава седьмая
- Глава восьмая
- Глава девятая
- Глава десятая
- Глава одиннадцатая
- Глава двенадцатая
- Глава тринадцатая
- Глава четырнадцатая
- Глава пятнадцатая
- Глава шестнадцатая
- Глава семнадцатая
- Глава восемнадцатая
- Эпилог

- Экзамен на здравый смысл
- Паршивая фамилия
- Интервью сатирика
- Примечания


---

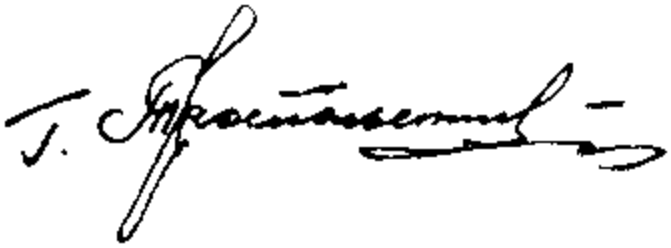

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55

- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79

# Гавриил Троепольский
# Собрание сочинений в трех томах.
# Том 1

***ПОВЕСТЬ, РАССКАЗЫ***



# Юрий Дедков
# Во имя жизни

***Творческий путь Г. Н. Троепольского***

Первые рассказы Г. Троепольского из цикла «Записки агронома» увидели свет в мартовской книжке «Нового мира» за 1953 год, в августе публикация была продолжена. Читающая страна открыла для себя нового писателя, которому суждено было стать одной из наиболее характерных фигур литературного движения последующих лет.

Вслед за очерками В. Овечкина о районных буднях (1952) сатирические рассказы Г. Троепольского подоспели ко времени. А точнее сказать — в них самих уже предчувствовалось новое время, оно уже говорило в них. Тут не хитроумный литераторский расчет оправдался, не счастливое совпадение случилось, тут брала слово, заявляла о своих правах и надобностях действительная жизнь. Г. Троепольский был среди тех, через кого она пожелала и смогла это сделать.

«Удивительно мощное эхо! — писал в ту пору Леонид Мартынов. — Очевидно, такая эпоха»[1].

Поразительно широка география откликов на первую книгу Г. Троепольского (в 1954–1955 годах «Записки агронома» вышли тремя изданиями): о ней благодарно писали центральные, областные и районные газеты — от Карпат до Камчатки.

У книг, рожденных жизнью, народными интересами, действительно мощный отзвук.

Много лет спустя, когда не стало В. Овечкина, «первого вожака на новом пути»[2], Троепольский вспоминал: «Он (Овечкин. — И. Д.) будто распахнул огромным усилием воли дотоле закрытые ворота, куда ринулась за ним целая плеяда новых писателей, каждый со своим голосом, со своим стилем, плеяда не похожих друг на друга талантов…»[3]

В той плеяде наряду с Г. Троепольским были В. Тендряков, Е. Дорош, С. Залыгин, М. Жестев, А. Калинин, Л. Обухова и др.

По-разному сложились их литературные судьбы и взгляды, но тогда они хорошо взаимодействовали и воодушевляли друг друга.

Но более всего воодушевлял их пример Валентина Овечкина: «Читали — пили живую воду. И была внутренняя дрожь… Знаю, какое сердце, волю, убежденность в правоте надо было иметь, чтобы сделать то, что сделал он…»[4] (Г. Троепольский).

В этих словах многое вместилось. Забыть то ощущение живой воды, забыть то начало, сам воздух времени, тот могучий подпор реальной жизни, ее потребностей — значит, не оценить сильнейшего нравственного и социального импульса, вызвавшего к бытию *писателя* Троепольского.

Но формула критика: «Не писатель сделал его (Троепольского. — И. Д.) гражданином, а гражданин сделал его писателем»[5] — чрезмерно упрощает дело.

Писатель вызревал в Троепольском медленно: такова была природа таланта, таковы, должно быть, были обстоятельства. Но талант, питаемый всеми радостями и болями жизни, брал свое, искал выхода, одновременно укреплял дух гражданства. Что тут верховодит — кто знает? Неповторима судьба человеческая, судьба писательская, неповторимо рождаются хорошие книги, и в этой неповторимости — своя драматическая логика, свои уроки, своя правота и правда. В счастливых случаях — существенная часть народной правды.

Родился Гавриил Николаевич Троепольский 16 (29) ноября 1905 года в селе Ново-Спасское на Елани Козловской волости Борисоглебского уезда Тамбовской губернии (ныне — село Новоспасовка Грибановского района Воронежской области). У сельского священника Николая Семеновича Троепольского и его жены Елены Гавриловны было шестеро детей. В доме Троепольских любили сельский труд — работали с малых лет, высоко ценили знания, книгу.

По обстоятельствам времени Г. Троепольскому пришлось учиться… в четырех средних учебных заведениях: начинал в Новохоперской гимназии (3 класса), продолжал в Новогольской школе 2-й ступени, а после закрытия ее окончил в Новохоперске же последний класс. Уже со средним образованием он поступает в

среднее сельскохозяйственное училище (с. Алешки Борисоглебского уезда).

По окончании училища (1924) Г. Троепольский учительствовал недалеко от родных мест — в селах Питим и Махровка. Весной 1931 года он получил возможность работать по агрономии, сначала младшим научным сотрудником, а затем — заведующим Алешковским опорным пунктом Воронежской областной опытной станции.

С 1936 года Г. Троепольский в г. Острогожске заведует опорным пунктом той же станции, а с 1937 до января 1954 года он — заведующий Острогожским государственным сортоиспытательным участком по зерновым культурам; здесь же вел и селекцию проса, один из выведенных им сортов был районирован в центрально-черноземной зоне («Острогожское-9»). Материалы наблюдений и селекции на Острогожском сортоучастке Г. Троепольский обобщил в нескольких научных работах.

Почти четверть века было отдано агрономии, четверть века прожито в небольшом городе Острогожске. Лишь в 1959 году, уже будучи профессиональным писателем, Г. Троепольский переехал в Воронеж.

Подспудно литература влекла Г. Троепольского с юношества. Еще в школе он пытался вместить в слова открывшуюся ему красоту родной земли, картины деревенского быта, и десятилетия спустя в роман «Чернозем» вошли и строки шестнадцатилетнего юноши, написанные в 1921 году.

На всю жизнь осталась в Троепольском добрая память о молодом учителе Новогольской школы Григории Романовиче Ширме. Он увлекал учеников своей любовью к великой русской литературе, преданностью ее заветам.

Учителю и ученику, народному артисту СССР, художественному руководителю Государственной академической капеллы Белорусской ССР Г. Р. Ширме и писателю Троепольскому, суждена была через много лет счастливая встреча.

В пору учительства Троепольский продолжал писать. Однажды он показал свои опыты случившемуся в Махровке писателю Н. Никандрову.

Известный по тем временам писатель посоветовал не спешить, не посылать рукопись, «а писать вам надо обязательно». Видимо,

разглядел Никандров в молодом Троепольском человека, способного к серьезной взыскательной самооценке, к честному обращению со словом. И не ошибся.

В 1938 году в альманахе «Литературный Воронеж» появился рассказ «Дедушка» за подписью Т. Лирваг (читай наоборот: Гаврил Т. — И. Д.). Это была первая публикация Троепольского-писателя, но переиздавать этот рассказ Троепольский никогда не станет. У этого начала, исполненного в духе популярных представлений о жизни и литературе, продолжения не будет.

Истинное начало произойдет много позднее. Осенью пятьдесят второго года в журнале «Новый мир» из редакционной почты извлекут рассказ про Никишку Болтушка и запросят у автора продолжение. И в Острогожск придет первое письмо Александра Твардовского. Оно подтвердит: это написано хорошо.

Автор «Записок агронома» не походил на новичка в литературе. В поле российской словесности он вел себя основательно, осмотрительно и уверенно, словно на давно знакомом опытном участке.

Он вышел в это поле позже сверстников, но — *в свой срок*, со своим крепко обдуманным, *необходимым* словом, когда приспело время, и место его в литературе было свободно, ждало его.

Не потому ли «Записки агронома» вызвали такое мощное эхо, что они помимо прочего оказались веселыми записками?

В конце сороковых — начале пятидесятых годов *просто* сатира была не в чести. «Знатоки» вопроса считали, что отрицательные явления и типы перевелись и посему нужна сатира новаторская, *положительная*.

На наше счастье, агроном Гавриил Троепольский тем сладким, заоблачным голосам не внимал. Он жил, работал, растил детей в земном, суровом, наиконкретнейшем мире, где всегда доставало того, что человек издавна привык кратко называть добром и злом.

Голоса поля, реки, леса, сельского труда, голоса русской деревни, ее разговоры, молчание и смех не были безмятежно-праздничными, умиротворенно-довольными. Троепольский вслушивался в это живое многоголосие, в боль и радость человеческую. Он снова и снова всматривался в лица, которые «каждый день видят восход солнца»[6]. Он впитывал бесконечно поучительные, просветляющие уроки жизни,

ее многообразия и неостановимого движения, уроки народного оптимизма.

Он видел, что, как бы сложно и трудно ни складывалась жизнь, в ней таился, блуждал по губам, взрывался смех. Не этот ли смех народа, который всегда *смеется последним*, укреплял веру агронома и писателя Троепольского в здоровое развитие жизни, в разум и правду?

Троепольский мог бы начать с обличения той же борзовщины, вслед за Овечкиным тщательно исследуя ее природу, утверждая методы и принципы Мартыновых, Уж он-то, острогожский старожил, знал районное звено, имел с ним дело. Начал же Троепольский с насмешки над большим любителем «дебатировать» вопросы, мнимым колхозным активистом Никишкой Болтушком, над «лавирующим» и повсюду урывающим Гришкой Хватом, над мелким, но ретивым, прямо-таки бесстрашным руководителем-универсалом Прохором Самоваровым.

Насмешка могла быть злой, разящей или мягкой, даже сочувственной, но примирения не допускала. Писатель представил нам колхозные будни, а в них — человеческие типы, которых по теории и быть-то не должно, но они здравствовали и даже процветали, и пора было всех и все поставить на место, а лучше смеха это никто не сделает.

«Записки агронома», а затем повесть «Кандидат наук» (1958), да и весь ход жизни, несколько образумили энтузиастов положительной сатиры, дав им материал и повод для полезных размышлений о традициях Гоголя и Щедрина в советской сатирической прозе.

Читая Троепольского, смеясь и негодуя вместе с ним, с горечью думая о масштабах вреда, причиненного прохорами семнадцатыми, их покровителями — недошлепкиными, околонаучными дельцами и приобретателями типа Карлюка или Чернохарова и прочими временщиками, всегда ясно чувствуешь, во имя каких интересов, каких идеалов, какого будущего все это вышло, вырвалось из-под пера писателя.

В очерке «Дорога идет в гору» (1961), рассказывая о сегодняшнем, обнадеживающем дне острогожской земли, Троепольский вспоминал своих друзей — колхозников, трактористов, комбайнеров, председателей, всех тех, что «отдали лучшие годы жизни колхозу с первого дня его основания: получали они два килограмма

зерна на трудодень — работали, получали двести граммов — работали, ничего не получали — все равно работали. Это были люди с огромной верой в будущее коллективного хозяйства: трудности государственные они принимали за личные. Они искали ошибки и недостатки только в собственных делах…»[7].

Интересы именно этих людей, их самоотверженный труд в колхозах, их «огромная вера», их уклад жизни и образ мысли стали для писателя как бы этической нормой, из нее он исходил, ее защищал, с нею сравнивал другие варианты житейской философии, другие способы устраивать свои земные дела. Эти дорогие писателю люди были неправы, виня лишь себя и себе подобных в различных деревенских бедах и несообразностях.

Писатель вместе с ними избавлялся от этого заблуждения. Заслуженно счастливой, по-хозяйски отлаженной, полнокровной жизни своих дорогих друзей-колхозников он и расчищал по мере своих сил дорогу.

В. Овечкину казалось, что Троепольский иногда бьет «не по очень крупным мишеням»[8], обрушиваясь «всей силой своей сатирической издевки» на «рядового колхозника, как будто он-то и есть главный виновник всех наших неполадок». Но рассказы Троепольского вели читателя к иному выводу, и сам же Овечкин писал об этом: «Гришки Хваты и Никишки Болтушки водятся в изобилии там, где в колхозах заправляют делами прохоры семнадцатые. А прохоры семнадцатые, в свою очередь, процветают там, где районами руководят… и т. д.»[9].

Впрочем, в такую социологическую схему сатира Троепольского вмещается плохо. Судя по всему, писатель и не стремился к «стрельбе» по возрастающе «крупным мишеням». Величина, важность «мишени» не определялись для него чином отрицательного персонажа.

Троепольский представил читателю реальных людей деревни в живой пестроте характеров, нравов, причуд, выставив наперед тех, кто мешал общему, народному делу, искажал его или вовсе от него отбился и потерял себя. Иные из этих *типов* несли в себе существенные приметы сформировавшего их времени; этим-то они и были крупны.

Прошло много лет. Достоинства и слабости сатирических книг Троепольского теперь виднее. Никишка Болтушок как объект критики, конечно, не посолиднел, да и Прохор семнадцатый — не велик монарх, подумаешь, — «король жестянщиков, принц телячий». Но тогда

почему и сегодня вслушиваешься в их бойкие, складные речи, следишь за самоваровской карьерой, за сокровенными тайнами его руководящей души с веселым чувством узнавания и освобождения?

Почему угрюмые деятели из несуразного «Межоблкормлошбюро» Карлюк и Подсушка вкупе с твердокаменным столпом науки Чернохаровым, не вызывая никаких особенных современных аналогий, дают выход нашему сарказму и удовлетворенному «поделом вам!»?

Да и некий Переметов, начальник на все времена, из повести «В камышах» вдруг насмешит нас своей профессиональной утомленной значительностью.

Казалось бы, сколько всего дурного миновало и доброго произошло. И «сатирическая издевка» вроде бы уже не к месту, устарела, раз былое изжито и оставлено позади. Но, может быть, именно теперь в этих книгах заметнее, кроме их очевидной, неоспоримой исторической достоверности, какая-то по-новому привлекательная, заразительная нравственная сила?

Это сила торжествующего здравого смысла, открытого и ясного взгляда на мир, сила празднично-насмешливого отношения ко всему показному, формальному, чиновному в жизни, — к этим небескорыстным играм взрослых людей, к их словесному треску.

Не грешно обмануть Самоварова, одурачить его, строить ему козни, подсунуть на подпись «манифест» к верноподданным колхозникам, не грешно, а воистину справедливо смеяться над ним и *так* устранять от власти.

Не грешно бывалому колхознику, прицепщику Терентию Петровичу бродить пьяненьким по деревне и обличать едким словечком односельчан, живущих не по правде, не грешно ему ломать комедию на важном районном совещании, чтоб показать глупость написанной для него шпаргалки и тем самым опровергнуть такое понимание демократии.

Не грешно писателю так изобразить всезнающего, всеведающего Переметова в камышах, на охоте, в лодочке с надписью «Только вперед», чтоб ясно вдруг стало, как пошл, мал и нелеп этот человек посреди приволья и красоты природы, под прекрасным, редчайшим «перламутровым облаком», которого ему уже не дано заметить.

«Ученый человек не должен смеяться, — изрек однажды Болтушок. — За что мы вам и деньги платим»[10]. И был по-своему прав, потому что самоваровы, недошлепкины, переметовы — люди большой серьезности.

Неизменно мрачны карлюки я чернохаровы и прочие их единоверцы. Своей *пугающей* серьезностью они укрепляют свое положение и престиж.

Сатира Троепольского — это всегдашняя, прямая или скрытая, насмешка над такой кромешной серьезностью, над мнимыми величинами, над агрессивным невежеством, над бездельем, над казуистикой бюрократического словаря.

Это смех побеждающий или уже победивший, закрепляющий и подтверждающий наше расставание с иными явлениями и фигурами прошлого.

Следуя традициям народной смеховой культуры, писатель чутко уловил несбыточность, абсурдность всех претензий комедиантов серьезности на «незыблемость и вечность» «в перспективе все сменяющего и обновляющегося времени»[11] (М. Бахтин). Раз за разом эти особы попадают у Троепольского впросак, упоенно занимаются ерундой, говорят пустое, тащат и подличают, — внутренняя их несущественность обнажена. У них даже лица — при важной *мине* — бесформенны иль безобразны. По народному обычаю писатель наградил своих противников *занятной* внешностью. Галерея заседающих могучих затылков в «Кандидате наук» поражает нас прямо-таки физически запечатленной корыстью, бездарностью, злобой.

Но на наших глазах — по мере движения жизни — все эти фигуры мало-помалу опадают в размерах, теряют форму, как надувные игрушки. Воздух их оставляет с веселым свистом. На мгновение в нас пробуждается жалость, но трагедии никакой нет: пора освобождать чужие места, постояльцам время съезжать.

Известно, у страха глаза велики, но их неплохо сужает смех. В «Кандидате наук» Троепольский вскрыл механизм, потайные ящики доносительства, политических спекуляций вокруг науки, выявив абсурдную, анекдотическую сторону страшного и тем развеивая страх.

Сходным образом поступил писатель в единственной своей пьесе «Постояльцы» (1971), приоткрыв завесу над таинственной

деятельностью грозной комиссии, нагрянувшей в колхоз для изучения вопроса и принятия мер. По идейно-тематическому содержанию пьеса эта находится как бы между «Кандидатом наук» и статьей «О реках, почвах и прочем». В ней испытывают хитрый аппарат по засасыванию мелких грызунов, измышленный еще Ираклием Подсушкой, а председателю колхоза вменяют в вину, что он слишком медленно губит свои малые реки. Комиссия, за исключением одного наивного, слабо воспитанного отщепенца, превосходна. Она источает змеиную мудрость и профессионально плетет интригу против председателя. Постояльцы дома приезжих, члены комиссии — «специалист по осушению»[12] Чекмарь, «специалист-кормовик»[13] Бояров и его секретарь-сподвижник Лапкин, — люди родственного, как бы воспаряющего над землей духа и того же направления ума.

Факты — подождут, «как поставить вопрос»[14] — вот что важно для такого направления.

Как повсюду у Троепольского, знание людей этого рода, их устройства — поразительное. Схвачено типовое: повадки, язык, способы рассуждения, правила морали. Снова вскрыта механика неправедного, постыдного дела, но разрушена она иным, чем в «Кандидате наук», путем. Колхозники не ждут помощи со стороны, не пишут жалоб и заявлений, а сами, ввергнув постояльцев в поистине смешное, дурацкое положение, заставляют их удалиться несолоно хлебавши. Писателю удалось выявить всю вредность постояльческого занятия, его трусливую подоплеку, его неспособность пересилить веселое здравомыслие народа.

Быстро получив признание как писатель сатирический, Троепольский не мог не задуматься над положением и перспективами жанра сатиры, над своим к нему отношением, над природой собственного таланта.

Отстаивая правомочность жанра, его пользу, как бы даже обороняя его, Троепольский объяснял: «Советская сатира не есть обличение нашего общества вообще; советская сатира есть обличение сил, мешающих движению общества вперед», «сама борьба со старым есть главная суть положительного элемента в обществе, в человеке»[15].

Очищающая, оздоровительная работа сатиры для Троепольского очевидна. Сатирическое отрицание представало необходимой частью

созидательного процесса, нормального развития общества и человека.

Замечая, что его собственный сатирический дар редко пробивается беспримесно, в «чистом» виде, как бы не желает безраздельно владеть миром повести или рассказа, Троепольский пытался это как-то понять и обосновать. В статье «Точная цель, ясные перспективы» (1961) он писал: «Мне кажется, что в наше время и лирика, и легкая улыбка, и юмор, и злой смех, и негодование должны объединяться в сатирическом произведении, чередоваться в зависимости от того, ***о ком*** (разрядка автора. — И. Д.) пишет художник». И продолжал: «И в сатирической вещи можно одним куском неба, родного и любимого, или прелестным тихим ясным утром, или могучим простором поля „придавить“ любого подлеца, прилепившегося в нашей жизни, как бы он ни был умен „применительно к подлости“»[16].

«Записки агронома», «Кандидат наук», «Постояльцы» действительно вобрали и злой негодующий смех, и добрую улыбку, и лирические признания, и высокую патетику, и деловую речь о насущном. Троепольскому казалось, что «смешение», «объединение» жанров — возможный дальнейший путь советской сатиры, но это был именно его путь.

А. Твардовский находил в «Кандидате наук» «стилевой разнобой»: «реалистическое письмо (с публицистическими заострениями) в отношении положительных героев и крайняя условность сатирического гротеска в отношении „кандидатов“ и „докторов“»[17]. И сам же признавал: «Это исправить невозможно»[18] и печатал повесть в «Новом мире» — во имя ее «сильных сторон»[19], понимая, что у каждого писателя свои «законы».

Закон «смешения» — не бесспорный закон. Соединить под одним небом полубезумный конторский мир Карлюка и реальный, здравый мир «человека в кирзовых сапогах»[20], агронома Егорова, с художественной убедительностью действительно трудно. Их одновременное присутствие в жизни странно, переходы от сатирически освещенных лиц и событий к лицам и событиям, словно вышедшим из очерковой литературы тех лет, поначалу слишком заметны.

Но вот в какой-то момент понимаешь: такое «двоемирие» возможно, фантасмагорические силы и фигуры типа Карлюка —

Чернохарова входят в состав реальной жизни, и велика заслуга писателя, разглядевшего их под покровом деловитости, серьезности, непогрешимости и постигшей их бесчеловечности.

В «Постояльцах» реалистический материал также обширен, а драматический любовный треугольник то и дело вклинивается в сатирический сюжет.

«Разнобой» налицо, но сатира здесь сильнее, полнокровнее прочего, да и конфликт разрешается по законам веселого жанра. И потому не «смешением» стилей хороша пьеса, а победительным смехом, метким народным словом, изгоняющим постояльцев — странных, будто иноязычных существ какого-то далекого, не очень понятного мира.

Мысль Троепольского о сатире, как «смешении» жанров, отражает и отношения художника с действительностью, с обществом, и своеобразие его таланта, его жизненного опыта, и особенности его мироощущения, личной философии.

Не считаясь ни с какими правилами, в книгах Троепольского ищут выхода его публицистический темперамент, искренность, лирика, поэтическое чувство красоты, здравый ум земледельца, неуклонное стремление к правде, давнее и органическое знание деревенского труда и быта.

За «смешением» жанров открывается и присущее писателю понимание человеческого мира: «Сама жизнь — смешение: добро и зло, счастье и несчастье, смех и горе, правда и ложь живут рядом, и так близко друг к другу, что иногда трудно отличить одно от другого»[21].

Потому-то и надо «писать обо всем»: «Если писать только о добре, то для зла — это находка, блеск; если писать только о счастье, то люди перестанут видеть несчастных и в конце концов не будут их замечать; если писать только о серьезно-прекрасном, то люди перестанут смеяться над безобразным»[22].

Такое широкое понимание жизни сатирический взгляд не вмещал; необходимо было эпическое повествование (роман «Чернозем», 1961), да и жанр «записок» таил в себе еще много неиспользованных возможностей.

Рассказом «Экзамен на здравый смысл» (1961) Троепольский завершил — в главном — мучившую его тему псевдонауки и псевдоученых. Беспощаднее сатира его, кажется, уже не будет —

чувство справедливости утолено. В голосе рассказчика можно расслышать новые интонации, в них больше мягкой доброжелательности, доверительности, мудрого всеразумения. Позднее, в повести «Белый Бим Черное ухо», они зазвучат с поразительной силой, трогая наши сердца, укрепляя в них доброту и милосердие.

В «Экзамене на здравый смысл» бывалый человек, ученый-агроном, пересказывает свой «сатирический сон». Там, во сне, великий экзаменатор — Здравый смысл — развенчивает мнимых мужей науки, уличая их в невежестве и схоластике. Есть что-то трогательное в таком сюжетном повороте: не так ли в детских снах и грезах карают сильного обидчика?

Троепольский никогда не путал здравого смысла с умеренностью и аккуратностью, с послушанием и корыстным расчетом. Не случайно экзамен на здравый смысл выдерживает Мария Петровна Сарова, женщина «честнейшей души»[23], гонимая при жизни за несоответствие своих научных поисков требованиям начальства. «Это была женщина-герой!»[24] — восклицает рассказчик. Героизм выстаивающего здравого смысла — вовсе не парадокс. Здравый смысл исходит из народного опыта и пользы, из осмысленного, последовательно-нравственного отношения ко всему на свете. Иногда голос здравого смысла не слышен, но рано или поздно он пробивается, иногда, как у Троепольского, метким народным словом, иронической усмешкой, побеждающим праздничным смехом.

«Жизнь идет, — любит повторять писатель, то с радостью и надеждой, то с печалью и болью. — Жизнь идет. Она стучится в сердце каждого. Иное сердце отзовется, а иное останется глухим. Но все равно жизнь идет»[25].

Идет — и ничего тут не поделаешь, не остановишь, не иссушишь, не повернешь вспять. И, кажется, все дороже, ближе и понятнее писателю неудержимое движение жизни, ее правда и красота, ее врачующая сила, отторгающая все искусственное и чужеродное.

Идет жизнь — значит, шумят благодатные дожди, дышит чернозем, торжествует здравый смысл природы и человека.

Однажды Троепольский сказал, что хороший прозаик должен быть поэтом. Вероятно, он имел в виду, что писатель должен видеть и понимать красоту живого мира. Сам Троепольский никогда не

коллекционировал с профессиональным тщанием поэтические наблюдения. Он смотрел на мир глазами агронома, охотника, сельского жителя, глазами «человека жизненной практики», без предвзятости и умысла. Словно от далеких предшественников, русских писателей прошлого века, ему передалось драгоценное качество — отсутствие профессионализма. Именно оно восхищало западных читателей и знатоков[26]. Известны слова Мериме, обращенные к Тургеневу: «Ваша поэзия ищет прежде всего правду, а красота потом является сама собой»[27]. «Правдой надо жить, как растение живет солнцем»[28], — писал Троепольский, и это было главным, остальное возникло как продолжение.

Были «Записки агронома», придет черед «запискам» хозяина Бима, а «тетради охотника» образовали повесть «В камышах» (1963). Тут не однообразие формы, тут стремление к достоверности, к естественности, тут нежелание или даже невозможность отделить повествователя от материала, превратить его в стороннего наблюдателя. У авторов «записок» и «тетрадей» разные имена, но по сути это все один и тот же наш собеседник, поживший, повидавший виды, внимательный и добрый человек. Годы не проходят даром, этот голос станет мягче, печальнее, тревожнее, но пока Тихон Иванович Перегудов ведет свою лодочку сквозь камыши, и душа его покойна и счастлива, и радостен его рассказ о красоте Тихой Ольхи, о друзьях-охотниках, людях такой близкой и понятной крестьянской судьбы.

Речка Тихая Ольха, озера, протоки, «необозримые пространства камышей»[29] для Перегудова не просто место очередной охоты; здесь бороздили воду долбленки отца, дедов и прадедов, здесь заветная часть родины, всей жизни, запасник красоты и воли, край нетронутой, не испорченной человеком природы.

Волноваться перед дорогой, добираться до места, плыть в камышах весной, летом, поздней осенью, ждать, таиться, жадно смотреть, стрелять, встречать старых приятелей, разговаривать, вспоминать, помогать друг другу — вот перегудовские сюжеты. Сама жизнь начинает их и ведет, сводит и разводит людей, и ничего не приводит к концу, и лишь продолжается, продолжается, обещая новые весны и новые встречи. Троепольский тут искуснее, чем и «Записках агронома», а может быть, спокойнее, непринужденнее, свободнее, наконец. Предмет его размышлений стал шире, и хотя друзьям-

охотникам не избыть, не переобговорить колхозных проблем, эти текущие проблемы не подчиняют себе всей мысли писателя о трудах и днях современного человека. Происходит обдумывание общего обнадеживающего движения жизни, роли в нем человека и его нравственных принципов, отношений природы и человека.

У Троепольского мир природы учит и лечит человека, помогает ему жить.

Человек старается отвечать тем же. Любимые герои писателя счастливы, когда заново открывают для себя красоту, обдуманность, целесообразность обступающего их живого мира.

Сорок лет охоты за плечами Перегудова, а он по-прежнему чувствует себя на Тихой Ольхе учеником. Его потрясает нежная свадьба серых цапель, ему бесконечно интересны и жучки-вертячки с их поразительными глазами, и на редкость самостоятельные цыплята болотной курочки… «Здесь ничего не стараешься запомнить, но ничего и никогда не забываешь»[30].

Но может ли человек не думать о судьбе человеческой, есть ли дума неотвязнее? Удивительно ли, что откликается Тихая Ольха и рассказывает «человеческие истории».

И «ворона ищет счастья»[31], — сочувственно усмехнется Перегудов, посматривая на воронье житье. «Даже мертвый стебель не сдается!»[32] — поразится он стойкости старого стебля камыша, ждущего, когда окрепнет молодой отросточек от его корня. И порадуется он трогательной взаимопомощи птиц, предупреждающих друг друга о приближении коршуна. И навсегда запомнит величественные «в своем неповиновении» «любому бурану» камыши: «Их можно только согнуть, но сломать — никогда»[33].

Очеловеченная природа — обычное дело, но эта вечная живая новизна мира неисчерпаема, лишь бы глаза видели, лишь бы душа в ответ не смолчала.

Знания, опыт, весь уклад жизни агронома, усвоенное миропонимание естественника многое предопределили во взглядах писателя, обострив чуткость к судьбам всего *живого*. Троепольский не устает напоминать о бесконечном разумнейшем многообразии жизни, о ее внутренней организованности и саморегуляции. Его страшит, когда человек встревает в дела природы своими скороспелыми проектами.

Его беспокоит всякое самоуверенное вмешательство в ход живой жизни, страсть к единообразию, упрощению, выравниванию. Настроения этого рода выразились в повестях «В камышах» и «Белый Бим Черное ухо», в пьесе «Постояльцы», в публицистике разных лет.

Статья Троепольского «О реках, почвах и прочем» (1965), увидевшая свет на страницах «Нового мира», и поныне сохраняет свою актуальность. Это один из лучших образцов публицистической литературы шестидесятых годов. Статья покоряет полным знанием предмета, последовательным отношением к народу как к хозяину земли, рек и лесов, страстным утверждением «закона многообразия»[34] в сельском хозяйстве, во всех делах человеческих. «Всякое приведение к рецептам и однообразию методов и приемов, — писал Троепольский, — подавляет инициативу умных и иногда выдвигает на первый план сильно неумных»[35]. Всякий шаблон вызывает «эрозию мышления»[36], болезнь застоя. Излечивать ее, по Троепольскому, — значит слышать народное мнение, слышать истинные потребности жизни.

В очерках, статьях, фельетонах Троепольский неизменно выступал против огульного, невежественного подхода к делу природоустройства, к ведению сельского хозяйства. «Всеобщность приемов при обработке может проповедовать только рутина…»[37] — вспоминал он слова А. В. Советова, слывшего в свое время «совестью русской агрономии»[38]. «Всеобщность приемов», высокомерно сбрасывающая со счетов живое и, к счастью, неустранимое многообразие жизни, всегда находила в Троепольском яростного противника.

Троепольский и в публицистике оставался самим собой. Все им написанное, высказанное, сделанное объединяет, сращивает ясная программа: учет всего бесконечного разнообразия и целесообразности живой жизни, уважение и любовь к ней, уроки у нее, отпор любому шаблону, стискивающему живое вещество, отказ от одностороннего подхода к человеку и его делу.

«Жить жизнью народа — его горестями и радостями — это самая большая правда для литератора»[39], — сказал как-то Троепольский.

У этих слов надежное обеспечение. Писателю Троепольскому не приходилось заниматься «изучением жизни». Он имел право и пошутить над коллегами: «Не представляю, как изучать восход солнца,

если десять лет подряд писатель вставал позже восхода?»[40] «Горести и радости народа» не были фразой; это были и его, Троепольского, горести и радости, изведанные в тех же полях и тех же хатах, где работали и жили его друзья и будущие герои — колхозники, трактористы, председатели. За долгие годы общего труда, общей судьбы образовался у писателя немалый «запас добрых и честных людей»[41], да и позже он не уставал пополнять его.

Пока вхолостую кипели самоваровы и болтали болтушки, кто-то должен был и работать, даже за так, чтобы жизнь продолжалась. Троепольский не забыл этих людей, и мы узнали честнейшего Терентия Петровича, и конюха Макара Лучкова, уставшего от бесхозяйственности («конопли на путы не могут приобресть — из осоки вью путы… Свил нынче, а через три дня оно порвалось…»)[42], и безотказного бригадира Митрофана Каткова. Давние и верные друзья-охотники под шелест камышей на вольной воле вели свои беседы, и приоткрывались нам судьбы тракториста Алеши Русого, агронома и колхозного председателя Петра Михайловича Чумака, комбайнера Захара Макарыча Пушкаря, заведующего птицефермой Василия Кузьмича Крутикова, людей достойных, самостоятельных.

Даже в пору наибольшего увлечения сатирой Троепольский щедро населял свои книги именно такими людьми — трудовыми, честными, естественными. Он верил, что они, а не фальшивые и крикливые приживальщики из его галереи сатирических типов, составляют большинство. Но избранный жанр записок нередко приводил к эскизности, к очерковой беглости, основная сила художественной изобразительности тратилась на «антигероев». Даже перегудовские охотничьи тетради, сосредоточенные на людях из «запаса добрых и честных», схватив многие живые черты характеров, судеб, строя мыслей, не всегда представляли их с художественной завершенностью.

Но в целом писатель уверенно и убедительно восполнял правду о времени и жизни русского крестьянина в послевоенные годы. Он не обошел трудной судьбы Митьки Шмеля, поверив в нравственное возрождение этого деревенского парня. Не упустил он из виду и судьбу противоположную, благополучную, рассказав о чистой, нежной и смелой душе Сени Трошина, не подвластной никакой порче («У Крутого Яра»). Главная же мысль Троепольского о русском

крестьянском характере воплотилась в «Митриче» (1955), одном из лучших рассказов писателя.

Митрич — фигура типическая, вобравшая главные тревоги и сомнения крестьянина-колхозника, их, можно сказать, историческое развитие. Человек он в общем-то обыкновенный, и если чем наделен более других, то — мужеством, самым нелегким, самым невидным, мужеством изо дня в день. «Не постой за кроху — и всего ломтя не станет»[43], — вот его мудрость, его упор. Он и будет стоять — за каждую кроху хлеба, правды, справедливости, здравого смысла.

Этот хмурый «беспощадный старик» не отведет плеча из-под самой тяжелой народной ноши, отдаст все, что имеет, родной земле, отечеству, но сохранит за собой право на сомнение. Его «сумлеваюсь»[44] звучит всякий раз, когда пути села, колхоза утрачивают ясность и здравость, когда верх берут недалекие, беззаботные люди.

Митрич не устрашится ни оскорблений, ни угроз, ни мрачных перспектив. И не потому он упорствует, что страдает его личный интерес, а из-за того, что ущемляют народный опыт, народное знание, не ценят ум народный. Лишь на время войны замирится Митрич с разными не очень-то располагающими к себе людьми и скажет: «Будет хлеб!.. Не сумлевайся!»[45]

Троепольский опустит быт Митрича и его семьи, обыденную жизнь, конкретную почву такого характера, но через рассказчика-свидетеля удостоверит полную правдивость этой истории и судьбы. В пору «великого перелома» встретит рассказчик Митрича у ночного костра и много лет спустя проводит его в последний путь.

И потому Митрич возникает не итогом обобщающей умственной работы, но живым, незабываемым человеком.

Писатель вспоминал этого основного, как бы осевого труженика деревни с беспредельным уважением, признательностью и гордостью. Митрич не совершил «ни одного героического поступка», но он «сделал все, что мог сделать»[46], чтобы продолжалась и брала свое ясная, разумная, трудовая жизнь.

Среди написанного Троепольским есть непритязательный документальный очерк «Легендарная быль» (1957). Это рассказ со слов участника событий о том, как одиннадцать бойцов знаменитого богучарского полка захватили в плен пехотный полк белых. Дерзкий,

бесстрашный этот маневр, молодая доблесть революции, да и судьба Митрича, уходящая своими корнями в те же далекие дни, напоминали об *истории*. И писатель обратился к ней, свидетельствуя о сложном, драматическом десятилетии крестьянской жизни, что открывалось двадцать первым годом, когда бывший богучарец Андрей Вихров — так начинался роман «Чернозем» — возвращался в родное село.

Троепольский сознавал, что «в мастерах по присыпке сахарной пудрой истории колхозной жизни недостатка не было». Он же, подобно многоопытному Федору Ивановичу из рассказа «Агрономы», хорошо помнил «беспокойные ночи над первой картой первого колхоза», «первые борозды первых тракторов»[47], помнил горячность и наивность молодости, смятение мужицкого сердца, крутые повороты событий.

Советская проза не раз обращалась к той исторической поре, накоплен опыт, есть традиции. Расстановка социальных сил в «Черноземе» оказалась знакомой: красноармеец возвращается домой укреплять Советскую власть и бороться с бандитами; отпрыск богатого торговца люто ненавидит новые порядки и сопротивляется им; середняки колеблются меж двух берегов и пристают к разным.

Но в этих строгих рамках изображенная жизнь сохранила свою неповторимую конкретность, живую антисхематическую сущность.

Писатель опирался на памятные судьбы своих товарищей, друзей и врагов, всех, с кем сводила, сталкивала жизнь. Хотелось проследить едва ли не за каждой судьбой, свести их, понять, рассудить, не исказив давним или нынешним пристрастием.

Угловатые, непослушные судьбы людские с их живой неоднозначностью, своеволием, воспринятые правдивым сердцем художника, сделали роман богатым по историческому и психологическому содержанию. В судьбе, характере, круге мыслей Игната Дыбина, умного и жестокого врага, заметны новые, глубокие мотивы, пусть не исследованные до конца. В метаниях и превращениях Семена Сычева сквозит истинная драма, не сводимая к «кулацкой психологии».

В Федоре Землякове, яростном самозабвенном стороннике новизны и коллективизма, увидены и учтены сложнейшие психологические комплексы, а на прямых путях славного богучарца

Андрея Вихрова окажется столько завалов, что не перепрыгнуть их на лихом коне, сверкая отточенною саблей…

Этот роман об «огромной борьбе в маленькой Паховке»[48] содержит ряд картин, массовых сцен из эпохи коллективизации, в которых передала, кажется, сама «внутренняя дрожь» человеческая от важности происходящего, от неведомой дали, что простирается впереди.

Жизнь героев «Чернозема» порою мучительна, им все трудно дается — и любовь, и знания, и понимание людей, и победа над врагом, и над собою тоже, и отпор властным, но безрассудным приказам, — все тяжко, в муках, в поту, в крови. Но они располагают к себе — эти молодые устроители истории, не ангелы, не праведники, а живые, страдающие, действующие люди.

Мы оставляем братьев Земляковых, их товарищей-единомышленников, в ясном сознании того, что ничего еще в мире не завершено, не исчерпано, жизнь продолжается и продолжается борьба, суля новые крутые повороты, и та крестьянская здравость и зрелость, что помогла им в решающие минуты паховской судьбы, еще послужит нм надежной опорой.

Троепольский пока не вернулся к жанру, как не вернулся — будто отрезало — к людям с судьбой Федора Землякова, его жены Тоси, середняка Василия Кочетова. О продолжении жизни он рассказывал на других примерах и в иных жанрах. Но мысль художника о драматических испытаниях, через которые проходит человек в свой короткий земной срок, о его нравственных устоях, совершала свою невидимую работу. Она оглядывала прошлое и настоящее, прикидывала будущее и все неизбежнее устремлялась не только к спутнику и сотоварищу долгих лет — русскому крестьянину, но ко всякому сегодняшнему, не глухому к жизни человеку, другу и современнику.

Повесть «Белый Бим Черное ухо» (1971) раз и навсегда разрушила представление о Троепольском как писателе только крестьянской или сельской темы. Она открыла всем писателя глубоко и традиционно русского, не чуждого нравственной проповеди и главное — имеющего что сказать людям про то, *как жить*. Про то, как любить и беречь друзей, как отстаивать счастье и свободу, как не продавать свободу за

чечевичную похлебку, как открыто и прямо смотреть в глаза друг другу, как ощущать свое человеческое братство и родство.

Эта повесть о скитаниях «интеллигентной»[49], талантливой собаки, попавшей в беду, о ее короткой счастливой жизни с Другом, о горестной разлуке с ним и смерти буквально потрясла читателей.

Тут снова можно говорить, о «мощном эхе», только более сердечном и глубоком.

Эта очень трогательная история написана, конечно, не только во имя хорошего отношения к собакам, «братьям меньшим». Она написана во спасение человеческой души, во имя человечности. Но почему — спасения? Разве какие-нибудь счетчики уже показали падение уровня человечности? Наоборот, в «Белом Биме», как нигде у Троепольского, много отзывчивых, прекрасно изображенных, добрых людей, от которых светлее в мире. Но тревожное чувство живет в этой книге, и голос предостережения звучит в ней. Жестокое, холодное, бездуховное начало действует не только через Серого и Тетку, через очень серьезных и очень довольных родителей мальчика Толика, но прорывается дурным стечением обстоятельств, искушая, испытывая Бима, — его доброту, «всепрощающую дружбу»[50], преданность человеку, — сытым углом, обманом, предательством. Бим выдержит и до самых последних дверей своей судьбы — обитых жестью дверей страшного фургона — сохранит надежду на человека. Сострадая, невольно примериваясь к такой судьбе, как бы разделяя ее, мы тоже сохраняем надежду, но, получив возможность взглянуть на себя со стороны непривычной и сугубо неофициальной, мы оцениваем нашу человечность в ее как бы чистом виде и убеждаемся — со смущением или без, — как она непоследовательна, не всеобща, как она зыбка. И как необходима!

«Белый Бим» — книга благородной художественной и нравственной цельности, высокой этической активности. В ней свершилось безупречное «смешение жанров», позволившее писателю наиболее полно и нестесненно выразить свое понимание жизни и человека, его нынешнего нравственного состояния. Когда-то Троепольский, учась у классиков, перенимал приемы, внешнее, ныне, в «Белом Биме», как никогда, проступило духовное родство, обозначилась прочная связь.

Так перекликается во времени, соединяется все истинно талантливое, глубоко национальное и самостоятельное, рожденное подлинными интересами народной жизни, своей исторической поры.

В 1975 году Г. Н. Троепольский за повесть «Белый Бим Черное ухо» был удостоен Государственной премии СССР.

Творчество Г. Троепольского побуждает нас верить в торжество гуманистического принципа, в силу здравого смысла и бесстрашного смеха, в могущество живой, вечно обновляющейся, неостановимой жизни.

Вслушаемся еще раз в этот искренний немолодой голос бывалого человека, нашего давнего и доброго собеседника, хорошего русского писателя: «В эти торжественные минуты сновидений осени так хочется, чтобы не было неправды и зла на земле. И в тишине уходящей осени, овеянный ее нежной дремотой, в дни недолгого забвения предстоящей зимы, ты начинаешь понимать: только правда, только честь, только чистая совесть и обо всем этом — *слово*»[51].

*Игорь ДЕДКОВ.*

# ПРОХОР XVII И ДРУГИЕ

***Из записок агронома***

# Никишка Болтушок

Мне много приходится разъезжать по колхозам. Прежде, до того как подружились мы с Евсеичем, я ездил один. Теперь Евсеич нередко сопровождает меня.

А старик он такой: работает ночным сторожем, но успевает и выспаться и сбегать на охоту или на рыбалку. Иной раз он скажет:

— Давай с тобой, Владимир Акимыч, поеду. Посмотрю, что у людей добрых делается.

И тогда едем вдвоем, разговариваем в пути по душам…

Вот и сейчас мы возвращаемся домой — в колхоз «Новая жизнь». Линейка поскрипывает рессорами, рыжий меринок Ерш бежит рысцой, а Евсеич перекинул ноги на мою сторону, видимо намереваясь вступить в длительный разговор.

Евсеич всегда весел, а рассказчик такой, что поискать. Лет ему за шестьдесят, но здоровью можно позавидовать. Бородка у него седая, остренькая — клинышком; лицо подвижное: то оно шутливо-ехидное, то вдруг серьезное, и тогда голубые глаза — внимательные и умные — смотрят на собеседника открыто и прямо; брови, будто не желая мешать глазам, выросли маленькими, но четкими, резко очерченными. На голове у Евсеича кепочка из клинышков, с пуговкой наверху.

Он любит рассказывать сказки, сочиняет шутливые небылицы, не прочь поглумиться над лодырем, а уж если про охоту начнет, то с таким упоением плетет свою складную, забавную небывальщину, что без смеха слушать невозможно. Он, впрочем, и сам на это рассчитывает. Кепку на один глаз сдвинет и почешет пальцем у виска — вот, дескать, дела-то какие смехотворные!

— Многие думают, — говорю я Евсеичу, — что быть агрономом — простое дело: ходи себе по полю, загорай, дыши свежим воздухом да смотри на волны пшеничного моря. Слов нет, и загораем и на волны смотрим. Хорошо, конечно. Но мало кто знает, сколько сводок, сведений, планов, отчетов, ответов на запросы и просто ненужных бумажек приходится писать агроному. Иную неделю света белого не взвидишь, а не то чтобы — поле. Сводки, сводки, сводки!..

— Бумаги-то небось сколько, батюшки мои! — восклицает Евсеич.

— Иная сводка в двести вопросов, на двенадцати листах.

— Одни вопросы читать — два самовара выпить можно.

— Раз такую сводку сложили в длину, лист за листом, три метра с чем-то вышло!

— Три метра! — качает головой Евсеич. — Ай-яй-яй! Холсты, прямо холсты!

— А сочинители этих холстов, — продолжаю я свои жалобы, — ссылаются то на запросы Министерства сельского хозяйства, то института, то от себя еще добавляют. Иначе, откуда бы взяться такому вопросу: «Среднее число блох на десяти смежных растениях капусты, взятых подряд и без выбора?» Хорошо хоть, что в примечании говорится: «В целях упрощения на каждом отдельном растении блох считать не следует». Хоть за это спасибо!.. Только блохи-то — они прыгают: сосчитай-ка! Так графа и остается незаполненной.

— Ясно дело, блоха того не понимает. Прыг — и нет ее! Известно — тварь.

— Что тут поделать! Иной раз так в ответе и напишешь: «Прыгают интенсивно. Подсчет не проводился ввиду активности вредителя».

— Во! Так их! «Активность вредителя» — это правильно! — Помолчав, Евсеич сочувственно спрашивает: — А вам какую-нибудь добавку платят за эти вот самые… холсты бумажные? Или — за так?

Мой ответ, что это входит в обязанности агронома, его не удовлетворяет.

— Шутильником бы их! (Шутильником он называет свой кнут.)

— Кого?

— Да этих… как их… бюрократов… Ведь есть еще кое-где, а? Как ты думаешь?

— Наверно, есть, — подтверждаю я. — Но повыдергивают…

— Ясно дело, повыдергивают!

Ерш набирает рысь, помахивая головой и озираясь на «шутильник». Полевая сумка у меня на коленях — пухлая, толстая, как размокшая буханка, — полна сводок и сведений. Едем мы за последними данными: число скирд, сена, данные обмера каждой скирды, качество сена в каждой скирде, процент осоки, дикорастущих

— естественных, сеяных однолетних, то же — многолетних, из них люцерны, эспарцета, травосмесей. В общем последний вопрос: сколько сена?

Но кто же даст в колхозе «Новая жизнь» такие сведения? О счетоводе нечего и думать, он просто скажет: кормов столько-то, сена столько-то, яровой соломы столько-то.

— Евсеич! Кто обмерял стога сена в «Новой жизни»? — спрашиваю я.

— А что?

— Сводка.

— А! Сводка!.. Сколько вопросов?

— Восемнадцать.

— Никишка Болтушок обмерял. К нему надо… Он хоть на тыщу вопросов даст ответ.

— А как его фамилия?

— Кого?

— Да Болтушка, который обмерял сено?

— По книгам Пяткин, а по-уличному Болтушок… Яйцо такое бывает бесполезное — болтушок. Только по книгам он в правлении пишется, а зовется Болтушок. Все так зовут. И ребята его Болтушковы, а жена Болтушиха.

— За что ему такое нехорошее прозвище прилепили?

— Вона! За что? Кому следует, сразу прилепят. Все как надо быть… Лучше не придумаешь, хоть век думай! Народ как дал прозвище, так и умри — не скинешь. Это ему еще с начала колхоза дали: речи сильно любит и непонятные слова.

— Ну, а как он: мужик с головой?

— Дым густой, а борщ пустой.

После этих слов он задумался и замолчал.

…Подъехали к правлению. Там, кроме сторожа, никого не оказалось — все были в поле, и мы направились к Пяткину. Он сидел на завалинке, закинув ногу на ногу, и сосредоточенно курил. Евсеич перегнулся через линейку и прошипел мне на ухо по-гусиному:

— Все в поле, людей не хватает, а он сидит, как лыцарь. И так всегда… Шутильником бы вдоль хребтины!

Болтушок, не вставая, подал мне руку и произнес:

— Агрономическому персоналу, борцам за семь-восемь миллиардов, пламенный привет!

Без обиняков я изложил суть дела, по которому он мне потребовался, я объяснил, что не все материалы можно получить у счетовода. Пяткин слушал, многозначительно хмыкая и чмокая цыгаркой. Лицо его очень похоже на перепелиное яичко: маленькое, конопатое. На лбу несколько подвижных морщинок: удивляется — морщинки вверх; напустит на себя важность — морщинки вниз; засмеется — морщинки дрожат гармошкой. Глаза малюсенькие, слегка прищуренные, с белыми ресницами; брови бесцветные: их не заметно на лице. На вид ему больше сорока лет, этак сорок два, сорок три.

— Значит, дебатировать будем вопрос насчет сена. Та-ак! — Болтушок вздохнул, взялся двумя пальцами за подбородок, потупил взгляд в землю и продолжал: — Та-ак. Все эти вопросы мы с вами обследовать имеем полный цикл возможности, тем более, я, как член комиссии, имел присутствие при обмере и освещение вопроса могу произвести.

При этом он с достоинством поднял вверх перепелиное яичко.

— Нам не дебатировать надо, — сказал я, — а просто выяснить кое-что. Есть ли у вас записи обмера и можете ли вы сказать о качестве сена в той или иной скирде:

— Как?

Я повторил.

— Та-ак… Обмеры сдали в правление, а вопросительно качества — знаю, уточнить надо и согласовать надо… Вечером заседание правления — обсудить в корне… О животноводстве будем дебатировать, так и о сене присовокупим по надобности, поскольку есть ваше требование как специалиста сельского хозяйства, к которым мы должны прислушиваться и полностью присоединяться. Что такое животноводство, если…

Я перебил его:

— Мне надо в поле, а тут данные для сводки негде взять.

Болтушок, кажется, обиделся. Его морщинки прыгнули вниз.

— Так, так… — произнес он. — Как я имею понятие, вы предъявляете требование с намерением заполнить сводку на завалинке.

— Никакого такого намерения нет. Но я должен побеседовать с членами комиссии по учету кормов.

Он, будто не слыша, продолжал:

— Пойдемте в правление, сядем честь по чести и продебатируем согласно формы.

Я решил не «дебатировать» и, попрощавшись, поехал в поле.

Вечером, до начала заседания правления, мы со счетоводом ответили с горем пополам на некоторые из многочисленных вопросов о сене.

— Сколько зрящих вопросов в этой сводке! — не выдержал, наконец, счетовод. — Да и формы такой статистическое управление не утверждало — выдумка бюрократов.

— Да уж, — махнул я рукой, — хватает! И зрящих и бессмысленных…

Кто-то тихонько засмеялся скрипучим голоском, и из угла послышалось:

— Нездоровые в политической плоскости разговоры.

Это был Болтушок. Мы и не заметили, когда он вошел.

— При чем тут «нездоровые», — возразил счетовод, — когда вместо этой чепухи можно просто написать: «Столько-то сена».

Болтушок подошел к нам, ехидно улыбаясь, и, навалившись животом на стол, наговорил:

— Какая же это будет сводка?.. Столько-то сена… Это уже не сводка по форме, но так, чорт знает что, а не сводка. Сено! Великое слово — сено! Надо понимать корень. Я был ведь председателем колхоза два месяца и по животноводству был: соображение имеем в натуральности. Слово «сено», как я понимаю, должно войти гвоздем, — он надавил пальцем на стол, — и в сводке той углубиться и расшириться. Тогда только высшему руководящему составу можно понять корень вопроса. Кузьма Стрючков сказал: «Смотри в корень!»

— Не Стрючков, а Прутков, — поправил я.

— Прутков? — спросил он, выпрямляясь и будто вспоминая, но ничуть не смутившись. — Что-то помнится вроде Стрючков… Говорит: «Смотри в корень!» И правильно говорит. Поли-итика! — Он потряс пальцем над головой. — Не нами придумано, не нам и отдумывать назад. Сводка есть сводка, и форма есть форма. Никто не позволит, чтобы над установкой высших организаций…

— Ну, пошел, поше-ел! — проговорил кто-то в сенях из темноты. — Теперь удержу не будет: вожжа под хвост попала — телега

пропала!

Болтушок покосился в сторону сеней, покачал головой.

— Темнота и есть темнота! Слышь, что Федора Карповна сказала? Одно слово — темнота! — Он махнул рукой, поправил картуз и снова уселся в угол.

Заседание правления собиралось не быстро. Те, что пришли раньше, занимали себя по-разному. Счетовод развернул газету и углубился в чтение. Три молодых парня склонились над шахматной доской, решая задачу. Один из них, подпоясанный ремнем поверх телогрейки и с кнутом в руках, Петя-ездовой, настойчиво и спокойно советовал:

— Слоном надо! Только слоном.

— Куда? — спрашивал второй.

— На дэ-семь.

— Точно… А теперь… теперь…

— Ферзем: а-четыре, — говорил все тот же Петя.

— Ничего не получается! — воскликнул третий. — Черные — на эф-шесть, шах королю, и по-ошла волынка!

И снова все втроем продолжали искать решение задачи. Не утерпел и я, подсел и включился четвертым.

Вдруг за спиной раздался трескучий голос Болтушка:

— Человек с натуральным образованием, а такими пустяками занимается.

— Люблю, — ответил я оборачиваясь.

Болтушок, ухмыляясь, сдвинул картуз на висок. Реденькие белесые волосы торчали пучком сбоку головы.

— Для этой игры ум требуется, — отозвался счетовод, не отрываясь от газеты.

— Это у Петьки-то ум! — вдруг воскликнул Болтушок, тыча пальцем в спину парня.

А тот, не отрывая глаз от шахматной доски, будто невзначай, тихо проговорил:

— Погоди, вот на этом заседании тебе пропишут ум, — и в задумчивой нерешительности взялся за головку ферзя. Болтушок для него в этот миг уже перестал существовать.

У Пети — завитки черных волос из-под кепки, широкие черные брови, загорелое румяное лицо с чуть-чуть выдающимися скулами,

тихая уверенность во взгляде и недюжинная силенка. Он окончил семилетку и учится заочно в сельскохозяйственной школе. Через три года будет специалистом. И что ему сейчас Болтушок, когда «белые начинают и выигрывают»!

Из сеней вошли сразу несколько человек, и среди них Евсеич. Все были возбуждены и улыбались, а конюх Данила Васильевич Головков — широкий, грузный, с украинскими усами и густыми бровями, нависшими над глазами, в жилетке нараспашку и с уздой в руках — басил:

— Ну и Евсеич! Уморил, ей-богу, уморил!

Вошедшие шумно расселись: кто на лавках, а кто просто на корточках, прислонясь к стене спиной.

Евсеичу пришлось вскоре уйти на свой пост: и хочется побыть на заседании, но и на охрану пора.

Данила Васильевич осмотрелся кругом и сказал:

— Кажись, все налицо. Можно за Кузьмичом посылать. Коля! — обратился он к мальчику, стоявшему у стены. — Иди кличь Петра Кузьмича.

Вскоре вошел председатель колхоза Петр Кузьмич Шуров, на ходу поздоровался со всеми сразу и, не останавливаясь, прошел за стол, накрытый красной материей. Счетовод немедля присел сбоку стола с листом бумаги в руках. Болтушок уселся на переднюю скамейку.

Заседание началось. Председатель, вполголоса посоветовавшись со счетоводом, встал и объявил:

— На повестке дня два вопроса: первый — о животноводстве и второй — о колхозниках, не выработавших минимума трудодней.

По первому вопросу говорил сам Петр Кузьмич. Председателем он работает в «Новой жизни» всего лишь месяцев шесть; краткость его речей, четкость указаний, настойчивость, непримиримость к лодырям и любовь к своему делу выгодно отличают его от многочисленных предшественников. Колхозники его уважают, но бездельникам житья не стало, он безжалостно вытаскивает их напоказ всему колхозу. А посмотреть — человек с виду так себе: росту невысокого, худощав, пиджачок немудрящий, галстучек… Особого виду нет. Правда, лоб у него высокий; русые волосы вьются, но по комплекции не вышел. И ни тебе брюшка, ни синих галифе, в которые иной председатель при желании поместил бы ползакрома пшеницы, — ничего такого нету,

обыкновенный человек! Глаза у него карие, открытые и добрые. А уж если сердится, не разберешь: то ли карие, то ли еще какие, прищурит их и одними зрачками простреливает насквозь, как бы говоря взглядом: «Врешь, прощупаю!» Большие нелады пошли у него с рвачами и лодырями, нет им развороту никакого. Сколько жалоб посыпалось на него в район, в область и даже в Москву! Но об этом после: мы еще не раз встретимся с Петром Кузьмичом и познакомимся с ним поближе.

В своем выступлении председатель сказал так:

— Чтобы выполнить план развития животноводства, нам надо законтрактовать у колхозников двадцать голов телят. И тогда вопрос животноводства будет разрешен. Кормов у нас достаточно. Сейчас необходимо установить цену, по которой будем контрактовать… У кого какие имеются предложения?

И все. Вопрос казался простым и ясным.

Данила Васильевич подал голос:

— Давайте платить, как и в прошлом году: центнер хлеба и сто рублей за теленка.

По всему было видно, что это предложение не встречает возражений. Но не тут-то было!

— Еще какие предложения есть? Кто желает? — спросил председатель.

Немедленно поднялся Болтушок.

— Давайте скажу я.

— Ну, поехал теперь! — сказал кто-то из заднего ряда.

Болтушок уничтожил взглядом подавшего реплику, укоризненно обернулся к председателю, будто говоря: дисциплина, мол, падает, распустил. Затем провел ладонью ото лба к затылку, отчего образовался хохолок реденьких волос, сдвинул морщины вниз, подбросил подбородок вверх и сразу стал похож на полинялого задиристого петушка с расклеванным гребешком.

— Так, товарищи! Мы сегодня собрались… — он вздохнул, сделал паузу, — на заседание правления… Да. Собрались подвести итоги животноводства прошедшего прошлогоднего года, товарищи, и наметить их на будущий год… и вступить в них с новой силой, как и полагается, и так и дале. А что мы видим, дорогие товарищи? Ничего не видим. Мы даже не обсуждаем. Да.

— Короче! — отрезал председатель.

Болтушок обернулся к нему, улыбнулся снисходительно и продолжал:

— Я скажу. Больной скот есть? Есть, товарищи! Где наши витинары? За что мы им деньги платим? Где они, эти спецы, товарищи? Куда смотрит правление: корова сдохла! А? А вы молчите!.. — Его голос забирал все выше и выше. — От кого начинает вонять, товарищи? Ясно: от головы. Нету дисциплины ни у спецов, ни у колхозников. Куда мы идем, товарищи: корова сдохла!

— Да хватит тебе! — не вытерпел председатель. Есть же акт ветеринарного врача. Давай о деле!

— А-а! А это не дело? Критику и самокритику глушишь! А я без критики и самокритики жить не могу, как политически развитой актив населенного пункта… — Он снова сделал паузу. — Что есть больной скот? С больным скотом мы должны бороться, чтобы его не было. Это надо понимать и присокупить к повседневным дням работы.

Данила Васильевич наклонился к Коле и вполголоса, но так, чтобы всем было слышно, сказал:

— Иди к Игнатьичу в шорную и скажи: мол, довязывай хомут! Болтушок говорит. А как кончит — скажем, тогда придет. Успеет хомут доделать.

Болтушок, уже войдя в роль обличителя, выкрикивал:

— Это одно! Одно, товарищи! И тыкал пальцем вверх. А другое — куриный вопрос. И палец тыкался вниз.

Председатель умыло махнул рукою. Счетовод положил карандаш и взял газету. Данила Васильевич вынул шило и приступил к починке узды, зажав ремень между коленями.

— А другое — куриный вопрос! — кричал Болтушок. — Очень жгучий куриный вопрос! Курица — она тоже животная, и ее надо кормить. Кормить, товарищи! Пришел я на курятник, а она — курица старая — сидит в окошечке и на меня страшным голосом: ко-о-о! Ясно, есть хочет! А почему есть хочет? Не кормю-ют! Не кормют, товарищи! Все равно животная: что курица, что корова.

— Не все равно! — громко сказал Петя-ездовой. — Это два разных класса: класс птиц и класс млекопитающих.

— Сам ты млекопитающий! — вспылил Болтушок. — Еще молоко на губах не обсохло, а в разговор лезешь. Товарищ председатель! Веди

заседание по форме! Что же это у нас получается? Ишь ты! Классы придумал!.. Итак, товарищи! Возьмем свиней.

Все дружно и безнадежно вздохнули.

— Возьмем свиней, товарищи! Можем ли мы так хозяевать? Нет, дорогие товарищи, не можем. Спим, товарищи! Разбудировать нас надо. Надо перестроить корень. Свинья, она животная… — Он покосился на Петю и продолжал: — Она животная приятная. Свинья должна быть правильной свиньей, а не тенью антихриста. Это — во-первых. А Пегашка хворала две недели, насилу вылечили: худая — вот и тень антихриста.

Все знали, что Пегашка хворала, что от нее не отходили дежурные круглосуточно, но Болтушок все азартнее напирал на «свиной вопрос», «будировал», «дебатировал», «перестраивал корень». Его слова уже не доходили до сознания слушателей: в ушах отдавались лишь какие-то глухие, неясные звуки.

— Следующий вопрос: о колхозниках, не выработавших минимума трудодней! — громко объявил председатель.

Это было так неожиданно, что все встрепенулись. Новый и четкий голос сразу дошел до сознания. Пока Болтушок недоумевал, разводя руками, председатель завершил:

— Проголосуем по первому вопросу: кто за предложение Головкова Данилы Васильевича, прошу поднять руки!.. Единогласно. Запишем: сто килограммов зерна и сто рублей денег за теленка.

— Ка-ак? — взвизгнул Болтушок. — Зажим критики! Кто позволит? Писать в райком буду! Завтра буду писать… В область напишу! Мы еще посмотрим. Я дойду. И спецов дойду и тебя дойду! Глушить актив! Кто позволит?

— Следующий вопрос — о минимуме, — не обращал внимания председатель. — Три человека не выработали минимума без уважительных причин, первый из них — Пяткин Никифор, который имеет только шестьдесят трудодней. У нас в колхозе дети имеют по сотне трудодней, ученики школы. А Пяткин… Да что там говорить! Вот он — смотрите и решайте!

Что сделалось с Болтушком! Он то смотрел на председателя, то оборачивался к сидящим, морщины на лбу играли и замирали и, наконец, поднялись вверх в полном удивлении, да так и остались; он

провел рукой по голове от затылка ко лбу, отчего хохолок исчез, а петушиного вида как не было.

— Житья от него не стало! — заговорила Федора Карповна. В накинутой на плечи клетчатой шали, высокая, крепкая, загорелая, она подошла к столу и продолжала: — Я как член правления заявляю: житья не стало! Самый разгар полки был, а он придет и два часа речь держит. А после него у Аринки голова болит: как он приходит, она аж дрожит, бедняга. Другому человеку — наплевать. Брешет и брешет! А другому невтерпеж слушать. Факт, нормы не вырабатываем, как он «агитировать» приходит. Ну пускай, ладно, пускай бы уж говорил, а ведь и работать надо… Шесть-де-сят трудодней! Срам-то какой! Аль закону на него нету?.. Я кончила.

— Закон есть, — заговорил Петя. — Чего держать его в колхозе?

Лицо Болтушка вдруг резко изменилось: он шмыгнул острым носиком, глазки забегали и заблестели; озлобленный, как хорек, он выкрикнул, подняв высоко руку:

— Я в активе хожу, а вы меня компитировать! Не-ет! Не позволю! Я по займу два года работал, а…

Вот тебе «а»! — вдруг рыкнул басом Данила Васильевич. — По за-айму! А сам не уплатил за заем и в этом году. Бессовестные глаза, мне семьдесят лет, а у меня четыреста трудодней, а тебе сорока, небось, нету. Помело чортово! Тьфу! — Данила Васильевич потрясал уздой, гремя удилами, и его бас рокотал в комнате, как в большой бочке. Он плюнул и сел. Я свое сказал… Колька! Иди к Игнатьичу, скажи: мол, Болтушок высказался. Пущай хомут бросает, если не кончил: в «разных» о сбруе поговорим… Ишь ты, акти-ив! — рявкнул он напоследок.

— Ну что ж, будем голосовать? — спросил у всех сразу председатель. — Возражений нет. Кто за то, чтобы предупредить Пяткина в последний раз?.. Единогласно!

Данила Васильевич, держа широкую ладонь над головой, успокоительно произнес:

— Болячка. Прижигать надо.

Болтушок сидел неподвижно, опустив голову и свесив ладони меж коленей. Лида его не было видно. Понял ли он, что произошло, и спрятал лицо от колхозников или обдумывал новую жалобу в область — кто его знает! Но было в нем что-то жалкое.

…С собрания я шел медленно. Ночь была теплая и тихая. Большая, глазастая луна обливала серебром деревья и траву. Невдалеке заиграла гармошка и сразу замолкла. Несколько раз подряд кувыкнул сыч и затих. Вот вспыхнул огонек у Данилы Васильевича — пришел домой. Вот еще свет в открытом окне, а оттуда женский голос:

— Что с тобой, Никифор? Аль пьян?

«Да ведь это ж хата Болтушка!» — подумал я и невольно остановился в двух-трех метрах от окна.

Болтушок сидел у стола, ничего не отвечая жене.

Против колхозного амбара окликнул меня Евсеич:

— Акимыч!

— Я.

— По походке узнал… — Он подошел, перекинул через плечо ружье, набил трубку и спросил: — Ну как там с Болтушком решили?

— Предупредили, что исключат из колхоза, если еще что…

— Ну, а он как?

— Сидит вон дома за столом сам не свой.

— Пробрало, значит. Може, дошло… Хоть бы дошло! — Он вздохнул, потянул трубку и добавил: — На недельку притихнет, ясно дело… А Петр Кузьмич опять один сидит в правлении. Вишь, огонек? Пишет…

Тишина.

За селом по обе стороны урчали два трактора. Они не нарушали привычной тишины ночи, они всегда урчат, я звука мотора никто не замечает, но если заглохнет, все услышат. Так стенные часы, остановившись, напоминают о себе… Вот она какая — тишина в деревне!..

— До свидания, Евсеич!

# Гришка Хват

Вспашка зяби закончена.

Кому как, а мне эти три слова нравятся до невозможности. Значит, сделано все: убрано, обмолочено, сложена солома, все взлущено и вспахано — все, все! И совсем не хуже стало от этого в поле, оно не потеряло своей красоты, но оделось в новый наряд.

В самом деле, как хорошо в поле в ясный и тихий осенний денек! Ласковая яркозеленая озимь, черная, как вороново крыло, зябь, золото лесных полос, а надо всем — просторная, бесконечная голубизна неба. И немного как будто красок, но какие они сильные, чистые, свежие! А дорога, накатанная до блеска, чистая, без пыли, уже не скрыта от взора густыми колосьями и видна далеко-далеко вперед…

Выйдешь в воскресенье таким осенним деньком, посмотришь вокруг, вдохнешь всей грудью воздух — и пошел на весь день! А если за плечами ружье да рядом собачка, тогда — будь уверен! — домой вернешься только к вечеру.

В субботу к концу дня мне уже не сиделось. «Пойду-ка, — думаю, — к Евсеичу, да ахнем завтра на охоту по зайцам!»

Во дворе меня встретила гончая собака Найда, села передо мной и подала по старому знакомству лапу. Еще из сеней услышал я заливистый смех хозяина и заразительный хохот Пети, того самого Пети-ездового, что учится на агронома: он Евсеичу внуком доводится.

— Что у вас тут творится? — осведомился я.

Хозяин занят набивкой охотничьих патронов. Очки у него — на кончике носа, в глазах — смех.

— Патроны заряжаем.

— А что ж тут смешного?

— Да вот вспомнили, как… порты соскочили, — смеясь, сообщил Евсеич, а Петя снова громко расхохотался, утирая рукавом рубахи слезы.

— У кого соскочили?

— У Гришки Хвата. Садись, Акимыч, расскажу!

Евсеич подождал, пока Петя успокоится, и, отложив в сторону патроны, набил трубку.

Я присел на диванчик, маленький и удобный. Напротив меня, над столом, у которого сидят дед и внук, — портрет Сталина, а по обе стороны его — фотографии двух сыновей Евсеича, погибших в Отечественную войну; одна из них — отца Пети. Над этажерочкой с аккуратно поставленными книгами — портрет Гоголя, в углу — снопик ветвистой пшеницы, а на полочке, рядом со снопиком, — огромная картофелина, с человеческую голову. Все это уже давно мне знакомо, но уютная простота убранства комнаты всегда располагает в этой хате к душевному спокойствию.

— А мы, — сообщает Евсеич, — бабку и мамку проводили в город на базар на колхозной машине, а сами, значит, с Петрухой дым коромыслом разводим… Так вот! — Он снял очки, погладил горстью острую бородку и, ухмыляясь, начал: — Весной дело было. Он ведь, Гришка-то, работает в колхозе только весной, когда сеют, да осенью, когда хлеб на токах. Ясно дело, живет так, — Евсеич сделал выразительный жест — сгреб ладонью воздух, сжал кулак и сунул в карман. — Вот как он живет, этот Гришка Хват, урвать себе, а там хоть трын-трава.

— Ну, а при чем здесь порты?

— Вот и стряслось с ним. Назначили его, значит, на тракторную сеялку вторым севаком — семена засыпать, диски чистить, маркер поднимать. Никогда Гришка не упустит, чтобы не хапнуть, и тут, ясно дело, не утерпел — насыпал пшеницы в кулек, килограмма полтора, и привязал пояском под ватные порты, сбоку. Да… Дело к вечеру было, последний ход ехали. Подъехали к табору, а Гришка-то — прыг с сеялки! Пуговка — лоп! — и оторвись. Да случись тут кусок пласта торчком под ногами, он и споткнулся. Брык! — голым задом к табору. А кулек сбоку мотается! Мамушки мои, срамота-то какая! Бабы накинулись гуртом: «Снимай порты! Что у тебя там привязано?» А он задрал нос, одной рукой штаны держит, а другой кулаком трясет: «Я вам покажу, как над больным человеком насмехаться! Грызь, говорит, у меня табаком обвязана». А и никакой грызи у него сроду и не было… Вот и смеются меж собой теперь колхозники: «А грызь-то у Гришки пшенишная!» Вот мы с Петей и вспомнили. Дела, право слово! — Евсеич помолчал немного и продолжал уже серьезно: — А попробуй скажи в глаза ему об этом. Куда там! За грудки и с кулаками лезет. Да еще и подхалимом обзовет. Невозможный человек! — заключил он.

— Значит, ворует?

Евсеич помолчал, подумал. Петя уложил патроны в патронташ и посмотрел сначала на меня, а потом на дедушку и сказал:

— Ворует.

— А уловить невозможно, — добавил Евсеич.

— Зачем и ловить? Выгнать из колхоза — и все.

— Выгнать-то выгнать, да толку что? — возразил Пете старик. — Ты скажи ему, Гришке-то: «Укради мешок!» Не станет. А бутылкой перетаскает больше. Он в законах и лавирует.

— Как это бутылкой? — спросил я.

— А так. Идет на сев — литровую бутылку молока берет. Выпил молоко, пшеницы насыпал. Баба принесла завтракать, пустую бутылку дает ему, а с пшеницей возьмет. В обед — то же. Вечером — то же. Четыре-пять литров зерна за день — пустяк утащить, а в них, почитай, четыре килограмма пшеницы. Поймай! Брали ее один раз, но и милицию она провела: дескать, россыпь подобрала, говорит.

Петя добавил:

— А в уборку валенками ворует. Едет в поле в валенках, а домой идет — валенки подмышкой и засунуты друг в дружку. Мы, комсомольцы, раз изловить его хотели. Переняли и говорим: «Разними валенки». А он кулак к носу тычет: «А этого не видал? Вором считаете, сопляки? Завтра, говорит, напишу за оскорбление личности в суд, статья такая имеется» — и пошел дальше. Потом нырнул в лесополосу, а метров через тридцать вынырнул и остановился. Мы опять к нему: «До дому пойдем с тобой, а не отступим». — «Пошли, говорит, к правлению!» Приходим, председателя нет, один счетовод сидит. «Мы, — говорим, — видели, как он из зерновоза пшеницу насыпал в валенки». Тут он разнимает валенки и показывает их. Пустые! «Я, говорит, найду на вас управу! Я, говорит, по сто шестьдесят первой статье за клевету подам». И вышел. А мы сами же, своими глазами видели!

— Во! Статьи он все знает, которые ему надобны, — поддержал Евсеич. — А пшеницу вытряхнул в лесополосе, факт. Вот и улови! Рвет, подлец, с колхоза кусочками. Убытки тут не ахти какие, а народу обидно. Другой колхозник трудится, потому живет хорошо, а этот не трудится, а живет тоже хорошо. В том и вред от него, что рвет-то он ото всех. Да горлом берет, ясно дело.

— Надо, — посоветовал я, — с председателем насчет него потолковать.

— Да про него сейчас в каждой хате будут толковать, а весна придет — забудут. Не до него в трудах-то.

Поговорили мы так, потом я проверил заочную контрольную работу Пети, а на прощание Евсеич сказал:

— Завтра, значит, берем подряд на очистку поля от зайцев.

В воскресенье утром, с ружьями за плечами, мы втроем шагали от села вдоль лесной полосы. Ночью был легкий морозец, — иней на озими таял и серебрился от восходящего солнца. Листья желтым ковром устлали землю меж деревьев. Оттого, что ветви были почти совсем обнажены, лесная полоса казалась реже, чем летом, а стволы — выше. Уже семнадцать лет этой полосе! Многое можно вспомнить из того, что прошло за эти годы, о многих погибших товарищах пожалеть, многому порадоваться, но эти деревья, которые памятны мне с перволеток, я просто люблю. Люблю за ласковый шум во время легкого ветерка; за силу, с которой они, содрогаясь, отражают налеты страшного когда-то юго-восточного суховея; за то, что они приютили новых лесных птиц; за прохладу в июльский зной; люблю и за то, что в них большой кусок и моей жизни, и жизни Евсеича, и вся целиком жизнь Пети, который шагает вразвалку рядом со мною.

— Хорошо! — улыбаясь, сказал Евсеич. Он сдвинул кепку с пуговкой на самый затылок и поднял взгляд к вершинам деревьев. — А ведь какие маленькие были, ну прямо проволочки!

— А я не помню, как их и сажали, — сказал Петя.

Евсеич ласково положил ему руку на плечо.

— Тебе и было всего не то год, не то два. Папашка твой сажал, лесоводом был в колхозе. Понял?

— Знаю, — ответил Петя.

— И ты сажай, Петруша! Сажай больше! Долго люди помнят тех, кто сажает деревья. Кто не любит дерева, тот не любит и человека. Ясно дело.

— А комсомольскую полосу дубков мы-то и посадили.

— Еще больше сажай!

Мы пошли дальше. Петя вдруг остановился.

— Дедушка, смотри — сук надломлен! Зимой снегом отломит.

— А ты приметь дерево, да потом и привяжи сучок к стволу. Он весной и срастется. Буря была недавно, вот и надломился.

— Обязательно привяжу, — сказал Петя.

И я знаю: он хозяин, обязательно привяжет.

Немного прошли молча, а у первой просеки остановились.

— Начнем, — весело сказал Евсеич и стал снимать ружье с плеча.

Найда до сих пор спокойно плелась на шворке за хозяином, а тут начала визжать, рваться, вставала передними лапами на грудь Пети, тянулась к лицу, стараясь лизнуть.

— Ну, ну! Целоваться полезла! — шутил Евсеич. Он снял ошейник, ласково похлопал ее по боку. — Не подкачай, Найда!

Черно-красным пятном Найда заюлила по зяби, ныряла в лесополосу, снова показывалась на чистом поле и, наконец, скрылась в соседней полосе. Евсеич распределил места:

— Ты, Акимыч, оставайся тут! Ты, Петя, давай к дубовой-гнездовой! А я — к яру, в приовражную. Тут, брат ты мой, заяц обязательно этим кругом ходит. Сперва вдоль полосы, потом — в просеку, потом — к дубкам, а вдоль них — к яру. Это у них дорога такая. Ясно дело, заяц тоже к лесным полосам приспособился. Теперь и охота в поле иная — и лесная и полевая. Сноровка другая должна быть… А ты, Петя, главно дело, не шевелись, когда он попрет на тебя, замри! Дубки — по пояс, а если мертво будешь стоять, то он выше дубка не увидит, у него глаз глупый…

Петя трусцой, вприпрыжку побежал к дубкам. Евсеич спокойно, не спеша направился к яру, а я, осмотревшись, выбрал местечко и стал за куст так, чтобы можно было стрелять и вдоль полосы и по просеке. Мешала ветка впереди меня. В большом лесу я ее обязательно срезал бы, а здесь нельзя, пусть растет. Справа от меня, за пригорком, видны верхушки лесополосы, посаженной в год начала Великой Отечественной войны; слева, метрах в трехстах, — «Комсомольская», этой всего только семь лет; а дальше по полю видны квадраты лесных полос; они, как дети в многодетной семье, растут лесенкой: каждый год прибавлялось по одной полосе, а набралось уже до сотни гектаров.

От яркого солнца и густой зелени озимых рябило в глазах. Застрекотала сорока, увидев меня; пробежали через просеку хохлатые подорожнички; деловито простучал невдалеке дятел; тихонько захохотала синица, выпрыгнула из чащи, прилепилась к ветке в трех

метрах от меня и уставилась черными бусинками в глаза. «И что это делает здесь неподвижный человек?» — казалось, спрашивала она, потом вспорхнула и, будто прощаясь, прощебетала: «Чиви! Чиви!» Очень похоже: «Живи! Живи!» «Ну и ты живи!» — подумал я.

Вдруг: «Гав!..» Немного погодя еще: «Гав-гав!» И потом ритмично, размеренно: «Гав-ав-ав-ав!» То Найда подняла русака. Только охотник поймет, какая дрожь пробегает по телу при первом лае гончей! Мир сужается до предела: охотник, ружье и, еще невидимые, собака и заяц или лисица. А лай все ближе, все ближе, и дрожь ушла уже внутрь, но руки спокойны и уверенны… И вдруг, как из-под земли, вываливается сам «косой». Он идет прямо на меня «ниткой», смешно закидывая задние ноги вперед, будто на костылях. Выстрел! Заяц перевернулся через голову, высоко подбросив вверх задние лапы… Подвалила Найда, хвостом приветствуя удачный выстрел, полезла целоваться, а через некоторое время снова заюлила, повизгивая, закружилась, засопела и потянула дальше. Вскоре она скрылась из виду и снова погнала голосом, спокойно, ровно, не спеша. В лесных полосах быстроногая собака не годится: из-под нее заяц летит пулей, сбивает с круга и несется, как сумасшедший, куда глаза глядят. Но Найду Евсеич приучил так, что она и «взрячую» гонит тихо: «сноровка другая».

Петя выстрелил дуплетом. Собака замолкла, значит попал. Потом, как из пушки, ахнул Евсеич. По одному зайцу я «расписался» впустую; он проскочил к Пете, тот тоже промахнулся, и только около Евсеича Найда замолчала.

К середине дня все вместе мы убили пять зайцев. Несколько раз перебегали с места на место, перехватывая «круг» сообразно направлению лая Найды, и, наконец, порядком умаявшись, стали собираться закусить.

Евсеич прищурил глаза, почесал висок, сдвинул набок кепку и чуть-чуть шмыгнул носом. Я-то уж знаю, что все это предшествует веселому сочинению.

— Садись, Акимыч, отдыхай! Петька, вон он маячит. Подождем его, а я тебе расскажу заячью историю.

Петя действительно маячил в километре от нас, уже на той стороне яра. Мы уселись на засохший бурьян, Евсеич закурил трубку и начал:

— Зайцев бы-ыло: миллион с тыщами! А один был смелый-пресмелый зайчишка. Так. Хоть и знают косые, что в магазине Союза охотников не бывает к сезону ни пороху, ни дроби, а посылают этого зайчишку в город: все-таки проверь, дескать! Поковылял, значит. Ясно дело, зайцу по городу трудно пройти. Ну, задворками, бульварами пробрался к магазину. Стучит легонько лапкой в окно, машет продавцу: выйди, дескать, на минутку! Выходит: «Что вам, гражданин зайчик?» А тот спрашивает тихонько так: «Порох есть?» — «Нету», — отвечает. «А дробь есть?» — «Нету». — «Тогда передайте, — говорит, — товарищу Медведкину (председателю Союза охотников), что мы, зайцы, плевать на него хотели». — «Как так плевать?» — «А так: орешками, орешками!» Подпрыгнул зайчишка, оставил пару орешков, да и был таков… Вот они дела-то какие случаются смехотворные!

Евсеич рассказывает без смеха, по глаза его смеются, так и сыплют искорками, так и сыплют! Счастлив человек, у которого к старости сохранятся такие глаза!

Вдали показался Петя. Он вразвалку идет к нам вдоль лесополосы, изредка останавливаясь и посматривая хозяйским глазом на деревья.

Вдруг лицо Евсеича сразу сделалось серьезным, он даже привстал.

— Гляди, Акимыч! Петька бегом к нам побежал… Что за оказия?

Действительно, Петя торопливо бежит, придерживая одной рукой зайца. Вот он уже близко и на бегу кричит:

— Дедушка! Владимир Акимович! Там… там два дерева… срублены… большие!

Мы заспешили за Петей.

— Тут недалеко… И ветки очищены на месте… Большие, — тяжело дыша и чуть не плача, говорил Петя. Картуз сбился у него козырьком на ухо. Прядь волос упала на угол лба.

Два пенька рядом сиротливо белели в середине полосы. Потянул легкий ветерок, слегка зашуршали ветви, будто жалуясь… Мы понуро стояли над пнями. Евсеич то мял кепку в руках, то набрасывал ее на голову, то снова снимал и теребил за пуговку; в волнении руки не давали покоя и клинышку бородки; он пробовал зажечь спичкой трубку, забыв набить табаком, и снова совал ее в карман.

Потом сжал кулак и с озлоблением потряс им в воздухе.

— Сук-кин сын! Подлец! Гришка Хват, больше некому!

— Он, — мрачно подтвердил Петя.

Охотиться уже не хотелось. Найда поплелась за Евсеичем. Я смотрел ему в спину, и мне казалось, что он сгорбился и постарел… Мы шли молча. Некоторое время спустя Евсеич сказал, ни к кому не обращаясь:

— Дня три-четыре как срублены — зарубы обветрило: теперь уж не найдешь… Каналья!

Утром следующего дня Евсеич зашел за мной, и мы направились к председателю колхоза Петру Кузьмичу Шурову. Он сидел в своем кабинете, рассматривая какую-то бумагу, делал пометки то красным, то черным карандашом.

Мы поздоровались.

— Знаю, с чем пришли, — заговорил Шуров. — Петя успел сообщить, уже и заметку в стенгазету потащил. Садитесь, подумаем вместе! — Он положил перед нами ведомость трудодней. — Поинтересуйтесь, а потом о деревьях поговорим!

Против фамилий колхозников — цифры трудодней. Пятьсот и выше — в красном кружочке, это, понятно, передовики. Шестьдесят — в черном колечке, тоже понятно — болтуны и лодыри, но таких только три. Но вот пятьдесят два — в красном, а сто пятьдесят — в черном; это не сразу поймешь, и я вопросительно поднял глаза на Петра Кузьмича, указывая на эти цифры.

— То-то вот и оно, что не сразу понять. А разберись — дело простое. Пятьдесят два — это лучшая колхозница, но она больна, надо помочь ей и направить в санаторий. А сто пятьдесят…

Но я уже вслух прочитал:

— Хватов Григорий Егорович — сто пятьдесят.

— Во! Гришка Хват, — подтвердил Евсеич, подняв палец вверх.

— Минимум выработал: все в порядке, все законно, — продолжал Петр Кузьмич, — работает — шатай-валяй, а живет — сыр в масле. Все понятно, но… с какой стороны его взять? Вот вопрос.

Он задумался. Взгляд его направлен на чернильницу, но, казалось, он видит перед собой Хватова и мысленно всматривается в него, прощупывает.

Евсеич покачал головой.

— Во всяком чину — по сукину сыну. Ясно дело.

Петр Кузьмич оживился, пристукнул ладонью о край стола и решительно встал. Видно было, что его осенила новая мысль, и он ее высказал:

— Брать его надо всего целиком… Выдернуть его и показать всем, а сначала сам пусть на себя посмотрит. И домой к нему надо сходить, посмотреть, раскусить хорошенько. Говорят, мой предшественник — бывший председатель колхоза Прохор Палыч Самоваров только у Хватова и угощал начальников разных и сам там угощался.

— Там, там, Кузьмич, только там, подтвердил Евсеич, — туда и баранинку, туда и яички, все туда, а самогонку-то Гришка и сам мастер гнать.

— Сходим, Владимир Акимыч? — обратился ко мне Петр Кузьмич.

— Пошли хоть сейчас!

— Вы там в сарай загляните, в сарай! — напутствовал нас Евсеич. — Да кусок хлеба возьмите! Кобель у него, как тигра.

Краюшку хлеба председатель и в самом деле сунул в карман, зайдя в кладовую.

Вскоре мы подходили к усадьбе Хватова. Аккуратная, чисто выбеленная, с новыми наличниками на окнах, по-хозяйски крытая камышом «под гребенку», хата стояла на отшибе, небольшой ярок отделял ее от улицы, будто она откололась от села. Двор огорожен высоким, почти новым плетнем, на котором сверху в одну нитку протянута колючая проволока. Ворота забраны тонкими досками с клеймами железной дороги: видно, какие-то ящики употреблены на это дело. И ни одного дерева, ни одного цветка, не говоря уже о клумбе.

Калитка оказалась запертой изнутри, и мы постучали щеколдой. Залаяла собака, захлебываясь и надрываясь, кто-то цыкнул на нее во дворе, потом загремел засов и калитка открылась. Перед нами стоял Хватов — Гришка Хват. Он, казалось, был в некотором недоумении и молчал, переводя взгляд с одного из нас на другого.

Небольшого роста, широкоплечий, кряжистый, с крепко расставленными короткими ногами, в клетчатой ковбойке, из-под которой торчала нижняя рубаха; красноролжий, рыжие волосы коротко

острижены «под бокс» — по-модному; глаза большие, равнодушные; жирные губы выгнулись полумесяцем; кончик большого и мясистого носа приподнят кверху задиристо и вызывающе. Ему не более сорока лет.

— Милости просим! — наконец проговорил он, пропуская нас вперед.

От калитки к крыльцу, выходящему во двор, пройти можно, но в середину двора нельзя: огромный пес, такой же рыжий, как и сам хозяин, оскалив пасть, бегал вдоль протянутой поперек двора проволоки, на которой каталось взад-вперед рыскало цепи.

— Уйми ты его, Хватов! — попросил Петр Кузьмич.

— Заходите в хату! — сказал хозяин так же равнодушно.

— В хату потом, — возразил Петр Кузьмич. — Зашли посмотреть, как живет богатый колхозник, а у тебя… «тигра». Плохо гостей принимаешь.

Гришка понял это по-своему.

— Литровочка есть, и закус найдем.

— Это тоже потом. — С этими словами Петр Кузьмич решительно подошел к собаке, совсем близко, но так, что она не могла его достать с цепи, остановился и молча посмотрел на нее в упор, засунув руки в карманы пиджака. И удивительное дело — пес уже не рвался с цепи, не надрывался, он лаял как бы по обязанности. Когда же Петр Кузьмич бросил краюшку хлеба, он мирно поплелся в конуру, недоверчиво оглядываясь на хозяина и погромыхивая колечком рыскала.

Во дворе стало тихо. Хватов, заложив руки за спину, смотрел на председателя без какого-либо выражения гостеприимства и проговорил с ноткой недовольства:

— В укрощатели годитесь, товарищ председатель.

— Ну, как живешь, Хватов? — спросил Петр Кузьмич, будто не обратив внимания на его слова, и уселся на грядушки ручной тележки.

— Да как… Ничего живем, налог уплатил, с займом рассчитался, минимум выработал. Закон есть закон. Все по уставу.

— Все правильно, — подтвердил Петр Кузьмич не без иронии.

Хватов стоял сбоку, опершись ногой о тележку, грядушки которой были новыми и совсем еще сырыми, а колеса — с конных плугов.

— Новые, — заметил я, — наделки.

Хозяин будто не слышал моих слов, а Петр Кузьмич прищурился и в упор спросил, постукивая пальцем о тележку.

— Ясеньки-то в лесной полосе срубил? Смотри — свежий ясенек щек, как с корня.

У Хватова не было заметно ни тени страха, ни тени волнения. Он почему-то обратился мне:

— А вы видали, как я рубил? Купил на базаре.

— А колеса с плужков? — спросил Петр Кузьмич.

— Видать, с плужков, отметил Хватов с притворным вздохом.

— Когда снял?

— Купил за двадцать восемь рублей и пятьдесят копеек.

— Где?

— На базаре.

— У кого?

— У чужого дядьки, — мирно ответил Хватов и вдруг перешел в наступление: — Евсеича слушаете! Клеветой руководиться не гоже, не по-советски! Сто шестьдесят первая статья на это имеется, можем написать — люди грамотные и ходы знаем, куда подать и к кому обратиться.

Петр Кузьмич пристально смотрел на него не отрываясь, сжав зубы. Краска бросилась ему в лицо, но он тряхнул головой, сдерживая себя, закурил папиросу и уже спокойно сказал совершенно неожиданно и, казалось, не к месту:

— Во время войны где был?

— Служил.

— Где?

— А что? — не изменяя позы и наглого выражения лица, спросил Гришка Хват. — Следствие, что ли, хотите наводить?

— Ну вот ты уже и обиделся! — возразил Петр Кузьмич. — С тобой по-хорошему, а ты…

— Что я?

— Значит, не был на фронте? Ну тогда — где работал в тылу? Тыл — это тоже очень важно. И в тылу много героев. Что делал?

— Служил.

— Где?

Гришка не выдержал словесной перестрелки и сдался:

— В милиции.

— Кем?

— Конюхом.

— Ну так бы и говорил! Хорошая должность — конюх, и у нас в колхозе почетная. Вот теперь и понятно.

— Что понятно?

Петр Кузьмич не ответил на его вопрос, а спросил сам:

— А знаешь, что у Евсеича два сына погибли на фронте?

Гришка молчал. Петр Кузьмич барабанил по грядушке пальцем и потихоньку насвистывал выжидая. Будто ненароком я прошелся по двору взад-вперед. Квохтали куры, в хлеву похрюкивали свиньи; в углу, между сараем и плетнем, — штабель толстых дубовых дров, хватит года на два; старые колеса от тарантаса, рама от старой конной сеялки, две доски с брички и деревянная ось свалены за сараем в кучу. Запасливый хозяин тащил все, что плохо лежит и за что никто не может привлечь к ответственности. На стене сарая висел большой моток толстой проволоки, две старые покрышки от автомашины и пополам перерезанный гуж от хомута; штабель кизяков — такой огромный, что на две хаты хватит топить полную зиму.

— А навоз для кизяков тоже купил на базаре? — спросил я.

Гришка не удостоил меня ответом, а Петр Кузьмич ответил за него:

— Зимой на поле вывозил: воз — на поле, а воз — домой. Рассказывают, так было. Этак гектарчика два удобрений и хапанул. Правда, Хватов?

Но тот не ответил.

— Вы по какому делу пришли?

— Да вот ходим с агрономом, знакомится, как наши колхозники живут, — невозмутимо сказал председатель.

— С обыском, что ли?

— Ой, какой ты, Хватов, законник!

— Законы знаем.

И вдруг неожиданный вопрос Петра Кузьмича:

— Корма корове хватит?

— Занимать не будем.

— А продавать будем?

— Там видно будет.

— Ты же на сенокосе не был, процентов не заработал, как же это получается?

— Покупается, — тоном превосходства ответил Хватов.

Петр Кузьмич решительно встал и открыл дверь сарая. Гришка не выдержал и заскочил вперед. Лицо его стало озлобленным, но говорил он спокойно:

— Отойди, товарищ председатель! Добром говорю! За самовольный обыск тоже статья имеется…

— Да ты никак испугался, Григорий Егорович? — засмеялся Петр Кузьмич. — А мы в сарай не пойдем. Разве можно не по закону? Посмотрю, хватит ли корма. Должны же мы заботиться и о скоте колхозников? Ясно?

— Может, и ясно, — приостановился Гришка, поняв, что не выдержал своей линии.

— А ты не бойся, — продолжал Петр Кузьмич. — Если купил, то все законно и никакой статьи не потребуется. Купил, говоришь?

— Купил.

— Почем же люцерновое сено?

— Двести рублей воз, — не моргнув глазом, ответил хозяин.

— Прошлогоднее?

— Должно быть.

— У кого?

— У чужого мужика. Базар велик.

Я вспомнил, что прошлым летом на семенниках люцерны во время цветения появлялись в середине массива выкошенные пятна, и подумал: «Вот они и пятна».

На крыльцо вышла жена хозяина и поздоровалась так, что слово «здравствуйте» прозвучало, как «уходите». Одета она по-городскому. Ни широкой, просторной, с каймой, юбки, ни яркой кофточки с пухленькими и такими симпатичными «фонариками» на рукавах, ни плотно уложенных на макушке волос — ничего этого не было. Короткая, до колен, юбка обтягивала зад, как огромный футбольный мяч; толстые, как гигантские кегли, икры — в тонких чулках; тесная кофточка, в которой с трудом умещалась грудь; громадная брошь в виде плюшки с начинкой посредине: вот какая, дескать, культурная! А лицо! Какое лицо! Жирный подбородок, пухлые щеки с двумя круглыми пятнами румян, маленький нос с полуоткрытыми ноздрями

приподнят кверху, белобрысая, а брови намалеваны черные, как осенняя ночь. И рыжий «бокс» на голове мужа и его клетчатая ковбойка с торчащей из-под нее грязной нижней рубахой — все это как нельзя более подходило к облику его супруги.

— Чего ж в хату не зовешь начальников?

Оттого ли, что она заметила мой пристальный взгляд, оттого ли, что Петр Кузьмич на ее «здравствуйте-уходите» ответил вежливым приветствием, или, подслушав наш разговор, она поняла, что обострять дело не следует и надо нас отвлечь от люцерны, — не знаю почему, но голос ее стал немного приветливее.

— Чего ж не зовешь? — повторила она. — Небось в хате и поговорить лучше. Заходите!

Мы обменялись с Петром Кузьмичом взглядами и взошли на крыльцо. Я совсем не ожидал, что жена Хватова будет знакомиться с нами, так сказать, официально, но она подала прямо вытянутую ладонь, как толстую длинную вчерашнюю оладью, и произнесла мужским тенором:

— Матильда Сидоровна.

Настоящее ее человеческое имя — Матрена, но сказано ясно — «Матильда». Петр Кузьмич сначала не удержался от улыбки, а потом все-таки прыснул и зажал рот платком, как бы утирая губы. «Ошибочный жест, Кузьмич! Ой, ошибочный!» — подумал я. И правильно подумал: Матильда поняла так, что, утирая губы, председатель просит выпить. Молча, одними взглядами, которые, впрочем, не так уж трудно заметить со стороны, они с мужем согласовали этот вопрос, и Хватов распорядился:

— Собери закусить!

Матильда вышла в сени, а муж «на минутку» выскочил за — ней.

— Ну? — спросил я тихонько, когда мы остались вдвоем.

— Подождем, что дальше будет, — шепнул председатель. — Не бойся! По стопам Прохора Палыча в бутылку не загляну. У меня — план.

Возвратился Гришка совсем другой, щеки его вздулись двумя просвирками: он улыбался. Но глаза так и остались мутными и равнодушными, глаза не улыбались. Матильда внесла колечко колбасы и тарелку огурцов и… тоже улыбалась. Ах, как она улыбалась! Накрашенные половинки губ узкими полосами окаймляли рот, а

ненакрашенные вылупились из середины. Тяжело ступая и сотрясая телеса, она засуетилась:

— Заведи пока патефон, Григорий Егорович! Выбери какую покультурней!

Хозяин завозился с патефоном, меняя иголку, а мы осмотрели комнату. Тут и громадный плакат-реклама с гигантским куском мыла «Тэжэ» и с надписью: «Это мыло высоко ценится, это мыло прекрасно пенится»; и еще противопожарный плакат «Не позволяйте детям играть с огнем»; большие портреты обоих супругов, увеличенные с пятиминуток и разретушированные проходящим фотографом до полной неузнаваемости; ленты из цветной бумаги на стенах, на окнах — и широкие и узкие, — ленты, ленты, ленты, как на карусели.

Захрипел патефон, будто на плите убежало молоко, а затем мы услышали пластинку двадцатилетней давности — романс в исполнении Леонида Утесова:

Лу-уч луны-ы упал на ваш портре-е-ет,
Ми-илый дру-уг давно забытых ле-е-ет,
И во-о мгле… гле, гле, гле, гле, гле, гле…

Игла запала в одной строке пластинки, и патефон хрипел: гле, гле, гле, гле, гле… Это была самая высокая нота в романсе, казалось, что исполнителю очень трудно повторять ее.

Матильда стукнула по мембране деревянной ложкой, и игла проскочила дальше. Оттого, что пластинка была очень старой, голос Утесова стал совсем хриплым, натужным, как при ангине. Гришка Хват упер руку в бок, закинул стоя ногу за ногу и серьезно, как в церкви, смотрел в потолок, как бы вслушиваясь в звуки патефона.

Патефон отхрипел. На столе — колбаса, огурцы и крупные ломти пшеничного хлеба, такие крупные, что надо открыть рот во всю ширину, чтобы ухитриться откусить. Хозяин нагнулся, достал из-под кровати литровую посудину, заткнутую кукурузным початком, поставил на стол и сел сам с нами, пододвинув к себе стакан. По всем неписаным правилам таких хватов процедура выпивки с начальством совершается медленно, не спеша.

Петр Кузьмич взял бутылку и, понюхав горлышко, сказал:

— Самогон. Купил?

— Ну, да эти дела, как бы сказать, не покупаются, — ответил хозяин почти радушно.

— Своего, значит, изделия?

Гришка кивнул головой в знак согласия.

— Крепкий? — спросил председатель.

— Хорош! — улыбнулся деревянной улыбкой Хватов.

— С выпивкой — потом. Сейчас давай, Григорий Егорович, договорим о деле и… поставим точку. — Петр Кузьмич поставил точку ручкой вилки на столе.

— Дак мы ж еще ни о каком деле не говорили, — возразил хозяин.

— И стоит вам о пустяках разговаривать! — вмешалась Матильда. — Мы вечные труженики, а на него всякую мараль наводят. Пустяк какой-нибудь — в бутылку рассыпанной пшеницы подберешь на дороге, а шуму на весь район. Да что это такое за мараль на нас такая! И всем колхозом, всем колхозом донимают! При старом председателе, при Прохор Палыче, еще туда-сюда, а вас обвели всякие подхалимы, наклеветали на нас, и получается один гольный прынцып друг на дружку, — Она входила в азарт и зачастила совсем без передыху: — Мы только одни тут и культурные, а то все темнота. Машка, кладовщица, со старым председателем путалась, Федорка за второго мужа вышла, Аниська сама сумасшедшая и дочь сумасшедшая, Акулька Культяпкина молоко с фермы таскает, а на нас — мараль да прынцып, мараль да прынцып.

И пошла и пошла!

— Я ему сколько раз говорила, — указала она на мужа, — сколько раз говорила: законы знаешь? Чего ты пугаешь статьями зря, бестолку? Напиши в суд! В милиции у тебя знакомые есть: чего терпишь? Чего ты терпишь?

Наконец Петр Кузьмич не выдержал и перебил ее:

— Послушайте, хозяйка! Дайте нам о деле поговорить!

Она в недоумении посмотрела на него и обидчиво продолжала, поправив плюшку-брошь и не сбавляя прыти.

— Вот вы все такие, все так: «Женщине — свободу, женщине — свободу», а как женщина в дело, так вы слова не даете сказать. Извиняюсь! Женщина может сказать, что захочет и где захочет. Что?

Только одной Федорке и говорить везде можно? Скажи, пожалуйста! — развела она руками. — Член правления, актив!

— Ну нельзя же только одной вам и говорить, — не стерпел я. — Вот вы высказались, а теперь наша очередь: так и будем по порядку — по-культурному.

Последнее слово, кажется, ее убедило. Скрестив руки, она прислонилась к припечку и замолчала.

— Итак, о деле, Григории Егорович, — заторопился Петр Кузьмич, — о деле…

— О каком таком деле? — недоверчиво спросил Гришка.

И тут председатель его словно из ушата холодной водой окатил:

— Вот о каком: первое — люцерну привези в колхозный двор!

Гришка встал.

— Ай! — взвизгнула Матильда.

— Цыц! — обернулся к ней муж и задал вопрос Петру Кузьмичу: — Еще что?

— Колеса с плужков и грядушки с тележки принеси в мастерскую, — спокойно продолжал тот.

— Еще что? — с озлоблением прохрипел Хватов.

Петр Кузьмич взял обеими руками литровку:

— А вот это возьмем с собой. Придется ответить!

Прошло несколько минут в молчании. Гришка вышел из-за стола, давая понять, что выпивки не будет. Лицо его приняло прежнее, внешне спокойное выражение, — он удивительно умел влезать в личину, как улитка, — и только чуть-чуть вздрагивала бровь.

— Ну так как же? — спросил с усмешкой Петр Кузьмич.

— Ничего такого не будет: не повезу. А бутылку возьмете — грабеж… Вас угощают, а вы… Эх, вы! — он махнул рукой и прислонился спиной к рекламе «Тэжэ». — Люцерну — не докажете, тележку — не докажете, не пойманный — не вор. Купил — и все! Докажите!

— Хорошо, — вмешался я. — Люцерну докажем очень просто. Только в одном нашем колхозе желтая люцерна «степная», а в районах вокруг нас нет ни одного гектара этого нового сорта. Как агроном могу составить акт.

Гришка вздрогнул. Да, вздрогнул, я не ошибся! Будто невидимой стрелой пронзило его лицо, оно передернулось, и тень страха

пробежала во взгляде.

— Понятно? — спросил Петр Кузьмич и, не дожидаясь ответа, добавил: — А колесико с плуга, одно колесико, номерок имеет, а номерок тот сходится с корпусом. Видишь, оно какое дело, Григорий Егорович!

Я понимал, что никаких номерков на колесах плуга нет, а Петр Кузьмич знал, что такой же сорт люцерны есть и в райсемхозе, и в совхозе, и в ряде других колхозов, но, разгадав план председателя, я помогал ему — он прощупывал Гришку, исследовал по косточкам, изучал. Тот стоял у стены, опустив голову, не пытаясь возражать, и смотрел на носки своих сапог, будто они очень и очень для него интересны. Матильда в удивлении и испуге прислонилась задом к рогачам.

А Петр Кузьмич уже добивал:

— Да ты пойми, Хватов! За самогонку — не меньше года, хоть и без цели сбыта, за люцерну — тоже… А? Жалко мне тебя, Григорий Егорович! Ей-право, жалко, а то не пришел бы.

В последних словах я уловил нотки искренности и теплоты и никак не мог поверить, что слова эти обращены к Хватову — к Гришке Хвату. До сих пор Петр Кузьмич изучал, какое действие оказывает прямота руководителя, знание законов, каков Хватов в страхе и как докопаться до страха, а последними словами он докапывался уже до самого человека — до Григория Егоровича Хватова. А тот поднял глаза на председателя — уголок губ дергался, глаза часто моргали, брови поднялись, чувство растерянности овладело им, и он уже не мог этого скрыть, он стоял перед нами уже без скорлупы, с голой, обнаженной душой.

Петр Кузьмич методично оттирал все остатки его личины.

— Привык ты, Григорий Егорович, не тем заниматься, чем следует, а остановить было некому… Оторвался от народа, ушел в сторону и стал единоличником внутри колхоза… Может быть, хочешь остаться единоличником по-настоящему? Так мы можем это сделать, и есть к тому все основания. Как, а?

И Хватов хрипло проговорил, уже беспомощно и жалобно:

— Исключить, значит… Ну… убивайте! — и, неуверенно сделав несколько шагов, сел на лавку.

Это оказалось самым страшным для него словом, и он сам произнес, рубанул самого себя наотмашь, обмяк, согнулся и уже больше ни разу не взглянул на нас прямо. Ни разу!

— Позора боишься? — спросил Петр Кузьмич. — Не надо до этого допускать.

— Вы… меня теперь все равно… — Хват не договорил и махнул безнадежно рукой.

Петр Кузьмич подошел к нему, сел рядом, закурил и, пуская дымок вверх, примирительно сказал:

— Ну хватит нам ругаться… Пиши заявление!

— Куда? — спросил Хватов не глядя.

— В правление, куда же больше.

— Тюрьму, что ли, себе написать? — угрюмо бросил Хватов, не оставляя своего метода — отбиваться вопросами.

— Зачем в тюрьму? Колхозную честь соблюсти. Напиши, что просишь принять излишки сена… Ну и… — Председатель немного подумал. — Ну и напиши, что хочешь в кузницу молотобойцем. По ремонту инвентаря будешь работать: руки у тебя золотые, силенка есть… А плужки пусть на твоей совести останутся.

— Через все село везти сено! У всех на глазах! — Неожиданно закричал Хватов. — Не повезу!

— Тогда… обижайся сам на себя. Я сказал все. — И Петр Кузьмич встал, будто собираясь уходить. — Значит, не напишешь? — Он заткнул литровку тем же кукурузным початком и поставил ее на окно.

В хате наступила тишина. Лениво жужжала на стекле запоздалая осенняя муха. Тикали ходики. Шумно вздохнула Матильда и приложила к глазам фартук. Кукарекнул во дворе петух… Колбаса, огурцы и хлеб лежали нетронутыми.

Хватов произнес неуверенно:

— Подумаю.

— Ну подумай! Хорошенько подумай, Григорий Егорович! Мы к тебе с добром приходили… Хорошенько подумай! — повторил Петр Кузьмич и обратился к хозяйке с нарочито подчеркнутой вежливостью: — До свидания, Матильда Сидоровна!

Попрощался и я. Мы вышли. Рыжий пес попробовал залаять, но сразу раздумал, вильнул хвостом в сторону, опустил его снова и поплелся в конуру.

Через несколько дней председатель зачитал на заседании правления в «разных» заявление:

«Председателю колхоза тов. Шурову П. К.

от рядового колхозника Хватова Г. Е.

***Заявление***

Как я имею излишний корм и как в колхозе от засухи кормов внатяг имеется, то прошу принять с одной стороны от меня лишок сена. Точка, желаю жить в общем и целом а также прошу назначить меня молотобойцем в кузницу как я имею понятие по ремонту и тому подобно.

Прошу тов. председатель попросить правление в просьбе моей не отказать а работать буду по всей форме и так и далее.

*К сему роспись поставил: Хватов».*

Все присутствующие знали, что это за сено и как оно попало в колхоз, и все глядели на Хватова с презрением, смешанным с сожалением. Он же что-то рассматривал то на потолке, то на кончике сапога и избегал смотреть прямо на сидящих.

Никаких возражений заявление не встретило: Петр Кузьмич заранее договорился с членами правления, Никишки Болтушка здесь не было, и просьбу «удовлетворили» без прений. Только Евсеич напоследок сказал:

— Ясно дело, Гришка! Должон понять, ультиматум тебе поставили. Только думаю — хитришь ты. А?

Хватов ничего не ответил и не возразил. Он переминался с ноги на ногу и мял в руках фуражку.

…Как-то там теперь Матильда Сидоровна?

# Игнат с балалайкой

В один из предуборочных дней я работал на апробации посевов пшеницы: набирал снопы для определения сортовой чистоты, учета болезней и вредителей; сделаешь шагов тридцать — сорок, путаясь в густых хлебах, заберешь в горсть пучок стеблей, выдернешь их с корнем — и дальше, а через такой же промежуток — еще пучок, и так до тех пор, пока не составишь средний образец с участка, апробационный сноп, в котором после, уже в агрокабинете, анализируется каждый колосок.

Время перевалило за полдень. Пальцы начинали неметь, стебли в них скользили и уже не сразу выдергивались: чувствовалась усталость, хотелось отдохнуть, закусить, попить родниковой водички. Игнат понес очередной сноп к подводе, а я остановился, вытер лицо уже влажным платком и осмотрелся вокруг.

Тишина такая, что даже ости колосьев не шевелятся, но вдали хлеба, казалось, волнами уходят в небо, сливаясь с синевой, тают, исчезая в дрожащем мареве, и никак не поймешь, где кончается пшеница и где начинается небо. Так обманчива июльская марь в тихий день, что глаз перестает отличать дальние предметы от ближних; они плывут, дрожат, меняют очертания и будто стоят в воде: марь отрывает их от земли. Вдали на разных участках несколько комбайнов, уже готовых к уборке, расставлены по своим местам; они тоже дрожат, то опускаясь, то поднимаясь вверх выше пшеницы, и кажутся воздушными кораблями: вот-вот тронутся и поплывут над полем! По шляху проскочило несколько автомашин с горючим для уборки, за ними вытянулся огромный хвост пыли. Он долго стоит, подрагивая в общем потоке маревых волн. И вдруг… Гудит, рокочет где-то самолет. Звук то слышится прямо над пшеницей, то совсем пропадает — и вдруг снова близко, отчетливо. Да где же он? Как ни вглядывайся в небо, приложив ладонь к козырьку, не найдешь! Самолет совсем недалеко, километрах в трех, на бреющем полете обрабатывает с воздуха посевы люцерны от вредителей, а кажется, что наполнены шумом и небо и земля и что звучит марево.

Солнце печет. Невидимый жаворонок звенит то в двух-трех метрах от уха, то невообразимо далеко, у самого солнца: будто подвешен колокольчик на громадной нитке и медленно раскачивается с серебряным перезвоном.

В тихий, жаркий предуборочный день в поле есть своя особенная прелесть. Агроному не хочется уходить отсюда: он прощается с колосьями до будущего года, ему становится даже немножко грустно, но грусть эта перемешивается с радостью и надеждами; грусть эта — глубоко человечная, такая же, наверно, как у инженера, который строил корабль и провожает его взглядом в море, провожает кусочек своей жизни и своего труда.

Честное слово, я так и сказал вслух: «Прощайте, прощайте! До будущего года!» — и пошел к подводе, на отдых, туда, где скрылся Игнат. Шел и думал: и поле уже не то, что было когда-то, лет двадцать назад, когда я был молодым человеком, и люди стали не те, какими были, даже «лодырь теперь не тот пошел», как говаривал уже знакомый нам Евсеич. С такими мыслями я и подошел к Игнату.

Игнат Прокофьевич Ушкин, которого на селе все зовут просто Игнатом, прикреплен ко мне на несколько дней для апробации. Он следует за мной по полям неотлучно, принимает от меня снопы, аккуратно доставляет на руках до подводы, укладывает их так, чтобы не помять и не обмолотить. Сноп он всегда берет осторожно, поднимает над головой обеими руками и несет, как какой-нибудь сосуд с жидкостью, будто боясь расплескать. На Игната пожаловаться никак нельзя: работает он аккуратно, но очень уж медленно все делает!

— Ох, и печет же сегодня!

— Печет, — равнодушно, в полудремоте согласился Игнат.

Он лежал на траве вверх животом, подложив обе ладони под затылок и накрыв лицо фуражкой от солнца. Лошадь в упряжи, хотя и с отпущенным чересседельником, паслась по краю лощины.

— Отпрягай! Обедать будем. Отдохнем.

— А чего ее отпрягать? — сонно отозвался он, не пошевелившись.

Жара разморила его, он, видимо, тоже устал путаться ногами в густой пшенице, клонило в сон.

— Лошади неудобно так пастись.

— Трава хорошая: и так закусит, — возразил Игнат, не меняя положения и все таким же сонным, с хрипотцой, голосом.

— Ну и лентяй же ты! — сказал я.

Он поднялся. Посидел немного, почесал живот, посмотрел на лошадь, на меня, глянул вверх мимо солнца и произнес:

— Печет. — Немного подумал и добавил: — Июль… Почему «лентяй»? — спросил он и тут же ответил: — Никакой не лентяй. Сейчас отпрягу.

Видно, он не обиделся на меня, пошел насвистывая, не спеша. Он подвел лошадь, распряг ее и стреножил. Мы спустились вниз, в лощину, к роднику, напились, обмыли лица.

Игнат присел против меня.

— До того нажарило голову, аж в сон бросило. Говорю, а сам сплю. Кажись, сутки так и пролежал бы.

Полуденную дремоту с него согнало, а лицо, омытое ключевой водой, повеселело. Взгляд у него открытый, без прищура, серые глаза окаймлены светлыми густыми ресницами, ему около тридцати лет, но с виду он моложе: круглолицый, с розовыми щеками. Движения у Игната медлительны, но уверенны, всегда спокойны; говорит он тоже медленно, но выразительно, меняя интонацию и жестикулируя руками и даже головой.

— Вот говорят про меня: «Игнатка — лентяй», «Игнат — бездельник», «Игнат дисциплины не понимает». — Он медленно развел руки, будто удивившись, поднял маленькие бровки и вдруг ударил ладонями по коленям. — И вы тоже на меня — «лентяй»! А почему говорят? Это дело глу-убо-окое! — погрозил он кому-то пальцем. — Ты мне дай работу по вкусу! Дай, а тогда говори!

— Кому это ты речь держишь?

— Известно кому — бригадиру, Алешке Пшеничкину. — Голос у Игната очистился от сонной хрипоты и стал довольно чистым тенорком; продолжал он уже энергичнее: — «Ты, — говорит, — меня замучил! Ты, — говорит, — летун, а не колхозник! Я, — говорит, — на тебя докладную подам!» (Игнат написал в воздухе «докладную».) Это я-то его замучил? Нашел дурака. Игнат да Игнат! Да что я им дался?

— Ты это напрасно, Пшеничкии — бригадир очень хороший.

— А я и не сказал, что он плохой. Нет, пущай он даст мне постоянную, чтобы я при деле был. У меня тоже нервов нету, я тоже

был на войне, а теперь и работу себе не выбери по вкусу. Я, брат, им покажу. Игнат, думаешь, так себе? Не-ет! Я по облигации пять тысяч выиграл: возьму вот и уеду в санаторию. Почему другим можно, а Игнату нельзя? — спрашивал он не то самого себя, не то обращаясь все к тому же Пшеничкину. — Можно и мне. Можно или не можно? — Игнат посмотрел на меня.

— Можно, конечно, но только в работе скакать с места на место — это плохо. Дисциплину понимать надо, — повторил я его же слова.

Игнат молча посмотрел на меня еще раз, вытер рукавом губы после еды и махнул рукой, будто хотел сказать: «А ну вас всех к лешему!» Встал и пошел к лошади: отогнать ее от посева.

Все остальное время дня он о чем-то думал, изредка грозил молча кому-то пальцем. Иногда дремал и клевал носом в передок брички.

А вечером на наряде он заявил бригадиру решительно:

— На апробацию завтра не пойду: пропекло голову и… работа тяжелая — от солнца до солнца.

Белокурый и голубоглазым бригадир Пшеничкин — тот, что ездит всегда верхом на белом меринке, — воскликнул:

— Ну что с тобой делать? Что ни день, то фокус, что ни день, то опять! Ты ж все работы в колхозе перебрал, и все не по тебе. На ферме был, на волах ездил, прицепщиком был, около цыплят был, в кирпичных сараях был, на свекле был, и все тебе — не та работа.

— На апробацию не поеду, — еще раз сказал Игнат, будто вся речь Пшеничкина его не касалась и он сообщал это бригадиру как окончательно решенное и не подлежащее обсуждению.

— Тогда никакой работы не дам! — вспылил Пшеничкин и сжал в кулаке свою фуражку. — Иди до дому! Предупреждение у тебя есть, выговор есть, штраф на три трудодня тоже есть: что тебе еще надо? Что по уставу осталось? Подать докладную, чтобы исключили? Так, что ли?

— Подай, — равнодушно ответил Игнат. — Подай! А я им там скажу.

— Скажешь — «воевал»? Знаю… Я тоже скажу, что в роте Игнату Ушкину попадало за нарушение дисциплины.

— Что там со мной было в роте — не твое дело, Алеша, а орден-то за что-нибудь дали Игнату: их зазря не дают.

— Но зато мое дело, где тебе сейчас быть. Понял? Ну, Игнат, — убеждал Пшеничкин, протягивая ему обе руки, — ты подумай только, что ты за человек!

— Не! Не поеду. Давай другую работу!

— Нет тебе никакой работы. Иди! — горячился бригадир. — Доложу председателю.

— Ну доложи, доложи, а я пойду в район жаловаться, — все так же невозмутимо говорил Игнат.

— Иди!

— И пойду.

— Ну и иди!

— А что ж, не пойду, думаешь? — не меняя тона, спрашивал Игнат.

Жаловаться он, конечно, никуда не пошел, да и сроду ни на кого не жаловался.

На следующий день, еще не ведая о вечернем разговоре с бригадиром, я зашел спозаранку к Игнату, чтобы поторопить с отъездом в поле. Хата его, в отличие от соседних, была неприглядна: глина кусками отвалилась от стен, крыша оползла и осела верблюжьим горбом; навоз навален около хлева так, что можно, как по горке, взойти на самый хлев; лопата с поломанной ручкой валялась у стены.

Солнце еще не взошло, но в хате уже слышалась легкая перебранка. Говорила жена Игната:

— Что ж ты ни за что дома не берешься? Крыша течет, хлев худой, полы надо перемостить, печь переложить, а ты…

— А я гармонью новую куплю, буду учиться играть, — отговаривался Игнат незлобиво, и нельзя было понять — шутит он или нет. — Кордион куплю.

Я вошел, поздоровался.

У Игната ворот рубахи расстегнут, босые ноги висят с кровати и чешут одна другую; волосы похожи на мятый, перепутанный лен: видно, что проснулся недавно. Жена, Домна Васильевна, стоит у печки, уже готовая идти на работу; в хате подметено, стол вымыт. Ростом она выше мужа, полногрудая, чернобровая. Мальчик лет трех сидит на скамейке и играет, гремя коробкой с пуговицами.

— О чем спор?

Игнат ответил не сразу.

— Обвиняет меня супружница в неправильном подходе к личному хозяйству. А я ей говорю, что личное хозяйство теперь — тьфу! При коммунизме не надо будет ни хаты, ни коровы: надо молока — на, бери! — и он сложил пальцы так, будто держал литровую банку и уже кому-то ее подавал. — Надо тебе квартиру — на, бери! Надо, скажем, тебе гитару тальянскую о двенадцати струнах — на гитару, бери, только играй, пожалуйста!

— Да тебя до тех пор потолком завалит! — Домна Васильевна подняла беспокойные глаза вверх и указала на пятна. — Хочет с раскрытой крышей до коммунизма дожить. Кто тебя туда пустит с такой хатой? Горе ты мое!

— Пуговку вынь! — спокойно сказал Игнат.

— Что?

— Пуговку Ленька заглотнул: вынь!

— Да что ж ты сам не мог вынуть? — Домна Васильевна кинулась к ребенку.

— Твое дело за ребенком смотреть.

— А если проглотил бы? — спросила она с сердцем и, нажав на щечки мальчика, вынула пуговицу пальцем.

— Ничего ему не подеется. Телок на ферме целый пояс заглонул, ничего не сотворилось — жив и по сей день! — сказал Игнат, не меняя позы, по было в его тоне что-то тонкое, насмешливое, чего, может быть, не понимала и жена.

— Ну хватит балясы точить! — почти мирно заговорила Домна Васильевна. — Давай на работу, а я Леньку в ясли занесу.

Игнат посмотрел на меня и сказал, будто отвечая жене:

— Не думал сегодня на работу.

— Да ты что? С ума сошел? — крикнула его жена. — У меня, у женщины, триста трудодней, а у тебя сто сорок! Ты что, хочешь меня осрамить? Куда ни пойди, все — «летун» да «шатай-валяй»… А ну-ка, одевайся! — Она решительно подошла и без труда сдернула его с кровати. — А ну, иди запрягай!

— От чортова баба! — сказал Игнат и, видимо ничуть не обидевшись, стал обуваться, затем умылся, и вскоре мы вышли с ним вместе.

Три дня промучился со мной Игнат на апробации, но — что интересно! — исполнял все точно и аккуратно. А в это время

бригадиры и председатель колхоза продолжали обсуждать, что делать с Игнатом.

На любой работе он дольше недели не выдерживал и просил другую: на вывозке навоза у него «рука развилась», на сенокосе — «нога отнялась», на тракторном прицепе — «дых сперло от пыли», даже на апробации — «голову напекло» и «нервы не держут». «Нервы, — говорит, — нужны крепкие. А ну-ка, сноп обмолотится или развяжется — вот и беспокойство целый день. Мне нужна работа покойная».

Собственно говоря, он ежедневно на работе и вполне понимает, что — по уставу — его исключить не могут, но заработки его слабые, половинные: полтрудодня ежедневно вкруговую не выходит. «И кому какое дело, — говорит он, — сколько я зарабатываю! Может, мне и этого заглаза хватает».

Вывести Игната из терпения совершенно невозможно, его, как говорится, «ни гром, ни райком» не растревожат. Он иногда поет под балалайку песни грустные или веселые, смотря по настроению. О музыке поговорить любит и иногда скажет:

— Гармонь у меня «трехтонка» и «граматика» с заемным басом.

— Что она у тебя — автомашина или книжка? — удивился я как-то.

— В музыке тоже понятие надо иметь, — объясняет Игнат, — «трехтонка» — это в три тона играет, а «граматика» — это такой лад, граматический называется.

— Хроматический.

— Вряд ли! — сомневается он. — Все настоящие гармонисты так говорят.

Переубедить его нет никакой возможности: он не спорит, но и не соглашается, оставаясь при своем мнении. Еще в школе, малышом, он сказал учительнице: «Без тебя знаю». А все оттого, что рос единственным сынком, всегда только и слышал, что «умница», да «молодец», да «не тронь топор», «не хватай молоток», «поставь ведро! Сами воды принесем», и ничего ему не приходилось делать: «Сами сделаем. Играй, Игнатка!» Так и привык. Люди стали комбайнерами, бригадирами, трактористами, агрономами, а Игнат — с балалайкой. Так и пошла по колхозу пословица: «Работает, как Игнат с балалайкой».

Ну, это все дело прошлое: год от году Игнат все-таки работает лучше, все-таки минимум стал вырабатывать, хоть и с натяжкой. Однако уважения колхозников все равно нет, да и какое может быть уважение к человеку, который дальше минимума не идет! А между прочим, Игнат обладает довольно трезвым рассудком и шутку отколоть любит такую, что запомнится всем надолго; шутит он чаще всего загадками, так, что спервоначалу и не поймешь, и при этом не ждите от него улыбки: лицо не изменится ничуть, останется таким же спокойным, как и всегда, а улыбнется он только после, иногда даже через несколько дней.

Вот, например, какой получился у него случай с плотником Ефимычем, с которым у Игната были всегда хорошие отношения.

Убило громом свинью у Ефимыча. Конечно, в доме — горе. Собрались и соседи и дальние односельчане, набились во дворе, ахают, сожалеют, сочувствуют:

— Эх, какая свинья-то хорошая была!

— Ай-яй-яй! Еще бы две недельки и колоть можно!

— Убытки-то, убытки-то какие, Ефимыч!

Сам Ефимыч в горестном виде в сотый раз пересказывает, как он стоял около свиньи, как «оно ахнуло, треснуло, разорвалось» около него, как он сперва оглох и что то «долго пищало в ушах, а потом отлегнуло». А Игнат слушал, слушал, да и говорит:

— Плясать надо, а не плакать.

— Что ты — с ума сошел? — рассердился Ефимыч.

Старуха Ефимыча плачет.

— Бессовестный! У тебя соображение есть или нету? У нас горе, а ты «плясать».

— Иди со двора! — зыкнул могучим басом Ефимыч. — Сам в четверть силы работаешь, да хочешь, чтобы и у других живности не было.

Игнат ушел.

Так расстроенный Ефимыч и не сообразил, что ведь могло ж убить его, а не свинью, что стоял-то он рядом с нею! С тех пор старик остался в обиде на Игната и никогда с ним не разговаривал.

Друзей у Игната совсем не стало, к тому же жена пилит и пилит ежедневно. И решил он уходить в город, но неожиданно, будто бригадир Пшеничкин следил за его мыслями, вызвали Игната в

правление. С первого зова он, конечно, не пошел, а сказал посыльному:

— Сперва пусть скажут, по какому делу.

Посыльный вернулся и сообщил:

— На постоянную назначают.

— Пущай скажут на какую, а я тогда подумаю: идти или нет.

Но все-таки со второго зова Игнат в правление пошел и уступил. Как уж они там решали, не знаю, но только Игнат встретился мне сияющий.

— Назначили, — говорит, — на пожарку! А что ж! Лошадь, бочка воды, насос: больше ничего! Семьдесят пять соток ежедневно: чего Игнату больше надо? Ничего Игнату больше не надо! Дал слово: до конца уборочной дежурить.

Пожарный сарай стоял в десяти — пятнадцати метрах от агрокабинета. С Игнатом мы теперь виделись часто.

Однажды в открытое окно я увидел Игната. Он сидел на пожарной бочке в холодке с балалайкой в руках и изредка отмахивался от мух. Все дни он был веселым, а сейчас что-то загрустил, тихонько потренькивая струнами. Потом, склонив голову набок, Игнат запел:

Ах, где вы сокрылись,
Ах, карие глазки…

— Нет, не так, — оборвал он на полуслове и запел снова, встряхивая головой при ударе пальцев по струнам:

Ах, где вы сокрылись…

— Нет, не так! — снова воскликнул он. Ловко почесав спину углом балалайки, схватил горстью муху на коленке, взял ее двумя пальцами, рассмотрел, бросил в бочку и некоторое время наблюдал: вероятно, муха кружилась на воде, и он любовался рябью. Потом, встрепенувшись, опять запел.

Он повторил куплет раз десять и неожиданно умолк. Поставил балалайку между коленями, оперся подбородком о гриф и задумался.

Ко мне в кабинет вошел Пшеничкин.

— Завтра можно начинать, — сказал он, присаживаясь на стул.

Мы договорились выехать вместе на третий участок к комбайну завтра к десяти часам утра: рано там делать нечего, так как хлеб только-только «подошел» и поутру будет сыроват для уборки.

Пшеничкин собрался уже уходить, но я указал ему на окно. Игнат сидел, задумавшись, в том же положении, только ноги чуть разъехались на бочке.

— Во! Сидит… И хлопот же с ним! — сказал бригадир сердито.

— Уйдет?

— А кто его знает! Ведь и малый он не плохой, а поди ж ты, никакого подходу не придумаешь. Мне от председателя, Петра Кузьмича, уже чуть-чуть попало.

— А тебе за что?

— «Ваша, — говорит, — ошибка как бригадира: ответственности ему не предъявляли в работе, потачку давали. Этого, — говорит, — штрафом не возьмешь: ответственностью ему в лоб!» Пожалуй, моя ошибка есть, — согласился Пшеничкин.

— Ну, и как же решили?

— Сдали ему пожарный инвентарь, лошадь, сбрую по акту и в полной исправности — на шесть тысяч рублей: уйди попробуй! Мало того, вдруг пожар: не выедет — судить могут. Все это ему втолковали вчера, а в первый день только акт сдачи подписали.

Так вот о чем задумался Игнат, вот откуда тоскливые «карие глазки»! Уходя, Алеша сказал:

— Кузьмич вцепился — не оторвешь: придется Игнату перестроиться.

…А председатель уже звонил в город начальнику пожарной команды и просил прислать специалиста: проинструктировать вновь выделенного пожарника Игната Прокофьевича Ушкина.

Вскоре приехал инструктор и два дня провел с Игнатом. Сначала учил, как обращаться с насосом, как складывать в ящик шланг; потом позвали шорника и переоборудовали сбрую так, чтобы лошадь можно было запрячь в течение двух минут. По сигналу инструктора Игнат подскакивал к лошади, заводил в оглобли и запрягал, но приезжему все казалось, что медленно, и он повторял тренировку до тех пор, пока не нашел работу Игната удовлетворительной. Игнат тоже был доволен: так быстро запрячь ни один человек в колхозе не может! Сам

Пшеничкин не может! А Игнат Ушкин может, Игнат знает точные движения!

Затем инструктор ходил с Игнатом в конюшни, фермы, ездил по полям и говорил:

— Учти! Огнетушителей всего восемнадцать штук — следи за исправностью, прочищай отверстия! Так. У комбайнов имеется шесть огнетушителей: проверяй налетом, как коршун! Комбайнеры недооценивают значение огнетушителя. Так. Токи и скирды опахать: мертвую полосу сделать кругом них, чтобы огонь не подобрался. Так. Зернохранилище обсадить деревьями: защита со временем будет. Все это на твоих руках. Твоя первая заповедь: «Ни одного пожара за лето!»; от тебя зависит — будет хлеб цел или нет. Когда хата или скирда сгорит, то золу и дурак затушит, а наше главное дело — не допустить пожара. Насчет добровольной дружины думай: поставь на правлении вопрос ребром!

Все рассказал пожарник и уехал.

В первый день после отъезда инструктора Игнат пел полным голосом:

Эх! Как у наших у ворот
Да комар музыку ведет…

— Э-эх! Э-эх! — он притопывал ногой, давал дробь пальцами по балалайке, передергивал плечами. Видно было по всему, что дела пошли веселые.

В тот же день вечером пришел он в правление. Заседания при Петре Кузьмиче кончались рано, ночных мучений, как при Прохоре Палыче, уже не было, и Игнат попал к «разным».

— У меня есть вопрос ребром, — сказал он, когда счел это нужным.

«Так и есть, — подумали присутствующие, — отказываться пришел. Ну и Игнат!»

Алеша Пшеничкин даже подпрыгнул на стуле.

— Ну что с тобой остается делать? — воскликнул он.

— Я скажу, — ответил Игнат. — Главное дело, не торопись! Чего испугался? Выражаться, сам знаешь, не буду.

— Говори! — улыбаясь, поддержал Игната Петр Кузьмич.

— Товарищи! — начал Игнат и обвел всех взглядом. — У меня на руках на шесть тысяч разного имущества. Задаю вопрос и отвечаю: кто сейчас на пожарке? Никого. Где Игнат? В правлении. А если пожар случится в настоящий вечерний момент, то кто выедет с пожарным агрегатом на тушение такового? Никто. Игната там нету. Что же вы думаете по этому вопросу? Игнат пятеро суток живет на бочке — и день и ночь. Если меня назначили лежать и спать, то буду лежать и спать. Я кончил, а вы решайте!

— Ничего пока не понимаю, — сказал Петр Кузьмич.

— Отказываешься? — спросил Пшеничкин.

— Тогда добавлю. Может человек круглые сутки не спать или не может? — спросил Игнат и тут же авторитетно ответил: — Не может, товарищи, обыкновенным человек жить не спавши, не может. Не знаю, как вы, а я бы на вашем месте догадался: одного подсменного на пожарку поставить надо обязательно, чтобы двое: один — на ночь, другой — на день. Догадались?

— Догадались, — ответил Петр Кузьмич вполне серьезно. — Удовлетворим.

Игнат повеселел, речь пошла смелее, а Алеша Пшеничкин облегченно вздохнул.

— Не все! — продолжал Игнат. — Случаем — пожар, то как? Двое только и тушить будем? А все прочие — анархия да «Караул!», «Батюшки!»? Нет, товарищи, нельзя! Нельзя. У Петуховых хата горела, то что тогда получилось? Один полез на лестницу да испугался — и назад, а снизу двое сразу вверх лезут: столкнулись и грохнули наземь все втроем вместе с лестницей. Было ж такое дело? Было, никто не отрицает. Никита печенки отбил где? На пожаре — с лестницы упал… А хата все равно сгорела дотла.

— Разгадал! — воскликнул Петр Кузьмич. — Дружину добровольную надо организовать. Так?

— Точно, — подтвердил Игнат.

После короткого обсуждения решили вопрос и насчет дружины, но Игнат не унимался.

— Не все еще. Что лучше: тушить пожар или не допустить пожара? Каждому ясно, товарищи, что лучше делать так, чтобы пожара не было совсем. Ставлю ребром, — он поставил ладонь ребром,

посмотрел на нее и продолжал: — Опахать токи, обсадить зернохранилище, следить за исправностью огнетушителей, — тут он рубанул ладонью воздух. — Ребятишкам спичек в сельпо не продавать ни под каким видом, и табаку — тоже. Когда это безобразие кончится? Сам с цыгарку, а дымит, как паровоз! Так. И еще добавлю: на фермах — под метелку, ни соринки, ни соломинки, чтобы огонь не подобрался. Какая первая заповедь — спрашиваю я вас, товарищи? Какая? Отвечаю: ни одного пожара за лето!

Петр Кузьмич зааплодировал, и все его поддержали.

В тот же вечер Игната отозвал в сторону бригадир Платонов — тот, что ездит только на дрожках, — и сказал так:

— Хорошо действуешь, Игнат Прокофьевич, хорошо. — Тут Платонов сделал таинственное лицо, осмотрелся по сторонам, хотя они стояли в дальнем углу комнаты, и по секрету зашептал: — люди могут сказать: мол, за пожарами следит, а своя хата антипожарная. Чуешь? Конек прикрой и глиной залей, обмажь хату, побели!

— То — личное, тьфу! — так же тихо прошептал Игнат и даже плюнул тихонько.

— Другие-то хаты личные, а ты же их охраняешь. Тут пример должен быть. Чуешь?

Игнат задумался.

Несколько дней подряд он ходил с палкой в руках по токам, к комбайнам, бывал на фермах, ходил в самую жарищу, и головы ему не напекло, как на апробации, хотя дни стояли еще более жаркие, чем тогда.

Пришел Игнат в бригаду Алеши Пшеничкина на ток и говорит:

— Опахать! На правлении решили, и инструкция гласит: опахать на двенадцать метров кругом.

— Сейчас не могу, — возражает Алеша, — все лошади заняты.

— А после пожара можешь? — задает вопрос Игнат.

— Но! Прилепился! — неосторожно сказал Пшеничкин.

— Как, как? Ты меня ставил на должность?

— Я.

— Почему тогда не выполняешь инструкцию? Если так, давай другую работу!

— Ну завтра, понимаешь, завтра!

— А я завтра иди к тебе проверяй? Их четырнадцать токов в колхозе: если все — завтра, то двадцать восемь дней потребуется. Инструкция гласит: ток готов — опаши!

Алеша начинал волноваться.

— Тебе надо, чтобы я лежал? — обратился Игнат к бригадиру. — Буду лежать. — И он, правда, вытянулся среди тока и подложил ладонь под голову. — Лежу, пока ток не опашешь. Я все сказал, Алексей Антонович. Хоть три дня буду лежать, я могу. — Он помолчал и уверенно заключил: — Опашешь! Скирдой меня закладывать не будешь!

Пшеничкин даже плюнул с досады.

— Сергей Васильевич, — крикнул он, — выпрягай из брички! Давай опашем ток… Плуг там, в сарае.

После того как опахали ток, Игнат направился к комбайну. На ходу взошел на штурвальный мостик, вытащил из держателя огнетушитель, постучал по нему щелчком, сошел снова вниз, забежал вперед и поднял руку. Комбайнер — молодой, широкоплечий паренек, покрытый пылью и половой так, что и не поймешь, то ли брюнет, то ли блондин, — замахал ему рукой и и кричал:

— Сойди, говорю!

Тракторист грозил Игнату кулаком из дверцы кабины и жестом показывал, как он раздавит его в лепешку, но тот стоял невозмутимо. Стал и весь агрегат. Все подбежали к Игнату: тракторист, комбайнер, штурвальный, двое соломокопнильщиков. А Игнат вдруг сел на землю, видимо опасаясь, что его просто столкнут с дороги. Комбайнер совал ему громадный гаечный ключ к носу и кричал:

— Остановить агрегат — преступление! У меня — норма, у меня — сроки! Ты понимаешь — хлеб!

Игнат сказал:

— Садитесь!

Никто, конечно, не сел, и все дружно плюнули, а тракторист вскочил в кабину и включил скорость. Залязгали гусеницы трактора, загремел комбайн. Но Игнат лег, опершись на локоть, и ковырял соломинкой в зубах. Гусеницы остановились в двух метрах от него: поверни тракторист вправо — хлеб помнешь, поверни влево — зарежешь хедером Игната. А тот поманил пальцем комбайнера: дескать, придешь все равно, через человека не поедешь! Комбайнер

подошел, ударил фуражкой оземь и начал выражаться разными словами, а Игнат спросил:

— Огнетушитель для чего? — И, не дожидаясь ответа, сообщил: — Для безопасности от огня. Заряди!

— Да заряжу вечером, на заправке! Не могу допустить простой! В райком пожалуюсь!

— Никакого простоя не будет: вода есть, заряды есть, пятнадцать минут — и готово!

— Вечером, говорю! — кричал комбайнер. — Ты человеческое слово понимаешь или нет? Ве-че-ром!

— Человеческое понимаю, а вот как ты выражаешься, не понимаю, — отозвался спокойно Игнат, глядя вверх на облачко, будто ничего и не случилось.

Комбайнер устыдился и уже тише сказал:

— Ну, слышь: вечером!

— Ничего не вечером. А я, дежурный пожарной охраны, должен к тебе вечером идти проверять? Нет, вечером не могу. Сейчас делай! Инструкция гласит как? А так: без огнетушителя не смей косить! Без огнетушителя — ни шагу вперед! Затем он и придается к сложному агрегату, который тебе доверили. — Тут Игнат ударил кулаком о землю. — Сам секретарь райкома, Иван Иванович, сейчас был и говорит: «А сходи-ка, Игнат Прокофьевич, проверь огнетушители на комбайнах!» — Игнат решительно встал, отряхнул колени и зад ладонью. — Давай ведро, воду, заряды! Заряжать умеешь?

— Учили… Знаю, — буркнул комбайнер и вскоре загремел ведром.

Делали все быстро: в ведре воды растворили пакеты щелочи, залили раствор в камеры огнетушителя, вставили два стеклянных закупоренных баллончика куда следовало, подвязали кусочек картона под ударник; вся процедура заняла не более пятнадцати — двадцати минут. Когда огнетушитель, уже заряженный, вставили в гнездо, Игнат подал проволочный крючочек комбайнеру и сказал:

— Привяжи к аппарату, будешь ежедневно прочищать выходное отверстие! — Не оглядываясь, он пошел к следующему комбайну.

Короче говоря, Игнат Прокофьевич навел полный противопожарный порядок в поле и принялся за фермы. Там он заявлял:

— Говоришь: «некогда», «молоко прокиснет»? А после пожара не прокиснет? Уберите сухой навоз, подметите! Тогда уйду. Вот сижу на молочном баке и буду сидеть хоть трое суток — я могу! — а вам молоко лить некуда.

Сладу с ним никакого не было, и его жена, Домна Васильевна, работавшая на ферме дояркой, высказалась так:

— Бабоньки, ничего не поделаешь! Я его знаю: если втемяшится, то паровозом не сдвинешь. Давайте очищать! Он у меня целый месяц уже не обедает дома, а вечером как доткнется до кровати, так замертво и засыпает.

А Игнат, сидя на баке, выбивал на нем всеми десятью пальцами «комара» и объяснял жене:

— Должна понимать, сколько на мне колхозного добра лежит: пожарный инвентарь, пять комбайнов, четырнадцать токов, четыре фермы… А триста хат колхозников? Они хоть и личные, но гореть им пока еще не надо. «Не обе-едает до-ома!» — передразнил он шутливо. Так, думаешь, и не обедаю? Сейчас в любом мосте и поле можно пообедать — только ешь, пожалуйста! Примерно, пришел Игнат на ток, а ему: «Игнат Прокофьевич, садись за компанию!» Он снял фуражку, поклонился и продолжал: — Игнат — к комбайну, а ему говорят: «Товарищ Ушкин, отобедать не угодно?» — Он отвел руку с фуражкой в сторону и еще раз поклонился, — У вас вот только и спорить приходиться, как с несознательными элементами, а другие сразу инструкцию выполняют.

Конечно, фермы очищались, подметались, Игнату в заключение подносили двухлитровую посудину молока, и все, в конечном счете, были довольны. Даже колхозники не стали возражать, когда он, делая обход, выговаривал:

— Когда трубу чистила? Сто лет назад, в царствование дома Романовых. Инструкция, в примечании, гласит: «За нечистку трубы штраф двадцать пять рублей». Подвергаешь опасности населенный пункт и социалистическое имущество. Завтра проверю.

И все стали аккуратно чистить трубы. Однако когда Игнат зашел к плотнику Ефимычу, чтобы проверить трубу, тот схватил увесистый дубовый метр и, не выслушав контролера, молча погнал его со двора.

Игнат не обижался, Игнат работал с песнями и присвистом, хотя и не спеша. А бригадир Платонов, глядя на Игната, толковал Алеше

Пшеничкину:

— Знаешь, Алеша, ему бы коня под седлом да «тулку» за плечи: ой и объездчик был бы мировой! Сам пылинки чужой не возьмет и рвачу не даст.

— Если только новый фокус не выкинет. Боюсь пока за него. Вряд ли он в пожарке-то усидит на одном месте, а не то что в объездчики, — сомневался Пшеничкин.

Но и зимой, на удивление всему колхозу, Игнат остался на пожарке и еще, кроме того, взялся по совместительству вязать сорговые веники для продажи, а когда сдавал их в кладовую готовыми, то говорил:

— На каждом венике вензель выжжен — «Н. Ж. И.». Повыше — «Н. Ж.», а «И» — чуть ниже. Это значит, — объяснял он, — колхоз «Новая жизнь», а вязал веник Игнат. Таким веником хоть Красную площадь подметай — не стыдно!

Кто ж его знает, этого Игната! Может быть, он и вправду мечтал, что веники попадут в Москву и кто-то будет подметать ими Красную площадь.

Всю зиму увлекался он вениками и, наконец, стал их делать прямо-таки художественно: вплетал лычки, хитро перевивая на рукоятке, весь веник подбирал по одной стеблинке, а у основания рукоятки приделывал бантик из тонкого белого прутика. Правда, изготовлял он веников вполовину меньше прочих мастеров-колхозников, но лучше никто не вязал.

…К, весне ближе, когда пригрело солнышко и набухла речка, когда с бестолковым перекликом полетели гуси да засвистели в сумерках крыльями утки, Игнат заскучал.

Он подолгу прислушивался к скворцу, всплескивал руками и восхищался, когда тот то ворковал голубем, то свистел по-мальчишьи или хохотал по-сорочьи.

— От музыкант так музыкант! — восклицал Игнат. — От скворец — молодец, а ворона — дура!

Иногда часами просиживал около пожарного сарая, встречая и провожая стаи гусей, и тихо говорил:

— Эх вы, гуськи, гуськи! Молодцы гуськи!

Часто заходил, по соседству, ко мне в агрокабинет, сидел молча, читая газету, и никогда не мешал работать, разве только скажет:

— Все пишешь, Акимыч.

— Надо. Требуют, чтобы аккуратно и во-время все делалось, по плану.

— Летом — днями в поле, зимой — все пишешь… Трудная работа!

— Нет, — говорю, — хорошая, Игнат Прокофьевич, работа.

— Требуют, говоришь? — спросит он, глядя в пол.

— А как же!

— Эх-эх-хе! — вздохнет он. — А с меня никто не требует: вроде так и должно быть.

— Вот подойдет лето, снова будешь хлопотать, добиваться противопожарного порядка: оно и веселее будет.

— Да они теперь, двадцать километров недоезжая, позаряжают огнетушители, а на фермах — привыкли… Чего я буду делать? Нечего Игнату делать! Бочка воды, насос и лошадь: сиди, Игнат, жди пожара! Разве это работа?! После этих слов махнет безнадежно рукой и выйдет.

Заскучал Игнат и, потренькивая на балалайке, тихонько пел у пожарного сарая:

Эх! Летят утки…
Летят утки и два гуся…

Он долго тянул последнюю ноту, потом вдруг резко встряхивал головой, вскрикивал: «Э-эх!», делал паузу и, медленно поникая головой, заунывно продолжал:

Эх! Чего жду я… Чего жду я,
Не дожду-у-уся-а-а…

Чего ждал Игнат — неизвестно, но недаром же он переделал куплет на свой лад: «кого люблю» заменил «чего жду я». Пел он тихо, плавно и вдруг давал дробь пальцами по балалайке, высыпал прибаутку:

— Э, будь ты, Игнат, неладен!

Бабка сеет вику, дедка — чучавику!
Чучавику с викою, да вику с чучавикою!

А потом снова:

Летят утки, летят утки…

Перепуталось настроение у Игната, совсем перепуталось! И делать, как видно, он ничего не хотел, даже и ходить стал как-то еще медленнее, нехотя, будто отяжелел.

Дежурство своему подсменному он сдавал перед вечером, около шести часов, уходил на берег речки и подолгу смотрел на воду.

Вот там-то, на реке, и произошел случай, запомнившийся всем в колхозе надолго, случай, о котором часто рассказывают сейчас и будут, может быть, рассказывать внукам.

В ночь тронулся лед, а к утру остановился. На хуторе Веселом этого не знали, и трое ребятишек пришли в школу по льдинам. Учительница, увидев их, перепугалась и домой не отпустила, но Сережке Верхушкину, десятилетнему мальчугану, не то чтобы не хотелось оставаться в селе ночевать, а наоборот, захотелось во что бы то ни стало перейти еще раз речку. Он и пошел. Дошел до середины реки, а тут где-то захрустело, загремело, вода хлынула к краям. Он побежал к тому берегу, а там разлило по краю так, что впору вплавь бросаться; подумал да бегом назад. Подбегает обратно к селу, а тут еще шире, от льдин до берега — метров двадцать. Не выдержал Сережка, закричал.

Берег в том месте довольно крутой, хотя и не обрывистый, множество тропинок спускается к реке. Люди бежали на крик, собралось уже человек пятнадцать, все кричали с берега:

— Перемычку смотри!

— Сережка-а! Беги влево-о! До перемычки-и!

Влево, метров за двести, действительно образовалась перемычка: в узком месте реки несколько льдин отползло к берегу, и по ним можно бы и пройти, но Сережке внизу не было видно этой самой перемычки, а сверху кричали, махали руками, грохот льда все приближался, лед

под ногами вздрагивал, вода бурлила в просветах между льдинами. Мальчик растерялся и уже не кричал, а тихонько плакал, не двигаясь с места. Кто-то пытался добросить ему веревку, но куда там: воды уже больше тридцати метров, а глубина теперь выше человеческого роста! Трое мужчин во главе с Ефимычем тащили лодку. Все сбежали вниз, советовали, кричали; вдруг что-то хрустнуло, огромная льдина на середине реки стала торчком, затем со скрежетом грохнулась о соседнюю, расколола ее, и лед зашевелился. Все ахнули.

В этот момент и показался на берегу Игнат. Он спокойно смотрел в течение нескольких секунд на все происходящее и бросился стремглав под гору, к реке.

— А ну посторонись, у кого ума нету! — бросил он на бегу, и все расступались, так как он бежал быстро, не похоже на Игната.

— Не дури! — озлился Платонов. — Не видишь — беда!

А Игнат, не слушая, сорвал с себя пиджак, снял сапоги, бултыхнулся в ледяную воду и поплыл к Сережке.

— Ах-х! — выдохнули все разом.

Перемахнул Игнат воду, вцепился руками в край льдины, пробует взобраться, а никак.

— Пропал Игнат! — сказал кто-то с дрожью в голосе.

Но Сережка — откуда и прыть взялась! — подскочил к краю, снял с себя пиджак, взял его за рукав, а другой подбросил Игнату; тот схватился одной рукой за пиджак, а мальчик, напрягаясь изо всех сил, помог, и, наконец, Игнат выбрался на лед. Он взял Сережку за руку и побежал к перемычке. Лед тихонько пошел… Игнат бежал с Сережкой зигзагами, обегая полыньи, навстречу ходу льдин, бежал, не выпуская руки мальчика, к тому месту, где река уже и льдины шли плотно к берегу. И люди бежали по берегу вровень с Игнатом и что-то кричали, махали руками, шапками. Вдруг рокочущий бас покрыл все крики и шум льда.

— Дава-а-ай сюда-а-а! Игнат! Сюда-а! — кричал Ефимыч, заметивший у берега затор льдин. Это было ближе, чем перемычка, да и цела ли она теперь там, никто иг видал — на горе никого не было.

Игнат повернул на зов Ефимыча и две минуты спустя был уже на берегу. В этот момент прибежал и председатель колхоза и многие другие: народу все прибавлялось и прибавлялось.

Кто-то надел на Игната его пиджак, кто-то стащил с себя вторую пару брюк, кто-то подал сапоги, принесенные с того места, где разулся Игнат… С горы приволокли тулуп и сразу набросили на героя, а Ефимыч нахлобучил ему свою громадную баранью шапку. Игнат же спокойно, как всегда, сказал:

— Бабочки, повернитесь передом на запад, а задом на восток и перекреститесь пока в таком положении… А я портчонки сменю на сухие.

На лицах у всех появились улыбки, кто-то сказал:

— Ну и Игнат!

А он посмотрел на гору как-то печально, вздохнул, взялся за голову рукой, закрыл глаза и повалился. Упасть ему, конечно, не дали, подхватили на руки, захлопотали, заахали:

— Ах! Ах! Сердце зашлось у бедняги!

— Фельдшера надо!

— Понесли на руках! — скомандовал подбежавший Алеша Пшеничкин.

Из двух весел и из пальто моментально соорудили носилки, положили на них Игната в тулупе и понесли на гору: впереди — Пшеничкин и Ефимыч, позади — сам Петр Кузьмич и Платонов. Игнат был человеком негрузным, и вчетвером они быстро вынесли его наверх.

Как только носилки очутились на горе, Игнат открыл глаза и сказал:

— Хватит. По ровному сам дойду, — и встал как ни в чем не бывало.

— Да ты что? — воскликнул Пшеничкин.

Все недоумевали.

— Э-ва! — сказал им Игнат. — Гора-то во какая высоченная! Чего на нее без дела лезть? — и побежал трусцой, а обернувшись к оставшимся и запахнув полы тулупа, добавил: — Я ж застудиться могу, если лежать до самого дому! А то бы лежал…

Нет, они не просто недоумевали, а буквально опешили и ничего не успели ему оказать на это. Наконец Ефимыч бросил оземь весло, плюнул и сказал:

— А чорт его знает, что он за человек!

— Да-а! — протянул Петр Кузьмич.

Ефимыч негодовал:

— Лень ему, вишь, на гору вылезть! Несите его! Знает, чучело, что понесут!

— Да-а! — еще раз сказал председатель. — Подшутил он над нами! Уж не загадку ли он снова загадал нам? Бегают, мол, по берегу, как куры на пожаре, а мальчишка — на льду. Нате вам за это, тащите, дураки, на гору!

— А леший его знает, что он там загадал! — все еще сердился Ефимыч и, обернувшись к Алеше Пшеничкину, уже спокойнее попросил: — Там у меня, под верстаком, четвертинка водки. Дойди быстренько, отнеси ему. Вода ледяная — пропасть может Игнатка. Ему водки сейчас — обязательно: и в нутро принять и снаружи протереть надо, Сходи, Лексей Антонович, а я… к нему не пойду, — заключил он решительно, попробовал было нахлобучить по привычке шапку, но ее не оказалось. Ефимыч плюнул и добавил: — И за шапкой не пойду!

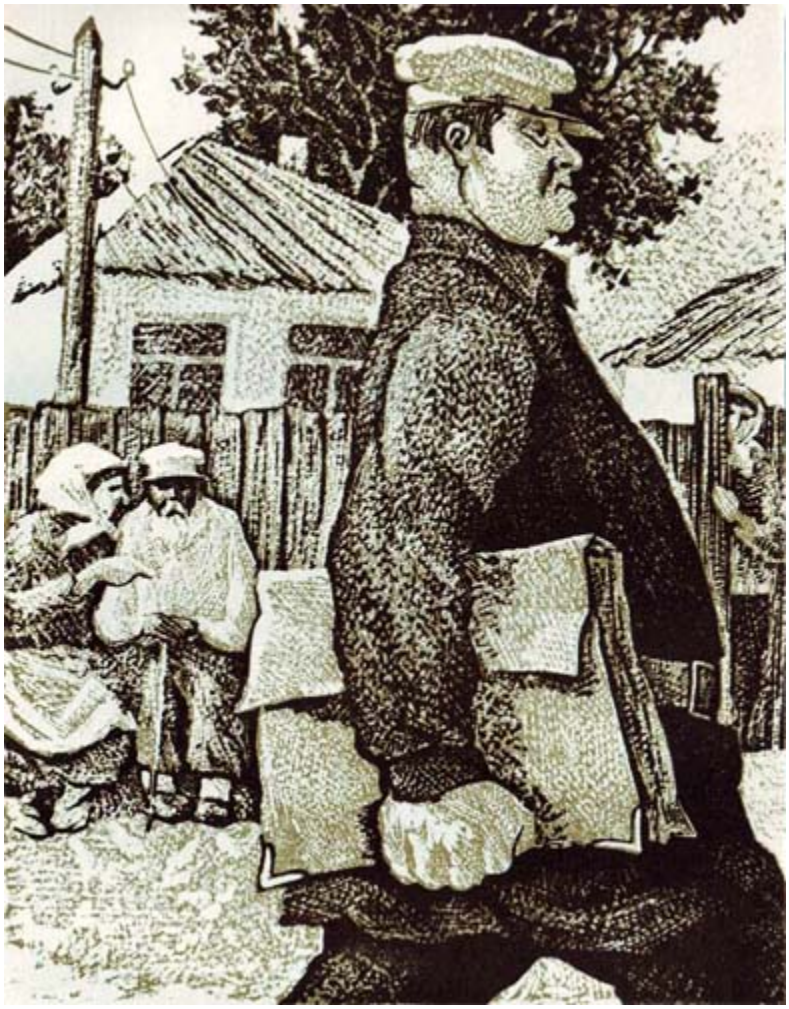
Я пришел на берег одним из последних. Петр Кузьмич как раз говорил:

— Напрасно, напрасно, Ефимыч! Наоборот, надо тебе сейчас пойти к нему и, пожалуй, даже и выпить с ним по стопочке…

А когда мы втроем пришли к голубой, вновь покрытой хате Игната, то хозяин к тому времени уже успел принять две четвертинки благодарственных приношений и спал как убитый, тихо, без храпа.

— То ничего, — успокоительно сказал Ефимыч. Через поллитру никакая простуда переступить не может.

# Прохор семнадцатый, король жестянщиков



Спрашивается: какое отношение к запискам агронома имеет король, да еще семнадцатый?

Вношу ясность.

Прохор семнадцатый — что и есть тот самый Прохор Палыч Самоваров, который еще до Петра Кузьмича Шурова был председателем колхоза; что же касается королевского титула, то это люди ему прилепили такое — беру только готовое.

Общий вид Прохора Палыча, конечно, резко выделяется среди всего населения колхоза. С этого и начну.

Комплекция плотная, рост выше среднего, животик изрядно толст, ноги поставлены довольно широко и прочно; голова большая, лоб узковат, но не так уж узок; нос узловатый, широкий и тупой, слегка

приплюснутый, с синим отливом; нижняя губа приблизительно в два с половиной раза толще верхней, но не так уж толста, чтобы мешала; две глубокие морщины — просто жировые складки, а не то чтобы следы когтей жизни; глаза на таком лице надо бы ожидать большими, а они, наоборот, получились маленькие, сидят глубоко, как глазок картофелины, и цвета неопределенного, будто подернуты не то пылью, не то марью. Прохор Палыч не брюнет, не блондин, но, однако, и не полный шатен.

Одевается он с явным подражанием работникам районного масштаба: темная суконная гимнастерка с широким воротом — зимой и летом, широкий кожаный желтый пояс, ярко начищенные хромовые высокие сапоги и широкие синие галифе. Голову на плотной шее Прохор Палыч держит прямо и, проходя, ни на кого не смотрит (если поблизости нет кого-нибудь из работников района).

Вот он какой представительный!

Знакомы мы с ним уже порядочное время, довольно хорошо знаем друг друга, давно я хочу о нем написать, но все-таки каждый раз, как возьмешь перо, думаешь: что о нем писать?

Писать о том, что у него огромный клетчатый носовой платок, в который свободно можно завернуть хорошего петуха и в который он сморкается трубным звуком, так что телята шарахаются во все стороны, — это же неинтересно.

Сказать о нем, что он блудлив, нельзя, так как у него было только три жены: первая после развода вскоре умерла, вторая живет с двумя детьми где-то не то во Владивостоке, не то во Владимире, а с третьей он живет и сейчас (пока еще не регистрировался и, наверно, не думает).

Ну что еще? Сказать, чтобы он не делал ошибок, тоже нельзя. Ошибки он делает и всегда их признает рьяно, признает, даже если этих ошибок нет, а начальство подумало, что ошибки есть. Иной день даже ему в голову приходит такое: «А какую бы мне такую ошибку отмочить, чтобы и взыскания не было и весь район заговорил?» Но для признания своих ошибок он всегда оставляет, так сказать, резервы. Вот он, например, как мы уже заметили, не регистрируется с последней женой — это тоже резерв! А ну-ка да скажет высшее начальство: «разложение» или что-нибудь вроде того? Тогда можно признать свою ошибку и скрепя сердце вернуться к прежней жене; так что в конце

концов получается — жена у него одна-единственная, а эта теперешняя — так, ошибка.

Или, скажем, написать, что он много водки пьет, — клевета, оскорбление личности! Ничего подобного! Он никогда больше пол-литра в один присест не выпивает. А разве, спрошу я вас, нет людей, которые выпивают больше? Есть. И здесь Прохор Палыч прав, говоря, что он норму знает. Ну не без этого, конечно, праздник там большой или свадьба в колхозе случится, тогда выпьет вдвое больше или около того; в таком случае в конце процедуры у него появляется непонятное головокружение, душевные переживания всякие, даже тоска какая-то, и он плачет. Прохор Палыч прав, говоря, что когда он пьян, то становится смирным настолько, что и курицу не обидит.

Еще о чем же? Разве о характере? Можно. Характер у него таков: с одной стороны прямой и твердый, а с другой — мягкий и податливый, как воск. Внутри же ничего не видно; тонкое дело — заглянуть внутрь человека! Может быть, со временем и выяснится, что там, внутри, а пока буду писать о том, что видимо как факт и что подтверждает сам Прохор Палыч.

Например, что значит: «прямой и твердый с одной стороны»? Это значит: если он что-либо надумал, а кто-то из людей ниже его по должности перечит, то Прохор Палыч найдет способ доказать твердость характера и прямоту. Быками не своротишь — найдет! Собственно, прямота проявляется чаще всего под конец собеседования, и он не моргнет глазом сказать возражающему: «К чорту! Не выйдет по-твоему!»

Теперь: «с другой стороны — мягкий». Тут надо примером. Допустим, заехал из района в колхоз председатель райисполкома, или заведующий райзо, или кто-либо — упаси боже! выше, тогда Прохор Палыч, заходя в кладовую, делает следующее: сначала складывает колечком большой и указательный пальцы и произносит мягко, обращаясь к кладовщику: «Ко-ко — двадцать» (яиц, значит, двадцать). Затем покрутит пальцами около лба, завивая рожки, и говорит еще ласковее, со вздохом: «Бе-бе — четыре» (это означает — четыре килограмма баранины). Таким же шифром он передает мед (жужжит), ветчину («хрю-хрю») и, наконец, щелчком слегка бьет себя по горлу сбоку, подняв шею, и изрекает: «Эх-эх-хе! Маленькие мы люди. Ничего не попишешь: сама жизнь того требует».

В общем о своем характере он так и говорит: «Я если залезу на точку зрения и оттуда убеждаюсь, тогда я человек твердый и прямой как штык; а если руководителя уважить или угостить, то я человек мягкий и податливый: не могу, говорит, покойно видеть начальника, если он не ест и не пьет, аж самому тошно… А тут… — и он легонько постучит кулаком по груди. — Тут! Эх, товарищи, товарищи!» Просто даже интересно становится: а что же все-таки у него внутри? Я не говорю там о кишках, о печенках, о ложечке, под которой у него болит после выпивки, о катаре, который, по словам Прохора Палыча, есть в желудке каждого человека и который, собственно, и урчит-то всегда, — это все вещи известные и местоположение их ясно, — я говорю о характере: снаружи — человек как человек, а вот внутри — загадка.

И тем более, уж если бы он не читал совсем ничего, тогда можно было бы подумать о плесени, о наслоениях прошлого, о пережитках капитализма внутри и тому подобном… Но он же все-таки читает! Ежедневно, каждое утро читает отрывной календарь. Иногда чтение вызывает у него неожиданные эмоции: сидит на кровати, еще не обувшись, оторвет листок календаря, прочитает о восходе, заходе солнца и долготе дня, прочитает о восходе луны, подумает, подумает и скажет: «Эх вы, календарщики, календарщики! Знали бы вы нашу нагрузку! Не тем занимаетесь, товарищи!» Но какие предложения конкретно он вносит, остается неясным. Думаю, что речь идет об изменении долготы дня, а неопределенность замечания в адрес календарщиков объясняется, надо полагать, тем, что у него все-таки возникают сомнения: зависит ли это мероприятие от них? Прохор Палыч, конечно, не дурак!..

Правда, насчет астрономии у него в голове довольно большая туманность, что объясняется очень сильной нагрузкой; по этой же причине и сведения о химии походят на колбу с бесцветным газом: а чорт же ее знает, есть там что, в этой колбе, или нет! Может быть, там и действительно ничего нет, а один обман природы! Недаром же Прохор Палыч говорит про всех землеустроителей: «Знаю я этих астрономов! Мошенники!» И об агрономах отзывается презрительным языком: «Ох, уж эти мне химики: то не так, это не так! Вот они мне где! — И постучит ладошкой по загривку. — Спрашивается: за что зарплату получают? Нет, пусть бы он сел у меня в правлении да писал

или диаграммы какие-нибудь чертил, а я бы посмотрел, чем он занимается, а то уйдет к поле на весь день — и до свидания! Химики!»

И тут, конечно, Прохор Палыч прав, когда говорит, что насчет теории ему требуется только вспомнить кое-что, но пока сильно некогда.

Больше того. Он определенно имеет склонность к философскому мышлению. Право, редкому человеку удастся из одного-единственного слова построить длинное предложение с глубокой мыслью, а он может, да еще как может! Как-то вытащили его чуть не за шиворот в кружок заниматься. Там-то он и сказал такое умное, что облетело весь район. Когда у него спросили, как он усвоил материал и что думает по этому вопросу, он сказал: «План — это, товарищи, план. План до тех пор план, пока он план, но как только он перестает быть планом, он уже не план. Да. А наши планы были планы, есть планы и будут планы. Точнее, не может быть плана, если он не план…» Но тут его вежливо перебил руководитель кружка и, вытирая со лба пот, выступивший как-то сразу, сказал: «Мне теперь все ясно. Садитесь!»

Видите! Даже руководителю ясно стало все, так умеет сказать Прохор Палыч.

Нет, Прохор Палыч положительно интересный человек! Во всякий вопрос вносит он свое. Взять, к примеру, оценку своих знакомых. Он разделяет их на четыре группы: на беспартийных, кандидатов партии, членов партии и… кандидатов из партии. При этом он иногда скажет: «Вперед не забегай, сзади не отставай и в середке не толпись!» Но тут-то Прохор Палыч и допустил большую ошибку: не туда причислил себя и думал совсем не так, как оно получилось. Правда, у него всего только три выговора с предупреждением (или четыре? Нет, три; четвертый — это не выговор, а одно только предупреждение в развернутом решении), но чистосердечное раскаяние всегда и у всех вызывало сочувствие, которое заливало туманом его светлый разум, не дало возможности разобраться в том, куда везет ого кривая. Он даже иногда бывало скажет: «О! Наш председатель райисполкома — человек! С этим не пропадешь!» Но… ошибся. Ой, как ошибся! Ошибся потому, что не учел, что и районные работники сменяются.

И уж если нечего писать о Прохоре Палыче, как сказано выше, то я подумал: «А дай-ка напишу насчет этой самой роковой ошибки жизни!» Однако ясно, что человек приходит к ошибке не сразу, хотя он

ее и признает, поэтому и написать коротко, одним скоком, не удастся, тем более, мы еще совсем не знаем, что у него там внутри.

План моих записок таков:

А. Какими кривыми путями привела кривая Прохора Палыча до председателя колхоза и насколько кривы были кривые пути его.

Б. Как он руководил колхозом, и что из того получилось, и получилось ли вообще что-нибудь.

## *1*

Когда-то давно Прохор Палыч работал в мотороремонтной мастерской. Работал хорошо, старательно, заработки были хорошие. За старательность и силу его уважали. Линия жизни у него была прямая, а сам Прохор Палыч был тогда совсем не таким: и нос не такой, и синевы на лице не было, так как норма подпития была совсем другая, не та, что сейчас.

Но случилось однажды так. Вызвали его и говорят: «Работник ты хороший. Пора к руководству привыкать: пойдешь заведующим складом „Утильсырья“. Никак не подберем туда кандидатуру». Прохор Палыч возражал, очень сильно возражал, но он многого тогда еще не знал о товарище Недошлепкине. А товарищ Недошлепкин был тогда председателем райисполкома. Если он, Недошлепкин, сказал: «*Я думаю*», то это все должны понимать: «Так будет»; если он сказал: «*Я полагаю*», то это значило: «Будет только так»; если же сказал: «*Мне кажется*», то надо было понимать: «Так должно быть, так и будет». Только много спустя Прохор Палыч приспособился к такой манере руководителя района изъясняться, а тогда еще не понимал ее по неопытности и простоте своей. Товарищ Недошлепкин не дослушал возражений и сказал:

— Я, Недошлепкин, *думаю*, *полагаю*, и *мне кажется*, что ты, Самоваров, пойдешь в утильсырье.

Ах, если бы вдумался тогда Прохор Палыч в эти слова! Да где там вдумаешься, когда председатель повторил твердо, с пристуком ладонью по столу:

— Я высказался. Принимай работу!

Не понял тогда Прохор Палыч, что было сказано. Через несколько лет Прохор Палыч с улыбкой вспоминал: «Какой же я был тогда дурак! Не понимал самых простых вещей. Вот что значит неопытность в руководстве!» Понемногу он перенял тон и приемы Недошлепкина, появилась смелость, уверенность в своих силах и так далее, но это много после, а в то время он принял склад «Утильсырья» и приступил к работе.

И пошло!

Трое его подручных были люди опытные, деловые, вороватые. Делали все чисто. Сначала сверх зарплаты Прохор Палыч почему-то получал немного денег, а потом — больше. Поработал год. Вдруг откуда-то, не то из области, не то из центра, следствие: в тюках шерстяного тряпья, в середине, заложены отходы мешков, пакли, кострики, а вместо цветного металла где-то кому-то всучили какой-то черный. Кто туда положил не такое тряпье, Прохор Палыч не знал, но сколько денег он положил себе в карман, он все же знал — всучили-таки, жулики! — и сознавал свою ошибку. И только хотел было изучить утильдело, как его сняли.

И снова он у Недошлепкина. Тот сказал: «*Я думаю*…» Прохор Палыч понял его уже с одного слова и мигом очутился на складе «Заготзерна». Дело новое, надо подучиться, расспросить, вникнуть в теорию: все-таки хлеб, а по утиль. Но Прохор Палыч был уже куда смелее и в первый же день по совету Недошлепкина проверил лабораторию. Походил, походил по ней, посмотрел в зерновую пурку одним глазом, как в микроскоп, потрогал влагомер, надавил пальцем на технические весы (отчего лаборантка даже вскрикнула, испугавшись за их целость) и сказал:

— Работу перестрой!

По личному горькому опыту на утильскладе он знал, что с подчиненными надо строже, иначе влипнешь, что подчиненный — не совсем полноценный человек (убеждения приходили постепенно, но довольно прочно). Кладовщиков он собрал под навесом. Сам сел на ящик, а им велел стоять и сказал:

— Я, Самоваров, много не говорю. Коротко: если замечу, что кто-нибудь насыплет ржи в пшеницу или овса в кукурузу, — прощайся с родными: тюрьма! Мне так кажется.

Помнил Прохор Палыч, как подкузьмили его подчиненные на утильскладе, и предупреждал ошибку. Опыт расширялся и углублялся медленно, по все-таки расширялся.

Проработал он год.

И кто же знает, откуда беде взяться! Недостаток обнаружился в девяносто тонн зерна. Какого зерна — толком сразу и не поймешь, но только недостаток обнаружился. Кто брал зерно, когда брали, куда девали — Прохор Палыч, истинное слово, не знал. Он, правда, знал, что конюх привозил ему откуда-то муку-первач, но ведь не девяносто же тонн! Еще вспомнил, что в какой-то не то ведомости, не то отдельном списке он расписывался в получении денег и что бухгалтер говорил насчет этого списка: «Мы его со временем чик-чик — и нету!» А чорт же его знал, как это «чик-чик»! Но только следствие было, кое-кого судили, а Прохора Палыча защитил Недошлепкин. Написал отличную характеристику, напомнил, что Самоваров только начинает руководить, что имеет мало опыта, что жулики его обвели вокруг пальца, — много написал Недошлепкин, много беседовал с прокурором, звонил куда-то, хлопотал, и все сошло.

Но ведь и оставить после этого у руководства нельзя. Сняли. Походил, походил Прохор Палыч вокруг районных организаций и учреждений и пошел к своему покровителю. Приходит. Спрашивает его Недошлепкин:

— Ну как?

— Да так, — ответил Самоваров неопределенно.

— А все-таки?

— Так себе!

— Значит, ничего?

— Да как сказать…

Недошлепкин, как видно, изучал собеседника и мыслил про себя: «Не ошибся ли я в нем?»

— А точнее?

— Обыкновенно! — вздохнул Прохор Палыч, ожидая слов «я думаю» или, что еще лучше, «мне кажется».

— Как так — обыкновенно? — недоумевал председатель.

А Прохор Палыч видит, что тот в недоумении, и осмелел.

— Убил бы!

— Кого? — Недошлепкин привстал в полном испуге, так как был не очень храбр.

— Эх! — замотал головой по-бычьи Прохор Палыч, — Убил бы!

— Кого? — уже шопотом произнес председатель и стал за спинку кресла.

Прохор Палыч молча понурил голову. Начальник продолжал испуганно смотреть на него и не мог, конечно, в таком случае сказать ни «я думаю», ни «я полагаю», ни, тем более, «мне кажется». Так получилось, что Прохор Палыч ушел в себя, а Недошлепкин, наоборот, вышел из себя.

И третий раз вопросил глава района, еле выдавив из себя:

— Кого?

Прохор Палыч поднял голову, еще раз покрутил ею, ударил себя в грудку (тихонько, слегка!) и, наконец, с надрывом выкрикнул:

— Себя! Ошибку допустил!

И сразу после этого все вошло в норму: Прохор Палыч вышел из себя, а Недошлепкин ушел в себя — сел в кресло, поднял острый носик вверх, поправил громадные роговые очки и нахмурил брови. Покатая лысина заблестела матово-желтым цветом. Он застучал пальцем по столу, продолжая дальше изучать Самоварова. Глаза у Недошлепкина были настолько узкими, к тому же заплывшими, что создавалось впечатление, будто он ничего не видит даже около своего носа. Но он видел, изучал, задавал наводящие вопросы:

— Ну так как же?

— Да так.

— А все-таки?

— Да как сказать…

— Значит, признаешь?

— Признаю.

— Каешься?

— Каюсь!

— Ну так что ж ты скажешь?

Прохор Палыч совсем осмелел и выпалил, жестоко бия себя в грудь:

— Ошибка моя вот тут! — и сделал совсем жалобное лицо.

Недошлепкин расчувствовался высморкался, плюнул тихонько и так же тихо произнес:

— Вот чорт возьми!

Прохор Палыч тоже высморкался, но трубно, громко.

Конечно, начальник уже был готов произнести чарующие фразы, которые начинаются с буквы «я», но Прохор-то Палыч еще не понимал, что тот готов. Лишь позже он научился догадываться о течении мыслей начальства, но тогда еще многого не понимал.

И вот, наконец, Недошлепкин говорит:

— Что же тебе сказать?

А Прохор Палыч изрекает, уже оправившись от сморкания:

— *Я думал*, товарищ Недошлепкин, *что вы полагаете* и *вам кажется*.

— Да, братец ты мой! — восхищенно воскликнул тот. — Таких проницательных людей я первый раз встречаю. Вот это — да! Самородок! Кусок народной мысли, как говорит какой-то писатель или историк. Да ты знаешь, какая перед тобой линия открывается? Да ты сам не понимаешь, кем ты можешь быть! — И пошел, и пошел! Хвалил, хвалил, а напоследок напутствовал: — Держись за меня! Со мной кривая вывезет. Помогу, поддержу, научу.

И стал после этой беседы Прохор Палыч торговать керосином в магазине райпотребсоюза. Но не это важно, а важно то, что Прохор Палыч уже понял — точно понял! — чтó такое признание ошибок, *как* их признавать, *когда* признавать и *перед кем* признавать; важно еще, что после этой беседы он понял себя: кто он есть и кем он может быть, то-есть оценил себя так же высоко, как оценил его Недошлепкин. И пошел после этого расти и расти! Вот он уже пробует произносить речи, — его поддерживают, выдвигают по рекомендации Недошлепкина. Вот он уже критикует небольших начальников, от которых ему ни жарко, ни холодно, критикует громко, смело, со всей прямотой своего нового характера. Пошел человек в гору!..

На керосине он, правда, прогорел (не то недостача, не то излишек, но больше года и здесь не работал), однако стал директором райтопа и числился уже в районном активе.

Наконец к переменам должностей и профессий он так привык, что считал это вполне нормальным для актива, считал, что настоящий-то актив перебрасывается «для укрепления»: укрепил в одном месте — крой на следующее, укрепляй еще; не укрепил — признавай ошибку, плачь, сморкайся и валяй дальше — укрепляй в другом месте! Для

вытирания носа он завел большой, темного окраса клетчатый платок, о котором мы уже заметили, что он якобы интереса не представляет. Но это только кажется. Действительно, большой платок неинтересен, когда он есть, а вот когда его нет… Попробуйте с полным чувством признать четырнадцатый раз двенадцатую ошибку без платка. Не получится!

На каких только должностях не был Прохор Палыч! И в «Сельхозснабе», и на кирпичном заводе, и в лесничестве, и в «Конволосе», и по дорожному делу, и по заготовкам сена и соломы, и по яично-птичным делам, и завхозом в МТС. Накопил громадный опыт! Наконец после двух выговоров с предупреждением в его послужном списке значилось: «Председатель артели жестянщиков». А Прохору Палычу перевалило за сорок пять.

И до этого ему учиться совсем не надо было в связи с частой переменой мест, а тут каждый поймет — жестянщики: кружки, ведра, половники… Чепуха! Опыт руководства большой — Прохор Палыч принялся смело укреплять отстающую артель. Это было по счету шестнадцатое место за пятнадцать лет руководящей работы в районе. С таким багажом укрепить артель — раз плюнуть!

И он приступил.

## *2*

Первым делом он обнаружил полное отсутствие кабинета для председателя артели и задал вопрос:

— Как же вы могли так работать, товарищи? Это же полный развал! *Мне кажется*, работу надо перестроить.

Счетовод, маленький, щупленький старичок с пушком на лысой голове, осмелился вопросить вежливо:

— А какой же кабинет в такой маленькой комнатке, как наша контора?

Прохор Палыч ответил:

— *Я думаю*, что так необдуманно думать нельзя.

Все было ясно.

В артели было двенадцать человек мастеров разного возраста, тринадцатый — счетовод, четырнадцатый — председатель. Делала

артель большей частью кружки, которые иногда протекали. Требовалось укрепить артель, чтобы кружки были полноценными. Задача Прохора Палыча, собственно говоря, и заключалась в том, чтобы кружки не протекали, но он уже имел размах, умел вникать, он уже *думал*, *полагал*, *ему казалось*.

Целый месяц половина членов артели во главе со счетоводом работала на «стройкабе», а половина — на кру́жках. (Объясняю новое слово в русском языке — Прохор Палыч их сотворил немало — стройкаб — стройка кабинета.) Конечно, кружек сразу стало недостаточно, и домохозяйки начали протестовать: дескать, и так протекают, да еще и недохват. Прохор Палыч, чтобы успокоить всех, вывесил объявлений: «Происходит преобразование производства на новые технические рельсы увеличенного плана». Успокоились, стали ждать.

Тем временем кабинет закончили: он занял две трети маленькой комнатки, а одна треть осталась счетоводу со всеми членами артели, которым уже ни покурить, ни газетку почитать стало негде. Но не в этом дело. Какой кабинет выстроили! Блестящий кабинет! Блестящий потому, что стены и потолок обшили белой жестью, на письменный стол, сверху, положили белую жесть; над креслом Прохора Палыча, чуть выше головы, соорудили полку во всю длину стены, обшили ее латунью и поставили в один ряд предметы производства артели настоящего времени и будущего, причем экспонаты были вдвое больше нормального размера: кружка, ведро, половник, таз умывальный, таз стиральный, умывальник, две ложки совершенно различной конструкции, зерновой совок, керосиновая лейка и… чего-чего только не было на этой полке! Любому смертному, вошедшему в кабинет, становилось ясно, что Прохор Палыч уже вник в сущность производства и освоил детали такового достаточно глубоко.

Вторым шагом по прошествии двух месяцев со дня вступления было ознакомление с массой. Вызывал Прохор Палыч по одному человеку, толпиться в передней запретил, курить велел по норме, обсуждать что-либо шопотом, чтобы не мешать работе. И начал прием. Вопросы он задавал каждому примерно одни и те же:

— Фамилия?

— Мехов.

— Лет?

— Сорок девять.

— Как?

— Точно так.

— Молодец! Отвечаешь правильно… Та-ак. Воруешь?

— Да что вы, Прохор Палыч! Дети у меня есть взрослые, а вы… такое… У нас и красть-то нечего: ну украду я кружку — куда ее денешь?

— Во-первых, я тебе не Прохор Палыч, а товарищ Самоваров. Во-вторых, не притворяйся: знаю я вас — все воры! Развалили артель, сукины дети, а теперь… Ишь ты!

Мехов попятился к двери, разводя руками.

— Перестроишься?

— Да чего перестраиваться-то? Давайте материал, делать будем. А то вот два месяца сидим без дела, а у нас семьи… Я за эти месяца и полставки не выработал.

— Во-во-во! Я и хотел сказать: лодыри, бездельники!

— Да я же не про то!

— Хватит! Я думаю, я полагаю, что ты перестроишься! Следующий!

За перегородкой все было слышно, и артельщики очень быстренько смекнули, что к чему. Особенно быстро сообразил Вася-слесарь, мальчишка лет семнадцати, молодой, а ушлый!

— Давайте, — говорит, — отвечать одно и то же, а я пойду последним!

Переглянулись жестянщики: так и так. И в кабинете началось. Почти все, как один, повторяли одно и то же, с небольшими отступлениями по ходу дела. Прохор Палыч к концу дня устал, вспотел и, развалившись в кресле, задавал вопросы уже нехотя, подумывая о том, не перенести ли ознакомление с массой на следующий четверг, но вот вошел Вася-слесарь, юркий узколицый парень с прищуренными, смеющимися глазками, — и объявил:

— Я последний.

— Фамилия?

— Щелчков! — отчеканил Вася так, что жесть на стенах отозвалась зловещим звяком.

— Щелчков! Ну, брат, и фами-илия! Лет?

— Семнадцать.

— Ишь ты, молодой! Ну, ты-то не воруешь.

— Ворую, товарищ Самоваров!

— Как, как? О! Самокритика молодежи! Ну, молодец!

— Ворую, говорю! — выкрикивал Вася, как молодой петушок.

— Что воруешь?

— Жесть ворую, латунь ворую.

— От брешет, свистун, так брешет! Этот не пропадет, нет! С кем же ты воруешь?

— С вами, товарищ Самоваров! — ответил Вася так же громко и тем же тоном, как и начал.

— Что-о-о? — Прохор Палыч встал.

— С вами ворую, — повторил Вася и сел, проявив высшую степень невежливости. — Сто листов жести на кабинет из кладовой кто принес? Я, Щелчков. Кому? Вам, Самоварову. Латунь кто принес? Я. Кому? Вам. Куда списали жесть? На кружки. Где кружки? Нету. Квартальный план выполнили на двадцать процентов, значит годовой план уже сорвали.

Прохор Палыч сел. Потом встал. Потом еще раз сел. И еще раз встал.

— Как ты смеешь, щенок! — Он схватил с полки умывальный таз и так стукнул им об стол, что весь кабинет заныл жестяной жалостью. — Мы такое загнем, что два квартальных плана в два месяца выполним. Раз плюнуть! Не твоего ума дело! Я думаю, что…

Тут Вася прыснул со смеху, зажал фуражкой рот и нагнулся, содрогаясь от беззвучного хохота.

— Что тебе смешно? Что? Что, спрашиваю? (За перегородкой — сдержанный, но дружный смех.) Кто там мешает работать? — загремел Прохор Палыч и снова обратился к Васе: — Ты думаешь, кто я есть? Отвечай!

— Там, — смеялся Вася, — там написано! — И указал пальцем на дверь.

После этих слов за перегородкой затопотали и, давя друг друга, вывалились со смехом на улицу. Выскочил бомбой и Вася. Прохор Палыч поставил таз на место и, потный, в возбуждении, вышел медленно за дверь. Осмотрел стены, пронзил счетовода взглядом и ничего не увидел. Но вот он повернулся к двери кабинета, чтобы войти обратно, и… увидел! Трудно выразить словами состояние Прохора

Палыча: это было сплошное переживание от пяток и до носа, ибо пятки сразу зачесались, а нос потребовал неотложно сморкания. И он высморкался дважды подряд и без передыху. А на новой табличке — «Председатель артели тов. Самоваров» — красовалось добавление: «король жестянщиков».

Вот откуда и появился королевский титул у Прохора Палыча.

Сам я, правда, при этом не присутствовал, но мне так подробно все рассказывал Вася, так усердно дополняли его Мехов и другие, что я не могу не посочувствовать Прохору Палычу. Не буду описывать терзания его души, не буду останавливаться на том, как Прохор Палыч по полночи не спал двое суток подряд, не буду вдаваться в подробности колебаний психики и переливания тоски через край — это очень трудно. Но Недошлепкин настойчиво, очень настойчиво рекомендовал Прохору Палычу приступить к самокритике и ни под каким видом не наказывать Васю, а если возможно, прижать его впоследствии, чтобы понимал твердость характера. При этом он сделал для Прохора Палыча назидание жестом: ногтем большого пальца надавил на стол так, как (простите за натурализм!) давят некоторых насекомых, и добавил:

— Понимай — для самокритики момент наступил, а для того самого, — и он снова надавил пальцем, — еще нет. Подождать надо…

Э, да что там учить Прохора Палыча, когда он сам уже не меньше знает!

На общем собрании артели Прохор Палыч сказал:

— Критика ваша, товарищи, дошла до середки. Дошла! Всем нам надо перестроиться, углубить производство и расширить во все стороны. Все, как один, — в одну точку! Кто отступит — не позволю! Я признаю критику, но не допущу нарушения дисциплины. Переходим, товарищи, с кружки на ложку новой конструкции — модель «А-2». Потребуется напряжение. *Я полагаю,* что трудовой подъем будет.

В городе заговорили: «Король жестянщиков разворачивается».

Так и прилепился к Прохору Палычу этот титул.

А тем временем в артели дела пошли по новым рельсам. Трое поехали в командировку за формовочной глиной, трое работали над ящиками-станками для отливки ложек, трое вели экспериментальные работы, имея под руками пять килограммов алюминия, и переливали

алюминий из пустого в порожнее, а остальные трое переоборудовали горн и мехи. Сам Прохор Палыч выехал в Москву на поиски алюминия, пробыл там два месяца, прислал оттуда двадцать четыре телеграммы и получил двадцать девять. В артели вскоре уже была закончена перестройка, и все ждали председателя. Наконец прибыл Прохор Палыч и привез только двадцать килограммов алюминия.

— Ну что ж, — сказал Прохор Палыч, — начнем, а там видно будет.

И начали. Сначала выходило плохо: ложки получались ломкие, с драными краями. Наконец все-таки наладили дело: ложка модели «А-2» пошла в ход. Но… запас алюминия иссяк.

Кончался год. Ложки делать перестали из-за нехватки материала, а к кружкам не приспособлено производство, перестраивать надо. Так и не получилось в том году ли кружки, ни ложки.

Ну, а дальше что? Дальше Прохор Палыч пятнадцатый раз раскаялся, получил третий выговор и остался без работы. Секретарь райкома вызвал Недошлепкина и говорит:

— Кажется, Самоваров никудышный руководитель — неуч и зазнайка. Он стоит на пороге из партии, случайный человек.

Но нет! Недошлепкин — уже постаревший, облысевший, уже беззубый — защитил, не дал в обиду. Не исключили. Три месяца или, может быть, четыре Прохор Палыч был без работы. Несколько раз заходил к Недошлепкину, ожидал, как в прежние счастливые годы, волшебных слов, но тот указывал пальцем на райком и говорил шопотом:

— Не велит.

— Так, значит, как же? — спрашивал Прохор Палыч.

— Да так…

— А все-таки как?

— Так себе.

— Значит, ничего?

— Да как сказать…

— А что «как сказать»?

— Обыкновенно! — вздыхал начальник.

И каждый раз на этом кончалось. Казалось, попал в тупик Прохор Палыч.

Но внезапно что-то случилось с секретарем райкома по семейным обстоятельствам, и он уехал из района. Ведь и с ним все может случиться, как с любым человеком. Это ведь в романах только секретари райкомов не страдают, не любят, не хохочут, а только знай руководят. А в жизни они такие же люди, и с ними все может случиться: может и жена заболеть, и сам даже может заболеть, и даже — даю честное слово! — может и влюбиться. Конечно, мне скажут: «Не может быть, чтобы секретарь райкома да влюбился! Не бывает!» Вот и поговори с ними!.. Бывает, товарищи, что там греха таить! Бывает и так: напихают полный роман либо железа, либо дров, либо машин всяких, а читатель ходит-бродит, бедняга, меж всего этого и ищет людей: не читатель, а искатель какой-то получается. Не спорю, иной читатель, конечно, с первого прочтения находит тропки, делает зарубки для приметы, чтобы не заблудиться обратным ходом; потом вернется назад, прочитает еще другой, третий раз — смотришь, разберется, что к чему.

А насчет секретарей райкомов повторяю: все с ними бывает, как с любым человеком, а не только так, как в романах.

Убедил я или не убедил — как хотите! — но только старый секретарь райкома уехал, а новый приехал. Был он такой: в коричневом костюме и при галстуке (обратите внимание: без черной гимнастерки и без желтого широкого пояса), росту обыкновенного, среднего, русый, круглолицый, веселый, любит в городки поиграть и в шахматишки сыграть; ребятишки у него есть (двое), и мальчишка его забегает к нему прямо в райком, посмотрит, нет ли заседания, и сообщает: «Папа, мы чижа поймали».

Одним словом, Попов Иван Иванович приехал.

Недошлепкин — к нему. Так, мол, и так: в колхозе «Новая жизнь» шестнадцатый по счету председатель оказался не того, заменять надо. Для укрепления.

Поехал Иван Иванович туда раз, поехал два, посмотрел, посмотрел: правда, заменять надо. И говорит Недошлепкину:

— И ваша вина есть в том, что в колхозах такая свистопляска с председателями: что ни год, то новый председатель. Большая вина!

— Признаю, — соглашается Недошлепкин. — Каюсь! Ляпсус. Все силы брошу на исправление ошибки. Вег, что от меня лично, приму… Действительно, ляпсус… Но без председателя колхоза не

может быть колхоза, ибо колхоз до тех пор колхоз, пока он колхоз, но как только он перестает быть колхозом, он уже не колхоз. (Подобный способ мышления — явное влияние его ученика Прохора Палыча. Ясно.)

Задумался Иван Иванович: видно, не верит Недошлепкину. Но что поделать, если кадров района еще не знаешь, а требуется председатель колхоза! Конечно, приходится обязательно советоваться пока с Недошлепкиным, а тот разгадал мысль секретаря и говорит:

— Моя ошибка тяжела… Но мы можем быстро выправить: есть у нас толковый, опытный товарищ, повезет! Правда, у него в артели жестянщиков — не того, но причина все же в неплановом снабжении артелей, и вопрос не нам решить — надо ставить гораздо выше, так как в районном масштабе алюминия нет, а ложка «А-2» требует алюминия чистого, как слеза грудного младенца.

— Кто же это такой? — спрашивает Иван Иванович.

— Товарищ Самоваров, — сообщает Недошлепкин.

Так на первых порах Иван Иванович и допустил ошибку.

Вызывают Прохора Палыча в райком.

— Говорите честно, — обращается к нему Иван Иванович, — справитесь ли вы с работой председателя колхоза? Работа трудная и ответственная.

Прохор Палыч думает и сморкается: ждет, когда будут произнесены заветные слова, единственные, которые он сразу понимал. Нет этих слов! А вопрос висит в воздухе!

— Ну так как же? — повторяет секретарь.

И Прохор Палыч, руководствуясь чутьем, развитым многолетним опытом, проделывает следующее: смотрит вниз и в сторону, глубоко-глубоко задумавшись, вздыхает, несмело поднимает глаза на секретаря и говорит тоже задумчиво:

— Товарищ секретарь райкома! Слишком мне тяжело сознавать, что я имею три выговора… (В этом месте он чуть-чуть взвыл.) Я понимаю, что четвертый выговор столкнет меня с кривой. Со всей ответственностью беру на себя колхоз, и, я думаю, выправлю его, и вправлю ему линию в передовые…

Иван Иванович, не ведая дипломатии, сказал:

— Мне кажется, что чистосердечное признание своего положения прибавит вам силы.

Все! Для Прохора Палыча было все-все понятно.

А Иван Иванович сомневался, что-то его скребло внутри, и он подумал: «Кадры! Не могу я за две недели узнать кадры».

Недошлепкин так разукрасил Прохора Палыча на общем собрании колхоза, так расхвалил, такие гимны пропел его талантам, а Никитка Болтушок такую речь закатил, что даже шапку потерял и ее растоптали в лепешку, — так они оба воспевали Прохора Палыча, что того и в колхоз приняли, а потом и председателем выбрали.

Так Прохор Палыч занял свой семнадцатый пост и стал семнадцатым председателем в колхозе, а отсюда к полный титул пошел: «Прохор семнадцатый, король жестянщиков».

## *3*

Теперь уж я видел Прохора Палыча почти ежедневно. Мы все ближе и ближе сходились с ним и, наконец, сошлись настолько близко, что он однажды мне сказал:

— Фу, ты! Обязательно ему надо культивировать пар за двенадцать — пятнадцать дней до сева! Небось и после закультивируем — денька за два-три.

Я возражал, горячился, целую лекцию об озимых ему прочитал, книгу академика Якушкина ему совал в руки.

— На, прочти!

— Лично я не видал твоего Якушкина. Я, Самоваров, думаю — за два-три дня.

Я не сдавался.

— Не позволю! (Это я-то так позволил себе сказать Прохору Палычу, и откуда смелость взялась!)

— Что-о-о? — закричал он. — Пошел к чорту, химик?

— Не оскорбляйте!

А он отвечает:

— Характер у меня такой прямой. Как штык. Помогать — вас никого нету, а раздражать человека у руководства вы можете.

— Да я же и хочу помочь вам понять агротехнику!

— Пошел бы ты с такой помощью! У меня свиньи дохнуть начали, а тебе вот выложи: за пятнадцать дней! Тьфу!

— Вы ж, — говорю, — не понимаете агротехники! Нельзя так!

Прохор Палыч отвернулся, не желая продолжать разговор, и куда-то в сторону буркнул:

— Столько, сколько ты знаешь, я давно забыл больше.

Что должен делать после этого агроном? Конечно, ехать в район.

Запрягли Ерша в линейку, приезжаю к Недошлепкину. Так, мол, и так, говорю, ничего не понимает, оскорбляет непотребными словами… Угробим осенний сев…

— А вы добейтесь своего, — отвечает Недошлепкин, — и закультивируйте, если действительно надо! Если же можно обождать дня два-три, то уступите по-человечески! У Самоварова мало опыта в руководстве колхозом, ему надо помогать. Правда, прямота у него в характере есть, за словом в карман не полезет. Постарайтесь помириться с ним, он человек сходчивый и самокритичный.

— Так он же меня слушать не хочет!

— Постарайтесь сделать так, будто между вами ничего не было:, общее колхозное дело дороже личных отношений. Мы, безусловно, должны забыть все личное.

Ехал я обратно тихонько, шажком и пробовал пробрать себя самокритикой до корней, но, как ни бился, даже Ерша останавливал несколько раз, ничего не получилось. Наверно, все-таки не освоил еще самокритику на всю глубину. Тут бы и надо мне Недошлепкину сказать: «Признаю ошибку!», потом приехать в колхоз и — к Прохору Палычу: «Признаю», и руку ему подать: «На! Держи! Навечно! Пошли мировую выпьем по двести!» А вот не умею. Но зря! Именно тогда бы меня подняли на щит и говорили бы: «С таким работать можно — сходчивый и самокритичный агрономишка».

Пар все-таки закультивировали: воровским путем, ночью.

А еще раньше, весной, получилось даже чище. Приезжаю в бригаду, а там сеют кормовую свеклу. Не там сеют, где намечено производственным планом, — не по глубокой зяби, а по весновспашке.

— Кто позволил? — спрашиваю я.

— Председатель приказал, — отвечает бригадир Пшеничкин. — Целый час спорил с ним. Тьфу!

Смотрим, Прохор Палыч мчится к нам: жеребец в лентах, тарантас — в ветках. Подъезжает и сразу грозно:

— Почему простой механизма допущен?

— Я запретил, — говорю.

— Тебя убеждать надо или не надо?

— Говорите!

— Как ты думаешь, — снисходительным тоном начал он, — ходить женщинам полоть лучше за три километра от села или за полкилометра? Тут, — потопал он ногой по земле, — тут — полкилометра, а зябь — за три километра. В организации труда ты что-нибудь смыслишь или нет?

Я стараюсь объяснить ему поспокойней:

— По весновспашке свеклы не будет. Не бывает никогда хорошей свеклы по весновспашке нигде, а у нас, в засушливом районе, никакой свеклы на этом месте не будет. Не взойдет она, и полоть-то нечего будет.

Пробовал растолковать, как устроено семя свеклы, говорил, что всходы ее очень слабые, рассказывал, сколько воды требуется дли семени свеклы, но Прохор Палыч до конца не дослушал, подошел к трактористу и сказал:

— Я думаю, сеять будешь.

— Нет, — вмешался я, — сейчас надо ехать на зябь и посеять там.

— Ка-ак! — вскричал Прохор Палыч. — Подменять руководство? Кто позволит? Приказываю!.. А из тебя, — обратился он к трактористу, — щепки сделаю! А тебя, — повернулся он к бригадиру, — как бог черепаху! А… — и он круто повернул ко мне весь корпус.

— Меня, — говорю, — ни боже мой! Я химик!

— Хуже! — воскликнул он, ударив себя обеими руками по галифе. — Астроном! Мошенник!

Так я понял, что астрономы гораздо хуже химиков.

И зачем, собственно, я все это записываю? По плану обещал описать, как Прохор Палыч руководил колхозом, а пишу чорт знает что! Хотя нет: постепенное сближение и содружество Прохора Палыча с агрономией тоже заслуживает внимания. В общем и агроном с бригадирами к нему приспособились: они просто обманывали его для пользы дела.

Меня спросят: «А свекла как же? Где посеяли?» Отвечаю: по зяби посеяли. И очень просто. Подхожу я к нему и говорю:

— Характер у вас сильный… Сказал — крышка!

— Я так: надумал — аминь! — и улыбается. Отошел, значит, нутром.

— Езжай, — говорю я трактористу, а бригадиру подмаргиваю, так как тот всем видом протестует против продолжения сева на этом месте.

Прохор Палыч благополучно отбывает и скрывается из виду, а мы… переезжаем на зябь.

Заметил он это не скоро, через месяц, и сказал:

— Ну и ловкач! Ну и мошенник! За этим смотри да смотри!

Так пришло к Прохору Палычу убеждение, что все агрономы — мошенники, все бригадиры — жулики, а он один-единственный руководит и ему никто не помогает. Трудно все-таки быть председателем колхоза!

Но все это произошло несколько спустя после начала руководства Самоварова колхозом. Это отступление сделано потому, что вопросы агрономии превыше всего, с них и надо начинать. Дальнейшее описание жизни Прохора Палыча в колхозе пойдет уже по порядку.

Еще в первые дни пребывания на посту председателя Прохор Палыч собрал бригадиров и изрек:

— По вечерам нарядов давать не буду.

— А как же нам быть? — спросили все сразу.

— Утром — наряд, вечерами и ночами — заседания. Что я, Самоваров, не знаю разве, как руководят районные работники? Не первый год! С кого пример брать? С вас, что ли?

Попервоначалу стали возражать, перечить, да еще вздумали доказывать. Потом и бригадиры, конечно, вошли в понятие, а тогда, представьте себе, упирались. Прохор Палыч для доказательства твердости характера даже выражаться стал всякими черными словами, а в заключение обмяк и завершил:

— Соображение-то у вас есть или нет? Как можно с вечера давать наряд? А вдруг да умрет кто за ночь — допустим, тетка какая, — а на нее наряд дали: что это будет? Срыв, полная анархия. Я думаю и полагаю, что наряд давать будем только утром. Когда же бригадиры разошлись, он говорит мне:

— Вот они, работнички! Видал? С первых шагов на подрыв пошли. Ну, я перестрою — выбью из них дурь. Не первый год на руководящей! С этими, верно, наруководишь… — Он будто задумался,

а потом добавил: Менять надо, всех менять! Вот маленько разберусь и поменяю. А эти, видать, жулики и воры. Видал? Тот, чубатым, все улыбается, а тот все волком смотрит.

Ну, раз уж сам Прохор Палыч заговорил на первых порах о бригадирах, то и нам следует с ними поближе познакомиться, иначе описание жизни председателя не будет ясным.

Бригадиров в колхозе трое: Пшеничкин Алексей Антонович, Катков Митрофан Андреевич и Платонов Яков Васильевич. Все они очень старательные, хозяйственные, хорошие руководители бригад, почти непьющие, но характеры у них разные. Пшеничкин живет так, будто радуется вечно и полон радужных надежд; Платонов человек критического ума и иногда говорит: «Надо изживать недостатки, а не только говорить о хорошем»; Катков это человек быстрый и в работе и в мыслях: он в уме может моментально такие цифры помножить, что диву даешься!

И возраста все трое разного: Пшеничкину — двадцать семь, Платонову — шестьдесят, а Каткову — сорок два.

Пшеничкин — белокурый, кудрявый, голубоглазый, фуражка — набок, чуб над виском, и всегда верхом в седле: — с самого раннего утра и до позднего вечера, а в уборку — и ночью.

Платонов, несмотря на почтенный возраст, ни бороды, ни усов не носит, всегда чисто выбрит, волосы, совсем седые, зачесывает назад, ездит только на дрожках.

У Каткова — лоб высокий, нос тонкий, лицо симпатичное, веселое, с шустрыми черными глазами. Этот никаких средств передвижения, кроме мотоцикла, не признает и признавать не желает.

И вот смотрите! Разные люди, совсем-совсем разные, во всем разные, а как они одинаково сильно любят свое дело, сколько работают! Летом по семнадцать-восемнадцать часов в сутки в труде.

Где-то вы теперь, мои дорогие друзья-бригадиры? Радостно мне услышать ранним утром, перед восходом солнца, песню Алеши Пшеничкина; больно вспомнить, как он плакал над просом, которое побил град; приятно вспомнить, как его голубые глаза внимательно смотрели на меня на зимних занятиях по агротехнике! С благодарностью помню и наши беседы на отдыхе и мудрость Якова Васильевича Платонова. Вихрем бы промчался теперь с Митрофаном Андреевичем Катковым по шляху на его мотоцикле, а остановившись

у комбайна, вместе помогли бы молодому комбайнеру пустить в ход машину. Все знает этот Катков! Умница!

Урчат ли тракторы, грохочут ли комбайны «Сталинцы», мчится ли юркий самоходный «С-4», слизывая на ходу пшеницу, ворочает ли плуг пласты чернозема, гремит ли молотилка, полют ли посевы, сеют ли, веют ли — везде, везде они, бригадиры. Мои верные соратники, с какой охотой написал бы я сейчас и о вас, но — что поделаешь! — пока приходится писать о Прохоре Палыче. Это очень-очень нужно!

А дни у Прохора Палыча пошли неспокойные.

Утром он встал, прочитал листок календаря, оделся и пошел в правление давать наряд.

— Все в сборе? — спрашивает он, чинно усаживаясь за стол.

— Все, — отвечают бригадиры хором.

— Та-ак. С чего начнем?

— Да у вас небось план имеется, — улыбается Катков.

— Имеется: все в поле, как одна душа! Кто нарушит трудовую дисциплину — дух вон!

— А мне надо подвезти корм лошадям: три подводы, — говорит Пшеничкин.

— Мне надо в лес за дубками для крытого тока: две подводы, — заявляет Платонов.

— У меня в поле сегодня пойдет только десять человек, а остальные — на огород, — подает голос Катков.

— Так. Я, Самоваров, выслушал и говорю: борьба за урожай — первое дело. Меня, Самоварова, избрали выправить, а не распылять. Все в поле!

И началось! Спорить, кричать, доказывать! Пшеничкин, красный, как вареный рак, кричал, что лошади подохнут, что он отвечать не будет, что лошадь не мотоцикл и не автомобиль, в нее бензину не нальешь, что ей требуется не бензин, а рацион зоотехники и что он вообще не понимает, как понимать непонятное. Катков скороговоркой резал, что огород — это деньги колхоза, что все надо делать планово.

Платонов молчал и думал.

Прохор Палыч слушал, слушал все это, да ка-ак стукнет кулаком по столу:

— Всем в поле! Во всех справочниках и календарях написано — борьба за урожай, борьба за хлеб и тому подобно. А вы с капустой, с

дубками, с лошадями своими лезете! На подрыв пошли! Не позволю!

Платонов молчал и думал. Потом все трое сразу вышли. Алеша Пшеничкин с досады настегивал себя по сапогу плетью. Катков выскочил пробкой и стукнул дверью, а Платонов вышел спокойно, будто ничего особенного не произошло.

Время шло. Уже одиннадцатый час дня, а народ слонялся по двору вокруг правления, многие сели на травку, курили и балагурили; волы и лошади стояли запряженными, ездовые сидели, свесив ноги и греясь на солнышке, как заправские лентяи. Никогда такого не было я колхозе «Новая жизнь», а тут получилось… Вот вышли бригадиры из правления, а народ — к ним: что ж, мол, это такое? Какой наряд?

— Не знаю, — сказал Пшеничкин.

— Чорт его знает! — сказал Катков.

— Все в поле! — сказал Платонов, увидев выходящего Прохора Палыча.

Раздались возгласы:

— А чего всей бригаде делать в поле? Капуста пропадет.

— Убирать скоро, а в нашей бригаде крытый ток не закончен. В лес надо.

Прохор Палыч все это слышал. Он сразу понял, откуда ветер дует, и сказал бригадирам:

— Вот полюбуйтесь на вашу дисциплину! Двенадцатый час, а у вас люди лодырничают. Развалили колхоз, проходимцы вы этакие! Да еще и массу подстроили на меня, слова-то говорят ваши! Слышь: о капусточке да о дубочках. Это-то мы учтем!

Тем временем, пока народ волновался, Платонов сказал двум другим бригадирам:

— Зайдемте-ка в конюшню да посмотрим, что там сделать: пора, наверно, мазать ее.

Прохор Палыч упер руки в бока, расставил галифе во всю ширину крыльца и решил наблюдать, будет ли выполнен его наряд, а бригадиры вошли в конюшню. Там Платонов и говорит:

— Алеша! Ты садись на меринка — и за село: встречай и направляй своих куда следует; а ты, Митрофан Андреевич, садись на мотоцикл — и на огород: встречай своих и моим скажешь, а я догоню помаленьку на дрожках. Но из села выходить всем только в поле. Понятно?

— Есть! — ответили оба и повеселели.

А Катков, проходя мимо председателя, успокоил его:

— Все будет исполнено в точности по вашему наряду!

Прохор Палыч был очень доволен, что он повернул руль руководства на полный оборот, и, возвратившись, сказал счетоводу:

— Ничего-о! Повернем еще круче! А тебе вот что скажу: ты мне приготовь сведения к вечеру.

— Какие сведения?

— Сколько коров, лошадей, свиней, птицы разной и прочих животных; и притом на малюсенькой бумажечке, чтоб на ладонь улеглась. Понял? Случаем, если доклад — все под рукой. — И Прохор Палыч накрыл ладонью воображаемую бумажку.

Счетовод был человек пожилой, лет пятидесяти пяти, в очках с тоненьким блестящим ободком, полный, но очень живой и подвижной и весьма сообразительный, как и все колхозные счетоводы. Зовут его Степан Петрович. Он пережил уже шестнадцать председателей и толк в них знал очень хорошо. Спорить с Прохором Палычем он не стал, а заверил:

— Будет исполнено в точности!

— Во! Это по-моему! Люблю!

Микроскопическими цифрами исписал Степан Петрович листок из блокнота и, передавая его Прохору Палычу, почему-то улыбался.

— Тоже, наверно, жук! Чего ухмыльнулся?

— Никак нет, не жук. Херувимов Степан Петрович.

— То-то, что Херувимов… М-м да… Фамилия — того…

Один раз, правда, удалось Прохору Палычу отчитаться по животноводству с этой шпаргалкой, но потом засыпался: о чем ни скажет — всего, оказывается, на самом деле больше, а в бумажке, что под рукой, — меньше. А дело в том, что свиньи поросились, коровы телились, лошади жеребились — всего прибавлялось. Задумался он: как же наладить учет?

Степан Петрович советует искренне:

— Каждый раз надо брать у меня новые данные и проверять в натуре.

Хоть и подозрительная фамилия у этого счетовода, но Прохор Палыч попробовал делать так. Все-таки счетовод, а не агроном какой-нибудь.

Однажды вызывают Прохора Палыча с докладом по животноводству. Выписал ему Степан Петрович все, как полагается, и пошел он проверять в натуре. Приходит на свинарник.

— Сколько свиней?

— Сто одна.

— Так. Правильно. А сколько поросят?

— Двести.

— Брешешь! У меня записано сто восемьдесят два.

— Так ночью две свиноматки опоросились.

— Фу, чорт! И надо им пороситься тут, в самое это время, будь они неладны!

Пошел в телятник.

— Сколько телят?

— Семьдесят.

— Брешешь! У меня — семьдесят два. Почему, спрашиваю, меньше на два головодня? Зарезали телков, мошенники!

— Да нет же, нет, — взмолилась телятница. — Двух бычков-то сдали, а документа нет целую неделю, вот они и не списаны. Степан Петрович без документа не спишет. И списать невозможно: должны числиться, мы понимаем.

— Документ, документ! — перебил Прохор Палыч. — Я вам покажу документ! А ну, давай считать в натуре!

Накинули перегородку поперек телятника, как при ревизии, и стали выпускать во вторую половину по одному.

— Раз, — считает Прохор Палыч, — два, три… десять, пятнадцать… Кажись, один проскочил… Двадцать… Будь ты неладно, в носу зачесалось. Не к добру… Двадцать пять… Воздух тут — того… В носу свербит…

Он вынул платок и высморкался по своему обычаю: ка-ак ахнет во всю трубу! Что тут сотворилось! Телята шарахнулись, сбили перегородку, взревели испуганно, истошно — и все перемешались.

Теленок — животное нервное, хотя он и дитя коровы, теленок совершенно глуп и ровным счетом ничего не понимает насчет руководства, но Прохор Палыч обиделся и, плюнув, выразился так:

— Чтоб вы попередохли, губошлепы! Телятся, телятся безудержу, никакого стабилю нет, да еще и не сморкнись. Подумаешь! Дермо!

И ушел.

Но надо же вникнуть в животноводство, в самую глубь? Надо. Пришел он в правление, сел в кресло и задумался: «Обязательно им надо пороситься, жеребиться, телиться… куриться!» Тут что-то такое мелькнуло в голове Прохора Палыча, какая-то не то мысль, не то блоха. «Что же такое у меня мелькнуло? — Думает. — Вот мелькнуло и нет… Никогда в голове ничего такого не мелькало, а тут вдруг — на тебе! Уж не помрачение ли у меня?.. А мелькнуло все-таки… Ага! Догадался! Слово неудобное: куриться! — И дальше думает: — Как это куры: курятся или как? Оптичиваются? Нет. Петушатся? Не слыхал. Этого слова при людях говорить не надо!»

В самом деле, чорт их знает, как они — куры, когда Прохор Палыч сроду с ними не имел никакого дела! И вообще в сельском хозяйстве чепуха какая-то! Другое дело какой-нибудь завод или мастерская — там так: есть станок — есть, есть сто станков — есть. Крышка, эти уж отелиться не могут! Мысли, конечно, тяжелые, но правильные. Но как найти выход? Ужели ж самому за всем и следить, проверять, ходить по этим телятницам, поросятницам, курятницам?

Однако выход он нашел: при всяких отчетах и докладах просто прибавлял поголовье на несколько десятков: «Небось отелились! А не отелились, так отелятся, — эта чортова скотина, она такая». Так что с этим вопросом Прохор Палыч вышел из положения, как и подобает человеку, имеющему опыт руководства.

Но дни наступали все беспокойнее и беспокойнее. Что и говорить — это не у жестянщиков! Тому подпиши, тому выпиши, тот с заявлением лезет, этому усадьбу дай, тот аванс просит, а тот лезет: «Прими телка под контрактацию», будто своих мало. Там на свиней болезнь напала там, говорят, какие-то суслики где-то что-то едят, тут трактористы донимают, агрономы не дают покоя, землеустроители… Все завертелось. Где там в поле попасть, когда тут пропадешь! И Прохор Палыч уже подписывал на ходу, не глядя, что подписывает, совал заявления в карман и отвечал: «Сделаем — я сказал»; но заявления накапливались пачками. А тут — еще новости! — зоотехники навалились и давай и давай точить — то за свиней, то за овец! Дошло до того, что Прохор Палыч одной рукой обедает, а другой подписывает и все-таки ничего не успевает сделать, хотя руль повернул на полный оборот. Сказать, чтобы он растерялся, — нельзя: вид у него не такой. Трудно, очень трудно! Не будь водки — пропал бы

человек ни за грош! Но он дает себе отдых: норму свою принимает, и все идет нормально и в полеводстве и в животноводстве, несмотря на большую нагрузку.

Зато есть у него точка опоры в руководстве. Есть! Четыре раза в неделю он созывает расширенные заседания правления, заслушивает отчеты о работе за прошедшие полтора дня и выносит развернутые решения. В этом он незаменим, и все нити руководства у него в руках.

Для примера возьмем одно заседание — очень важное заседание, если говорить без шуток.

Пять часов дня. Близится вечер. Бригадиры бросили поле и прискакали в правление по срочному вызову через нарочного. Прохор Палыч дает распоряжение:

— Расширенное заседание назначаю в семь! Так и объявите! Чтобы все были ровно в девять! Немедленно сообщить всему руководству животноводства, строительства и подсобных предприятий: каждый с докладом. Все!

И пошли бригадиры по дворам уже пешим ходом.

В тот вечер я сидел у Евсеича на диванчике и почитывал. Сам Евсеич плел вентерь и подпевал тихонько, а Петя писал что-то за своим столом и не давал покоя старику:

— Как, говоришь, дедушка? «Богом данной мне властью» и…

— Вот пристал! Ну, «богом длиной мне властью мы» — не я, а мы, — «мы, царь польский и князь финлянскай и проча, и проча, и проча»…

— А вместо «проча» не писали «и тому подобное»? Терентий Петрович говорит, что можно «и тому подобное».

— Нет, не писали: писали «и проча». Да на что это тебе потребовалось? И все ему надо. На кой ляд тебе, как цари писали?

— Для истории, дедушка! — отвечает Петя, а сам ухмыляется.

— Ну, для истории — валяй!

В это время вошел Платонов и объявил мне о заседании правления.

— Опять?

— Опять, — махнул он рукой. — Пропали не спавши! Аж кружение в голове… Одним сторожам только и покой ночью, не трогает пока.

Из хаты мы вышли вчетвером: Платонов и я — на заседание правления, Евсеич — на пост, сторожить, а Петя нырнул в калитку к прицепщику, Терентию Петровичу (о котором речь впереди). Потом Петя появился в правлении, снова исчез и, наконец, смирненько уселся в уголке на полу. Когда мы шли на заседание, Платонов спросил Евсеича:

— Отнес?

— Сдал самому Ивану Иванычу и от себя добавил на словах.

Приходим в правление. Народ начинает помаленьку собираться. Усаживаются. Однако избегают садиться на скамейки, а больше — вдоль стен на полу и даже между скамейками. Это для того, чтобы удобно было во время заседания поспать, свернувшись калачиком или привалившись головой к соседу. Докладов намечено чуть ли не десять и, кроме того, разбор заявлений, которые лежали перед Прохором Палычем, как стопка вчерашних блинцов, с обтрепанными и завернутыми краями. На столе председателя стоял колокольчик, снятый с дуги: для наведения порядка. На свадьбы Самоваров, правда, продолжал его давать и сам охотно там присутствовал, но чтобы на следующий день колокол снова был на месте.

Колокол оглушительно прозвонил, кто-то тихонько сказал: «Поехали!», а Прохор Палыч объявил:

— Расширенное заседание совместно с руксоставом колхоза «Новая жизнь» считаю открытым. По первому вопросу ведения слово предоставляется мне лично. Товарищи! Сегодня мы, собравшись здесь, заслушаем весь руксостав, рассмотрим весь колхоз. Вопрос один: укрепление колхоза и путь в передовые. В разных, могущих быть возникнутыми, — разбор заявлений. Порядок докладов продуман: первый — бригадир полеводческой бригады товарищ Платонов.

— Подвезло тебе, Яков Васильевич, — вздохнул Катков, — отчитался — и на сон, под лавку.

Прохор Палыч брякнул колоколом и продолжал перечислять порядок докладов:

— Завкладовой, птичница, телятница, все конюха, затем остальные бригадиры. Слово для доклада даю товарищу Платонову. Вам час дается.

— Не надо мне час.

— А сколько?

— Нисколько.

— Как так?

— Очень просто. Нечего мне говорить — вчера докладывал. Вы должны знать и так, без доклада.

— Я без тебя знаю, что я должен знать. И знаю все. Но порядок такой: в докладе должен сообщить, и внутрь глянуть, и вывернуть все на самокритику. Давай!

— Все у меня благополучно.

— А я говорю, докладывай! Не мне докладывай — народу! Вот они!

И Платонов скрепя сердце, нудно, не похоже на самого себя стал отчитывать, как дьячок. И голос-то у него сделался какой-то унылый, и речь несвязная, а все-таки говорил. Стоит ли перечислять то, о чем он говорил, и так надоело!

Прохор Палыч заставлял говорить одного докладчика за другим и думал: «Я их раскачаю! Заговорят, как миленькие, разовьются!»

Катков шепнул Пшеничкину:

— Тебе, Алеша, дать, что ли, поспать сегодня? Твой доклад в самой середине, беда тебе не спавши!

— Дай, пожалуйста, Митрофан Андреевич! Умру без сна — четвертые сутки!

— Часа на два могу, а больше дару вряд ли хватит, Алеша.

— И на том спасибо! Мне больше и не надо. Я, может, до полночи еще прихвачу немного.

И около двенадцати часов ночи, когда Прохор Палыч выкликнул фамилию Пшеничкина, тот безмятежно спал, свернувшись калачиком в углу, а около него сидел и бодрствовал Катков. Когда он услышал слово «Пшеничкин», то встал и сказал:

— Мой доклад, Прохор Палыч, а не Пшеничкина, ошибочка произошла. И к тому же я приготовился.

Любил такие передовые выступления Прохор Палыч и поэтому сказал:

— А может, и ошибка, тут голова кругом пойдет. Давай!

И Митрофан Андреевич принялся «давать». Он рассказал о плане Волго-Дона, остановился на учении Вильямса, загнул о происхождении жизни на земле по двум гипотезам, коснулся трактора и описал все детали его по косточкам: лишь бы Алеша спал подольше.

О работе своей бригады он почти ничего не говорил, по все, кто еще не успел заснуть, слушали его с удовольствием, а многие даже проснулись. Алеша спал сном праведника до двух часов ночи. Наконец Катков закончил:

— И так, на основе мичуринского учения, моя бригада и работает. Все!

— Весь высказался? — спросил Прохор Палыч.

— Могу и еще, но уморился, — ответил докладчик и с сожалением посмотрел на кудри Алеши Пшеничкина, раскинувшиеся на полу.

— Следующий!

Уже перед рассветом, когда загорланили по всему селу третьи петухи, приступили к разбору заявлений. Прохор Палыч обратился к бодрствующим:

— Будите! Начинаем заявления.

— Да какие же заявления? Рассветает!

— Хоть десяток, а разберем. Будите!

Народ зашевелился, закашлял, закурил, раздались сонные, но шутливые голоса:

— Вставай, Архип, петух охрип! Белый свет в окне, туши электричество!

— Аль кочета пропели? Скажи, пожалуйста, как ночь хорошо прошла! Можно привыкнуть спать вверх ногами.

— Завтра работаем, ребятки, спросонья!

— Не завтра, а сегодня.

Рявкнул колокол. Прохор Палыч объявил:

— Первое заявление разберем от Матрены Чуркиной. Просит подводу — отвезти телушку в ветлечебницу. Читай подробно! — обратился он к счетоводу.

— Чего там читать! — сказал спросонья Катков; (он тоже чуть-чуть прикорнул перед светом). — Чего читать? Телушка месяц как скончалась.

— Как это так? — спросил председатель, синий от бессонницы.

— Да так — подохла. Покончилась — и все! Не дождалась.

— Как так скончалась? Заявление подала, а померла… То есть того… Зачем тогда и заявление подавать?

— Не Матрена, а телушка, — вмешался Пшеничкин.

Но Прохор Палыч смутно понял, что в результате ночных бдений у него вроде все перепуталось.

— Ясно, телушка, — продолжал он поправляясь. — Товарищи! Телушка до тех пор телушка, пока она телушка, но как только она перестает быть телушкой — она уже не телушка, а прах, воспоминание. Товарищи! Поскольку телушка покончилась без намерения скоропостижной смертью, предлагаю выразить Матрене Чуркиной соболезнование в письменной форме: так и так — сочувствуем…

Алеша Пшеничкин не выдержал и крикнул:

— К чертям! Матрене телушку надо дать из колхоза: беда постигла, а коровы нет!

— Сочувствую! Поддерживаю, — ответил Прохор Палыч, — но без санкции товарища Недошлепкина не могу.

— Всегда так делали, всю жизнь помогали колхозникам в беде! — горячился Алеша. У него, и правда, почти вся жизнь прошла в колхозе. — Всегда так делали, а при вас — нельзя. Жаловаться будем в райком!

— Жаловаться в райком! — повторил Катков.

— Жаловаться в райком! — поддержал Платонов.

— Жаловаться в райком! — крикнули сразу все, сколько было.

Прохор Палыч громко зазвонил колоколом, восстановил порядок и спокойно сказал:

— Жалуйтесь! Попадет жалоба первым делом товарищу Недошлепкину, а я скажу ему: «Вашей санкции на телушку не имел». Все! Этим меня не возьмешь! Давай следующее заявление! Читай! — скомандовал он счетоводу.

Степан Петрович взял заявление из пачки, надел очки на кончик носа и приспособился было читать, но вдруг прыснул со смеху, как мальчишка, и сказал:

— Извиняюсь, нельзя читать! Невозможно, Прохор Палыч. Сначала сами прочитайте! Обязательно! Здесь для вас одного написано…

— Приказываю: читай!

И Прохор Палыч откинулся на спинку кресла, а от досады и на телушку, и на бригадиров, и на всех сидящих здесь решил про себя: «И слушать не буду: пусть сами разбирают! Посмотрим, как без

руководства пойдет заседание: раскричатся, да еще и передерутся. Не буду и слушать!» И правда, он сперва не вслушивался, а счетовод — шестнадцать председателей пережил — не стал возражать и читал:

— «Ко всему колхозу!

Мы, Прохор семнадцатый, король жестянщиков, принц телячий, граф курячий и прочая, и прочая, и прочая, богом данной мне властью растранжирили кладовую в следующем количестве: „ко-ко“ — две тысячи, „бе-бе“ — десять головодней, „хрю-хрю“ — четыре свинорыла. И еще молимся, чтобы без крытого тока хлеб наш насущный погноить! И призываю вас, акурат всех, помогать мне в моих делах на рукработе в руксоставе! Кто перечит — из того дух вон! И тому подобно, подобно, подобно…»

— Сто-о-ой! — возопил Прохор Палыч.

Колокол звонил. Народ встал на ноги и надевал шапки в великом недоумении от королевского послания. Только Петя Федотов сидел в уголке смирненько и, ничуть не улыбаясь, смотрел на происходящее.

— Что случилось? — спрашивали проснувшиеся.

— Где горит? — вскрикнул кто-то.

Прохор Палыч рванул бумажку из рук счетовода.

— Кто подписал? Дайте мне врага колхозного строя!

— Вы, вы… сами подписали! Ваша личная подпись стоит, — с напускным испугом говорил Степан Петрович. — Я же вам говорил, я предупреждал, я вас просил, но вы приказали. У вас же характер такой: сказал — крышка! Надумал — аминь!

Председатель остолбенел. Да и как было не остолбенеть? На послании «Ко всему колхозу» стояла его собственная подпись. Никто не мог бы скопировать извивающуюся змею вместо начального инициала «П», невозможно подделать семь колец буквы «С», а дальше — девять виньеток с двумя птичками и вокруг фамилии овал с прихвостьем ровно в тринадцать завитков. Ни один мошенник не может подделать подобной подписи или даже расшифровать ее — это невозможно! Подписал он где-то на ходу, не глядя. Но кто, кто мог подсунуть? Где этот — тот самый, которого надо раздавить? Прохор Палыч махнул рукой, чтобы все уходили.

…Деятельность Прохора Палыча в колхозе продолжалась четыре месяца. Заседание, описанное выше, было в начале пятого месяца.

В понедельник утром Прохор Палыч собрался ехать в район с крамольным посланием, доказать, что ветер дует от бригадиров, разъяснить, что ему никто не помогает, а все идут на подрыв, и снять после этого всех троих сразу. Но вспомнил: понедельник — день тяжелый, и отложил. Во вторник поехал — кошка перебежала дорогу.

«Чортова живность! Чтоб тебе пусто было! Еще попа недоставало… Этот если перешел дорогу — то все, вертайся назад! Не первый год, знаю…»

Кошка испортила все настроение, а оно и так в последние дни стояло на отвратительно низком уровне. Ехал он сумрачный, мыслей никаких не было, и в голове ничего не мелькало, кроме одной кошки.

И, странное дело, въехал Прохор Палыч в город, будто в чужой, а не в тот, что был много лет родным гнездом, где он многие организации и учреждения укреплял и где оставил по себе память на долгие годы.

Приехал и пошел прямо к Недошлепкину, чтобы с ним уже идти к секретарю райкома. И снова не повезло — чортова кошка! — Недошлепкина не было. Кабинет закрыт, а секретарь райисполкома говорит:

— Не знаю где. Второй день нету.

Не ехать же обратно — пошел один. Входит он в кабинет секретаря райкома, Ивана Ивановича Попова. Тот его встречает:

— А-а!

А Прохор Палыч и не знает, как понимать это «а-а!» Никогда такого разговора не было. Вынул платок, высморкался. Этому я сам был свидетелем, сидел в кабинете рядом с Петром Кузьмичом Шуровым, с которым я читателя уже познакомил раньше. Но Прохор Палыч не знал Петра Кузьмича и думал: «Свистун какой-то, никакого руководящего виду».

Достает Прохор Палыч «послание» и кладет на стол. Иван Иванович берется читать и… как захохочет! Хохочет, как мальчишка, снял пенсне и вытирает слезы, аж подпрыгнул в кресле и за живот, хватается обеими руками. Прохору Палычу показалось, что секретарь рехнулся умом или, во всяком случае, тронулся мозгами. Не может же так смеяться действительный секретарь райкома! Настоящий секретарь обязан смеяться так: «ха!» и подумать, «ха!» и еще раз подумать. А этот заливается слезным хохотом.

— И подпись-то, подпись-то ваша, — почти умирая, хохочет Иван Иванович.

И Петр Кузьмич хохочет. Закрыл глаза, одной рукой за русые волосы ухватился, а другой отмахивается, будто от мухи, и трясется весь от хохота.

«Бьет смех, как припадочного!» — подумал Прохор Палыч и ничего — абсолютно ничего, ну ни единого нуля! — не понял из происходящего.

Отсмеялись. Пьет воду Иван Иванович и передает стакан Петру Кузьмичу. Напились. Отошел Иван Иванович к окну и смотрит в сад, помрачнел как-то сразу и спрашивает, не глядя на Самоварова:

— С этим и пришел?

— Да. Один подрыв. Никто не помогает — один, как свечка, кругом. Все сам! Чего сам не сделаешь, того никто не сделает. Мошенники и жулики все, особенно бригадиры: снимать надо. Согласовать пришел.

А Иван Иванович будто и не слушает. Сел в кресло, смотрит в середину стола и говорит:

— Что мы наделали? Четыре месяца прошло!.. Ведь вы, Самоваров, что наворочали!.. Молокопоставки просто угробили, поставки шерсти сорвали, контрактацию молодняка проворонили. На носу уборка, а у вас в двух бригадах нет крытых токов, погноите хлеб! Людей с ферм разогнали. Замучили всех ночными заседаниями. Ведь это еще благо, что там золотые бригадиры, хоть в поле-то все благополучно, в чем вы, кажется, неповинны… Эх! Нам колхозники доверяют, а мы? Кого поставили, кого рекомендовали!

Прохор Палыч по своему опыту помял, что наступил момент признавать.

— Признаю! Тяжко мне сознавать всю вину! Допустил ошибку, большую ошибку! И она — вот где у меня!

Он стукнул трижды кулаком по груди, трижды высморкался, посопел, вытер сухие глаза и уже тихо произнес согласно надлежащему в этом случае правилу: — Признаю и каюсь!

А Иван Иванович говорит:

— Да не ваша ошибка, чучело вы этакое! Наша, моя лично!

Прохор Палыч встал и, расставив руки с растопыренными пальцами над галифе, попятился назад в полном недоумении.

— Что, не понимаете? — спрашивает секретарь.

Прохор Палыч мотает головой.

— Тогда и о вашей ошибке скажу. Вот у меня коллективное заявление бригадиров и многих колхозников, просят немедленно созвать общее собрание, пишут о нашем самодурстве. Собрание проведем завтра.

Прохор Палыч снова сел и, кажется, начал кое-что понимать.

— Но это не все, — продолжал секретарь. — Вот акт о незаконном «ко-ко» и «бе-бе» на три тысячи рубликов, здесь и Недошлепкину начислили около тысчонки. Вы даже и акт отказались подписать, Самоваров… Такие-то дела!

Прохор Палыч действительно прогнал какого-то щуплого бухгалтеришку, который все совал ему какой-то акт, но что это за акт, ей-богу, не знает и не помнит. А оно — вот что! И он сидел, тучный, широкий, но непонимающий, опустошенный внутри. Внутри ничего не было!

Иван Иванович продолжал:

— Будем рекомендовать товарища Шурова — агроном!

Прохор Палыч встрепенулся. Он будто опомнился, будто живая струя просочилась внутрь.

— Как? Агроном — председатель? — И вся его фигура говорила: «Мошенника, химика и астронома — в председатели?»

— Да, — ответил секретарь, а Шуров улыбнулся. — О вас же, Самоваров, будем решать вопрос на бюро, что дальше делать. Хорошего не предвижу.

Так бесславно кончилась деятельность Прохора Палыча в колхозе. Не буду описывать, как проходило общее собрание. Каждый знает, как выгоняют колхозники негодных руководителей — наваливаются все сразу и без удержу отхлестывают и в хвост и в гриву, отхлестывают и приговаривают: «Не ходи куда не надо! Не ходи!»

Стал Прохор Палыч нелюдим и задумчив: что-то такое в нем зашевелилось внутри и ворочалось, ворочалось все больше. Удивлялись люди: смирный стал, тихий.

Был суд.

Прохору Палычу дали год исправительно-трудовых работ.

Видел я его еще раз, незадолго до суда, в закусочной. Он сидел за столом с Недошлепкиным, и оба были в среднем подпитии. Лицо

Прохора Палыча осунулось, он похудел, глаза стали больше, нос — меньше; одет в простую синюю, в полоску, сатиновую рубашку. Его собеседник был все в той же форме «руксостава» — в черной суконной гимнастерке с широким кожаным поясом, в тех же огромных роговых очках, — такой же, как и был.

— Ну, тебя-то, — говорил Недошлепкин, — волей-неволей надо было снимать — с сельским хозяйством не знаком. Я это предвидел. А за что сняли меня? За что прогнали из партии? За что оклеветали?

Прохор Палыч медленно встал, смотря в одну точку. Глаза его были влажными и красными. Вдруг он сжал зубы, стукнул кулаком по столу так, что задребезжали стаканы, и вскрикнул:

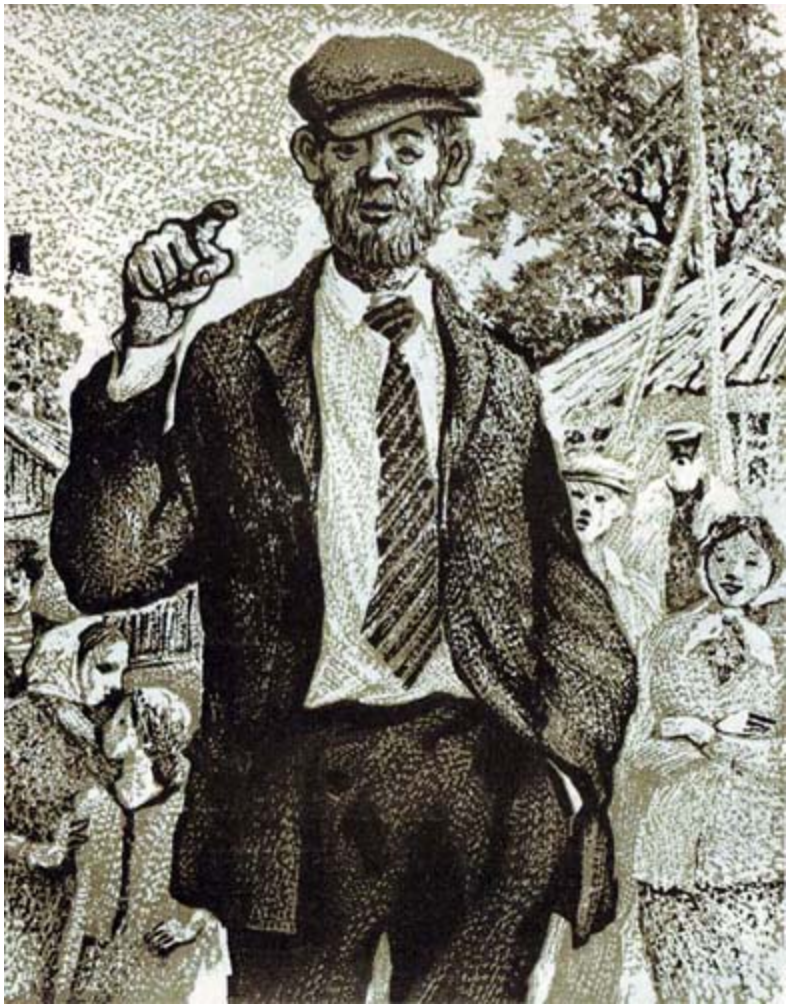
— Убил бы!

Недошлепкин отпрянул всем корпусом, будто от удара в лоб, очки спрыгнули на самый кончик носа, на лысине выступил капельками пот, губы что-то зажевали, он поднял ладонь над головой, будто защищаясь, и прохрипел:

— Кого?

— Себя! Ошибку в колхозе допустил: не туда руль повернул. Каюсь, — заныл он по привычке и склонил голову на грудь. Так Прохор Палыч постоял немного, затем извлек из кармана клетчатый носовой платок и высморкался.

# Прицепщик Терентий Петрович



Если вы встретите Терентия Петровичи, то на первый взгляд он покажется вам невзрачным человеком. Маленького роста, щуплый, с короткой русой бородкой, в большом, не по плечам ватнике с подвернутыми рукавами, он посмотрит на вас спокойными прищуренными глазами из-под мохнатеньких бровок. Фуражка ему немного великовата, и козырек всегда чуть набок: мешает глазам. Вы подумаете: ничего, дескать, особенного в этом колхознике нет. Но это далеко не так. В человеке ошибиться легче всего.

Вот если бы вы посмотрели, как относятся к Терентию Петровичу в колхозе, как почтительно все здороваются с ним, то, конечно, призадумались бы, по какой причине такое ему уважение. Ведь даже бригадир Платонов Яков Васильевич при даче наряда так и обращается

к нему: «А вам, Терентий Петрович, самому известно, что надо завтра делать».

Терентий Петрович во время сева работает на сцепе двух тракторных сеялок сеяльщиком, во время прополки — на культиваторе, во время уборки на комбайне у соломокопнителя, на сенокосе — управляет агрегатом трех тракторных сенокосилок, при скирдовании — на стогометателе, при вспашке зяби регулирует плуг. В общем точная его профессия — прицепщик.

Замечу, что быть прицепщиком сложных сельскохозяйственных машин не так-то просто. Это не то что прицепил, сел и сиди смотри, как трактор тянет. Вовсе не так! Тут надо знать немало, и знать как следует. Одна только тракторная сеялка имеет больше полутысячи деталей, а сколько есть еще других машин… Настоящий прицепщик, если говорить прямо, — такая фигура в колхозе, от которой во многом зависит урожай. Плохая вспашка или посев сразу отразится на трудодне колхозников. Но Терентий Петрович плохой работы не допустит. Во-первых, он уже дважды был на трехмесячных курсах прицепщиков и дело знает, во-вторых, он исключительной добросовестности человек.

Однажды был такой случай. Пришел Терентий Петрович на дневную смену к тракторному плугу, осмотрел прицеп, дождался, пока тракторист Костя Клюев окончил заливку воды в радиатор, и сказал:

— Глуши трактор.

— По какому случаю? — спросил Костя, недоуменно подняв брови вверх и сдвинув замасленную шапку на затылок.

— По случаю утери лемешка предплужника у пятого корпуса.

— Ерунда-а! — протянул Костя, успокоившись, и поправил шапку. — Поехали!

По молодости и легкомыслию Костя не придавал особого значения такому пустяку, как крошечный лемешок.

— Не поедем. Глуши трактор, и давай в отряд за лемешком, а я тем временем подлажу плуг.

— Дядя Терентий! Да как же так? Илья Семенович за ночную смену полторы нормы дал, а я буду в отряд бегать!

— Будешь бегать, — спокойно подтвердил Терентий Петрович.

— Лучше я попашу с полчасика, а ты сходи.

— Потому тебя и посылаю, что пахать нельзя без важной детали. А уйду — знаю, поедешь.

— Все равно поеду.

— Не поедешь!

— А что ты мне сделаешь? — спросил Костя, глядя на Терентия Петровича сверху вниз.

— Что сделаю? — переспросил Терентий Петрович и поднял глаза на высокого, широкоплечего парня. — Чистиком по заду огрею! — При этом он действительно поднял чистик — длинную палку с лопаточкой на конце — и воткнул в землю рядом с собой, будто для того, чтобы удобнее было при случае схватить.

Терентий Петрович медленно обошел вокруг трактора, затем вынул кисет и стал закуривать. А Костя, покосившись на чистик, у которого стал Терентий Петрович, оглянулся на ворчливо попыхивавший трактор и просительно произнес:

— Ну?

— Я тебе дам «ну»! — будто осердившись, сказал Терентий Петрович и взялся за чистик.

Конечно, ничего такого не могло быть, Терентий Петрович сроду никого не ударил, но большой Костя отошел от маленького Терентия Петровича, заглушил трактор, отчего сразу стало скучно обоим, и с обидой заговорил:

— Полторы нормы дал, а предплужник потерял! Тоже — передовик называется! А я теперь стой бестолку полчаса…

— С этого и начинал бы, — отозвался Терентий Петрович. — Это ты правильно. Доложу директору эмтеэс лично. — Тут он немного подумал. — И председателю доложу. И ты доложи… А со мной плохо пахать не будешь. Понял?

— «Доложи, доложи», «понял, понял»! — волновался Костя. Он тоже обошел вокруг трактора и снова остановился перед Терентием Петровичем.

— Ты слышь, — спокойно тенорком заговорил тот. — Слушай меня, что скажу! — И нагнулся к предплужнику. — Он, лемешок, кладет стерню на дно борозды. Так. Стерня та перепреет, а наверху, значит, будет чистый плодородный слой. Агротехника — первое дело.

Косте это было известно не хуже Терентия Петровича. Но кому нравится молчащий трактор! И Костя горячился.

— Да знаю я это давно!

— То-то и оно! А раз знаешь, то нельзя так, без соображения, говорить: «Все равно поеду». Как это так «поеду»? Ты меня везешь, а я качество делаю. Мы с тобой, Костюха, перед народом отвечаем. Понял? А не так, чтобы трактор ехал — и вся недолга. А что он везет за собой, как везет, что из этого получится на будущий год — будто нам с тобой никакого интереса нет… Глупости!

— Конечно, глупости, — повторил Костя и пошел в отряд за лемешком.

Все знают: там, где работает Терентий Петрович, качество будет отличное. Но почет Терентию Петровичу идет не только из-за его трудовых успехов. Есть и еще кое-что. Вот возьмем, к примеру, выпивку. Люди пьют по-разному, и настроение у них бывает после этого разное: одни становятся смирными, другие, наоборот, буйными, третьи даже плачут, иные пляшут, если случится лишний стакан хватить, — всяко бывает с людьми. Но с Терентием Петровичем ничего этого не бывает. Пьет он очень редко — раза два-три в год, но пьет как следует, крепко, по-настоящему, и случается это только в праздники. К середине такого праздничного дня ноги у него еще вполне подчиняются голове, но уже начинают отчасти с нею спорить. В это время он обязательно одет в черную суконную пару, обязательно при галстуке, в до блеска начищенных ботинках, но все равно костюм ему чуть великоват и ботинки — тоже.

В колхозе «Новая жизнь» в такие дни не только наблюдают Терентия Петровича, но и группами сопровождают его, останавливаясь невдалеке, когда он останавливается. Больше того, иногда он даже обращается к собравшимся с короткой речью. А кто увидит в окно Терентия Петровича в таком состоянии, восклицает: «Петрович в обход пошел!», после чего выскакивает на улицу и присоединяется к сопровождающей его группе.

В тот день, о котором пойдет речь, Терентий Петрович, заложив руки за спину, сначала обратился к собравшимся:

— Товарищи! Не такой уж я хороший человек и не такой уж вовсе плохой. Точно. Но когда крепко выпью, то тогда… — он поднял палец вверх, покрутил им над головой, — только тогда, товарищи, у меня ясность мысли и трезвость ума. Точно говорю!

Язык у него не заплетался, даже наоборот — говорил Терентий Петрович четко, громче обычного, но речь складывалась совсем не такой, как всегда. Это был уже не тихий и скромный прицепщик: что-то смелое и сильное звучало в нем. Он повернулся лицом к хате, против которой остановился, и начал:

— Здесь живет Герасим Иванович Корешков. Слушай, Гараська! — Хотя около хаты никого не было, но Терентий Петрович обращался так, будто Корешков стоял перед ним. — Слушай, что я скажу! Тебе поручили резать корову на общественное питание. А куда ты дел голову и ноги? Унес! Ты думаешь, голова и ноги — пустяк? Три котла студня можно наварить для бригады, а ты слопал сам. Нет в тебе правды ни на грош! Точно говорю. Если ты понимаешь жизнь, ненасытная твоя утроба, то ты не должен тронуть ни единой колхозной соломинки, потому — там общее достояние. А ты весь студень спер, седогорлый леший. Пожилой человек, а совести нет. Бессовестный! — заключил Терентий Петрович и пошел дальше, не обращая внимания на группу колхозников, последовавших за ним на отшибе.

Позади него послышался негромкий разговор:

— Бегал смотреть на Гараську?

— Смотрел. Стоит в сенях, ругается потихоньку, а не вышел.

— Не поздоровится теперь Герасиму от студня.

— Коровьей ногой подавится.

И немного спустя опять спросил первый голос:

— Интересно, куда теперь пойдет Терентий Петрович? В — прошлом году у Киреевых останавливался…

Но Терентий Петрович прошел мимо дома Киреевых и неожиданно остановился у Порукиных. Егор Порукин никогда не был замечен в воровстве, минимум у него давно выработан, поэтому остановка здесь была для всех интересной. Кто бы и что в колхозе ни натворил, народ рано или поздно узнает, хотя виновному и кажется, что все шито-крыто. Однако если о студне разговор по селу был настойчивый, то о Порукине никто ничего не слышал, и нельзя было даже подумать о чем-либо плохом. А Терентий Петрович стал в позу оратора, засунул руки в карманы брюк и заговорил:

— Здесь живет Порукин Егор Макарыч. Давно я хотел до тебя дойти, Егор Порукин, да все недосуг. Слушай меня, что скажу!

Егор Макарыч вышел со двора на улицу и, не подозревая ничего плохого, подошел к группе колхозников.

— Здорóво! Чего это Терентий у меня стал?

— А кто ж его знает, — ответило несколько голосов сразу. — Выпил человек — спросу нет.

Терентий Петрович, конечно, видел, что Егор Макарыч вышел из дому, но не обернулся к нему, а стоял так же прямо против хаты и продолжал:

— Нет, ты слушай! У тебя, Егор, корова — симменталка, дает двенадцать кувшинов молока. Хоть ты и говоришь «пером не мажу, а лью под блин масло из чайника», но, промежду прочим, на твои двенадцать кувшинов плевать я хотел «с высоты востока, господи, слава тебе!», как поется у попа. — Тут Терентий Петрович передохнул маленько от такой речи и поправил картуз. — Та-ак! Ни у кого в колхозе такой нет: пять тыщ стоит твоя скотина! А спрошу-ка я: откуда у тебя взялась она? Где ты такую породу схапал?

Вдруг Егор Макарыч решительно зашагал к Терентию Петровичу и, остановившись перед ним, сказал решительно:

— Уйди! — Широкоплечий, в синей праздничной рубахе и хромовых сапогах, он нахмурил брови, прищурил один глаз и сердито повторил: — Уйди, говорю! Плохо будет!

Но тут из кружка молодежи вышел тракторист Костя Клюев. Он стал лицом к Порукину, а спиной к Терентию Петровичу, повел могучим плечом и сказал басовито:

— Не замай, Егор Макарыч. Выпил человек — спросу нет.

Порукин смерил взглядом Костю и, будто убедившись в своем бессилии, плюнул и ушел к себе во двор, хлопнув калиткой.

А Терентий Петрович сначала обратился к Косте:

— Правильно, Костя. Действуем дальше! — Затем продолжал начатую речь: — Нет, Егор Порукин, ты будешь слушать. Так. Года три назад ты взял из колхоза телушку-полуторницу, а отдал в обмен свою. Это точно: в колхоз — дохлятину, а себе — породу. Хоть и поздно об этом узнали, но слушай. Ты за что тринадцатого председателя поил коньячком «три свеклочки»? Ты и Прохору Палычу такой напиток вливаешь. Думаешь замазать? Затереть? Не-ет, Егорка, не пройдет! Ты понимаешь, что этим самым мы колхозную породу переведем? У нас и

так недодой молока, а ты махинируешь. Мошенник ты после этого, Егор! Точно говорю, товарищи! — заключил он и пошел дальше.

Молодежь, всегда такая шумливая и неугомонная, во время «обхода» вела себя смирно и тихо. Слушали внимательно, изредка переговариваясь или смеясь негромко.

Иногда и нельзя было не засмеяться. Вот, например, остановился Терентий Петрович против хаты санитарном, фельдшера (фельдшеров в колхозе трое и один врач). Остановился и ухмыльнулся. На крыльце стоял сам фельдшер Семен Васильевич.

— Приветствую, Семен Васильевич! — поклонился Терентий Петрович.

— Здорóво, Терентий Петрович.

— Живем-то как?

— Помаленьку. Ничего себе.

— Ну, как: мухам теперь — гроб?

— Гибель. Смерть мухам! — серьезно ответил Семен Васильевич, а сам нетерпеливо то засовывал пальцы за пояс, то вынимал их. Человек уже в годах, больше пятидесяти, с добрым животом, а беспокоится: что же заставило Терентия Петровича остановиться при обходе?

— И комарей душить будем снова?

— Ни одного комара и живых. Малярия теперь тю-тю! Поминай как звали! — пробовал шутить фельдшер, поглаживая рукой красновато-рыжие усы.

— Вот и я говорю: если вы есть врач-муходав или там, скажем, насчет душения комарей, то это тоже хорошо. Муха — она враг народного здоровья: где муха, там бескультурье. Точно. Муходав — это хорошо. Но только зачем же кота отравил, Семен Васильевич? А? Кот — животное полезное для домашнего хозяйства. Вы же сами читали лекцию, что кот — враг мышей, а мышь несет в себе… ту-ля-ремию. Так я сказал? Так. А сам отравил кота мушиным порошком. Нет, так нельзя!

— Так то ж нечаянно случилось. Есть, конечно, вина и наша, неосторожность… На кошкину пищу случайно попала повышенная дозировка.

— А кота-то теперь у меня нет! — воскликнул Терентий Петрович. — Сам-то я мышей ловить не способен.

— Я вам, Терентий Петрович, могу подарить очень хорошего котенка, — уже весело говорил фельдшер, видимо радуясь, что дальше кота дело не пошло.

— Благодарность за котенка! Не обижайтесь, Семен Васильевич! Человек выпивши, словам удержу нет. А что касается того, что вы лично с Матрены Щетинкиной взяли петуха, а с Акулины Степановны — окорок, а с Васильевны — гуся, жирного-прежирного, а Матрена Егоровна принесла вам за женские болезни миску сливочного масла, то об этом говорить не будем. В писании у попа так и записано два лозунга: «Дающая рука не оскудеет» и «Отруби себе ту руку, которая себе не прочит». Бабы действуют по первому лозунгу, а вы, значит, — по второму. Прошу извинения, Семен Васильевич! Об этом говорить не будем. Бывайте здоровеньки!

Семен Васильевич уже пятился задом к двери, шевелил усами, как таракан, бормоча:

— Невозможная личность. Прицепился, как… То-есть, как это самое… Действительно невозможный. — И, наконец, он скрылся в сенях.

Так Терентий Петрович обходил все село, останавливаясь против тех домов, где он считал нужным высказать критические замечания. Критиковал он действительно невзирая на лица и только там, где проступки заслуживали общественного порицания. Чаще всего о таких уже шептались втихомолку, но Терентий Петрович говорил вслух и громко, и никуда уже нельзя было скрыться от невидимого суда народа. Около квартиры секретаря сельсовета он остановился и коротко обличил:

— Для советского человека — позор! Ты должен пример показывать, а сам по чужим бабам шляешься. У тебя же дитенок есть, маломысленный ты человек! Ты ж себе душу чернилом вымазал, беспутный! Слышь, секретарь, чтобы этого больше не было. Ни-ни!

Бригадира строительной бригады он отчитал за то, что тот колхозными досками замостил полы в своем доме; заведующую птицефермой уличил в растранжиривании яиц.

К вечеру Терентий Петрович, возвращаясь домой, заходил к хорошим друзьям, которых у него было множество, добавлял внутрь до окончательной своей нормы, целовал напоследок Костю Клюева и, выписывая кривую, прожигался помаленьку домой, где его ожидала

жена — тихая и работящая, такая же скромная, как и муж ее в трезвом виде. Терентий Петрович старался идти по линии телеграфных столбов или вдоль радиолинии. При этом он останавливался у каждого столба, стоял некоторое время, прислонившись спиной, затем нацеливался на следующий столб, мотал головой, еще раз нацеливался и говорил: «Дойду. Точно дойду. Ну, Тереша, смелее!» — и решительно направлялся к следующему столбу. Шел, конечно, не по прямой, но цели достигал и давал себе короткий отдых. Так, короткими перебежками он и добирался до дому.

Утром Терентий Петрович вставал как ни в чем не бывало и отправлялся на работу точно к назначенному времени. Не подумайте, чтобы он выпил и на следующий день! Нет! Такого никогда не случалось. Не скоро выпьет теперь Терентий Петрович: может быть, даже через год. Но после этого дня в правлении появился Герасим Корешков и зашептал счетоводу, что-де принес деньги за «студень», а то все равно доймут — раз Терентий на обходе сказал, то доймут.

Егор Порукин, проходя мимо трактора в поле, спросил Терентия Петровича:

— Что же это ты на меня наорал вчера?

— Выпил, Егор Макарыч, выпил… Ничего не помню. Если не так, поправь меня, — скромненько отвечал Терентий Петрович.

Фельдшер, Семен Васильевич, вечером следующего дня принес серого пушистого котенка. Немного посидел, пока Терентий Петрович мылся после работы, а потом все-таки сказал:

— Зря, Терентий Петрович, вчера говорил. Ой, зря!

— Это о чем я говорил? О мухах — помню, а больше, убей, не догадаюсь.

— Ты-то забыл! А народ болтать будет.

— Ну так то ж народ, ему на роток не накинешь платок. А я-то при чем? Забыл, Семен Васильевич, — вздыхал Терентий Петрович. — Если чего неправду наговорил, то меня же люди осудят, а если правду сказал, то колхозники и до меня небось знали. Тут и обижаться нечего. Мало ли чего выпивший человек скажет? Хорошо скажет — слушай, нехорошо скажет — пропущай мимо уха. Да-а-а… А котеночек хороший… Ишь ты, мяконький какой… Кс-кс-кс! Ишь ты!.. Это кто же — кот?

— Кот.

— Ко-от! Смотри-ка, какой ласковый… Кот?

— Кот, — в сердцах ответил фельдшер.

— Да-а… Кот, значит. Может, вы со мной, Семен Васильич, борща покушаете? С баранинкой борщочек-то.

— Спасибо. Поужинал.

— А я вот только собираюсь покушать… Ишь ты, лезет на стол уже — умный кот. Кс-кс-кс!

Одним словом, у Терентия Петровича в обычной жизни хитринка была довольна тонкая. Но однажды случилось так, что ни хитринка, ни спокойствие не спасли его от нарушения правил агротехники: хоть чуть-чуть, а нарушил.

Было это в первый день весеннего сева. С утра Терентий Петрович притащил ящичек с разными мелкими запасными деталями к тракторным сеялкам. В ящичке были шплинты, болтики для сошников, жестяные задвижки к высевающим аппаратам, гаечные ключики разных размеров, кусочки проволоки, нарезанные по стандарту, заклепки, запасной чистик, масленка, три-четыре напильника и другие вещи, необходимые для работы прицепщика на сеялках. Все это лежало не как-нибудь, а в соответствующих клеточках — отделениях, на которые разделен ящичек. Все трактористы знали, что Терентий Петрович очень любит порядок, и никто из них никогда не лез самовольно в его маленький склад. Если же Косте требовался, скажем, маленький гаечный ключик (большие-то у него были, а маленькие постоянно терялись), то он говорил:

— Терентий Петрович, разрешите «девять на двенадцать»?

Тот открывал свой ящик-склад, безошибочно, не глядя, брал с определенного места нужный ключ и подавал со словами:

— Утеряешь — не обижайся..

— Ну что вы, дядя Терентий!

— То-то же! Должен ты понимать, что мы через какой-нибудь копеечный шплинт можем полдня стоять в самое горячее время. А без такого ключика и вовсе беда. (Дать такое наставление Терентий Петрович считал необходимым.)

Но Костя Клюев, такой старательный и честный парень, все-таки терял ключики не держались в его крупных руках мелкие вещи. Так случилось и в тот день.

Терентий Петрович привинчивал свой ящик к раме сеялки. Костя ладил что-то у трактора. Агрегат с двумя сеялками стоял уже полдня в ожидании того, когда подсохнет почва и можно будет сеять. В поле было тихо, безветренно. В чистом, прозрачном воздухе черной точкой висел жаворонок и беспрестанно звенел. В другое время в конце весны и летом — его не видно в мареве, а сейчас — вот он! — смотри, пожалуйста, и слушай.

— Во-он! Видишь? — показал Терентий Петрович пальцем на жаворонка.

— Во-он! — подтвердил Костя. — И птица же! Краха, а не птица!

— Кажись, дунь на нее — и пропала. А ни один человек не обидит такую птичку. Ласковая птичка, веселая! — восхищался Терентий Петрович. — Ты только подумай: какую ни возьми птицу — она поет либо вечером, либо утром или, скажем, соловей, — ночью. А эта — только днем, когда человек работает. Жаворонка — птичка такая, что ей цены нету. Человек целый день работает под ее песню. Вот, допустим, мы с тобой сеем. Ничего нам трактором не слыхать. И вот мы с тобой, скажем, уморились и стали на заправку или на обед, а она, жавороночка, тебе песенку и сочинит. И на душе от этого весело, и аппетит к работе повышается. Точно, Костя! Такая птичка — незаменимая в сельском хозяйстве. И она понимает, что человек ее любит. Если напал на нее коршун, то она куда, думаешь, бросается? Либо в сеялку, либо прямо за пазуху, под ватник. Отличная птичка!

— Вот кукушка — тоже днем, ну какая-то она… не особенная.

— Кукушка — дрянь, лентяй птица. От нее в трудовой жизни никакой помощи, а так — чепуха птица… А эта — слышь? И сколько у нее ладов разных в голосе!

Они постояли некоторое время, прислушиваясь к жаворонку, и снова принялись за свое дело, но чуть не каждые десять минут Терентий Петрович отходил на несколько шагов от агрегата, пробовал ногами и руками почву.

— Не годится — сырая… Да когда же ты, матушка, поспеешь? — разговаривал он с землей. — Свой срок любишь. Ну, ладно…

— Может, попробуем? — нерешительно спрашивав Костя.

— Здорóво! Попробуем! Не видишь, что ли? Тут у самого все нутро дрожит — сеять скорее, а раз нельзя, значит, нельзя.

Уже дважды приезжал бригадир полеводческой бригады, как из-под земли вырастал на своем мотоцикле бригадир тракторного отряда, уже заезжал и директор МТС — волнение в поле нарастало по мере подсыхания почвы, но каждый из них, подходя к сеялкам, говорил вопросительно:

— Сыровато, Терентий Петрович?

— Нельзя, — отвечал тот. — Будьте покойны, часу не упустим. — При этом он брал горсть земли, сжимал ее в своем маленьком кулачке, с силой бросал на пашню и говорил: — Видишь, не рассыпается? Вы не судите по дороге. Дорога, она высыхает много раньше. По дороге кати, куда хочешь, а сеять — сыро. По нашей земле посей так, то и никакого урожая не будет. Заклекнет пашня черепком, хоть блины пеки. Так и называется наша почва — обыкновенный чернозем суглинистого механического состава.

Что и говорить, полное доверие Терентию Петровичу в трудовой деятельности! Отлично знает он прицепные машины и агротехнику, совсем не хуже участкового агронома.

Так-то оно так, но Костя ключик все-таки потерял. Терентий Петрович заметил это уже тогда, когда тот начал ковырять пашню всеми десятью пальцами и бурчать вполголоса:

— Или чорт нечистый ключами стал питаться? Скажи, как провалился в землю! Сейчас вот держал в руках — и нету… Тьфу! — И ковырял землю уже огромным ключом, потерять который никак невозможно, разве только запахать плугом.

Терентий Петрович подошел вплотную и спросил:

— Я тебя предупреждал?

— Ну вот, честное слово, сейчас держал в руках — и нету! Как в тартарары!

Присев на корточки и переговариваясь, они стали копаться вдвоем.

— Вот тут ты стоял, говорил Терентий Петрович, — вот тут завинчивал, а тут он и должен бы упасть.

— Тут, конечно. Не бывает же у гаечных ключей крыльев, не мог же он улететь! — восклицал Костя, разводя руками.

В этот самый момент и подъехала легковая автомашина, остановившись на дороге против наших сеяльщиков.

Дверца машины открылась не сразу. Видно, из кузова наблюдали за тем, как двое копались в земле. Терентий Петрович тихо, будто боясь, что его услышат из автомашины, сказал:

— Вставай, Костя!

— А ключик?

— Приметь место.

— Думаешь, секретарь райкома?

— Нет. У того машина зеленая, а эта черная. Зеленая часто в поле бывает, а эта — раз в год, в начале сева.

Они поднялись. Костя нагнулся над пускачом трактора, Терентий Петрович заглянул под шестерни сеялки: оба делали вид, что заняты подготовкой агрегата, искоса посматривая на автомашину. Вдруг дверца рывком отворилась, и из машины сперва вылез, сгорбившись, главный районный агроном Чихаев, высокого роста и полный, а за ним — не вышел, а выскочил как угорелый — товарищ Недошлепкин, в то время еще бывший председателем райисполкома и другом-попечителем председателя колхоза Прохора Палыча Самоварова. Чихаев остался около автомашины, а Недошлепкин поправил очки и решительно, как в боевое наступление, двинулся к сеялкам. Но, зайдя на пашню, прилип калошами к влажной почве, и одна калоша у него соскочила с ноги. Не обращая внимания на трудности, он кое-как вдел ногу в калошу и, шлепая, приблизился к Терентию Петровичу.

— По какой причине агрегат находится в преступном простое?

— Сыро, товарищ Недошлепкин. Сеять нельзя. Заметьте, калошки-то липнут. Наши почвы…

— Что это за сырые настроения! Я думаю, немедленно сеять! — уже приказывал Недошлепкин. — Соседний район уже имеет пятнадцать процентов плана, а мы — четыре! Срыв! Полный срыв! Заводи трактор! — крикнул он Косте.

Костя, по неопытности в обращении с начальством, струсил и рванул ремень пускача, и тот застрекотал пулеметной очередью, заглушая крик председателя райисполкома. Было видно, как Недошлепкин открывал по-цыплячьи рот, произнося указания, размахивал руками, но слов его не было слышно. Терентий Петрович спокойно стоял на подножке правой сеялки и ждал, когда замолчит пускач. Наконец пускач успокоился, и трактор запыхтел сосредоточенно, ровно и тихо. Тут-то и посмотрел Костя на Терентия

Петровича. Тот отрицательно покачал головой, давая понять, что никакого дела не будет: надо стоять.

— Товарищ Недошлепкин! Нарушение агротехники — это же прямое преступление. Почва не готова — сеять не можем. Мы ждем. Будьте покойны, часу одного…

— Что-о-о-о! Я — преступление? — Недошлепкин рванулся к кабине трактора, снова потерял калошу, поднял ее обеими руками и грозно вопросил: — Как фамилия?

И крупный человек Костя, а стушевался.

— Клю… Клюев Константин, — выдавил он.

— Запишем! Примем меры! Как фамилия? — круто повернулся Недошлепкин к Терентию Петровичу.

— Климцов, — спокойно ответил Терентий Петрович.

— Приму меры! Пожалеете! Срыва плана не допущу! Вперед! Я полагаю — вперед! — И Недошлепкин поднял вверх калошу, как железнодорожник сигнальный флажок перед отправлением поезда.

Терентий Петрович резко повернулся к Косте и махнул рукой:

— Давай!

Сеялки поползли по сырой почве, накатывая ее катышками, примазывая дисками и оставляя семена незаделанными.

Недошлепкин сел в автомашину и помчался форсировать темпы выполнения плана, а Терентий Петрович, не отъехав и ста метров, велел Косте заглушить трактор и сказал:

— Ну, Костя, давай теперь заделывать семена ногами. Все равно стоять… Да оно, видать, только завтра и годится сеять.

Теперь они оба закрывали семена почвой, набрасывая ее носками сапог. Им стало скучно до невозможности. Сначала работали молча, а потом поругались.

— Ты зачем завел трактор? — со злобой шипел Терентий Петрович.

— А ты зачем махнул рукой, чтобы ехать? — басом, во весь голос кричал Костя.

— Если бы ты не завел, то я бы не махнул.

— А если бы ты не махнул, то я бы не поехал.

— Ты главная фигура — тракторист. Сказал бы: «не поеду!» — и все тут, — наступал Терентий Петрович.

— Я тебя везу, — бубнил Костя, — а ты качество делаешь. Сам так говорил. Кто же главная фигура?

— Ты.

— Нет, ты, — упорствовал Костя.

— Ну сей один, если я главная фигура. Сей!

— Буду и один сеять.

— Ну и сей! Пожалуйста, сей, сделай одолжение!

— А что ж, думаешь, не буду? Вот возьму да и поеду по сырой почве. В случае чего, скажу — Недошлепкин приказал.

— Я тебе поеду по сырой! Во вредители колхозного строя хочешь идти? Иди, иди! Сей по сырой, маломысленный человек. Я тебе! — И Терентий Петрович подскочил к Косте.

Костя дернул головой, шапка его соскочила с головы, и вдруг… Терентий Петрович просветлел! Из-за отворота Костиного треуха выпал ключик «девять на двенадцать». Костя поднял его, отряхнул, дунул на него, вытер о засаленный ватник и, уже улыбаясь, сказал:

— Примите, Терентий Петрович. Сунул по рассеянности за шапку и забыл.

— Да тут отца родного забудешь, — смущенно поддержал Терентий Петрович, будто в утере ключика был повинен не Костя, а кто-то другой.

Несколько минут спустя они уже курили, сидя рядом на ящике сеялки, и Терентий Петрович говорил:

— И что только может человек наговорить сгоряча!.. Как я тебя?

— Вредитель колхозного строя! — И Костя заразительно захохотал.

Терентий Петрович тоже захохотал и сквозь смех, подражая Недошлепкину, взвизгнул:

— Впере-ед! Я полагаю — вперед!

К вечеру они проехали пробный ход, и Терентий Петрович заключил:

— Завтра, часов с одиннадцати, начнем во весь разворот. Ну, Костенька, дожили до посевной. В грязь лицом не ударили. Выдержали.

— Факт.

Посевная прошла отлично. Костя Клюев дал самую большую выработку на трактор. Лучшего качества сева, чем у Терентия

Петровича, нигде, конечно, тоже не было. Вскоре после посевной, накануне прополочной, созывалось районное совещание передовиков сельского хозяйства. Правление колхоза выделило делегацию, в которой первым по списку значился Терентий Петрович. Люди были подобраны самые передовые, в этом никто не сомневался, но встал вопрос: кому выступать от лица колхоза? Костя — хорош, но в ораторы не годится. Илья Семенович Раклин второе место занял после Кости, но голос хрипловатый. Терентий Петрович разве? Все согласны, но… рост уж очень мал: станет за трибуной и — каюк! — скрылся из виду. Этого, конечно, никто вслух не говорил, но мысль такая витала у многих. Наконец бригадир Платонов сказал так:

— Думать тут нечего. Если Терентию Петровичу стать сбоку трибуны, то лучшего человека не найти. Голос, как у певчей птицы, тон знает, сказать умеет, лучше него никто не сложит.

Было это еще в те, теперь уже давно ушедшие в прошлое, времена, когда председателем колхоза состоял Прохор Палыч Самоваров. После заседания правления он просмотрел список делегатов, вычеркнул всех бригадиров — за «недисциплинированность» и написал на углу «утвердить». Счетоводу он велел составить речь для Терентия Петровича и самолично ее поправил. Оратора вызвали в правление и председатель изрек:

— Выучишь наизусть. Чтоб без запинки. Перед всем районом отвечаешь за колхоз и за мое руководство.

— Да я сам-то, может, лучше надумаю.

— Но, но! — пристукнул легонько по столу Прохор Палыч. — Бери пример с работников районного масштаба. Они как? Положит листок на трибуну, прочитает во весь голос, а тогда уж смотрит на собрание. А ты что? Хочешь так прямо сразу и глаза лупить на всех? Не полагается. Я, Самоваров, установку тебе дал. Выполняй!

Терентий Петрович взял речь, свернул вчетверо, сунул в боковой карман и вышел. То ли ему не понравилось сочинение счетовода, то ли еще по какой причине, но перед самым отъездом он заявил:

— Речь читать не буду.

Это уж было чересчур, и Прохор Палыч вспылил. Делегаты уговаривали Терентия Петровича, но он упорно отказывался. Ходил задумчивый, иногда шептался о чем-то с Костей, ходил к Евсеичу и тоже шептался с ним, о чем-то секретничал с бригадиром Платоновым.

И вдруг столь же неожиданно, будто у него созрело какое-то решение, заявил:

— Ладно. Речь читать буду.

Совещание открыл секретарь райкома Иван Иванович. Он хоть и новый в районе человек, но колхозники успели его полюбить за простоту, ум и прямоту характера. В своей речи он сказал, что у нас есть много таких колхозников, которые овладели машинной техникой, знают агрономию, совсем разучились плохо работать, что это новые люди — строители коммунизма, что это большие люди, что по своему труду они являются вожаками масс. В числе других передовых колхозников он упомянул и прицепщика Терентия Климцова.

Терентий Петрович слушал и вспоминал, как Иван Иванович не раз заезжал к нему на сев и, не дойдя еще несколько метров, уже здоровался:

— Привет Терентию Петровичу! — А подойдя, подавал руку и спрашивал: — Как успехи?

— Двадцать пятый гектар добираем сегодня.

— Вот это да! Мне, Терентий Петрович, у вас, честное слово, нечего делать. Но, знаете, все-таки буду заворачивать. Мы ваш метод — заезды, засыпка семян на ходу, технический уход, часовой график — уже пропагандируем. Завтра к вам заедет корреспондент районной газеты.

Иван Иванович закончил свою короткую простую речь. У Терентия Петровича было радостно на душе. Он аплодировал вместе со всеми и вдруг увидел в президиуме Недошлепкина. Стало почему-то сразу скучно, и возникла жгучая потребность громко, на весь зал сказать о своем неудовольствии.

В перерыве он подошел с Костей к буфету.

— По сто? — сказал Костя.

— Можно, — подтвердил Терентий Петрович, но скука его не прошла. Он угрюмо взял стопку, чокнулся с Костей, но пить не стал — задумался.

Костя опрокинул свою стопку, воткнул вилку в сардельку и недоуменно спросил:

— Ты что ж, Петрович?

Терентий Петрович ничего не ответил. Он оставался в задумчивости и слушал духовой оркестр, исполнявший вальс.

— Что с тобой? — участливо повторил Костя и, нагнувшись к его уху, прошептал: — Ты ж хотел, «как на обходе»… Пей.

— Нет. Не буду пить, Костя.

— И говорить не будешь? — удивился тот.

— Буду.

— Так для смелости и долбани чуть… Сто — ничего не означает, а сил прибудет.

— Нет, не буду. Чую я в себе сейчас силу и без водки. Понимаешь, Костюшка… Не надо пить. — И Терентий Петрович уже открыто взглянул на своего молодого друга.

Костя заметил в его глазах какой-то сильный и смелый огонек.

— Не надо мне сейчас пить! — решительно повторил Терентий Петрович.

Они вошли в зал и заняли свои места.

— Слово предоставляется лучшему прицепщику района товарищу Климцову Терентию Петровичу, — объявил председательствующий, главный агроном товарищ Чихаев.

Терентий Петрович поднялся на сцену. Он стал сбоку трибуны и, держа перед собою заготовленную ему «речь», начал читать унылым голосом, без чувства и без выражения, что совсем на него не было похоже.

— «Товарищи передовики района! — читал он. — Товарищи руководители района! Исходя из соответствующих установок высших организаций и на основе развернутого во всю ширь соревнования, а также под руководством районных организаций и председателя колхоза мы одержали громадный успех в деле выполнения и перевыполнения весеннего сева на высоком уровне развития полевых работ и образовали фундамент будущего урожая как основу нашей настоящей жизни и стремлении вперед на преодоление трудностей и… Ох! — вздохнул Терентий Петрович и посмотрел в публику. А раз посмотрел в публику, то потерял строчку. Но он, однако, по смутился, а честна объявил: — Потерял, товарищи… Ну, пущай, ладно. Я с другой строчки пойду. — И продолжал: Мы, передовики колхоза „Новая жизнь“, под напором энтузиазма закончили сев в пять дней… Ага! Вот она! Нашел! Та-ак… В пять дней… И мы, передовики колхоза „Новая жизнь“, обязуемся вывести все прополочные мероприятия в передовые ряды нашей славной агротехники и на этом не останавливаться, а идти

дальше — к уборочной кампании в том же разрезе высших темпов. И мы, передовики колхоза „Новая жизнь“, призываем вас, товарищи передовики нашего района, последовать нашим стопам в упорном труде». — Тут Терентий Петрович вдруг прервал чтение, посмотрел еще раз в публику и сказал: — И тому подобное, товарищи. А теперь я скажу от себя.

Кто-то зашипел в публике, и Терентий Петрович увидел, что Прохор Палыч Самоваров делает ему знаки, воспрещающие дальнейшее выступление. Председатель совещания призвал звонком к порядку и сказал, повернувшись к оратору:

— Продолжайте.

— Товарищи! — начал снова Терентий Петрович. — У нас совещание лучших людей. Мы должны и поделиться опытом и отметить недостатки. Я дам сперва наводные вопросы и буду на них отвечать. — Голос у него становился чистым, четким, взгляд — веселым и хитроватым. — Я спрашиваю: зачем нам понаписали вот эти шпаргалки? — Он потряс в воздухе «речью». — Ведь все читаем готовое, всем понаписали счетоводы. Или мы маломысленные люди? Это ж обидно, товарищи! (Зал загудел одобрительно.) Мне бы надо говорить о часовом графике на севе, а меня заставляют читать «последовать нашим стопам». Да на что они мне сдались эти «стопы», прости господи? Отставить надо такую моду, товарищи. Это раз. Еще наводной вопрос к главному агроному товарищу Чихаеву: может ли председатель райисполкома нарушать правила агротехники весеннего сева? Может ли он заставить сеять по грязи?

Зал заволновался и слегка загудел. Недошлепкин потянулся было рукой к звонку, но Иван Иванович горстью захватил звонок и тихо придвинул его к себе, не отрывая, однако, взгляда от Терентия Петровича. Чихаев сначала покраснел, потом вспотел и уже не высыхал до самого конца совещания. Он все же ответил на вопрос Терентия Петровича:

Он, конечно, может, но не должен… То есть должен, но не может. Как бы сказать…

Недошлепкин был, видимо, доволен таким ответом, А Терентий Петрович слушал, подавшись вперед и оттопырив рукой ухо, и вдруг, выпрямившись, рубанул:

— Вы, товарищ Чихаев, были вместе с товарищем Недошлепкиным около моей сеялки. Почему вы даже не подошли к сеялке? Почему не запретили незаконный приказ районного начальства? Когда это самое кончится? Товарищи передовики! Каждый из нас — хозяин своего дела. Почему товарищ Чихаев не хозяин своего дела? Я, прицепщик, — хозяин, а почему Чихаев болтается по колхозам, как пустая сумка? Зарплату получил — и ни клоп в лысину. Нельзя так, товарищи! Нельзя! Партия требует от нас, народ требует отдать все силы на строительство коммунизма!

Последние слова Терентий Петрович произнес твердо и настолько убежденно, что гром аплодисментов заполнил зал и долго рокотал, то затихая, то усиливаясь вновь. Иван Иванович хлопал в ладоши так же сильно, как Терентий Петрович хлопал раньше ему. Но Терентий Петрович продолжал еще стоять около трибуны и, наконец, поднял руку. Аплодисменты стихли. Только Костя еще несколько раз хлопнул дополнительно, но это никому не показалось неуместным.

— А вы, товарищ Недошлепкин, — звонко продолжал Терентий Петрович, — лезли ведь к агрегату по грязи, даже калошку свою утеряли и вынесли ее, несчастную, на руках! Вы что же думаете, мы после вас сеяли? Да нет же, не сеяли! И вы думаете, меня накажете? Нет, не накажете, точно вам говорю. С работы меня снять невозможно никак. А я спрашиваю: когда кончится такое? Когда мы перестанем для сводки нарушать агротехнику и понижать урожай? Это же делается без соображения. Точно говорю, товарищи: без со-обра-же-ния!

И снова аплодисменты сорвались, будто огромная стая голубей захлопала разом крыльями. Недошлепкин отодвинулся со своим стулом от стола президиума, потом подвинулся еще в сторону и таким манером скрылся от взглядов публики. Он, правда, тоже хлопал, но ладони его при этом не соприкасались. Если бы нее вздумали так хлопать, то аплодисменты были бы абсолютно бесшумны.

С Чихаева пот лил ручьями, он покашливал, смотрел то на потолок, то под стол и ерзал на стуле беспрестанно.

Когда Терентий Петрович спустился по ступенькам со сцены и зал притих, секретарь райкома встал и сказал:

— На вопросы, поставленные товарищем Климцовым, я постараюсь ответить в конце совещания. Вопросы он поставил

чрезвычайно важные. Но сейчас скажу одно: спасибо вам, Терентий Петрович! За правду спасибо! Райком партии вас поддержит.

И снова зал аплодировал так же сильно.

Вот как выступил Терентий Петрович! И ведь ничего не выпил — ни грамма! — а заговорил полным голосом перед делегатами большого совещания, — на весь район заговорил!

Ну и Терентий Петрович!

# Тугодум

Удивительный случай произошел в колхозе «Новая жизнь». Никогда такого не было. У председателя колхоза Петра Кузьмича Шурова в кабинете оказались на столе четыре горшка молока, миска сливочного масла, накрытая чистой полотнянкой, две пустые базарные корзинки и коромысло.

— Чей это маслобойный завод? — спрашивал он, улыбаясь, у бригадира Платонова.

— Не ведаю, — отвечал тот и брал в руки коромысло, рассматривая его внимательно. — Метки никакой нет.

— Не из твоей ли бригады? — переводил взгляд Петр Кузьмич на Алешу Пшеничкина.

Пшеничкин щупал корзинки, заглядывал внутрь, исследовал горшки, недоуменно разводил руками и, в свою очередь, спрашивал:

— Кто принес-то?

— Ребятишки. Около дороги в траве нашли.

Петр Кузьмич поспрашивал еще кое-кого, подумал и решил вывесить объявление о находке.

Счетовод Херувимов написал объявление тонко, с хитрецой:

***«Объявление***

Июня двадцатого дня найдено нижеследующее продуктовое имущество:

1. Горшков с молоком: штук — четыре.

2. Мисок сливочного масла (зеленая): штук — одна.

3. Корзинок базарных, наполненных вышеупомянутым: штук — две.

4. Коромысло обыкновенное (без примет): штук одна.

Заинтересованной личности обратиться к председателю колхоза. Во избежание прокисания все найденные восемь мест помещены на временное хранение в колхозный ледник до востребования».

Петр Кузьмич прочитал объявление, хитровато улыбнулся и сказал:

— Пусть будет так. А лучок попридержим. Интересно!

Килограмма два лука-репки он выложил из найденных корзин в ящик письменного стола и запер на ключ. В объявлении лук не значился. Бригадирам он почему-то тоже о нем не сказал.

Молва о находке распространилась по колхозу, обошла и поле и фермы. Перед вечером народ толпился около объявления, и каждый высказывал свои замечания. А Петр Кузьмич работал в своем кабинете и помаленьку слушал через открытое окно.

Корзинок базарных… Коромысло обыкновенное… — прочитал Евсеич. — Так, так. Ясно дело, человек шел на базар. Кто ж бы такой это был? — спрашивал он не то у самого себя, не то у присутствующих.

— Разве Матрешка Хватова? — предположил конюх Данила Васильевич.

— Нет, та копнила сено на лугу. И сейчас там копнят, — ответил Евсеич. — Главно дело, почему корзины поставлены в траву? Не иначе, тут конфуз какой-нибудь получился. Ясно дело.

Терентий Петрович Климцов пришел позже. Он тоже прочитал объявление и спросил, обращаясь скромненько ко всем сразу:

— А может, Сидор Фомич Кожин?.. Нет, не он, у того в корзине должен быть обязательно лук-репка, а тут лук не обозначен. И вроде бы он был сегодня на работе. Был Сидор на работе?

— Был, — ответило несколько голосов сразу.

— Кто ж бы это мог быть? — совсем тихонько проговорил он.

— Терентий Петрович! — позвал из открытого окна Петр Кузьмич. — Зайдите-ка ко мне на минутку по одному дельцу.

Терентий Петрович тщательно вытер ноги в сенях и вошел.

— А почему у Сидора Фомича должен быть лук? — спросил председатель.

— А потому, что, кроме него, никто до июня месяца не додержит прошлогодний лук. Он его впятеро дороже продает — полтинник за головку. Человек такой: в колхозе — легкую работу, а дома — до поту.

— А если в корзине лук?

— Тогда — он.

Петр Кузьмич поманил к себе Терентия Петровича и отодвинул ящик письменного стола. Терентий Петрович как глянул, так и воскликнул:

— Он! Точно говорю, он. Тугодум — по прозвищу.

— Так, так. Теперь надо выяснить обстоятельства, при которых все это оставлено в траве. Придется послать за ребятишками.

Через некоторое время у двери кабинета председателя стояли двое ребят — Миша Сучков и Валька Силкин.

— Ну, иди! — подталкивал Валька товарища.

— Нет, ты иди первым! — пятился от двери Миша. Мальчик он был смирный и способный, не озорник. — Ты натворил, ты и входи сначала.

Дверь открылась. На пороге стоял Петр Кузьмич.

— Давайте, давайте, ребята. Вы мне очень, очень нужны. Без вас тут вопроса решить нельзя.

Валька вошел и снял фуражку, попробовал пригладить вихорок на голове над виском, но вихорок не подчинился. Курносенькое озорное лицо с острыми глазками обратилось к окну так, будто пришел Валька по особо важному делу и ждет начала разговора.

Миша хотел сначала спросить, как взрослый: по какому, дескать, случаю вызвали, по шмыгнул тонким носиком, помялся на месте, держа перед собою в опущенных руках фуражку, и сказал:

— Пришли.

Петр Кузьмич улыбался одними главами и смотрел на ребят. Было им лет по двенадцати, не больше.

— Вот что, ребятки, — начал он. — Все, что мы будем здесь говорить, должно остаться тайной. Ни один человек не должен знать о нашем разговоре. — Ребятишки навострились и смотрели уже прямо на Петра Кузьмича. — Первое дело: в каком классе учитесь?

— В четвертом, — вполголоса, будто по секрету, ответили оба сразу.

— Хорошо — уже большие, можно доверить. А отметки как?

— Пятерки, — с достоинством ответил Миша.

А Валька молчал.

— А у тебя?

— По арифметике… тройка.

— Э-э! Как же это так?

Валька посмотрел на пол, увидел там сучок, потрогал его носком чувяка и не ответил. Миша счел бестактным молчание товарища и сказал:

— Он арифметику знает. Только на контрольной записал неправильно условие. Надо было: «Один паровоз вышел со станции А, а другой со станции Б», а он записал: «Паровоз вышел со станции А, а пароход — со станции Б». Пока он думал, на каком расстоянии встретился паровоз с пароходом, время прошло. Так, Валька?

— А тебя спрашивают? Лезет тоже, — недовольно проговорил тот. — А может, железная дорога была вдоль канала Волга — Дон? Ты почем знаешь?

— Так то ж задача, — возразил Миша.

— А канал — это тебе не задача?

— Ну не арифметика же?

— Ну и не лезь!

Спор заходил уже всерьез. Петр Кузьмич счел нужным прервать их.

— А теперь давайте о деле поговорим. Спорить нам нечего: и задачу надо записывать правильно, и на канале все может быть. Оба вы правы. — Ребятишки посмотрели друг на друга уже примирительно, а он вдруг спросил: — Как же вы нашли корзинки?

— В траве, — ответил Миша.

— Это ни о чем не говорит. Расскажите подробно: как шли, куда шли, за чем шли, кто встречался на пути. Все расскажите. Но чтобы после — молчок. Поняли?

— Рассказывай ты, Миша.

— Ишь, какой! Ты же сказал Сид… Ох! — встрепенулся Миша и испуганно посмотрел на товарища. — Ты и рассказывай.

— А кто сказал: давай отнесем корзинки в правление? Ты? Или кто?

— Ладно. Рассказывай ты, Миша, — обратился Петр Кузьмич.

— Ну… пошли мы с Валькой утром рано на подсолнух — дополоть свои паюшки.

— До солнышка, — добавил Валька.

— Идем — себе и идем. Тут Валька и говорит: «Давай, — говорит, — сходим на речку, посмотрим наши верши, — может, рыба попалась».

— Нет, ты первый сказал: «Рыбки бы теперь поймать!», а про верши это я уже потом, после. Ты сказал: «Рыбки бы», а я сказал: «Днем опрыскиватель пойдет по подсолнухам, а дополоть надо раньше».

— А я-то тебе не говорил, что раз на работу идем, то не до рыбы? — спрашивал Миша. — Что я — лодырь, что ли?

— Ну и я не лодырь. Двадцать трудодней имею.

— Похвалился! У меня двадцать три, а молчу.

— Ну, рассказывай ты, Валя, — сказал Петр Кузьмич, всеми силами стараясь сохранить серьезный вид, хотя это было очень трудно.

— Пришли мы к мосту, — начал теперь Валька. — Видим: бежит с коромыслом Сидор Фомич. Бежи-ит, тру-си-ит! Трух-трух-трух-трух… — Он немного помолчал, — Вчера же на наряде все ломали голову, как бы управиться с сеном и подсолнух дополоть — барометр на дождь пошел, — а он бежит на базар. Бежит себе, и ему не совестно.

— Это я сказал так: «Бежит себе, и ему не совестно», — перебил Миша.

— Да ладно! — отмахнулся Валька. — Ну, шел он и все оглядывался. Мы и думаем: «Бессовестный! Люди — на работу, а он — на базар». Так ведь, Мишка?

— Так.

— Тут я и говорю… — Валька замялся, пристально посмотрел на Мишу, потом на Петра Кузьмича, и лицо его почему-то стало виноватым. Он понизил голос и совсем уже тихо сказал: — Говорю: «Давай корзинки отнесем в правление…» И…

— Стой, стой, Валя! Что-то тут немножко не так. Значит, отняли корзины? — будто ужаснулся Петр Кузьмич.

Миша подвинулся вплотную к Вальке и, слегка толкнув его локтем, сказал:

— Все равно, Валька, узнают. Раз по секрету разговор, то… Раз уж оба придумали, то оба и отвечать давай..

И вдруг Валька оживился, заволновался, вихорок его задрожал, и он быстро заговорил:

— Мы и думаем: «Давай вернем его на работу».. Так., Мишка? — Тот кивнул головой утвердительно. — Поравнялся он с нами, мы ему и говорим: «Дядя Сидор! А бригадир сейчас поскакал на базар и

говорит: „Поеду посмотрю, кто из симулянтов подрывает скирдование сена“». Тут Сидор Фомич остановился и спросил: «Правда?» А мы и говорим: а председатель, мол, сейчас собирается ехать в город — линейка уже запряжена. Сказали мы так и вроде пошли на подсолнух, а сами сели в кустах. Постоял, постоял он и вернулся. Только прошел немного и опять стал. Он же думал как: на базар пойти — там бригадир, вернуться обратно — председатель на линейке встретит. Тогда он сошел в траву, поставил там корзины и пошел домой через сады. Ну, тут мы и говорим: «Давай отнесем в правление». — Валька вытер фуражкой выступивший пот и сконфуженно закончил: — Раз виноваты, то, значит, виноваты. Мы больше не будем.

— Теперь все ясно, — сказал Петр Кузьмич. Он серьезно посмотрел на ребят, встал, подошел к ним, положил ладонь на плечо Миши, потрепал легонько вихорок Вали и сказал: — Я никому не скажу. Но вы больше так не делайте. Не надо, ребята, обманывать. А — рыбу ловите, вам ловить полагается. Идет сейчас рыба-то?

— Все больше — линь, — ответил Миша.

— И плотва пошла хорошо, — добавил Валька. — Да все нам как-то некогда.

— Работа. Прополочная, — степенно закончил Миша.

…Все это я записал со слов самого Петра Кузьмича.

В тот вечер, совсем в сумерках, мы сидели с ним вдвоем в его кабинете, и он рассказал мне о ребятишках и их находке. Свой рассказ он закончил так:

— А все-таки важно то, что Сидор Фомич шел на базар не с чистой совестью… Не пожелал встречи с бригадиром или с председателем. Это очень важно.

Мы уже собрались уходить, как в дверь кто-то осторожно постучал.

— Войдите, — откликнулся Петр Кузьмич.

В кабинет вошел Сидор Фомич.

— Добрый вечер! — угрюмовато поздоровался он.

— Добрый вечер! — приветливо ответил Петр Кузьмич. — Садитесь, Сидор Фомич.

Но Сидор Фомич не сел, а переминался с ноги на ногу, не решаясь начать разговор. Крепкий на вид, с украинскими усами, чисто выбритый, с редкой проседью в рыжеватых волосах, он сначала

почесал висок, медленно повел плечами, легонько крякнул и без обиняков сказал:

— Значит, лук-то украли… В объявлении не обозначен.

— Так это ваше все? — будто удивился Петр Кузьмич. — Что же раньше не зашли?

— И зашел бы, да… народ тут кругом. Думаю, вечерком схожу. — Он себя чувствовал явно неудобно: то рассматривал стены, то вдруг заглядывал в окно, хотя на улице ничего нельзя было разобрать в темноте. — Значит, лук пропал? А его там два килограмма — рублей на тридцать будет…

— Нет, не пропал. Жалеючи вас, я про лук-то никому не сказал. Все же неудобно: горячая пора в колхозе, а вы — на базар.

— А что ж тут такого? — возразил без особой силы Сидор Фомич. — Я к двенадцати часам дня был бы на работе. Как часы был бы.

— Выходит так — одни будут работать с утра, а другие с половины дня. Так, что ли?

— Продухция… — неопределенно произнес Сидор Фомич. — Огородное дело, как бы сказать, требует.

— А работать в колхозе?

— Мы работаем. Выполняем, как полагается. Сто пятьдесят трудодней за прошлый год имею. Но без овоща нам никак нельзя.

Удивительным мне показалось тогда, что Петр Кузьмич не возражал Сидору Фомичу, хотя можно было бы говорить и о производительности труда и о многом другом. Он только спрашивал.

— А так, между нами говоря, Сидор Фомич: рублей на сто с лишним будет продуктов в двух корзинах?

Тот прикинул в уме, посмотрел в потолок и изложил:

— Лук — тридцать. Молоко — двадцать. Масло сорок пять. Да. Так примерно рублей на сто должно быть. Кому-то хотелось чужим добром поживиться, да, видно, помеха вышла. — Он даже улыбнулся и повеселел, но ненадолго.

— А как же эти корзины вы потеряли? — спросил Петр Кузьмич. — Интересно!

— Как бы сказать, допустим, я иду… — Он растерялся и искал выхода. — Вижу, что вроде бы облака пошли. И я, значит, иду… Да! Дай, думаю, за плащом вернусь… А оно вон что вышло.

— За плащом, значит?

— За плащом.

— Значит, облачка находили?

— Облачка. Находили.

Так и не сказал никаких особых речей председатель все спрашивал да улыбался. По Сидор Фомич, ссыпавши лук в мешочек, уходил потный и красный, как из бани, и вполголоса говорил:

— А работать будем. Как это так — не работать? Только овощ, он свое время знает. Без этого невозможно, И на базаре овощ требуется. Без этого нельзя.

Вскоре и мы с Петром Кузьмичом разошлись пс домам.

Июньские ночи короткие: все кажется — вечер, а глядишь, — уже полночь на дворе. Ночь была темная. Тучи плотно закрыли небо, и звезд не было видно. Изредка поодиночке падали капли дождя. В голове возник беспокойный вопрос: «Доскирдовали сено или нет?» И как бы в ответ сначала послышался девичий — смех, потом говор людей, и вдруг, наперекор пасмурной погоде, грянула многоголосая песня:

…Ка-алинка, калинка моя.
В саду ягодка-малинка моя…

Кто-то на ходу притопывал, кто-то позванивал о косу в такт песне, под которую хорошо плясать. Люди шли с сеноуборки довольные, веселые, говорливые.

Скоро все стихло.

Земля запахла так, как она всегда пахнет перед дождем в июне. Тут и молоденький, от первых цветов гречишный медовый запах, и душистое — свежее-свежее! — сено, и такой ласковый душок крошки-чебреца, даже подорожник, и тот пахнет по-своему. Все это то смешивается в воздухе, то поочередно вырывается струйками. Корни растений в такие ночи издают особый, какой-то прочный, могучий, богатырский земной аромат. Может быть, поэтому среди всех запахов настойчиво побеждает аромат земли. И кажется — земля дышит. А беспрестанный, ровный и напористый рокот тракторов один господствует над всем живым: больше никаких звуков. И если человек,

хотя бы однажды, ощутил дыхание такой ночи, то она надолго останется в памяти. Но если человек с детства дышал этим родным и любимым, то никогда он не забудет, где бы ни был, куда бы ни привел его жизненный путь. Хорошо летом в темную ночь перед дождем!

Шел я медленно и думал о Сидоре Фомиче. Я очень давно его знаю, с первых лет своей работы. В бездонной степной темени ничто не мешало воспоминаниям, и передо мною вдруг поплыли прошедшие годы. Что только не вспомнит человек, проживший полвека!

И вот вспомнилось такое…

Было это в 1933 году. У Сидора Фомича корова объелась дурной травы. Пришла из стада и собралась издыхать: живот раздуло бочкой, лежит, ноги вытянула кольями, язык вывалила, кряхтит… Беда! Кончается корова, а до ветеринарного врача — пять километров (тогда во всем районе было только два ветеринара). Жена Сидора Фомича побежала за бабкой Унылихой, единственной бабкой, оставшейся из всех бабок. Присеменила та бабка. Маленькую кружечку с водичкой принесла с собой. Держит она кружечку, как живого звереныша, в обеих ладонях и — вокруг коровы… Шепчет, крестится, водичкой сбрызгивает. А корова уже и ногами дрыгает, пропащее дело!

Хозяйка с заплаканными глазами дергала корову за хвост и сквозь слезы говорила:

— Ну, вставай же! Вставай!

Сам Фомич растерялся.

— Что же это ты, Машка? А? Бросать нас хочешь, а? Пропадем! Машка!

Случилось мне в этот день проходить мимо хаты Сидора Фомича. Услышал я бабий вой, зашел во двор и увидел всю эту картину.

Сидор Фомич смотрел на меня остановившимися глазами. Брови у него поднялись, усы обвисли, а щетина на давно не бритом лице растопорщилась во все стороны иглами, картуз сбился на сторону и затащил за собой прядь длинных волос, завернувшихся конопляной куделью. Лет ему было тогда не более тридцати, а видно — постарел он за эти минуты. Сначала он смотрел мне в лицо неподвижно, потом проблеснуло в глазах что-то вроде надежды, и он даже шагнул в мою сторону. Но вдруг махнул рукой, будто хотел сказать: «Ну, что там — агроном! Что он понимает по коровьим делам!» — и снова уставил взгляд на корову.

Жена его перестала плакать и смотрела на меня умоляюще. Еще молодая, русоволосая, с голубыми, блестящими от слез глазами, полнощекая, чуть курносенькая — видно, боевая бабочка, а сейчас вот потерялась вся и всхлипывает.

— Товарищ агроном! Подыхает Машка-то. Как же?

Бабка Унылиха выплескала всю «святую» водичку и тоже растерянно прошамшила, держа пустую и бесполезную кружку костлявым пальцем:

— Трава такая есть, чортов волос называется. Вот и объелась. От нее и святая крещенская вода не помогает.

— Где паслась корова? — спросил я Сидора Фомича.

— На зеленях, — угрюмо, с недоверием ответил он.

— Тимпанит. Срочно надо прокол делать.

Незнакомое ли слово или уверенность, с которой я говорил, оказали действие — на меня смотрели с явной надеждой.

Терять времени никак нельзя было. Пока до врача доберешься, скотина подохнет.

— Дай-ка, Сидор Фомич, камышинку из крыши, — сказал я. — Да поскорее! — А сам нащупал пах у коровы, кольнул карманным ножиком и вставил в отверстие поданную камышинку.

Воздух из брюха пошел со свистом. Все молчали в волнении и неведении. И только через несколько минут, после того как корова шумно вздохнула, хозяйка бросилась ко мне:

— Голубчик, родимый! Да откуда тебя бог принес?

А Сидор Фомич поправил картуз, высморкался в сторону, потрогал усы и произнес:

— Наука… она, брат… Да-а.

Пробовал я, по молодости, объяснить, что тут особой науки и не требуется и что есть даже простой инструмент — троакар, которым пользуются при тимпаните. Но эти «тимпанит» и «троакар» звучали так, что по лицу Сидора Фомича было видно: он и не собирался что-либо понять. Он только поддакивал и переспрашивал:

— Как говоришь — пантомит?

— Тим-па-нит.

— Ишь ты… А как этот: туракар?

— Тро-а-кар.

— Ну, где там! — уже весело воскликнул он. — Одно слово, наука.

Во время нашего разговора жена его юркнула в хату и вскоре вышла, держа в чистой тряпочке кусок сливочного масла. Она стала против нас и молча ждала окончания беседы. Корова тем временем стала ворочаться. Мы помогли ей подняться и заставили ребятишек гонять ее помаленьку по улице.

Сидор Фомич добродушно пригласил:

— Сядем давайте на скамеечку. Или в хату пожалуйте!

Сели с ним рядом около хаты, на лавочке. Хозяйка стала сбоку. Теперь Сидор Фомич стал уже совсем другим. Глаза у него, оказывается, острые, чуть прищуренные, усы он завинтил вверх, а лицо совсем повеселело. В расположении духа он сострил:

— Пантомит, пантомит, у Машки живот болит. — Но вдруг сразу помрачнел. — Да-а… Чуть было беда не стряслась. Спасибо вам! Никогда не забуду, во веки веков. Мы ведь к ней, к корове, большое уважение имеем… Кормилица… Без нее пропадешь. Да. Наука — она… сила.

— Вот в колхозе, — сказал я, — десять коров в день так же, как у вас, заболели, а ветеринар приехал и всех спас. Там действительно наука. А вы, Сидор Фомич, до сих пор не в колхозе. Нехорошо.

Он был заядлым единоличником, хотя колхоз существовал уже три года. И никакая агитация на него не действовала. Таких было дворов десять в селе. «Не прошибешь мозги, — говорил председатель сельсовета, — тугодумы». Пользуясь добрым расположением Сидора Фомича, я завел разговор о колхозе, пробовал убеждать. Помню, говорил горячо, волнуясь, как и полагается молодому агроному. Вдруг, среди моей речи, Сидор Фомич поднял брови, провел ладонью вниз от переносья, отчего усы опустились, и проговорил медленно, глядя вниз:

— Ты вот что, товарищ агроном… Сколько тебе платить за корову-то? А о колхозе… где-нибудь…

Ошпарил он меня этими словами так, что я ничего не нашел сказать, кроме слов:

— Какой ты… тяжелый.

— Слыхал, — так же угрюмо проговорил он. — И тугодум — слыхал.

Жена, его попятилась немного назад, спрятала кусок масла под передник и ушла в избу, оглядываясь.

Стало еще обиднее, когда Сидор вынул пятерку и протянул мне со словами:

— Спасибо. Во веки веков не забуду. Поверь.

Отходя от хаты, я обернулся и увидел, что Сидор Фомич сидит полусогнувшись и держит пятерку в опущенной вниз руке. Таким он и остался в памяти.

Хорошо помню, что Сидор Фомич вступил в колхоз одним из последних. Он все присматривался, взвешивал и чего-то боялся…

Дождь стал накрапывать настойчивее. Капли все чаще падают на дорогу. Так начинается окладной дождь — без грома, тихо.

В ту ночь я долго не мог уснуть — Сидор Фомич не давал покоя. Вспоминалось, с каким интересом он посещал лекции по овощеводству и никак не хотел слушать о чем-либо другом. Он спрашивал: «А будет там насчет овощей?» Если же ему отвечали отрицательно, то говорил: «Тогда мне и делать нечего». Потом возникло в памяти заседание правления, где обсуждали вопрос о позднем выходе некоторых колхозников на работу и о раннем уходе с поля на свои усадьбы. Многое вспомнилось.

Да. Давно я знаю Сидора Фомича, очень давно.

И еще припомнился разговор.

Совсем недавно Сидор Фомич работал с Евсеичем, которого одна ночная работа сторожем никогда не удовлетворяла. Работали они на воздушнотепловом обогреве семян гречихи. Дело это очень простое: вороши семена и прогревай, чтобы тепленькими стали. Площадка для обогрева была вблизи агрокабинета. Я иногда выходил проверить, как идет работа, или наблюдал из открытого окна.

— Видишь, до чего додумались, — обращался Евсеич к Сидору Фомичу. — Семечко, допустим, живое, а не всхожее. А погрей его — и оно взойдет. Ясно дело — научность. Трофим Денисыч — голова. — Евсеич растопырил пальцы по обе стороны головы на полметра. — Ум — во!

— А взойдет? — сомневался Сидор Фомич.

— Ясно дело, взойдет. Не первый раз такое делается у людей.

— Я еще не видал. Будет ли дело?

— И не обязательно надо видать. Агрономия, она, брат ты мой, знает, как оно там растет. И над землей знает и под землей знает. Я так думаю, что при коммунизме мы по сто центнеров зерна с гектара будем получать. А может, и больше. Ясно дело.

— Ну и загнул, Евсеич! Сто! Ты прикинь сперва, а потом говори. Я на своем огороде все по науке делаю, а вот даже чесноку по сто центнеров с гектара не получается. А ты — зерна сто.

— Чудак ты, Фомич! На Алтае уже было по сто центнеров пшеницы, сам читал.

— Чем же это я чудак?

— А тем, что на своем огороде по научности делаешь, а тут не веришь, взойдет или не взойдет, будет или не будет по сто. Ясно дело, будет. Конечно, не сразу, а со временем.

— То-то вот — со временем. А кто его знает, как оно там будет со временем?

Он молча постоял в задумчивости, потом принялся снова за работу, но вскоре опять остановился и совсем неожиданно сказал:

— Маловато — полгектара.

— Это чего?

— Огорода, усадьбы.

Евсеич рассмеялся.

— А ты напиши по этому вопросу в Москву. Так, мол, и так: работаю на своем огороде столько же, сколько и в колхозе, и желаю иметь другой. Тут тебе сразу из центра бумага и придет: дать Сидору Фомичу два огорода. Пущай, дескать, попробует хрип гнуть, если забыл, как гнул когда-то. Пущай на него колхозники посмотрят. Ей-бо, так и напишут! А ты, значит, как получишь эту бумагу…

— Ну вот! Не может он без подковырки, — с досадой перебил Сидор Фомич.

— Какая же тут подковырка? — возразил Евсеич, и видно было, что он еле сдерживает смех. — Это ты будешь подковыривать лопатой, а рядом будут гусеничные да электрические над ухом: гр-рр, гр-рр! Копай лопатой два огорода, по полгектара каждый, копай, хоть облупись. Не возражаю.

Сидор Фомич молчал — видать, рассердился — и ворошил семена. А Евсеич долго смотрел на него и, наконец, окликнул:

— Сидор, а Сидор!

— Ну?

— Или у тебя портки колючие, что тебя от огорода не оттащишь? Сел — не отдерешь.

— Тьфу! — отплёвывался тот. — И пожилой человек, а… Ну, как бы сказать, скребница, что ли. Дерет и дерет по коже.

— Ой, Сидор! Много нас с тобой драть надо. Ей-бо, много! Ясно дело, отдерут. Отдеру-ут!.. И такой станет человек чистый и… приветливый. — Евсеич вздохнул.

— А кто ж его знает… — нерешительно и уже примирительно произнес Сидор Фомич. — Может, и так…

Он задумался и продолжал работу молча.

Я поделился этими своими воспоминаниями с Петром Кузьмичом на следующий день. Он слушал внимательно, не перебивая, а потом сказал задумчиво:

— Сидоры Фомичи — это самый трудный участок работы. Таким скорее можно доказать делом, дойти словом до них гораздо труднее. Недаром и прозвище ему — тугодум. Колхоз должен выращивать столько овощей, чтобы колхозник не так дорожил своей усадьбой. Убежден, что это очень важно.

Мы долго сидели вдвоем. Прикидывали, высчитывали, записывали и, наконец, пришли к выводу, что колхоз может обработать не меньше сорока — пятидесяти гектаров огородных культур, не считая картофеля. Договорились начать это дело в нынешнем же году, если общее собрание разрешит сделать некоторые изменения в годовом производственном плане.

Петр Кузьмич не любит откладывать дела. В ближайшие дни он уже повез в район выписку из решения правления, в которой было написано: «Распахать за ольшаником заливной осоковый луг на площади пятьдесят гектаров под огороды. Увеличить производство овощей в десять раз. Просить райсельхозотдел планировать ежегодно нашему колхозу: лука — пятнадцать, чеснока — десять, капусты — двадцать гектаров. Организовать специальную овощную бригаду».

Перво-наперво Петр Кузьмич попал к товарищу Чихаеву — главному агроному райсельхозотдела. Тот долго читал бумагу, рассматривал, удивлялся, а потом, вздохнув, сказал:

— Зачем столько овощей? Обузу себе выдумали. Я считаю, что наш план достаточен. Раз мы областной план разверстали — значит он

теперь будет стабильным. Овощей и на усадьбах колхозников хватит.

Так вот и сидели два агронома друг против друга: Петр Кузьмич, председатель колхоза, и товарищ Чихаев, который прожил за письменным столом двадцать с лишним лет и насчет планирования двух собак съел. Петр Кузьмич доказывал свое, а Чихаев — свое. Петр Кузьмич спорил, улыбаясь, а товарищ Чихаев сердился. Они не пришли к соглашению, и Чихаев в конце концов написал резолюцию: «Укрепляйте полеводство и животноводство согласно решениям вышестоящих организаций, в которых об овощах не сказано». На словах он добавил:

— Хлопот полон рот, а будет ли доход? — И, очень довольный своим остроумием, вернул бумагу Петру Кузьмичу. — Все.

— Нет, не все, — сказал Петр Кузьмич.

— То есть как?

— К Ивану Ивановичу в райком схожу.

— Видите ли, — малость смешался Чихаев, — я приблизительно согласен… Я так и ставлю вопрос: будет ли доход? Если будет, то можно, а если не будет, тогда руководствоваться тем, что сама жизнь покажет, практика.

Петр Кузьмич хорошо понял Чихаева, но с секретарем райкома, Иваном Ивановичем, все-таки посоветовался и приехал в колхоз вполне довольный.

Вскоре он созвал заседание правления совместно с активом колхоза и пригласил Сидора Фомича принять участие в этом важном совещании.

Об организации овощеводства мне пришлось сделать доклад довольно обстоятельный. Дело для колхоза — новое, требующее точных расчетов, учета затраты трудодней, внедрения механизации и так далее. Слушали все внимательно. При обсуждении никто не возражал, а лишь уточняли, выясняли, вносили свои соображения. Только Сидор Фомич сказал так:

— Оно, конечно, хорошо. Слов нет — дело сурьезное. Только чеснок — штука то-онкая. Его же требуется с осени закладывать, накрывать сухим сыпцом, посадить точно, во-время. Хлопотная штука! У нас в колхозе и на пяти гектарах овощей хромота идет, а тут будет пятьдесят. Может, подождать бы? Такое мое соображение.

— До коих пор ждать? — перебил Евсеич.

Они всегда спорят друг с другом, по никогда не порывают дружеских отношений.

— Ну, годик-другой: пока укрепится укрупненный колхоз.

— А укреплять чем будешь? Палочкой-поджидалочкой?

— Отказать в таком предложении, — подал голос и Терентий Петрович.

После прений высказался Петр Кузьмич.

— Три задачи решаются в этом вопросе, — сказал он: — обеспечение колхозников овощами, снижение цен на рынке, увеличение денежного дохода колхоза. Думаю, что общее собрание утвердит проект, предложенный докладчиком. — Длинно он говорить не умел и перешел прямо к делу: — Сенокос у нас закончен, поэтому за ольшаником можно поднимать пласт, обработать его в пару, а с осени приступать к закладке чеснока и другим подготовительным работам. Овощную бригаду надо укомплектовать из колхозников, знающих это дело. Вношу предложение создать два огородных звена; звеньевыми назначить следующих товарищей: члена правления Федору Карповну Васину и Сидора Фомича Кожина — мастера по огородничеству. Если Сидор Фомич сумел у себя, то в колхозе ему никак невозможно дать плохой урожай. Придется, конечно, отвечать теперь и за общее дело, а не только за самого себя. Какие будут суждения?

— А как будет обстоять дело с коромыслом? — намекнул Терентий Петрович. — Насчет базарных дел как? С тех самых кувшинов так и идет по народу поговорка: «Кто — на работу, а кто — с коромыслом».

— Пусть он сам скажет, — ответил Петр Кузьмич. — По-моему, Фомич справится…

— У него свой огород — золотая левада. Некогда будет работать на колхозном огороде, — сказал кто-то из угла.

А Сидор Фомич молчал. Крепко задумался он, очень крепко.

— Ну, как же решил? — спросил Петр Кузьмич.

— Дайте хоть немного подумать, — проговорил вполголоса Фомич.

— Сколько времени тебе на думки отпустить? — спросил Евсеич, перебирая пальцами клинышек бородки и усмехаясь.

Но Сидор Фомич не заметил иронии Евсеича и искренне ответил, глядя ему прямо в лицо:

— Ну, хоть бы… с недельку подумать надо.

Наступило молчание. Петр Кузьмич смотрел на Сидора Фомича внимательно, будто проник ему в душу и видел, что там у него творится внутри. В тишине слышно было, как тикают торопливые часы-ходики, которым ожидать не полагается — они идут и идут.

Сидор Фомич вздохнул.

В этом молчании послышался голос Терентия Петровича:

— Позвольте слово!

Терентий Петрович на собраниях говорил редко, больше подавал реплики, но после совещания передовиков уже иногда и выступал. Многие обернулись в его сторону, но по малости роста его не было видно, поэтому послышалось сразу несколько голосов:

— Выходи, Петрович, наперед!

— Давай на вид становись!

Терентий Петрович вышел к столу и тихонько, спокойно начал:

— Так, товарищи. Сидору Фомичу мы внесли предложение. Хорошо. А он собирается подумать с недельку. Выходит, если каждому из нас над таким делом думать по недельке, то получится развал колхозного строительства, а не путь к коммунизму. Точно говорю. — Сидор Фомич поднял голову и внимательно посмотрел на оратора. Они встретились глазами, и Терентий Петрович чуть-чуть повысил голос: — Помнишь разговор на сенокосе, Фомич? Помнишь! Ты что тогда сказал? Ты сказал, что тебе, дескать, при социализме жить хорошо. Ладно. Это правильно. А что ты сказал еще? — Терентий Петрович вдруг заговорил баском, подражая Сидору Фомичу — «Мне коммунизм не к спеху. Мне и при социализме неплохо». Спорили мы с тобой? Спорили, подтверждаю. А что после того спора? «Поду-умаю!» — говоришь. Ладно, думай. Но только я скажу еще: значит, тебе твоя усадьба дороже всего на свете. Одна рука — в колхозе, а другая — на базаре. Вот какой вывод я тебе делаю.

Тут Сидор Фомич встал и заявил прямо:

— Не иначе — ты выпил.

Терентий Петрович шагнул к нему и, подняв лицо вверх, сказал вежливенько и так же спокойно:

— Давай дыхну! — И, не дожидаясь согласия, дохнул открытым ртом на Фомича.

— Тверезый! — удивился тот и сел.

— Да разве ж можно по такому вопросу пить! — отозвался Терентий Петрович. — Небось думаешь: «По какой причине он говорит?» Я отвечу. Что ж, Фомич, слов нет, ты живешь вроде честно. Ты и чуть больше минимума выработал, но… — Терентий Петрович поднял палец вверх, вскинул бородку и раздельно произнес: — Но ты сейчас — тормоз движения на данном этапе. Эх, Фомич, Фомич! И не один ты. Через то самое я и выступаю, а то молчал бы. Собственник ты, Фомич! Если ты хочешь понимать жизнь, то это самое — не лучше воровства. Точно говорю. — Терентий Петрович немного помолчал и вдруг воскликнул: — Не может того быть, чтобы у тебя и душа чесноком пропахла! Все ж мы тебя знаем — трудовик. Ну что ты всю жизнь упираешься? Тебя — вперед, а ты — обратно.

Сидор Фомич еще раз встал, и в голосе его послышалась просительная нотка.

— Ну, Терентий Петрович! — Он махнул рукой и сел, опустив голову.

— Слышь, Терентий! — заговорил Евсеич. — Ты что, не видишь, человек стронулся с места и без того? Должон понимать: это же не с глазу на глаз разговор, тут публика. — И в его словах прозвучало что-то теплое.

— Ладно, я кончил, — неожиданно сказал Терентий Петрович и пошел на свое место. А уже оттуда добавил: — Только ты подумай над моими словами. Вопрос сурьезный, Сидор Фомич. Я тебе не для критики, я душевно сказал.

Петр Кузьмич спросил у присутствующих:

— Ну как же? Дадим Сидору Фомичу подумать?

На этот вопрос никто не ответил, но Сидор Фомич отозвался сам. Он сначала повел плечами, будто стряхивая какую-то тяжесть, поднял лицо к председателю и медленно, с расстановкой сказал:

— Что ж… два дня хватит. Послезавтра скажу.

Петр Кузьмич улыбнулся и заразил всех — все улыбнулись: дескать, сразу пять дней уступил… Только Сидор Фомич все ж таки снова вздохнул. Он даже оглянулся на сидящих, но, не увидев в глазах

людей ничего похожего на злобу, потрогал усы и, кажется, улыбнулся тоже. А может быть, мне просто показалось.

С совещания мы шли вдвоем с Петром Кузьмичом. Шли некоторое время молча. Он заговорил первым.

— Я был не прав, Владимир Акимыч, — сказал он, заключая вслух какую-то свою мысль.

— В чем?

— Можно и до Сидора Фомича дойти словом, но только надо уметь найти это слово. Вот Терентий Петрович нашел. И Евсеич всегда находит. А я нет… Наверно, слово — это должно быть точным и правдивым, как у Терентия Петровича, и душевным, как у Евсеича.

— Ты, Петр Кузьмич, делом доходишь лучше.

— И все-таки этого мало, — задумчиво проговорил он.

Мы попрощались.

«Найдешь ты и слово! — думал я. — Не такой ты человек, чтобы не найти».

# Один день

Ранним утром в деревне тихо. Птицы в это время еще молчат. Звука тракторов еще не слышно: они на техническом осмотре и заправке горючим после ночной смены. И такая тишина стоит, что кашляет кто-то в километре, а слышно.

Накатанная дорога тянется ровными автоколеями посреди широкой улицы и кажется чисто подметенной. Грач-одиночка по-хозяйски идет по дороге и что-то высматривает, изредка клюнет потерянное зернышко. Теленок бредет по улице и суется к каждому предмету: о дерево почешет шею, о забор потрется боком, у яруса строительных бревен обнюхает торец сосны и лизнет его, постоит немного и плетется дальше. На грача он смотрит долго и внимательно, с каким-то не то недоумением, не то любопытством. А грач будто и не заметил потомка лучшей в колхозе коровы — прошел мимо сосредоточенно и деловито: у раннего грача-разведчика хлопот много.

А больше никаких видимых признаков жизни на улице пока нет.

Еще не сошел с неба, на западе, серовато-мутный налет, но зарево на востоке уже возвещает о близком восходе солнца. И все живое молчит. Все ждет солнца, не нарушая тишины. Только разве петух на ферме спросонья прогорланит и захлебнется, будто подавившись: собратья отвечают ему нехотя и лениво: рассвело и без нас, дескать. И снова тихо, тихо.

Но вот знакомый звук зашевелил тишину: автомашина, груженная мешками семян, выползла из-за утла зернохранилища, выправилась на дорогу, набрала скорость и засигналила теленку. Тот повернул мордочку, стал попрочнее посреди дороги, наблюдая, что будет дальше. Конечно, машине дорогу он не уступил: видели, дескать, мы тебя на ферме — не удивительно! Пришлось шоферу аккуратно объехать упрямца.

— Лена, — послышался негромкий голос с фермы. — Шалопут опять ушел. Не видела?

— Во-он! По дороге плетухает, — ответил второй женский голос.

Девушка в белом халатике показалась со двора и направилась к теленку, беззлобно разговаривая с ним на ходу:

— Опять удрал, Шалопут? Ну иди, иди, горе мое!

И снова тишина. Зарево на востоке все краснее и ярче. И жизнь становится живее и живее. С ведрами прошла к колодцу женщина. Конюх потихоньку вывел на проводку жеребца-производителя; тот заржал голосисто и призывно, и ему ответил голос молодой кобылицы. Тихой, развалистой походкой прошел во двор пожилой колхозник с кнутом в руках. Все движутся медленно спросонья, а говор — несмелый, тихий. Только где-то вдали крикнул пастух, выгоняя коров на первые выпасы:

— Куда пошла-а? — и щелкнул кнутом, рассекая тишину.

Никто пока не спешит.

Но вот… лопнула тишина! Раскололась вдребезги на мелкие звуки. Застрекотал пронзительной пулеметной очередью пускач дизельного трактора, и звук его забарабанил по селу, несколько минут тормошил хаты, позвякивая в стекла: и трещит, и трещит, и трещит. Так же сразу он умолк, а вслед за ним послышались сначала спокойные вздохи, а затем и ровный рокот дизель-мотора. Вот и еще такой же пускач рассек воздух, и снова уже другой дизель заговорил баском на все поле. Веселым перебором ворвались в общий рокот колесные тракторы «ХТЗ».

День колхоза «Новая жизнь» начался. Ездовые заспешили во двор. Плотники застучали, запилили, и звуки топоров, застревая в общем потоке рокочущей волны, то терялись, то возникали снова. А веселое весеннее солнце взошло и брызнуло на колхоз чуть теплыми лучами.

Для меня этот день начался неплохо. Мне необходимо было провести в бригаде Митрофана Андреевича Каткова весь день. И я решил пораньше найти бригадира: днем трудно поймать его в поле на громадном массиве бригады в тысячу гектаров. Встретились мы в воротах, бригадного двора.

— Доброе утро! — поздоровался он.

— Доброе утро!

— А я домой: на завтрак.

— Что так рано? Солнце встает, а уже и завтрак.

— У меня заправка такая: наряд — вечером, ранним утром — во двор, а потом — в поле, на весь день.

Мы договорились о плане наших поездок по полям. Вдруг ни с того ни с сего он взял меня за локоть и спросил:

— А ну-ка, Владимир Акимыч, скажите: что есть блин?

— Блин? — удивился я.

— Да, блин. Не знаете? Блин — залог здоровья. Солнце, воздух, вода и… блин! — Он весело расхохотался. — Пошли ко мне, зоревой завтрак учиним. Попробуете, какие блины умеет сотворять моя хозяйка. Пошли, пошли!

Я пробовал отказываться, упирался. Но где там! Он стал против меня, взял за пуговицу ватника и молча улыбался шустрыми черными глазами. Не пойти было невозможно. Мы зашагали рядом.

— Значит — залог здоровья? — переспросил я.

— Именно. Эх, сколько этих блинов поедается всем колхозом! Уму непостижимо. Есть у меня в бригаде Прокофий Иванович Филькин. Вы-то его знаете хорошо. Так вот он умеет едать блины. Отлично умеет. Пригласила его как-то теща в гости: приходи, дескать, Проша. «С нашим, говорит, удовольствием, мамаша». Навела она добрую дежу теста и стала его кормить, Прокофия-то. Стал он есть. Только блин со сковороды, а он его трубкой — раз! — в сметану и в рот целиком. Раз! — и в рот? Раз! — и в рот. Она печет, а он на лету поедает их. Раз! — и в рот. Раз! — и в рот. Дежа кончается: такая дежа, что пятерым хватило бы. Умаялась теща. Испекла она последний блин, сбросила со сковороды и говорит: «Ух? Как и не пекла!» А Прокофий Иванович-то вытер пот рукавом и отвечает: «Эх-хе-хе! Как и не ел!»

Я рассмеялся. Митрофан Андреевич тоже. Трудно поверить, что вот этому веселому, не по летам моложавому человеку сорок два года, что он четыре раза ранен во время Отечественной войны, что на его плечах тысяча гектаров земли и двести человек и что сейчас разгар весеннего сева.

Мы подошли к дому Каткова. Это не просто хата, а четырехкомнатный домик, крытый железом, с аккуратным палисадничком. Из трубы тянулся легкий дымок. А когда взошли на крыльцо, то запахло и блинами.

— Фрося! — приветливо крикнул хозяин, входя в комнату. — Вдвоем пришли завтракать.

— Пожалуйте, — ответила ома. — Мне хоть еще двое. Хватит.

Мы помыли руки и уселись за стол. Катков шутил:

— Не знаю, как оно там по медицине, но если я с утра упакую дюжину блинков в полный диаметр сковороды да закантую поясом, то

целый день хоть бы что. Правильно, Фрося?

Ефросинья Алексеевна, наливая блин на вторую сковороду, ответила:

— Хвастаешь! Больше семи блинов не съедаешь.

— Ну, уж и нельзя лишнего прибавить.

Ефросинья Алексеевна улыбнулась и положила горячий блин на чистое полотенце, разостланное на столе.

Запах подрумяненного круглого и пышного блина заполнил всю комнату. Ну и запах! Недаром же вся улица пахнет блинами там, где их пекут. Опустишь такой блин в миску со сметаной, положишь его в рот, а он так и дышит во рту! Вот уж действительно настоящие блины, какие не каждому доводилось есть. Отличные блины!

Шипела сковорода. Потрескивало в печке. Хозяйка стояла к нам вполоборота, опершись на чаплик. Голова ее была повязана голубенькой, с цветочками, косынкой; лицо уже покрыл легкий весенний загар. Она первая предала молчание:

— Я ведь, Владимир Акимыч, насилу приучила его питаться, — она указала на мужа. — Бывало вскочит чуть свет, схватит кусок хлеба за пазуху и бежит. Теперь наладился. Вы ему не верьте, когда он о себе говорит. Я-то его знаю. Пришел вот завтракать, будто только и день у него начался, а сам на рассвете уже и в тракторный отряд на мотоцикле съездил, и на ферме побывал, и наряд проверил.

— Уважаемая Ефросинья Алексеевна! — строго-шутливо обратился к ней Митрофан Андреевич. — Не переходите на личности: аппетит понижается.

Позавтракали мы отлично. Вымыли руки. Я поблагодарил хозяйку.

— Мне-то куда сегодня? — спросила она у мужа.

Митрофан Андреевич схватился за голову обеими руками и воскликнул:

— Прорыв! Развал бригады! Гроб дисциплине! Своей жене забыл наряд дать. Подскажи, пожалуйста, сама. Не на огороды ли? Точно: туда.

Жена улыбалась спокойной улыбкой.

Мы вышли. На крыльцо медленно поднялся нам навстречу отец бригадира, Андрей Петрович. Волосы у него совсем белые, как молоко; бородка подстрижена аккуратно, лопаточкой, а волосы — в кружок. Сразу видно — опрятный старик. Без малого девяносто лет

имеет он за плечами, но видит и слышит еще хорошо и не может не работать.

— Здравствуйте, Андрей Петрович!

— Здравствуй, детка! (Всех, кому меньше шестидесяти, он называет «детка».) А я вот утречком-то в огородике покопался. Я люблю — утром. — Он присел на лавочку. — Все торопитесь. Весна. Хорошо — весна. Торопиться надо. Только вот не пойму одного: зачем перекрестный сев. Для какой радости два раза по одной пашне ездить вдоль и поперек: туда — полнормы семян, сюда — полнормы? Ну ладно, пущай урожай выше на полтора центнера, но узкорядный-то так же дает, как и перекрестный. Вот и делали бы узкорядные сеялки, а не гоняли тракторы вдоль и поперек. А то, вишь ты, — обратился он к сыну, — в одном месте не начинал сеять, — теряешь половину урожая, — а в другом — взад-вперед, вдоль-поперек, вдоль-поперек! А гасу-то, гасу сколько попалят!.. Сколько раз я тебе, Митроха, говорил: «Брось ты эту затею! Не может быть того, чтобы наука гоняла тракторы туды-сюды». Узкорядные — надо: один раз сеять по одному месту.

— План есть на перекрестный сев, папаша. План надо выполнять.

— «План, план»… Заладили, как сороки на суку. Ты, Митроха, смотри за этим, — на то ты и партейный. Значит, если план подходялый для колхоза и государства, то делай, а если неподходялый — плюнь! Аль напиши им туда. — Дед махнул рукой вверх, туда, куда, по его мнению, следовало писать. — Право слово, верно говорю, — обращался он уже ко мне. — Мне и то доходит, а вы должны душой болеть… Ишь ты! Вдоль-поперек, вдоль-поперек!

— Андрей Петрович, — сказал я, — пока нет узкорядных сеялок, надо сеять перекрестно… Урожай надо повышать.

Он, задумавшись, смотрел в пол и сразу же согласился.

— Пожалуй, так. А насчет узкорядных напишите туда… Блинков-то поели? — по-стариковски перешел он вдруг на другую тему.

— Сыты, папаша.

— Блинки — это хорошо. После них человек делается прочный, тугой. Ходит себе день-деньской, до самого вечера… Ну, идите. Торопитесь, неугомонные, торопитесь! — И он, покряхтывая, направился в хату, но в дверях сеней повернулся к нам и сказал: —

Митроха! Денька через два, а может, и завтра, дождик должон быть. Налегни на сев-то.

— Вот тебе на! Гляну на барометр, — забеспокоился Митрофан Андреевич. Он ушел в хату и тут же вернулся. — Давление падает.

— Ты на свою машинку смотри не смотри, а на днях дождю быть, — сказал Андрей Петрович.

— Как же это вы, Андрей Петрович, узнаете об изменении погоды? — спросил я.

— Э-э, детка! Давно уж я живу-то. По всем приметам узнаю. Ласточка идет низом, значит — мошка летит низом. Это — раз. (Он загнул костлявый палец.) Курица обирается носиком — перо мажет жиром. Это — два. (Он загнул еще один палец.) У курицы, значит, шишка такая над хвостом имеется — жировая… Свинья тоже чует: тело у нее зудит, чешется она, солому в зубах таскает. Животная, она чувствует. И человек чувствует. Только иной замечает, а иному наплевать… И в сон ни с того ни с сего клонит, и если, по старости, кости ноют, и волос на голове не таком делается, и спина — того…

Андрей Петрович загнул уже несколько пальцев, а Митрофан Андреевич нетерпеливо посматривал на меня и будто говорил глазами: «Разошелся папаша, а времени у нас нет». Однако вслух он, обращаясь ко мне, заметил:

— Точно узнает папаша: живой барометр.

— И лебеда тоже вот хорошая примета, — продолжал загибать пальцы Андрей Петрович. — Как с низу листочков слезки пойдут, так и смотри другие приметы. Если все приметы сходятся, то уж хочешь не хочешь, а дождю быть… Примет этих много, детка. Много. — И он ушел в сени, так и не разогнувши пальцев, будто еще и еще вспоминал приметы и собирался фиксировать их на пальцах. Из сеней все еще слышался голос старика: — Дым, примерно, низом стелется, в трубу плохо тянет — тоже к дождику. Солнышко в тучи садится — жди мокрости. Много примет. Много. И все правильные.

Мы сошли с крыльца.

— Теперь минут на десять завернем во двор. Могут оказаться отставшие, надо их подтолкнуть, — сказал Митрофан Андреевич и ускорил шаг. — Громадный опыт у папаши, — продолжал он на ходу. — Интересно, почему ученые метеорологи не дадут научных

объяснений народным приметам? Люди тысячи лет примечали: не можем же мы выбросить эти наблюдения.

— Практически мы их и не выбрасываем, но объяснить, конечно, надо бы метеорологам, — согласился я с собеседником.

Войдя в ворота бригадного двора, мы увидели двух колхозников. Один из них, Витя-гармонист, осматривал колесо, а второй, тот самый Прокофий Иванович, запрягал лошадей. Митрофан Андреевич как-то сразу помрачнел и направился прямо к ним.

— До десяти стоять будете? — спросил он строго.

Витя-гармонист, — с пышным чубом, в клетчатой кепке, заброшенной на затылок так, что, казалось, вот-вот она упадет, — ухватил рукой обод колеса брички и потряс его.

— Обратите внимание, Митрофан Андреевич: рассохлось. Разваливается. Виляет по дороге восьмеркой. Не колесо, а вальс «Разбитая жизнь». Не по моей вине задержался — ищу колесо.

— А почему допустил до этого? Ты ездовой. Разве раньше не видел, что колесо надо перешиновать? Тебе что: няньку на бричку надо?

Митрофан Андреевич засыпал Витьку вопросами так, что тот не сумел ничего ответить и стоял, вытаращив свои большие голубые глаза, будто недоумевал и собирался сказать: «А ведь и правда — я виноват! Как же это я так?» Но он ничего не сказал в оправдание, а только привел широкую кепку в надлежащее положение и спросил:

— Ну, а сегодня-то как же?

— Сегодня получишь штраф в один трудодень за халатное отношение к колхозному имуществу. Третий раз уже тебе замечаю, теперь придется штрафовать. Колесо возьмешь новое. Отправишься немедленно в поле. Завезешь в кузницу старое колесо… Эх, ты!.. «Разбитая жизнь»!

— Ну, во-от! Скорей уж и штраф. Безо всякого подходу. Я человек старательный, а ко мне без всякого убеждения. Возражаю.

— Уже третий случай с тобой. Хватит. Убеждал, убеждал, а ты теперь и с колесом допустил. То постромку потерял, то на «Разбитой жизни» ездишь.

Витя немного подумал и сказал:

— Исправлюсь. Клянусь инструментом! — и он постучал по ящику с баяном, который стоял в передке брички.

Митрофан Андреевич посмотрел на баян, потом на Витьку, брови его вздрогнули, и в глазах появилась чуть заметная улыбка.

— Клянешься? — спросил он.

— Не повторяю. Сказал твердо. — Витя ткнул себя большим пальцем в грудь.

— Ладно. Но только — в последний раз. И, кроме того, музыка музыкой, но среди бела дня не баловать, а работать.

— Днем настроения быть не может.

— Что ж, ты играешь только ночью?

— Да, вечером или ночью, «Каприччио» разучиваю.

— И как оно?

— Получается.

— Вот с колесом только не получается.

— Проза, — возразил Витька и закинул ногу на ногу, опершись на бричку.

— Да ты что на одной ноге стал? Или, думаешь, до обеда стоять? Я с тобой уже пять минут потерял.

— Я что? Я ничего. Вы же сами музыкальный разговор затеяли.

— На ключ от сарая! Бери колесо.

— Момент! Один момент — и Витька будет в поле.

— Ну, куда побежал? (Витя с разбегу остановился и обернулся к нам.) Наряд возьми в кузницу. Колесо не примут без него.

— Не учел. Есть наряд взять в кузницу.

Митрофан Андреевич развернул блокнот, положил его на грядушку брички и быстро написал наряд. Он подал листок блокнота Витьке, а тот ринулся в сарай, выкатил новое колесо и действительно моментально заменил старое и выехал со двора, снова забросив фуражку на затылок.

— Ох, Витька, Витька! Горе мне с тобой, — вполголоса сказал бригадир, глядя ему вслед. — Парень окончил семилетку, а места не найдет. В сельскохозяйственную школу отказался наотрез, в техникум ни под каким видом не хочет, а зарубил одно: в музыкальное училище. — Он помолчал. — Наверно, надо правлению хлопотать да определять его по музыкальной линии… Все равно уйдет сам. Ну, этот с большим талантом, — у него балалайка и та плачет… А все остальные тоже уходят. Как только окончил семилетку, так и до свиданья: поминай, как звали! Из всего колхоза один Петя Федотов

агрономом будет, а другие — кто куда. Даже обидно: семилетка — в колхозе, а по сельскому хозяйству не учат. Только и знаний дают, как фасоль прорастает. С детства отбивают интерес от поля; выходит парень из семилетки и ни бельмеса не соображает ни в полеводстве, ни в животноводстве, ни в технике сельского хозяйства. Митрофан Андреевич с досадой стукнул блокнотом о ладонь и заключил: — Честное слово, напишу в Цека партии по этому вопросу. — Вдруг он спохватился и глянул на ручные часы. — Уже больше десяти минут торчим здесь, а он все запрягает, — и кивком головы указал на Прокофия Ивановича.

Прокофий Иванович — мешковатый, на первый взгляд, тучный мужчина лет пятидесяти, с круглым красным выбритым лицом — медленно обходил вокруг брички. Он неуклюже переставлял мощные ноги и ощупывал колеса, постромки, поправлял хомуты, трогал вожжи. Все как будто бы было в порядке, но он снова принимался просматривать, ощупывать что-то все-таки, прилаживать и поминутно каким-то полусонным голосом говорил:

— От ты, елки тебе зелены!

— Что он медлит? — спросил я потихоньку у Митрофана Андреевича.

— Ему стронуться с места труднее всего на свете.

— А вы пошевелите его построже.

— Этого нельзя. Я его отлично знаю: растревожь с утра, так целый день будет мучиться. Но уж если начнет работать, то… В общем сами увидите. — Однако Катков не выдержал и двух-трех минут и обратился к нему: — Прокофий Иванович! Что у вас там?

— Хомут, — многозначительно ответил тот.

— Что — хомут?

— Не видишь: с Великана хомут.

— Поезжайте, говорю, быстрее: спешить надо. Потник под хомут вчера подшили, подогнали хорошо. — При этом Митрофан Андреевич потрогал хомут, засунул под него ладонь. — Хорошо сидит хомут. Не задерживайтесь.

— От ты, елки зелены! У меня лошади не парные, а я сломя голову скачи. Надо все проверить, приладить и… этого… Великана посмотреть. Ты посмотри сам: может, лечить надо, а я — уеду и не узнаю. А потом ты же и скажешь: Прокофий, мол, такой-сякой. —

Говорил он все это будто нехотя, с расстановками, без жестов, и, казалось, обдумывал каждое слово.

Наконец терпение бригадира иссякло.

— Да до каких же пор стоять-то будешь?

— Великана посмотри, — все так же невозмутимо отозвался Прокофий Иванович.

— Тьфу! — плюнул Митрофан Андреевич и, отвернувшись в сторону, сказал: — Веди Великана! Я и без тебя его смотрел и знаю, что с ним.

— А то при мне посмотри. Лошадь, елки зелены, любит хозяина. А я, елки зелены, должен целый день думать, что с моей лошадью. — При этом он, казалось, пытался сойти с места, но это далось ему не легко.

— Да веди же лошадь! — слегка повысил голос Митрофан Андреевич.

— Что ж ты сердишься? Тут без никакого сердца. Лошадь за мной закреплена, я на ей пять лет работаю. Как это так: сел — и уехал? Лошадь, она, елки зелены… как бы, например, к человеку приставлена.

— Прокофий Иванович! Ей-богу, не выдержу! — воскликнул Митрофан Андреевич.

После этих слов Прокофий будто и чаще зашевелил ногами, но зато шажки стали далеко мельче и никакого ускорения не получилось — одна видимость. Наконец он вывел прихрамывающего Великана. Митрофан Андреевич поднял больную ногу лошади, зажал ее меж колен и заговорил, сдерживаясь:

— Плоское копыто. Намяла под стрелкой, ковать надо на войлок.

— Вот и я так думаю. Правильно.

— Подкуем завтра утром.

— Кто?

— Кузнец, конечно.

— А кто поведет?

— Конюх.

— Не-е! Я сам. Пиши наряд! Завтра чуть свет сам поведу в кузницу.

— Ох! — вздохнул бригадир. Он написал наряд и вручил его Прокофию Ивановичу. — Ну теперь-то все?

— Все, — утвердительно ответил тот. Он аккуратно сложил наряд вчетверо, положил в полинялую кепку, надвинул ее прочно и полез в бричку. Наконец тронул лошадей, но они, чуя характер ездового, тоже не спешили. И уже через десяток метров Прокофий Иванович вдруг остановил их: — Тпрру! Емки тебе зелены! — Теперь он сдвинул кепку легонько на лоб, почесал затылок. Оглянулся на нас. Посмотрел на лошадей. И потом снова — в нашу сторону и… продолжал стоять, пока не увидел мальчика у ворот двора. — Пашка-а! — крикнул он.

— А-а?

— Иди-ка!

Мальчик подбежал и спросил:

— Чего вам, дядя Прокофий?

— Подай-ка сумку с продухцией. Вон она лежит. Заторопился — забыл.

Паша подал объемистую сумку, и Прокофий Иванович тронулся, наконец, с места.

— Как уж это начнут торопить, как начнут, то обязательно, елки тебе зелены, забудешь чего-нибудь… Но-о! Заснули-и! — Он слегка взмахнул кнутом, который у него был для видимости (лошадей он никогда не бил), и выехал за ворота.

Громкоговоритель отбивал поверку времени. Митрофан Андреевич заторопился.

— Семь, — сказал он. — Задержались немного. — Он быстро выкатил мотоцикл из сарая и сразу повеселел. — Вот машина незаменимая: «ИЖ-49». Три подарка нам от советской власти в последние годы: самоходный комбайн, мотоцикл «ИЖ-49» и… автомашина «Москвич». — Последнее слово он произнес с легким вздохом.

Никаких средств передвижения Митрофан Андреевич не хочет знать, кроме мотоцикла (хотя на «Москвич» уже собирает деньжата). Он не просто ценит мотоцикл как машину, он его любит. Вообще Катков к машинам неравнодушен. Зная эту его слабость, я прислонил ладонь к ребрам охлаждения мотора — он был горячим — и подумал: «Э-э! Да он и правда полполя объездил еще до солнца».

— А заводить будем полчаса? — пошутил я.

— Он у меня и холодный заводится, как часы. — В словах его послышались ревнивые нотки.

Митрофан Андреевич слегка — совсем маленечко — надавил педаль стартера, не прикасаясь руками к мотоциклу, и мотор заработал так, будто только и ждал хозяина: тихо похлопывая и слегка вздрагивая.

Я сел на заднее сиденье, и мы помчались в июле. Но около зернохранилища нам замахала руками, закричали, требуя остановки. Сильнее всех кричала Настя Бокова:

— Стой! Подожди! Митрофан Андрееви-ич! Сто-ой! — Она стояла в кузове автомашины и махала платком.

Мы завернули к зернохранилищу.

— Что у вас тут? — спросил Митрофан Андреевич.

— Не тут, а там, — указала рукой Настя в поле. Сильная, раскрасневшаяся от возбуждения, она была, видно, не в себе.

— Что там?

— Беда, Митрофан Андреевич…

…Отец Насти убит в боях во время Отечественной войны, мать вскоре после этого умерла, и Настя осталась десятилетней сиротой. Взял ее к себе тогда Прокофий Иванович Филькин, который после ранения остался «по чистой»; воспитывал, как мог: брал ежедневно с собой в поле, еще девчонку научил работать косой, топором, управлять лошадьми, а к семнадцати годам Настя уже умела делать любую мужскую работу. Теперь ей уже двадцать лет и она живет в своей собственной хате, что осталась от семьи. Но Прокофия Ивановича любит, как родного отца. Колхоз для нее — родной дом, но вот только не любит Настя женской работы, не любит полоть тяпкой, сажать овощи, вязать снопы; во время сенокоса она косит наравне с мужчинами, во время сева и уборки грузит зерно, иногда подменяет Прокофия Ивановича, когда тому надо отлучиться, и работает на ого лошадях. (Кроме нее, он никому не доверяет своих лошадей, а из колхоза отлучается лишь в самых исключительных случаях.) Вообще-то Настя собирается быть шофером. Сейчас она работает грузчиком на автомашине и еще с рассветом начала развозить семена по тракторным сеялкам.

— Митрофан Андреевич! Дизельный трактор стал — авария, — тихо произнесла Настя.

Первая песенница и шутница на селе, она и «барыню» откаблучит так, что парни за затылки хватаются, и «русскую» выбьет с дробью —

головой закачаешь. А сейчас не узнать Настю.

Митрофан Андреевич нахмурился и посмотрел на запад, где плотные кучевые облака вылезли ватагой. Он буркнул потихоньку:

— Вот чорт возьми!

— Давай — в отряд! Скорее! — сказал я.

— Все теперь пойдет вверх ногами на весь день! — возмущался он. — Перекрестного посеяли половину, а половина осталась. Пойдет дождь — беда. — Он завел мотоцикл и с ходу набрал скорость.

Через несколько минут мы были в отряде. Тракторная будка прилепилась к вершине лощины, в затишке. Около нее стоял гусеничный трактор «ДТ-54» с отнятым картером. На гусенице рядышком сидели два тракториста: Костя Клюев и Илья Семенович Раклин. Раклин сосредоточенно курил, а Костя держал в руках аварийную деталь и поругивался про себя чуть слышно.

— Что? — спросили мы оба сразу.

— Нижнюю головку шатуна разорвало. Картер пробило, — ответил Илья Семенович.

Голос у него с хрипотцой. Он работал в ночной смене: весь вымазан в нигроле, глаза от бессонной ночи красные.

— Что ж стоять? — загорячился Катков. — Снимайте головку, вынимайте поршень. Надо шатун теперь заменять тоже… Чорт возьми, и картер везти в эмтеэс — сажать латку… Тьфу! Не меньше как на двое суток вышел из строя. Чего же стоите-то?

Илья Семенович выслушал Каткова и так же сосредоточенно и спокойно ответил:

— Авария серьезная. Без старшего механика даже бригадир отряда не имеет права разбирать трактор в таких случаях. — Он указал кивком головы на будку: — Слышите?

Из будки было слышно, как кто-то вызывал по рации:

— «Урожай»!.. «Урожай»!.. «Урожай»!.. Чорт возьми!

Мы вошли с Катковым в будку. Около рации стоял вполоборота к нам бригадир тракторного отряда Федулов.

— «Урожай»! Ну, «Урожай» же! «Урожай»! — Он пристукивал при каждом слове гаечным ключом по столу. — «Урожай»!.. Тоня-а! — вскрикнул он вдруг и бросил ключ на стол. — Тоня! Где ты пропадала, чорт возьми?

Рация отвечала граммофонным звуком:

— Я тебе, Василь Василич, не Тоня, а «Урожай». И ключом по столу не стучи. Если все так будете стучать, то связь невозможна.

— Да я же полчаса стою как дурак…

— Я в этом не сомневаюсь.

— У меня авария, а тебе шутки.

— У меня сегодня вторая авария. Если мне с каждым плакать, то глаза высохнут, — тебе же хуже будет, — а рация охрипнет от мокрости. Кого тебе?

— Старшего механика. Поскорей, пожалуйста.

— Сотая доля секунды! — ехидничал граммофонный голос дежурной Тони. Потом слышно было, как она крикнула: — Иван Васильевич! У Федулова авария. — И пока все ожидали механика, Тоня спросила: — Вася?

— А? Я, — ответил Федулов и оглянулся на нас.

— Раскис? «Ава-ария-а»! — И слышно, как она стучала по столу, подражая ему. — Не капризничай, Федулочка: Иван Васильевич вылечит.

— Не вылечит так скоро. Дело серьезное, — все еще угрюмо возражал Федулов.

— А ты ляжь вверх животом на пашню и кричи: «Караул!» Ей-богу, поможет.

Федулов улыбнулся и снова посмотрел в нашу сторону.

— Тебе шутки, а у меня в одном «ДТ» двадцать процентов всей силы отряда.

— Что там у тебя стряслось? — послышался в рации голос старшего механика.

— Картер пробило. Нижнюю головку шатуна, в третьем, разорвало.

— Не может того быть! — воскликнул механик. — Сейчас выезжаю. Через двадцать минут буду.

Я подошел к рации и вызвал:

— «Урожай»!

— Я «Урожай», — ответила Тоня. — Кто?

— Луков.

— Здравствуйте, Владимир Акимыч!

— Здравствуй, Тоня! Позови-ка быстренько старшего агронома Михаила Петровича.

— Он здесь. Собирается уезжать. Сию минуту!

— Я слушаю, — вскоре отозвался Михаил Петрович.

— Дизельный вышел из строя суток на двое. Делаю перегруппировку отряда: два «ХТЗ» прекратят культивацию, дадим каждому по одной сеялке и будем продолжать перекрестный в течение суток. В графике делаю соответствующее изменение.

— Свет для ночного сева будет на обе сеялки?

— Отвечай, Василий Васильевич, — обратился я к Федулову.

— На одну не будет, — ответил он.

— Сделаешь свет, — сказал Михаил Петрович.

— Да ведь фары нету! — воскликнул Федулов.

— Возьмешь в восьмом отряде и сделаешь свет, повторил твердо Михаил Петрович, а мне сказал:

— С перегруппировкой согласен, вносите изменение.

Потом все притихло.

Федулов как-то смущенно повел могучими плечами, провел по черным волосам ладонью ото лба к затылку и задумчиво посмотрел в окошко.

Катков, наоборот, чуть просветлел и обратился ко мне:

— А Михаил Петрович толковый агроном! Сразу понимает дело, с полслова понимает.

Федулов зашел за будку, будто спрятался, но не прошло и двух минут, как оттуда рявкнул заведенный мотоцикл. Федулов выехал из-за будки и сквозь треск мотора крикнул:

— Доеду в восьмой отряд. У них один трактор стоит, фару возьму на ночь. Приедет механик — снимайте головку. Вернусь быстро.

— Подожди-ка, Вася, — сказал Катков, сделав ему знак заглушить мотор.

Стало снова тихо.

— Ты сперва напиши трактористам распоряжение, а то уедешь, а я буду с ними договариваться полчаса. Пиши.

Федулов положил блокнот на бачок мотоцикла, написал распоряжение и вручил его Каткову. Затем он умчался, а Катков посмотрел на часы и сказал:

— Без десяти восемь. Едем?

Я не ответил и смотрел на Илью Семеновича Раклина. Тот как сидел на гусенице, так и заснул, откинув голову и прислонившись к

капоту двигателя. Костя заметил мой взгляд и сказал:

— Он уже две ночи не спавши. И третья не предвидится. Так вот, меж делом, заснет на ходу…

— А ты? Ты же подсменный.

— На втором дизеле тракторист болен. Мы втроем на двух тракторах: днем сеем, а ночью культивируем… И сам Федулов сегодня ночью работал, не спал ни вот столечки, — и Костя показал самый кончик ногтя.

— Ты-то тоже не спал сегодня?

— Я — что, я могу, — угрюмовато ответил он и вздохнул, глядя на кусок головки шатуна, который продолжал держать в руке. — Вот горе-то наше! И надо же ей лопнуть сегодня! Подождала бы недельку… Ведь оно ж вон сколько кругом не сеяно!.. Смотрите, — Костя протянул мне кусок головки шатуна. — Раковина, заводской дефект. Я тут ни при чем.

— А сколько, по-твоему, придется стоять?

— Да сколько? Картер в эмтеэс везти надо. Гильзу новую надо. Поршень, шатун. Если все это есть, то… кто ее знает, а если нету, то тогда я уж и не знаю.

Катков рванулся в будку, и оттуда было слышно, как он говорил по радии:

— «Урожай»! «Урожай»? Тоня! Узнай срочно: есть ли для дизеля запасные детали — гильзы, шатуны, поршни.

Через несколько минут Катков вышел из будки.

— Все есть, — сказал он.

Костя несколько повеселел. Он зашел вперед трактора, похлопал по радиатору и сказал, как живому:

— Ну ты, инвалид! Ничего, ничего.

На душе стало немного легче, и мы с Катковым помчались переводить «ХТЗ» на сев. По дороге встретилась нам автопоходная мастерская. Наверно, механик разыскал ее в массиве по радио и направил сюда. Нам стало веселее. Митрофан Андреевич прибавил скорость и по-мальчишечьи крикнул:

— Держись, Владимир Акимыч!

В ушах засвистело. Борозды пошли вкруговую. Автоколея, по которой мы ехали, набегала на нас узкой лентой и проваливалась под мотоцикл, как молниеносный конвейер, а та колея, что рядом, бежала в

противоположную от нас сторону. Никаких толчков — так мягок в езде «ИЖ-49».

Митрофан Андреевич что-то подпевает в тон мотоциклу, но что — разобрать трудно. А телеграфные столбы несутся к нам редким частоколом. Каждый из них, проскакивая мимо мотоцикла, кажется, чуть сваливается в сторону, и звук мотора ударяет о столб хлестко и звонко: «ж-жих!» — и проскочил, «ж-жих!» — и проскочил.

Но вот близ дороги стоит трактор. Тракторист кончил загон пахоты и, видно, собирается переезжать в другое место. Мы остановились около него. В средине загона пахота была отличной — черная пашня лежала без единой полоски огрехов, но края пахоты пестрели «обизами», треугольнички незапаханной стерни, похожие на балалайки, и канавки от небрежных заездов уродовали вид пашни. Иной бригадир, глядя на такое, будет кричать на нее поле, выходить из себя, а бывает, — что там греха таить! — и выражаться начнет черным словом, для крепости. «А как, — думал я, — отнесется к этому Катков?»

Митрофан Андреевич сдвинул фуражку на лоб.

— Та-ак…

Он бросил пристальный взгляд на тракториста, ухмыльнулся и с хитроватой веселостью крикнул:

— Здорово, Леня-а! Как спалось?

— Я пахал ночью, — ответил Леня. Малый он молодой, лет девятнадцати, над губой пушок, вымазанный с одной стороны автолом. Невысокого роста, плотный, он смотрел недоверчиво на Каткова. — Вон сколько напахал. Во! А вы — «спалось»!

— Значит, все отлично?

— Отлично. Пахота — во! — Леня поднял большой палец и вытер рукавом лицо, отчего оно стало еще грязнее.

В его покрасневших добродушных глазах исчезла искорка недоверчивости, они прямо-таки подкупали, и мне стало жаль юношу. Боялся я острого на язык Каткова. Только, как оказалось, напрасно боялся.

— А что я хотел у тебя спросить?.. — продолжал Катков серьезным тоном.

— Что?

— Если я сошью тебе первейший из всего колхоза кожух… Черной дубки или хромовой, как шелк, выделки, из самой лучшей овчины… — Он щелкнул пальцами и вытянул ладонь, будто кожух уже висел у него на руке.

— Ну?

— Подожди, я договорю. Сошью такой вот кожух, а воротник и опушку сделаю от старой дохлой, полинялой козы… Будешь носить такой кожух?

— Не. Не буду. Это, может, дурачок какой будет носить. А зачем портить дорогой кожух? Лучше уж не шить совсем.

— А ты-то именно так и сделал! Сшил дорогой кожух, а опушку — от облезлой козы. — И он показал Лене на «балалайки», канавки, валики, в общем на всю «опушку».

Леня слегка покраснел, сделал движение локтями, будто почесал бока, и не нашел ничего ответить.

— Ну хорошо. А как ты думаешь — моя учетчица примет от тебя такую пахоту? Нет, не примет. И я акт не подпишу.

— Значит, пропахал задаром всю смену? — нерешительно спросил Леня.

— Благо, ты первый сезон работаешь, а то бы припечатал я тебе расход. Теперь уж не знаю, как быть… Что Владимир Акимыч скажет, так и будет. — И он пошел к мотоциклу, посвистывая, будто то, что я скажу Лене, вроде бы и неинтересно ему знать.

— Опаши края хорошенько, — сказал я Лене. — Сейчас опаши, пока старший агроном не проезжал. А в следующий раз без контрольной борозды не начинай пахоты. Сперва поперек краев борозду пройди, а потом и начинай. Плуг будет сразу входить в пашню. И… опушкой не будешь портить кожух.

Леня улыбнулся.

— Опашу. Прямо сейчас и опашу. — И он облегченно вздохнул.

Мы поехали дальше. Я оглянулся и увидел, что Леня держал в руке шапку и смотрел нам вслед. Ну, этот еще молод, начинающий. А ведь многие трактористы, научившись отлично обрабатывать землю, не считают нужным заправить края пахоты или сева, привести в порядок дорогу около пашни. Едешь потом близ такого посева и видишь: в середине — отличный хлеб, а с краю — бурьяны да канавы. Бьются бригадиры полеводческих бригад над этим вопросом, спорят,

доказывают, настаивают, но «балалайки» нет-нет да и выскочат над дорогой. Ну и здорово же придумал Катков с кожухом!

Оба «ХТЗ» мы перевели на сев без задержки и направились на посадки лесополосы — за девять километров от села, на границу землепользования колхоза.

Снова засвистело в ушах, снова — поля, поля. Кажется, и нет края этому могучему простору. Бескрайность колхозных полей в степной черноземной зоне поражает не только человека, впервые увидевшего поле. Этот простор удивляет и того, кто в поле встречает и провожает каждую весну. Удивляет потому, что редко встречаются люди без машин: то встретите деловитый «ДТ» с сеялками или культиваторами, торопливо перебирающий гусеницами, будто спешащий поскорее охватить этакую громадину-поле, — и кажется он рачительным хозяином, главным из всех тракторов; то вдруг из-за пригорка вынырнет поджарый тракторчик «У-2» и спешит-спешит, старается изо всех сил с одной сеялкой; или старичок «ХТЗ», дожинающий в труде последние годы, ползет со своим отвислым животом-картером, опираясь на неуклюжие колеса, и урчит-урчит себе по-стариковски, напоминая о том, что он совсем недавно был лучшим из всех марок тракторов (теперь уже таких не делают). И снова «ДТ» — такой молодчина трактор!

На каждом прицепе — один-два человека, не больше. Так мало людей, и так много земли они засевают. Поразительна сила машины в наше время! Люди управляют машинами и сами подчиняются ритму техники. Разве только на склонах, над яром, да на огородах увидите отдельные группы людей на ручной работе, а так везде машина, машина. И уже много лет мы видим такое, а — поди ж ты! — радостное удивление возникает снова и снова, когда весна приходит с птичьим перезвоном в поле, когда тракторные будки стоят в затишке лощины под огромным голубым небом.

Мы оставили мотоцикл на дороге и пошли через пашню к месту лесопосадок пешком. Это близенько, метрах в ста пятидесяти от места остановки. Митрофан Андреевич мне сказал, указывая на лесопосадки:

— Дедовская «техника» из одиннадцати деталей.

— Как это? — не понял я.

— Очень просто: лопата плюс десять пальцев. — Он чуть помолчал и добавил: — Одну бы лесопосадочную машину на эмтеэс — и вполне достаточно. Вот буду сидеть целую весну на посадках всей бригадой, а плана все равно не выполню. Не успею.

— Надо успеть.

— Это ты, Владимир Акимович, по обязанность говоришь. Давай по душам говорить.

— Давай.

— Почему наш колхоз имеет хорошие посадки, мы знаем оба. Сажаем столько, сколько осилим прополоть. Почти ежегодно не выполняем плана, я лесополосы хорошие и — много. Бьют нас за это и и хвост и в гриву, а лесополосы есть. Но почему же и большинстве колхозов района посадки — не посадки, я рассадник бурьянов? Вот и вы небось скажете: «Секретарь колхозной партийной организации, товарищ Катков, а говорит не так, как надо говорить». Постойте, постойте! Дайте сям буду отвечать, — заторопился он, будто боясь, что я снова буду говорить по обязанности. — Да потому, что спустят, — понимаете? — он засмеялся, — *спустят* план в двадцать гектаров на весну, доведут, — понимаете, «доведут»? — саженцы до колхоза этак тысяч на двести, и — выполни! Выполняют старательно многие. Сажают до июня месяца, когда уже и саженцы распустят листья и земля просохнет. План-то выполняется, а леса нет. Так я ответил или нет?

— Что ж тебе сказать, Митрофан Андреевич? Говоришь ты правильно. И то, что лесопосадочные машины есть замечательные, а у нас в эмтеэс ни одной, — тоже правильно. Но то, что они будут в каждой эмтеэс, — за это ручаюсь, — тоже правильно. И сажать лес в поле мы будем: никто и никогда не отменит учения Мичурина-Докучаева.

— С этим я согласен на сто процентов. Но только, думаю, промахи есть в этом деле большие. Денег ухлопываем по району уйму, а дело с лесозащитными полосами в колхозах не ахти как ловко. — Митрофан Андреевич помолчал. — Я вот думаю написать и министру машиностроения…

— О чем?

— О чем с неделю назад говорили: о навозоразбрасывателях, о туковых сеялках. Ведь этакая махина навоза пропадает зря только

потому, что не успеваем его внести «машинкой в одиннадцать деталей», а удобрения разбрасываем так, как сеяли сто лет тому назад, при царе Николашке, из лукошка. Понимаете, ведь невозможно! — Лицо Каткова вспыхнуло, он рубил ладонью воздух при каждом вопросе. — Как же вы думаете, товарищ министр, с этим делом? Нет, не писать об этом невозможно, Владимир Акимович!

— Надо писать, — подтвердил я. — Напишем вместе.

Мы подошли к лесопосадочным звеньям. Женщины работают здесь уже несколько дней. Мы поздоровались. Все ответили приветствиями, сразу же окружили нас и заговорили в несколько голосов, разом:

— Саженцы кончаются.

— Вода на исходе!

— Без поливки сажать или нет?

— Митрофан Андреевич! Хвист приедет?

Митрофан Андреевич замахал руками, затем приставил к ушам ладони трубочкой, повернулся в кругу женщин и тоже закричал:

— Ничего не слышу! Не слышу! Громче!

Женщины засмеялись. А он уже спокойно, без шутки говорил:

— Поодиночке, не все сразу.

Но он всех услышал и всех понял. Он привык слушать хоровой разговор колхозниц, которые часто высказываются все вместе, но замолкают, если предложить выступать поодиночке. Не дожидаясь возобновления вопросов, он ответил:

— Саженцы и воду привезет автомашина в обеденный перерыв. Без полива не сажать. Товарищ Хвист должен приехать: была от него записка еще вчера. Разрешите зачитать?

И, опять не дожидаясь ответа, достал записочку и прочитал шутливо-торжественным тоном, упершись одной рукой в бок:

> «Глубокоуважаемый товарищ Митрофан Андреевич Катков!
>
> Согласно плану, спущенному со стороны райпотребсоюза, и развернутому графику движения полевой торговли сельпо, в горячие дни весенней посевной кампании в вашу бригаду прибудет разъездная торговля разными

товарами. Продажа в порядке живой очереди. С горячим кооперативным приветом председатель

*Е. Хвист».*

Все слушали молча, улыбаясь. А Катков спросил шутливым тоном:

— Какие будут соображения?

— Хвисту взбучку дать, — коротко сказала звеньевая Анюта. — Давайте, бабочки, баню ему устроим!

— Покритиковать не мешает, — поддержал и Митрофан Андреевич, — но только по-хорошему, вежливо.

— А мы и так вежливо, — сказала все та же Анюта. — А то до чего дошел: неделю сидим без спичек, а у мужиков без табаку уши попухли. Приди в магазин и спроси у него: «Спички есть?» — «Есть, но для полевой торговли». — При этом Анюта вздернула лицо вверх, сморщила и без того маленький носик, сложила руки по-наполеоновски, отставила одну ногу и, подражая председателю сельпо, произнесла: — «У меня план спущен сверху донизу!» Все разом захохотали: очень уж похоже изобразила Анюта товарища Хвиста. — «Я тебе продам табак, — продолжала она в той же позе, — а план должен провалить! Ин-те-рес-но! Хм! Я план полевой торговли выполню на пятьсот процентов! Я пять дней накопляю силы! Я — во!» — И она, под общий хохот, ударила себя кулаком в грудь.

Весело смеясь и переговариваясь, женщины стали занимать свои места на линии посадки и принялись за работу. Я прошелся по рядам новой лесополосы: все было в порядке. А работающие нет-нет, да и оглянутся на меня — не найдет ли, дескать, какого изъяна?

Мы отправились с Митрофаном Андреевичем дальше пешком. Метрах в двухстах от нас расположен склон, на котором работа на тракторах почти невозможна. Такие участки обрабатываются всегда лошадьми. Надо было решить на месте, судя по почве: нужна там культивация в этом году или можно обойтись двухследным боронованием. Вдоль яра, по краю, протянулась приовражная лесополоса, посаженная восемь лет назад; молодые листочки уже распустились, и уже какая-то пичуга приветливо чирикнула нам из-за веток. Облака стали менее густыми, и солнце, проглядывая на землю в

просветы, помаленьку расталкивало их в разные стороны. Было тихо. Там и сям поперек склона колхозники боронили зябь во второй след.

Прямо к нам двигалась пара лошадей, запряженных в бороны, а сбоку около них шагал Прокофий Иванович Филькин. Он держал вожжи в руках, поигрывая ими, и покрикивал на лошадей. Шаг его был ровным и размеренным настолько, что, казалось, он подчиняется какой-то неслышной команде: шаг, шаг! Шаг, шаг! И так — целый день по мягкой пашне, в которой утопают ноги по щиколотки. Уже по одной этой мякоти пашни видно, что никакой культивации здесь не требуется.

— Добрый день, Прокофий Иванович! — приветствовали мы разом.

— Здоровеньки были! — ответил он, но не остановился, а продолжал отмеривать свой бесконечный путь.

Мы пошли с ним рядом.

— Ну как сменная лошадка? — спросил Митрофан Андреевич.

— Да… как? Так себе. До Великана — куды там ей! Великан — конь! То лошадь такая: брось вожжи и пусти по пашне, сам поведет бороны и огрехи не сделает, и назад повернет сам. Не лошадь — ум! — Он вздохнул и прикрикнул на лошадей: — Но-о! Заслушались, елки тебе зелены! Разговору рады!.. Я на том коне, — продолжал он снова спокойным и ровным голосом, — пять лет работаю изо дня в день: цены нету Великану.

— Может, покурим? — предложил я.

— Не занимаюсь: некурящий.

— И никогда не курили?

— Кури-ил. Курил здорово. Давно уж бросил.

— Говорят же, трудно бросить? — спросил Митрофан Андреевич.

— То-ись как это трудно? Есть дела потруднее. А это — надумал и бросил. Но-о! Разговоры!.. Куды ей до Великана!.. Бросил курить. Пришел с работы и надумал… Бросил кисет в печку, а цыгарку положил на подоконник, готовую. Да. Положил… Да куды ты лезешь, елки тебе зелены! — беззлобно увещевал он лошадь. — Как это потянет меня курить тогда, а я подойду к цыгарке и говорю: «И не совестно тебе, Прошка: сам себя не пересилишь?» — и положу опять цыгарку на свое место. Пересилил. За два дни пересилил. — Он немного помолчал и продолжал тем же неизменно ровным и

спокойным голосом: — Себя пересилить можно… А вот бабу… не пересилил…

Митрофан Андреевич подмигнул мне незаметно.

— А что такое случилось? — спросил я.

— Да что: Настя-то ушла от меня через бабу. Вот елки тебе зелены…

— Надо было как-нибудь уладить, — вмешался Митрофан Андреевич.

— Где там «уладить»!.. Женился-то я второй раз. Мне было сорок пять, а бабе — тридцать. Сперва — ничего. А потом пошли у нас споры да разговори. Настя по воскресеньям книжки читает, а баба зудит, а сама, елки тебе зелены, по грамоте — ни в зуб ногой. Я и так, я и этак — ничего не выходит. «Ты, — говорит, обуваешь-одеваешь неродную». Это она про Настю так… «Ты, — говорит, — вставь мне золотой зуб…» — «На тебе золотой зуб, елки тебе зелены, — думаю я. — На!» Вставил за сто рублей: таскай сотенную в зубах, елки тебе зелены, только утихомирься. Я их улаживаю, а она, баба-то моя, опять: «Ты, — говорит, — каракулевый воротник к пальто купи и мне, как у Насти». — «На тебе каракуль, елки тебе зелены, за четыре сотни». Да. Ну, теперь-то, думаю, все! Одежа, как на крале, харч у меня всегда настоящий. Нет — одно: зачем неродная живет в хате?.. Ушла Настя… Выпил я тогда с неспокою. Хотя и немного — одну кружку медную, грамм на четыреста, — но выпил… Рассерчал. Прогнал бабу из дому. Теперь один.

— А как же дальше теперь? — спросил Митрофан Андреевич.

— Кто ее знает как. Настя все время говорит: «Возьмите жену обратно: не надо из-за меня жизнь расстраивать. Я сама на себя заработаю всегда, а вас, — говорит, — всегда, как родного отца…» У Прокофия Ивановича дрогнул голос, и он с горечью сказал: — Вот, елки тебе зелены… А Настю я обязан и замуж выдать по-настоящему, как и полагается.

— А как она — женщина-то?

— Серафима-то? Да баба она работящая, сготовить умеет хорошо — любой харч в дело произведет… Правда, одеться любит… И из себя — отличная баба… Все при всем… Но ведь я же сироту воспитал. А у нее к Насте неприятность… Значит, человек без сердца… Ух ты, елки

тебе зелены! — крикнул он сердито. Но нельзя было понять, к кому это относится: то ли к новой лошади, то ли к бабе.

Мы прошли, разговаривая, до края загона. Он повернул лошадей, глянул, не останавливаясь, на солнце и произнес:

— Двенадцать.

Митрофан Андреевич посмотрел на часы и подтвердил:

— Почти точно: без десяти двенадцать. Можно на обед отпрягать.

— Не. Осадку надо сделать. Иначе ноги не отдохнут, без размину.

Прокофий Иванович пошел за боронами медленнее, сдерживая лошадей и, как мне показалось, притормаживая ногами. Сразу остановиться он, наверно, не мог, как не мог быстро размяться утром. Какая-то громадная сила внутренней трудовой инерции в этом человеке: он трудолюбив до бесконечности, но медлителен до невозможности.

— Лавка приедет! — крикнул ему вслед Митрофан Андреевич. — У лесополосы станет, под курганчиком.

— Там и моя бричка, — отозвался Прокофий Иванович.

— Как по-твоему: хороший он колхозник? — немного погодя спросил я Каткова.

— Неплохой, — ответил Митрофан Андреевич. — Сколько ему попадало от всех семнадцати председателей за нерасторопность! Ай-яй-яй! А я его всегда защищал: человек такой.

Мы вернулись к приовражной лесополосе. Там уже собрались на отдых женщины, девушки и несколько мужчин. Вскоре подкатила автомашина. В кузове стояла Настя и придерживала рукой связки саженцев.

— Ну-ка, дружно прикопать! — крикнула она.

Несколько человек встали, перенесли саженцы в заготовленную канавку и забросали их землей, оставив на поверхности одни лишь верхушки. Настя открыла борт, подложила на край кузова два бревна-накатки и одну за другой ловко скатила четыре бочки с водой. Пустые бочки она вкатила в кузов по тем же накатам и закрыла борт автомашины. Все это она делала быстро и уверенно, по-мужски, а бочками, казалось, просто играла.

— Экая сила! — шепнул мне Катков.

— Молодчина девушка! — поддержал и я.

А Настя, закончив разгрузку-погрузку, выпрямилась в кузове, поправила закатанные до локтей рукава кофточки, поправила косынку, даже приладила привычным движением колечко-локон. Эти движения были у нее мягки и женственны. Вот она взглянула вдаль, в поле, и несколько минут присматривалась к чему-то. Черные узкие брови, длинные-длинные ресницы, четко очерченные губы и румяные щеки были некоторое время неподвижны.

И вдруг она улыбнулась как-то иронически, вздернула брови вверх и громко сказала:

— Бабочки! Хвист плетется. Во-он! — она показала рукой вдаль и, взявшись за борт, легко спрыгнула вниз.

Вскоре на дороге показалась странная подвода. Большой ящик, прикрепленный к дрогам, тащила тощая кобыленка с обтрепанным хвостом. Ящик был похож на те, в которых возят хлеб, но значительно шире и выше — в рост человека. На передке, свесив ноги, сидел возница, старый и дряхлый старикан с трубкой в зубах — по прозвищу «Затычка». Дед хотя и состоит в колхозе, но никогда в нем не работает, а отирается то около кооперации, то в сельсовете, а то и просто уходит из села невесть куда. Спросу с него никакого нет: стар уже. Рядом с ним, в той же позе, сидела продавщица сельпо, тетя Катя, в белом фартуке и таких же нарукавниках. Полное ее тело колыхалось при каждом покачивании возка, а лицо было сердитым. Дед Затычка, наоборот, был весел, как всегда, и когда подъехал к нам, то приложил руку к козырьку и произнес тоненьким голосом:

— Прибыл на каникулы!

Он кряхтя сполз с передка на землю и немедленно пристроился отдыхать прямо на земле, животом вниз.

Вдруг из-за фургона, с задка, ловко соскочил щупленький председатель сельпо и молодцевато воскликнул:

— Привет трудовому народу! — Он отряхнул брючишки, дунул почему-то на рукав коричневой тужурки, поправил серенькую кепку, тронул двумя пальцами узел галстука и произнес: — Приступим, Катерина Степановна! Пожалуйста!

Но та слезла не сразу. Она поставила сначала ногу на оглоблю, отчего дуга перекосилась, а клячонка пошатнулась, а затем уже грузно спустилась вниз.

— Фу-х! Боже ж ты мой! — произнесла она, вытирая лицо фартуком, и открыла двери фургона.

Товарищ Хвист заглянул внутрь своего походного магазина, осмотрел, все ли в порядке, и улыбнулся. Серые бесцветные глаза устремились на тетю Катю. Говорят, что глаза выражают работу мысли, а вот у товарища Хвиста они, например, ровным счетом ничего не выражают: наверно, врут люди. Одним словом, он посмотрел на тетю Катю и обратился к ней так:

— Для начина, многоуважаемая Катерина Степановна, понимаешь, кружечку пивка — начальству. Без этого, каб-скть, нельзя. Начин — великое дело. (Часто употребляемое «как бы сказать» он произносил в скороговорке, как «каб-скть».)

— Ты уж третью кружку вылакал: чем я буду расплачиваться? — проворчала продавщица вполголоса, но пива все-таки налила.

— Напрасно, каб-скть, волнуетесь. — Он подмигнул тете Кате, принял от нее кружку пива, отхлебнул глоток и объявил столпившимся колхозникам: — Только в порядке очереди!

Настя о чем-то пошепталась с Анютой и сказала громко, так, чтобы все слышали:

— А горшков привезли, Ерофей Петрович?

От взрыва общего хохота даже и лошаденка засеменила ногами. Казалось бы, чего тут смешного? Но это был намек на то, как в прошлом году Ерофей Петрович выехал без возницы и забыл торбу; когда же потребовалось кормить лошадь сеном, он попробовал накормить из горшка. Кончилось все это тем, что лошадь укусила его за плечо. С тех пор Ерофей Петрович возненавидел всякую глиняную посуду и перестал ею торговать. А колхозницы прямо-таки взвыли без этой посуды. Вообще по сельскому хозяйству Ерофей Петрович соображал плохо. По этой причине он завез в сельпо двести хомутов громадного размера, из которых только один годился на Великана. Все же остальные валяются на складе и по сей день. А ведь он, по его словам, руководствовался совершенно правильным принципом: «Маленький хомут налезет не на каждую лошадь, а большой — на любую». Вероятно, поэтому же кобыленка, запряженная в фургон, могла бы при желании пролезть в свой хомут с ногами.

И почему только люди смеются? Не понять. Вот и теперь, когда все смеялись, Ерофей Петрович не пошевелил бровью: он пил пиво и

изредка посматривал вверх, на облака.

Все стали подходить к дверцам фургона и покупать кто спички, кто табаку, кто платок.

— В порядке очереди! — еще раз предупредил их Ерофей Петрович.

Но никто его не послушал.

Подошел и Прокофий Иванович. Сначала он бросил взгляд на фургон и ухмыльнулся; затем обошел вокруг лошади, просунул руку, до локтя, под хомут, покачал головой и с горьким сожалением сказал:

— Животная.

Ерофей Петрович искоса осмотрел его с ног до головы, тоже ухмыльнулся и отвернул лицо в сторону.

— Папаша! От меня — пивка! — сказала весело.

Настя и подала Прокофию Ивановичу бокал пива. (Больше никто, конечно, пива не купил, а возил его Ерофей Петрович, вероятно, «для начина».)

— Можно, Настенька, — согласился Прокофий Иванович. И большими глотками разом осушил сосуд. — Так-ак, — произнес он удовлетворенно. — Перед обедом пиво пользительно… А эта косынка что стоит?

— Двадцать восемь, — ответила уже повеселевшая тетя Катя. Глаза у нее, оказывается, добрые и немножко хитроватые. — Двадцать восемь — не деньги, а расцветка — лучше быть не может.

— Настя! Померь-ка косыночку, — ласково обратился Прокофий Иванович.

Тетя Катя набросила на нее косынку, быстро приладила и, любуясь, затараторила:

— Это ж прямо-таки для нее делано! Ай, матушки, как идет!

Прокофий Иванович неторопливо вынул кошель, рассчитался, отошел к нам, развязал сумку с продукцией и принялся обедать. А Настю окружили девчата и все разом стали вносить суждение о косынке, попивая ситро. Мы с Катковым полулежа наблюдали торговлю. Все шло весело. Тетя Катя подобрела окончательно: предлагала девчатам конфеты, женщинам — фартуки, чулки. Но вот Анюта снова пошепталась с Настей и крикнула:

— Ерофей Петрович! К нам!

Тот улыбнулся, потрогал еще раз двумя пальцами галстук и приблизился к девушкам.

— Ерофей Петрович! А можно мне купить полный ящик спичек? — спросила Анюта.

— Даже для вас, каб-скть, хоть вы и симпатичны, но нельзя. Не больше, понимаешь, пяти коробок.

— Как же нам быть-то, девчата? А?.. А вы, Ерофей Петрович, еще будете «силу набирать»? (Девчата прыснули со смеху.) Мы совсем без товару остаемся, пока вы набираете… прыть на пятьсот процентов.

— Всегда и везде. А к посевной — обязательно, — ответил Ерофей Петрович.

Митрофан Андреевич сказал мне тихонько:

— Дурака не выправишь — это верно. И тут обидно не то, что он дурак. Обидно другое: ты ему говоришь, что он дурак, а он ни капельки не верит. — Он помолчал и добавил: — До общего собрания пайщиков как-нибудь дотянет, но не больше.

А Настя снова пошепталась с Анютой, и обе подбежали к нам. Но обратились они к Прокофию Ивановичу:

— А где Витя?

Прокофий Иванович резал сало на квадратики толщиной с большой палец руки и, пожевывая, ответил:

— Лошадь упустил. Отпрягал — убежала. Приедет. Куды ему деться?

Отошли они медленно: видно, приуныли. Но через несколько минут Витя вынырнул из лесной полосы, привязал лошадей к бричке, задал им корм и уселся на колесе с независимым видом. Девушки потянулись к нему и заговорили:

— Витенька! Ситреца стаканчик!

— Витя! Пару «Ривьер» от имени девичьего населения!

— Сперва поесть надо. Умаялся.

Торговля прекратилась совсем. Дед Затычка спал около фургона животом вниз. Ерофей Петрович разбудил его.

— Поехали!

— Куды? — спросил тот, не вставая.

— Домой.

Дед Затычка поднял голову, посмотрел вокруг и сказал:

— Съездили бы во вторую бригаду. Все равно завтра тащиться.

— План, понимаешь, каб-скть, график.

— А там без табаку им теперь — график?

— Ну-с?

— Вот тебе и «ну-с». Налаживаю. — И он стал подтягивать чересседельник и прилаживать неказистую сбрую.

Тем временем Настя что-то шептала на ухо Вите, а тот кивал головой, посматривая в сторону фургона. Там уже сидел на своем месте дед Затычка, уже примостился позади, на приспособленном стульчике, сам Хвист, а тетя Катя еще не уселась.

Наконец дед Затычка поплевал на ладони, свистнул кнутом и крикнул:

— Впере-ед!

Лошадка потопталась на месте, натужилась, бедняга, и стащила с места странную повозку. И в то время, когда тетя Катя помахивала на прощанье рукой, а Хвист сидел надутый, как индюк, Витя прекратил еду. Он быстро достал баян, растянул его и грянул веселую «частушечную». Настя и Анюта, подбоченившись, запели под переборы баяна:

У товарища Хвиста
Кобыленка без хвоста,
Потащилася шажком.
Подкорми коня горшком!

Ерофей Петрович заерзал на стульчике, потом перегнулся на бок фургона и замахал деду Затычке. Что кричал, не было слышно, но ясно — он торопился отъехать.

Митрофан Андреевич встал, подошел к девушкам и сказал коротко:

— Спать! Отдыхайте! — Посмотрел на Настю и добавил: — Машину за народом надо прислать вечером.

Волей-неволей все подчинились бригадиру и разошлись по лесополосе. Автомашина уехала. Витя продолжал еду. А Митрофан Андреевич обратился к нему:

— Вечерком, Витя, вечерком поиграешь девчатам. Сейчас — спать.

— Безусловно, — согласился Витя.

— Лошадь-то как же упустил? — тихонько спросил бригадир, так, чтобы никто не слышал.

— Жавороночек бросился от коршуна под бороны. Я боялся: тронут — сомнут птичку. Ну и… отложил постромки. А Казарка хвост трубой — и вдоль яра… Поймал!

— Кого: птичку?

— И птичку и лошадь. Птичку пустил… Дрожит в руках, бедняжка.

— А лошади полчаса без корма. Какой же им отдых так-то?

— А что ж: давить жаворонку? — удивленно спросил Витя.

— Да не-ет. Надо бы и птичку не давить и лошадь не упустить.

— А-а! Попробовал бы.

— Ну, ладно. Пусть так. — Митрофан Андреевич вздохнул и неопределенно сказал: — Ох, Витька, Витька!

— Ну вот: опять «Витька, Витька»! Я же стараюсь.

— Да я ничего, — примирительно и даже с ноткой ласки утешил его Митрофан Андреевич.

Мы договорились с Митрофаном Андреевичем об использовании второй половины дня. Ему — проставить вехи для начала сева на завтра, проверить работу тракторной сеялки на севе овса, — остального времени еле хватит для повторного объезда поля и проведения учета выработки за день по всем работам и каждому колхознику в отдельности. Мне — разбить под гнездовой посев два участка, расположенных близко отсюда, и выверить гнездовую сеялку на норму высева.

Митрофан Андреевич пошел к мотоциклу и вскоре умчался по шляху.

Стало тихо. Все отдыхали. Было слышно, как лошади жуют овес: «хр-рум», «хр-рум», «хр-рум»… За яром равномерно урчали тракторы. Я расстелил ватник и лег животом вниз, положив ладони под грудь, а щеку на рукав ватника. Это — самое лучшее положение для отдыха в поле весной, когда еще земля не прогрелась по-настоящему. Немало молодых агрономов, по неопытности, ложились отдыхать на спину или на бок и потом отлеживались в больнице месяцами.

…Уже и дрема находила, когда я услышал тихий говор.

— От самой Польши? — спрашивал Витя.

— От самой Полыни, — отвечал Прокофий Иванович приглушенным баском.

— А как же вы столько тыщ на конях проехали?

— Вишь, какое дело, елки тебе зелены… Мы, значит, отступали, а он напирал нам на пятки. Едем и едем, едем и едем: и день, и ночь. Кони попристали, мы — тоже, харч пошел никудышный. Одним словом, дело было, эх… елки тебе зелены… Вспомнишь: сон. Прямо — сон. Я в обозе, конечно, всю войну. Оружие у нас — одна винтовка полагалась. Бывало едешь и на сижу спишь и на сижу ешь. Возьмешь его, кусок хлеба-то, посмотришь, посмотришь да ножичком и разметишь: это — на завтрак, это — на обед, это — на ужин. А на завтра — неизвестно. Иной раз и по два дни не евши. Да. А около коней, сам знаешь, сколько хлопот: много. Захудал я тогда здорово, но… ехать надо. То раненых везешь, то амуницию, то снаряды: чего-чего только не возил я.

— А награду где получили? — спросил Витя.

— Это уж потом. Когда за Дон пришли. Тут мне перед полком благодарность была и, конечно, орден, как и полагается. Командир полка речь сказал нам в роте: «Вот, — говорит, — товарищ Филькин от границы Польши до Дона проехал на своей подводе и сохранил все до последней супони. Сотни, — говорит, — раненых были спасены им при отступлении». Вот как он сказал… Конечно, все так, не я один. — Прокофий Иванович умолк, и разговор у них больше не возобновлялся.

Я задремал.

…Наверно, я все-таки не спал как следует, потому что сквозь дрему услышал голос Прокофия Ивановича. Он говорил громко, во весь голос:

— Витя! А ну-ка побуди народ. Два часа ровно. Начинать надо.

Сразу же после этих слов Витя ударил «Марш футболистов». Люди вставали, потягивались, умывались около бочки и как-то все разом приступили к работе. Только Прокофий Иванович еще некоторое время ровнял постромки, поглаживал лошадей и вполголоса разговаривал с ними о чем-то. Наконец и он медленно повел лошадей к боронам.

Я взял с собой на подмогу двух девушек и отправился на разбивку.

До самого вечера мы работали по подготовке участков для гнездового посева подсолнечника. И все время беспокоил вопрос: что там с аварийным трактором «ДТ-54»? Хуже всего бывает, когда ускорение какой-либо работы не только не зависит от тебя, но ты даже не имеешь возможности вмешаться в исправление недостатка. Так и теперь: торчать над душой трактористов — бесполезно и даже вредно (они и без того из себя выходят), а ждать — терпение надо большое. Тут уж приходится делать очередное дело, а мозгами шевелить: что делать завтра, если «ДТ» будет стоять еще сутки. Агроном обязав предусмотреть заранее: не сумеешь этого сделать — не агроном. И мы спешили дать работу гнездовой сеялке. Маленький «У-2» здесь да два «ХТЗ» на зерновых сеялках — это уже немало, а с культивацией придется наверстывать ночами. В общем же, как бы я ни раздумывал, а бригада Каткова из-за аварии трактора сразу превратилась в «узкое место». Но ведь есть еще две бригады: что там? Такие вопросы волнуют агронома целый день. И все же если он не умеет отдохнуть в обеденный перерыв, не умеет вовремя спать, не найдет времени почитать, то пропащее дело! Либо будет мотаться из бригады в бригаду, высунув язык, либо вовсе упустит вожжи из рук. С годами пришло убеждение: если ты приехал в бригаду, то на целый день, никак не меньше, только тогда предусмотришь на несколько дней вперед.

…Уже заходило солнце, когда я подошел снова к курганчику около приовражной полосы. Автомашина уже приходила и увезла женщин. Остались несколько девушек, которые стояли около Витиной брички и ожидали, когда он запряжет. Настя не поехала сейчас обратно с автомашиной и была тоже около Вити: то помогала ему запрягать, то отряхивала ему ватник. Прокофий Иванович «ладил сбрую», запрягая лошадей. А когда у него все было готово и он уселся, то пригласил меня:

— Подвезу с большим нашим удовольствием. У меня не тряско.

Я забрался в бричку. Девушки, в том числе Настя и Анюта, сели к Вите. И мы поехали. Витя бросил вожжи и взял баян. (Его пара лошадей шла за бричкой Прокофия Ивановича.) Вот он сначала прошелся по клавишам уверенным перебором, порокотал басами и замолк. Думал ли он, с чего начать, или прислушивался к предвечерним звукам поля, не знаю.

А вечер опускался на поле тихо, тихо. Воздух замер. Ни малейшего дуновения ветерка! Край неба еще горит там, где зашло солнце, а уже веселая звезда-зарница приветливо начинает мигать из темнеющей синевы: мигнет и скроется. И на земле уже не то, что днем. Пашня вдали уже сливается в предвечернем полусвете с озимью, а озимь, уходя, тает где-то там, в небе. Это еще не вечер, но уже и не день. Это — время, когда небо натягивает над землей завесу, под покровом которой все постепенно начинает менять свои очертания, линии сглаживаются, тают и мало-помалу исчезают. Запоздалый жаворонок еще прозвенит невысоко и сразу умолкнет. У тракторов не такой чистый треск, как утром, и не так они рокочут густо, как в ясный день: они осторожно шевелят тишину приглушенной и плавной, густой нотой…

Но что это? Мне почудилось, что трактор и впрямь звучит уже басовым аккордом… Да. Звучит… Да ведь это Витя! Он нашел бас в тон звучанию трактора, некоторое время тянул его, прибавляя другие басы, и постепенно перешел на мотив песни «Мне хорошо, колосья раздвигая». Настя запела эту песню чистым, сильным грудным голосом. Анюта включилась второй.

Прокофий Иванович слушал, слушал да и опустил голову, задумавшись. Ему, видно, взгрустнулось. Он покачал головой и произнес, вздыхая:

— Эх, хе-хе!.. Елки тебе зелены…

Но вот песня кончилась. Не прошло после этого и пяти минут, как Настя и Анюта соскочили с брички и подбежали к нам.

— Папаша, пересаживайтесь в нашу бричку, — сказала Настя. — Владимир Акимович! И вы тоже.

Анюта уже теребила Прокофия Ивановича, а Настя тащила меня за рукав ватника. Сопротивлялись мы не очень. Нашу подводу девчата перевели назад, за бричку Вити. Прокофии Иванович уселся на футляре баяна, девушки сели на грядушки, а я на задке.

Все наперебой стали приставать к Прокофию Ивановичу с просьбой спеть. Он сначала отмалчивался, а потом задумчиво сказал:

— Ну давай, Витя… «Ямщика».

Тот не замедлил взять нужные аккорды. Прокофий Иванович кашлянул, поправил картуз, расстегнул ватник и запел:

Когда я на почте служил ямщиком,
Был молод, имел я силенку…

Певец грустил. Голос его на высоких нотах жаловался, а в конце каждого куплета заунывно дрожал так, что последние слова он выговаривал совсем тихо, будто говорило само сердце. Прокофий Иванович преобразился: это был уже не медлительный, как утром, не распотевший от трудной и бесконечной ходьбы по пашне ездовой и не удивительный силач, поднимающий куль муки одной рукой. Грустил ли он о безвременно умерших жене и дочке, жалел ли Настю, тосковал ли о новой жене?..

Прокофий Иванович закончил песню:

Под снегом-то, братцы, лежала она —
Закрылися карие очи…
Налейте, налейте бокал мне вина:
Рассказывать больше нет мочи.

Поле повторило последний печальный звук, и он, дрожа, растаял в полусумерках.

Настя сидела на грядушке и задумчиво смотрела в сторону, а мне показалось, что у нее глаза стали влажными. Анюта печально опустила голову. Все молчали.

После некоторого молчания Прокофий Иванович вдруг улыбнулся и сказал, обращаясь ко всем:

— Ну вы! Приуныли, елки зелены… Оно так — песня, она штука такая: может и за сердце взять, если протяжная, и за животики ухватишься, если веселая. Без песни, елки зелены, никуда… Сроду так на селе.

Витя перебирал клавиши. Казалось, он переключал настроение, все учащая ритм перебора.

Против тракторной будки я сошел с подводы. Прокофий Иванович пересел в свою бричку. И мы расстались.

У тракторной будки я увидел мотоцикл Каткова. А вот и он сам: улыбающийся, видно в отличном настроении. Мне даже пришло в

голову: «Не похоже что-то на Каткова. У него „узкое место“, а он в повышенном тоне». Но я ошибся. Оказалось, что старший механик еще среди дня привез картер от старого выбракованного трактора и все необходимые детали, а сейчас заканчивается полевой ремонт. В ночь трактор пойдет в работу.

…Уже смеркалось, когда мы с Катковым, оставив мотоцикл в бригадном дворе, подошли к его домику. Немного посидели на крылечке. Поговорили о том, о сем. (О работе не говорили — все теперь ясно и войдет в норму.) Вдруг я услышал в открытое окно что-то похожее на тихое бормотанье и прислушался. Митрофан Андреевич заметил это и сказал вполголоса:

— Папаша богу молится.

— Молится? — переспросил я.

— Угу. — Он подсел ко мне вплотную, наклонился над ухом и зашептал: — Очень верующий: молится. Но в последние годы с богом вроде бы на равную ногу становится. В прошлом году, летом, подслушал я его молитву.

— Интересно: какая же? — спросил я также тихо.

— Вот слушайте. «Господи, отче наш, царю небесный… Да будет воля твоя. Сушь-то какая стоит, господи. А? Ни одной приметы на дождик. Хлеба-то незавидные, господи… Я не партейный человек, и то болею сердцем, а ты все-таки бог. Как же дождя-то? Надо ведь обязательно. Или уж мы на самом деле грешники какие? Вот посохнет, тогда что? Ну, пущай старики, может, и нагрешили, а детишки-то тебе не виноваты. Ты должон сочувствовать, господи». Потом он вроде спохватился и закончил: «Да приидет царствие твое. И во веки веков. Аминь».

Пока мы этак шептались, бормотанье прекратилось. Мы помолчали. Я встал, подал руку на прощанье и сказал:

— Ну, теперь увидимся не раньше как через два дня.

И вдруг село заполнилось звуками баяна. Витя где-то поблизости играл вальс. Сразу не захотелось уходить, и мы все стояли и стояли, заслушавшись.

— Эх, Витя, Витя! — тихо и задумчиво заговорил Митрофан Андреевич. — Все простишь тебе, Витя!

…Шел я до квартиры тихо. Уж очень хорош вечер. Да и на душе было спокойно и легко. Проходя мимо какого-то палисадничка, я

услышал тихий девичий голос и не устоявшийся еще юношеский баритончик.

— Уедешь, значит? — спрашивала она.

— Осенью уеду.

— Забудешь, Витя…

— Нет, Настя, никогда тебя не забуду.

Чтобы не быть невольным свидетелем, я тихо отошел на середину улицы и продолжал путь.

Взявшись за щеколду своей калитки, немного постоял и прислушался к звуку тракторов: оба «ДТ» урчали — значит, и Костя выехал.

Вот и кончился еще один день…

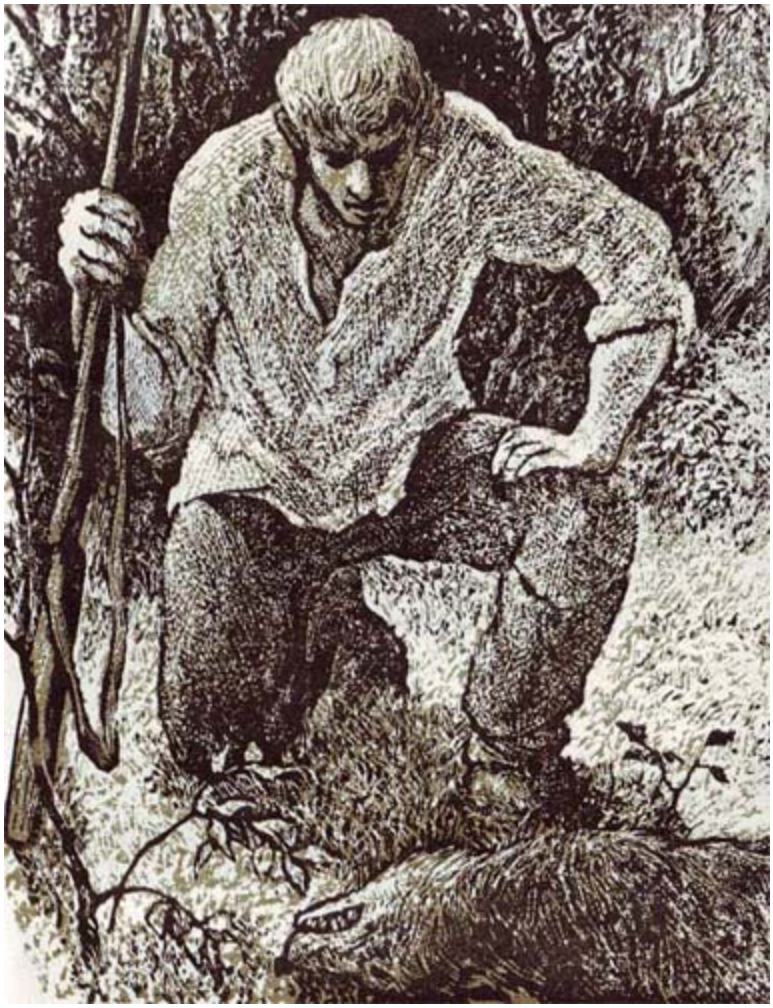
Покойной ночи, добрые люди!

*1953*

# У КРУТОГО ЯРА

*Рассказы*

# У Крутого яра



Рассвело. В поле тихо-тихо, ни звука. Кругом ни души. Сеня Трошин сидит на корточках в молодом овсе и пристально смотрит на большую каплю росы. Русые, почти белые волосы с завитушками над висками ничем не прикрыты. Сеня отводит голову то в одну сторону, то в другую, наклоняясь и прищурив глаз. Нет-нет да появится у него на лице улыбка. В руке он зажал фуражку — в ней что-то зашевелилось. Сеня приоткрыл фуражку и погладил крохотного зайчонка с гладким и нежным пушком.

— Сиди, сиди, дурачок! Ничего тебе худого не будет.

Зайчонок пошевелил ноздрями, еще плотнее прижал уши и доверчиво полез к Сене в рукав, откуда шло тепло.

— Ну сиди в рукаве. Ладно. Сиди, так и быть: будешь там, как на курорте… Забавные эти зайчата-сосунки: ничего не смыслит ровным счётом — бери его руками и неси…

Сеня снова устремил взор на ту же каплю росы. Если посмотреть на нее слева, то виден в ней предутренний розово-красный горизонт неба; если посмотреть справа, то видно отражение зелени поля и облака. Настоящие, но крохотные облачка! Мир отражался в капле! И Сеня видит это крохотное отражение мира, тихого, спокойного, в предутренней свежести. Если смотреть одним глазом, закрыв другой, то картинка становится отчетливее, ярче. Сеня улыбался от тихой радости.

Он присел на колени и посмотрел вокруг. Роса на листьях играла и переливалась. На каждом листочке — капля, и в каждой капле — кусок мира. Много удивительного и прекрасного видел Сеня в поле, но такое заметил первый раз за свои двадцать четыре года.

Он встал. Пересадил зайчонка в фуражку и сунул ее за пазуху. Чуть постоял. Перекинул перепелиную сеть через плечо, а на второе плечо вскинул связанные ботинки. Поднял с земли сумочку, в ней затрепыхались перепела. Еще раз посмотрел на разбросанные по полю хрусталики росы и пошел прямиком, по посевам. Брюки у Сени уже давно были мокрыми до колен — сильнее намочить их уже не страшно. Да и роса была такая приятная, освежающая, бодрящая. Как хорошо в поле на рассвете!

Но вдруг он остановился: впереди, на кургане, как изваяние, появившееся на грани ночи и дня, стояла огромная волчица. Сеня долго смотрел на нее, — не шевелясь, потом тихо прошептал:

— Здорово, знакомая!

Волчица, повернувшись всем корпусом, посмотрела в его сторону и спокойно ушла за курган.

Выбравшись на дорогу, Сеня пошел не в село, а в противоположную сторону: он шел на работу прямо с охоты. До села надо было бы пройти километров шесть, а до места дневной работы, на пропашку подсолнечника, — не более километра. Для такого случая он и завтрак припас с собой в рюкзаке.

Вскоре он подошел к бригадному стану и скинул у лесной полосы ватник. На работу люди приходили не раньше семи часов, и Сене оставалось еще часа три-четыре на сон. На стане было так же тихо, как

и вокруг. Сторож, инвалид Отечественной войны Григорий Фомич, крепко спал сидя, вытянув деревянную ногу и склонив голову на грудь: зоревой сон крепок и сладок.

— Пусть поспит, — произнес Сеня тихо. — Сейчас тут и красть-то нечего. Вот когда хлеб, тогда другое дело. Тогда, если уснет, разбужу.

Затем он достал зайчонка и посадил на ладонь: тот был не больше гусиного яйца.

— Давай-ка я выпущу тебя тут, в лесополосе. А? Тут тебя коршун не достанет, — обратился он к зайчонку.

Сеня присел, чтобы посадить зайчонка под куст. Но тут послышались издали ритмичные щелчки, похожие на легкое щелканье кнутом. Он прислушался, улыбнулся и подумал: «Константин идет. Подожду выпускать — дам ему посмотреть». И накрыл сосунка другой ладонью.

Щелчки изредка, но регулярно повторялись и приближались. А через несколько минут на просеке показался человек. Он шел, подняв голову, будто смотря все время перед собой, постукивал палочкой по голенищу сапога и тихо мурлыкал какой-то мотив. Одет он был хорошо: тонкого сукна брюки забраны в добротные сапоги, коричневая сатиновая рубаха, на плечи накинут серый летний пиджак. Кроме палочки, у него в руках ничего не было. Не доходя до Сени шага три-четыре и постучав палочкой о голенище, остановился, держа голову все так же высоко.

— Кто тут? — спросил он.

— Я.

— Сеня… Как охота?

— Шестерых поймал.

— Хорошо.

— Роса с полночи упала, а то больше поймал бы. Перепел в росу не идет под сеть. Орет, как оглашенный, а ни с места.

— Ишь ты, какое дело! Боится замочиться… Жирные?

— Ничего… Садись-ка сюда, Константин. Что-то покажу.

— А ну? — И Константин, осторожно ступая, подошел к Сене. Он был слеп. Открытые глаза были неподвижны. На вид он казался ровесником Сени. Тонкими мягкими кончиками пальцев он прикоснулся к Сене, затем они крепко пожали друг другу руки.

— Зачем и куда ходил в такую рань, Костя?

— Это тебе — рань, а мне все едино… На кукурузу ходил — обошел всю: теперь знаю, где она в этом году посеяна и как к ней идти.

— А-а… И нашел? Как это ты смело по полю ходишь? Не боишься заблудиться?

— А вот она. — Костя поднял палочку и постучал ею. — Я по ней правлюсь. Пусть, скажем, передо мной столб впереди — чуть стукну ею по сапогу, и она скажет: столб. Вот дошел до бригадного стана и вижу сразу — стан. Или вот ты сидишь, а я иду мимо: молчи, пожалуйста, а я все равно увижу. Каждое вещество отражает звук по-разному. И посевы тоже: подсолнечник свое отражение дает, рожь — свое. Я все вижу. И волна такая тонкая от каждого предмета доходит к лицу… Не понимаешь? — спросил он вдруг.

— Нет, почему? Понимаю. Но только считаю — мне это недоступно. Мне закрой глаза и — каюк. Ты вот и щетки делаешь, и хомуты вяжешь, и сети плетешь, на все руки мастер. Все это и я, конечно, могу научиться, но только с глазами. А так — недоступно.

— Оно и мне кое-что недоступно. Вот смалу слышу: «Свет, свет», а что оно такое — понятия не имею. Скажем, зеленый лист и желтый лист осенью — это я вижу, пальцами определю. А свет — не знаю. Оно вишь какое дело, мне это недоступно, значит.

— Ну ладно, — перебил Сеня, видимо не желая углублять тему разговора. — Ты смотри, кого я под комком нашел. — И он приблизил к Косте ладони с зайчонком.

— Вроде бы крольчонок… — Костя гладил зайчонка и трогал тонкими пальцами шерстку, ушки, лапки. — А-а! Зайчонок?

— Точно, он.

— Мяконький какой… А зачем ты его от матери унес? Нехорошо это, Сеня. А?

— Как раз наоборот. Тут, в лесной полосе, ему безопасно, а там его коршун может в два счета слопать. А матерей у него столько, сколько зайчих с молоком.

— Это как так?

— Очень просто. Она, зайчиха, как, значит, народит зайчат, то покормит их сразу же, а они тут же — шмыг, шмыг! — в разные стороны и под комочки или в ямочки. Все. И прощай, мамаша!

— А потом?

— А потом так: как он захочет есть, то тихо-онько пищит: «Пи-пи-пи!» Тогда бежит к нему зайчиха с молоком, какая ближе от него. Иной раз и две сразу бегут, только ешь, пожалуйста, не ленись.

— Смотри-ка! Это ж удивление!

— Я все это сам видел, лично. «Пи-пи-пи!» И она бежит, ковыляет. Обмокнет вся по росе, как баба у белья на речке, а бежит, спешит. И другая бежит. Ну эта, конечно, опоздает. Первая кормит, а вторая сидит рядом, головой кивает, как нянька. Ей-богу так!

— Как нянька! — рассмеялся Константин. — Прямо чудеса ты видишь на охоте.

— Все равно всего не вижу.

Константин повернул к нему голову в удивлении: чуть выпятил губы и поднял брови.

— Чего удивляешься? Вот сейчас видел я небо в капле. Первый раз в жизни видел! — воскликнул Сеня с восхищением. — Понимаешь: облачка, заря — все в капле..

Константин улыбнулся спокойной улыбкой и убежденно сказал:

— Не понимаю.

— Да и не только ты. А Маша, жена, та понимает, И я в ней все понимаю.

— И моя Настя меня понимает, хоть и зрячая.

— Это хорошо, когда понимают друг дружку. Вот и Алексей Степаныч, председатель колхоза, я так думаю, понимает, что я без охоты не могу: не препятствует. А бригадир тормозит мне. А я что: меньше других выработал трудодней? Больше, а не меньше.

— А я вот Алексея Степаныча не понимаю. Я ему говорю, что из кукурузных султанов можно венички такие вязать — для чистки одежды употребляют в городе. За каждый такой веничек — рубль, а я один свяжу пятнадцать — двадцать штук за день. А то и больше. Тебе, говорит, и без того работы много — не управишься. Это меня-то работой испугал! Выгоды не видит. Ладно, я ему докажу по осени. Как созреет кукуруза, навяжу штук десять и принесу прямо в правление — рассмотрит и поймет.

Оба помолчали. Константин достал карманные часы — с крышкой, но без стекла, — скользнул по выпуклым точкам циферблата кончиком пальца и сказал:

— Полчаса пятого. Пойду.

— А я посплю маленько. Да в обед прихвачу часок.

— Ну поспи, поспи. — И Константин, выйдя на дорогу, зашагал по направлению к колхозу, орудуя палочкой: то стукнет его перед собой, по дороге, то — по голенищу.

И долго еще доносились до слуха Сени пощелкиванья и стуки Константина: тук, тук… щелк… щелк, щелк… тук… «Хороший человек Константин, — подумал Сеня, выпуская зайчонка. — Иной и с глазами того не стоит».

Солнце начало всходить. Свистнул суслик, будто давая знать, что он проснулся первым. Крот начал выталкивать из норы свежую землю. Пробежал полевой хорек. И еще раз свистнул суслик. Вспорхнул жаворонок над посевом и сразу же опустился: рано еще петь. В чистом, свежем утреннем воздухе за километр было слышно, как спросонья заговорили трактористы у будки, заправляя тракторы для дневной смены. Сеня улегся на ватник и сразу уснул.

Когда сторож Григорий Фомич проснулся, он увидел Сеню, раскинувшего руки и ноги. «Ишь ты, — подумал он. — Не разбудил меня. Крепко я подремал, крепко. Ну и ты поспи, охотник… Спи».

Около семи часов на дороге показался «Москвич» председателя колхоза. Григорий Фомич приободрился, но Сеню будить не стал. Из машины вышли председатель колхоза Алексей Степанович Зернов и бригадир Корней Петрович Ухов.

— Доброе утро, Фомич! — приветствовали оба сразу.

— Так же и вам!

— Э, да тут уже и Сеня, — громко сказал Алексей Степанович.

— Шшш! — зашипел Григорий Фомич. — Пусть поспит. Он же с охоты. Люди подъедут, тогда и встанет. Он никогда не опоздает.

Но Сеня услышал говор и поднялся. Протер глаза, умылся около бочки с водой и подал поочередно руку приехавшим.

— Здравствуйте! Приехали, значит. Что-то раненько сегодня?

— На сенокос пробираемся, — ответил Алексей Степанович. — Как бы не пришлось туда людей перебрасывать: сено в рядах, а барометр падает. Дождя боимся.

— Сегодня не будет дождя, — уверенно сказал Сеня.

— Ну, ты все знаешь! — иронически возразил бригадир.

— Роса сильная была ночью, — ответил Сеня. — После росы в тот день дождя не бывает. — Он подумал и добавил: — И перепел на утренней заре не молчал. А перед дождем он больше молчком ходит.

— Барометру, значит, не верить, по-твоему? — спросил бригадир.

— Может давление падать, а дождя может и не быть. При сильной росе никогда не бывает дождя, — еще раз повторил Сеня.

— Вполне научно, — подтвердил Алексей Степанович. — Правильно. Грести сено надо, но горячку давай не тачать, — обратился он к бригадиру. — Перебрось туда человек десяток — и хватит.

— И нога моя не ноет, — вмешался Григорий Фомич. — Перед дождем она напоминает.

Бригадир не стал перечить председателю, но по лицу было видно, что он недоволен всеми тремя собеседниками. Ему казалось, что все они не понимают самого важного: схватить сено до обеда, а не возжаться с ним до вечера. Алексей Степанович, наоборот, был вполне доволен «местным прогнозом». Он знал, что нарушение ритма в работе — вещь опасная: туда перебрось, тут дело оставь, а среди дня снова вези людей на это же место.

— Корней Петрович! — вдруг обратился к бригадиру Сеня. — Как закончим пропашку междурядий, отпусти меня дня на два.

— Вот! Видишь, Алексей Степаныч, — сразу вспылил тот. — Опять «отпусти». Ночами бродит по полю от молодой жены, да еще и от работы хочет уйти.

— У меня трудодней больше всех, — возразил Сеня. — Отпусти, пожалуйста. Наверстаю. Воскресенье буду работать.

— Не могу сейчас. В поле дела позарез, а ты — «отпусти». Понятия, что ли, нету! — воскликнул бригадир.

Алексей Степанович спросил у Сени:

— А куда ты собираешься?

— Да не хотел я говорить заранее. Может, там ничего и не получится.

— А ты скажи — может быть, и отпустим.

Сеня посмотрел на бригадира не особенно доверчиво и ответил председателю:

— В Крутых Ярах, в самой гущине — в терниках, волчица с выводком… Вырастет потомство — полстада овец перережут.

— Ну, а ты что с ней делать хочешь? Убьешь, что ли? — нетерпеливо говорил бригадир, посматривая на взошедшее солнце.

— Может, и убью.

— А на что тебе два дня?

— Да как сказать — может, и больше. Ее же надо выследить и… — Сеня не договорил и, махнув рукой, отошел в сторону.

Председатель и бригадир что-то говорили между собой, но Сеня не слушал. Ему было обидно, что бригадир не понимает его. Он думал, как ему быть: волчица беспокоила его уже не первый день.

Алексей Степанович подошел к Сене и спросил:

— А подпустит она тебя, с ружьем-то? Волки хитры.

— Так надо ж сперва без ружья… Проследить, сообразить, а потом уж… Она мне уже знакомая. Знаю, сразу с ружьем нельзя. Тогда она или уйдет заранее, или в норе отсидится, или перетащит волчат в другое логово, в иное место… Разве нору раскопать? — спросил он сам у себя.

Алексей Степанович смотрел на Сеню и думал. Сеня тоже думал, глядя перед собой в поле.

— Ты чем сегодня занимаешься? Какой наряд тебе? — спросил Алексей Степанович через некоторое время.

— За конным планетом хожу: на конях рыхлим подсолнечник. Сегодня, пожалуй, кончим.

Алексей Степанович больше ничего не сказал. Он отошел к бригадиру. Тот что-то записывал и не поднял головы. Но Сеня услышал его голос.

— Алексей Степаныч! — говорил он возмущаясь. — Сами требуете ритма в работе, а сами вон что советуете: отпустить колхозника с поля. Не понимаю!

Потом они говорили тихо и вскоре уехали дальше.

Целый день Сеня рыхлил междурядья. Сегодня он был молчалив. На вопросы отвечал неохотно, а на шутки совсем не отвечал. В обеденный перерыв он лег спать, как обычно, но уснуть не смог: волчица не выходила из головы. Никто, как казалось ему, не думает об этом опасном звере. В прошлом году десятка два овец порезали волки. Неужели допустить и в этом году? Кричать на правлении да ругать пастухов — дело не хитрое…

Но не один Сеня задумался о волчице. Алексей Степанович утром, когда отъехали от бригадного стана, говорил бригадиру:

— Сеню надо отпустить. От волчицы могут быть большие убытки. А может быть, она и не одна там.

— Да не убьет он ее, — возражал Корней Петрович. — Разве ж один охотник, да еще с одностволкой, может убить матерую волчицу? Нет. Месяц будет ходить, а не убьет. Дело Сеньки — перепела, утишки, зайчишки… Он и так мне надоел со своей охотой: то его на уток отпусти весной, то он зимой уйдет да попадет в самую пургу, а ты за него душой болей. Прекратить это надо. Да еще и так сказать: молод он и неразумен еще, чтобы на волчицу одному отправляться.

— А все-таки отпусти его, Корней Петрович, — настаивал председатель пряча улыбку в черных усах. Загорелый, как южанин, он смотрел перед собой, ведя машину. Ветерок шевелил его седеющие волосы. — Отпусти, отпусти! Дело важное.

Корней Петрович безнадежно вздохнул и отвернулся в сторону.

Но вечером, на бригадном стане, он подозвал Сеню и сказал коротко:

— Ну, ступай. Два дня тебе.

— Алексей Степаныч отпустил-то?

— Ты иди. Раз разрешаю, значит — иди. Все.

— Все, — подтвердил Сеня.

Подошла грузовая машина. Оба они сели в кузов вместе с другими колхозниками и больше не перекинулись ни единым словом. Но уже около гаража Корней Петрович сказал, сойдя с машины:

— Ты вот что, Сеня: один-то против волчицы с выводком не очень там… Поосторожней, говорю.

— А я думал, прямо как приду, так ее за глотку: кхг! А она меня: хрык! — и готов. — Сеня сказал это серьезно, без улыбки.

Но Корней Петрович понял иронию и махнул рукой.

— Чудак ты человек, Сенька! — сказал он на прощание.

Дома Сеня поужинал с женой, расстелив скатерку на траве под кленом. Жареные перепела были очень вкусны, а блинцы со сметаной показались Сене и вовсе замечательными. Он тщательно вытер последним блинцом тарелку, проводил его в рот и сказал:

— Спасибо, Машенька! Ловко поужинал… Садись-ка сюда — я тебе рассказывать буду.

Он принес из клети кинжал, сделанный из укороченного штыка от немецкой винтовки, и расположился с ним у камня. Маша присела около него на завалинку. Маша — молодая, сильная, полногрудая, с задорными серыми глазами, смеющимися из-под черных густых бровей. На селе удивлялись: как это такая красавица вышла за такого «тихоню Сеньку». Правда, Сеня не был каким-нибудь щупликом, но и особой силой не отличался на первый взгляд, хотя мускулы его напоминали твердую резину, такую, что бывает у накачанного баллона автомашины, — не помнешь. И ростом — средний, но прочный в плечах. И такая, прямо сказать, красавица полюбила Сеню.

Спрятав руки под фартук, Маша ласково-шутливо спросила:

— О чем же будешь сегодня рассказывать? Про куропаток, что ли?

— Нет. Ты слушай. — Он начал точить кинжал и, не отрываясь от дела, заговорил: — Ты в каплю смотрела когда-нибудь утром, рано?

— В каплю?!

— Ага.

— Ну, ты что-то — того этого. — И она потрогала его за голову, потрепав легонько волосы.

Сеня рассказывал Маше о виденном подробно.

— Понимаешь, Машенька: дрожит, переливается то ясно, то смутно… И такая крохотулька. В кино того не может быть — недоступно им.

Маша слушала и смотрела на Сеню. И никакого задора в ее глазах не было, и уже не казалось, что вот-вот слетит с ее губ острое словцо, которого так боялись некоторые в бригаде.

— Хороший ты… — тихо произнесла она.

— А Корней Петрович говорит — «чудак».

— Ну и пусть говорит.

Кинжал потихоньку лизал камень.

Вечер стал уже темносиним, деревья — почти черными.

— Завтра я уйду, Маша. На два дня уйду, — доложил Сеня, вставая от камня.

— Далеко?

— Волчицу выслеживать.

— Страшно, Сеня. Она ведь с волчатами… Сказывают, их двое матерых в одном месте поселились: самка да самец.

— Ну и что ж из того? Я на них так вот сразу и не полезу. Послежу. Подумаю… Как ты на это скажешь?

— Да ведь все равно уйдешь.

— Уйду.

— Ну иди. Ладно. — Она обняла его и чуточку так посидела, прижавшись щекой. — Пойдем, Сеня.

Вскоре Сеня уже спал, положив голову на руку Машеньки. А она дремала, боясь пошевелить рукой, чтобы не разбудить его.

Рано утром Сеня вышел из дому. За спиной — рюкзак, в нем, кроме продуктов, завернут аккуратно томик «Тихого Дона» (он читал роман уже вторично). Через плечо перекинул косу. За голенищем — кинжал. Сеня шел и внимательно смотрел по обочине дороги. Наконец он свернул с дороги, сорвал пучок чебреца и натер им кинжал: запах железа пропал совсем. После этого он ускорил шаги и направился к Крутым.

Часа через полтора он был уже на взлобке яра. Отсюда были видны все четыре берега яра, расходящегося в этом месте развилкой. Яр был широкий, с крутыми берегами, заросшими густым терником, орешником, шиповником и, изредка, дикими вишнями. Одиночками стояли в непроходимой чаще кустарника большие дикие груши. Внизу виднелась узкая и глубокая промоина с белым меловым дном и совершенно отвесными краями, а по ней тихонько журчал ручей, питаясь из родника, спрятанного внутри развилки в непроходимой чаще. Ручеек тек, недалеко, он пропадал в полукилометре отсюда в меловом слое.

Дальше, по ту сторону яра, начинался лес — такой, какие бывают только в черноземной зоне: среди дуба и зарослей лещины вкраплено множество диких груш и яблонь. Лес закрывал горизонт, и казалось, здесь конец степи и простору.

Между лесом и яром — чистая прогалина с редкими кустами: степь безжалостно оттесняла лес за яр. Со взлобка, где стоял Сеня, хорошо было видно все вокруг обеих развилок яра: куда бы ни пошла волчица, Сеня увидел бы. Но пойдет ли она? Где ее лаз? В какое время суток она уходит и приходит? Где, точно, нора? Здесь ли и самец? Все эти вопросы Сеня задавал себе, присев на краю заросшей бурьяном воронки от взрыва бомбы.

Он отдохнул немного, затем подкосил вокруг бурьян, уложил на траву рюкзак, достал брусок и стал точить косу. Коса зазвенела, и звук ее пронизал заросли яра. Сеня знал: волчица слышит, насторожилась, может быть, смотрит на него — что за человек вторгся в тишину сырого яра; знал, что волки не любят звука железа. Но он нарочно точил и точил. Потом выбрал площадку лучшей травы и стал ее косить, медленно, спокойно, с остановками. Человек косит траву, должна подумать волчица, и больше ничего, — таков был первый расчет.

Весь день Сеня пробыл, как ему казалось, на виду у волчицы, косил, обедал, делал вид, что спит, читал. Но он ни разу не заметил признаков присутствия зверей.

Перед вечером, когда Сене надо было быть особенно осторожным и бдительным, на противоположной стороне яра показался человек. Он обошел заросли и подошел к Сене. Это был Гурей Кузин, по прозвищу «Гурка-Скворец». Гурка, старик лет шестидесяти, шел с престольного праздника, из села Житуки, куда он ежегодно уходил на Троицу и пропадал там по нескольку дней. Задержать его не было никакой возможности даже всем правлением вкупе. Он сдавал лошадь и говорил скороговоркой:

— Человек я леригиознай. Обратно, в Житуках у меня теща престарелая: должон я ей предпочтение преподнести. Обратно же, и в храм христов обязан там сходить, поскольку у нас не имеется. Грехов-то на нас, грехов-то! Осподи вышний, грехов-то! — При этом он не без ехидства смотрел на присутствующих конюхов с явным убеждением в том, что у них грехов гораздо больше, чем у него, и он даже может помолиться и за них, если они попросят по-христиански.

Но конюхи не просили его ни о чем, и кто-нибудь из них сердито говорил Гурею:

— Иди, иди… Ты — водку пить, а за тебя кто-то должен работать. Азуит ты, Гурей.

Ни председатель колхоза, ни, тем более, бригадир ничего не могли поделать с Гуреем в таких случаях: он знал, что за это ему, старику, ничего не могут сделать плохого. На Успенье, в разгар уборки, он уходил еще дальше, под самую Ольховатку — за семьдесят километров, и тогда отсутствовал не меньше недели.

— Как это так, — возражал он, — на Успленье да не пойти! Да для чего я тогда и живу? На Успленье к троюродным братам, обратно, надо сходить.

Но ходил он просто-напросто пить водку. В жизни же был ехидный старикан, завистливый и большой охальник.

— Здорово, Сеня! Обратно, косишь? — зачастил он писклявым голосишком, ухватившись за тощую бороденку.

— А что?

— Да площадку-то скосил не мене соток пятнадцать. Кто, значит, в колхоз косит, а кто себе.

— Да что ты, Гурей Митрич! Это я не для себя.

— Обратно, брешешь, Сенька. Коси, коси! Только и урвать на заполье — ни один чорт не увидит. Коси: у коровы молока больше — Машка твоя, обратно, толще. Хи-хи!

Сеня внутренне осердился, сжал зубы. Но, сдерживаясь, вдруг сказал:

— Садись, Гурей Митрич, покури. Я хоть и не курю, а ты покуришь и… послушаешь. — В последнем слове у Сени появилась такая нотка, что, будь Гурка поумнее, он поспешил бы уйти.

— Обратно, покурю. Ладно. Коси, чорт с ней, с травой… Туда, в колхоз, как в прорву, — не накосишься… А Машка твоя — бабища во! Да-а… Все качества у нее. Хи-хи!

Сеня не терпел никогда похабства и теперь готов был сунуть в морду охальнику, но он решил отучить Гурку похабить, по крайней мере при нем, и таинственным голосом спросил:

— Гурей Митрич! Как же ты через яр шел?! А-а!

— А что-о?! — вытянул бородку Гурей в испуге.

— Да там же восемь волков! Сам видел. Я уж тут сижу сам не свой — не знаю, как и с места стронуться.

— А… я… я… ч-ч-ч… через яр…

— Съедят!!! — воскликнул Сеня, изобразив полный испуг. — Сам видел. Вот те крест!

Гурка сначала подпрыгнул сидя, не поднимая ног, потом неожиданно вскочил и побежал от воронки, оглядываясь на яр.

— Старый охальник! — крикнул Сеня. — А я тебе сбрехал за милую душу. Знаю — слаб душонкой. Никаких волков не видал. Но смотри, чтоб при мне не похабил. Не посмотрю и на возраст.

Гурей резко остановился, круто повернулся к Сене и закричал:

— Колхозную траву коси-ить! Воровать! Над верующим человеком насмехаться! Я тебе покажу… Я тебя дойду! Сукин сын, обратно… — Наконец, поддернув штанишки, он засеменил дальше, выкрикивая ругательства, на замаливание коих потратит еще один рабочий день.

Придя в колхоз, Гурей, не заглядывая домой, не вошел, а впрыгнул в правление и растрещался о том, что «Сенька колхозную траву косит и возит домой». Во дворе он стрекотал о нарушении «дистиплины», о развале колхоза такими, как Сенька. Бригадир задумался: «Откуда взял все это Скворец?» Он подумал, подумал и доложил председателю, Алексею Степановичу. Тот, не поверив, вызвал Гурку и подробно расспросил. Но и после этого Алексей Степанович не поверил и сказал:

— Сам поеду посмотрю.

Тем временем Сеня лежал в бурьяне и встречал ночь на краю воронки, не спуская глаз с зарослей. С юга, на горизонте, выпучился кусок тучи да так и остался черной, мрачной горой. Где-то там, вдали, вспыхивали молнии. Тихонько зарокотал гром, тихо-тихо, будто в глубине земли. «Сухой гром», — подумал Сеня. Вскоре темень накрыла землю непроглядной завесой, и ничего уже не было видно. Вспышки молнии стали ярче, но удары грома слышались все так же под землей. Потянул настойчивый ветер — бурьян заныл, лес за яром зашумел, зашумел беспокойно, с рокотом. Сеня свернул ноги калачиком и продолжал смотреть и смотреть. И вдруг… позади он услышал звук: будто кто переломил в пальцах тоненькую сухую будылинку бурьяна. Сеня повернул голову насторожившись. Далекая молния на секунду слабо осветила окрестность: волчица тенью стояла позади Сени, шагах в двадцати. Она зашла против ветра и следила за Сеней раньше, чем он ее заметил, — вынюхивала, изучала. Так близко волки могут подойти к человеку только тогда, когда он без ружья — Сеня знал это. Знал и то, что волчица не нападет на человека, если он не трогает ее детенышей. Он увидел ее на какую-то долю секунды. Потом снова темень, непроглядная, тяжелая, давящая на плечи. Сене все казалось, что волчица стоит позади, но вскоре он заметил сбоку, уже дальше, два фосфорических огонька, похожих на свет кусочков гнилушки: «знакомая» спокойно уходила к логову. И это было уже

успехом — она не нашла ничего опасного. Однако не было возможности определить, где она вошла в заросли.

«Сухая гроза» кончилась. Ветер притих. И Сеня уснул, завернувшись в плащ.

На рассвете он проснулся и, не поднимая головы, окинул взором местность. Все было так же: в сероватом свете предутра яр казался мертвым, а лес — спящим крепким зоревым сном.

Сеня ждал. Предрассветный час — час беговой охоты волков. «Знакомая» должна выйти. Но где? — вот вопрос… Увидел ее Сеня уже вдали, в полукилометре от яра: волчица вышла незаметно для Сени. И он дрожал внутренней дрожью, думая огорченно: «Не поверила, не обманул».

Утро раздвинуло серый налёт, висевший над землей. На востоке загорелось огромное, необъятное зарево, но до восхода солнца оставалось еще не меньше часа. Далеко отойдя от зарослей влево, Сеня спустился к ручью, предварительно натерев подошвы чебрецом, попавшимся по пути, и зачерпнул воды. Так, с котелком в руке, он немного постоял на дне оврага. Под ногами был мел, а размытые кручки берегов промоины пронизаны корнями, свисающими до дна. Сеня посмотрел на подножие кручки. И вдруг его осенила мысль. Он нагнулся низко над землей и стал рассматривать. На мелу он заметил пятнышки: это были следы когтей волка. Волки не убирают когтей, не втягивают их, как иные звери. Ясно — волчица ходит протоком, под прикрытием стенки кручи, появляясь в степи далеко от логова. Но раз она вышла, то должна и вернуться. Так думал Сеня. Он поспешил подняться наверх, взял косу и снова стал косить, поглядывая на проток.

Перед восходом солнца он заметил спину «знакомой»: она не бежала, а тихо шла под кручей к зарослям, будто и не слыша звуков покоса. «Человек косит траву — и все, — мысленно вдалбливал ей Сеня. — Понимаешь, косит».

А через час, не более, появился самец; он бежал широкими прыжками напролом, пересекая склон без предосторожностей, и влетел в заросли стрелой. «Значит, логово близко от родника», — определил Сеня.

Весь день он был в отличном настроении. Косил, варил еду, спал, развалившись на свежескошенной траве, собирал в копны вчерашний

покос — без граблей, руками и концом деревянного косья, сняв с него косу. Среди дня волки парой ушли в поле и вернулись уже вечером, в сумерках: волчица шла впереди, самец — позади, следуя за ней по протоку яра. В солнечный день волки редко остаются у логова — они уходят, оставляя волчат. Ни один зверь так регулярно не кормит детенышей, как волчица, но и лишнего сосать не дает — она уходит от логова, охотясь или отлеживаясь неподалеку от выводка. В это время ни самец, ни самка уже не бродяжат, как обычно, по чужим окрестностям — они живут семейством, «дома», то есть в радиусе не более пяти — семи километров вокруг логова.

— Значит, пришли домой, — сказал Сеня вслух и присел на копну. Ясно — днем можно заходить в квартиру к «знакомой». Он собрался и пошел домой.

А вскоре подкатил к этому месту «Москвич», прыгая и переваливаясь уткой на кочках и промоинах. Из машины вышел Алексей Степанович, за ним выпрыгнул Гурка-Скворец, а уже после него появились член ревизионной комиссии, бородатый Агап Егорович и бригадир Корней Петрович. Первым застрочил Скворец:

— Я, понимаешь, иду с престола. Иду, а Сенька мне, обратно, говорит: «Покури». Я, понимаешь, обратно, курю, а сам высмотрел все и говорю себе в уме: «Колхозным добром того…» Ну, думаю, пущай ночь, а я пойду до председателя… Иду, а они мне, восемь волков, навстре-ечу! Во-осемь! Ох! Нет, думаю, обратно, не испугаюсь! Все равно не вернусь — пойду до председателя. Я ничего, обратно, не боюсь. Я, понимаешь, для правды, обратно, на что хошь пойду.

— Да подожди ты тараторить, — перебил его бесцеремонно Алексей Степанович. — Все это ты уже сто раз пересказал. А вот я не вижу, где взято сено. Ты говоришь: «Возит домой». След от копны должен бы остаться. Да и половина сена сырого — сегодняшний покос. — В сумерках он обошел весь участочек скошенной травы, нагибаясь и рассматривая.

— Значит, где-нибудь, обратно, косит. Значит, оттуда возил. Я сам лично видел: возил-возил, истинный господь, возил.

Агап Егорович говорил басом:

— На всяк случай акт составим, Степаныч. Потом разберемся. Да-а… Аль уж Семен свихнулся?.. Не похоже. А факт: скошено. — Он

тоже ходил по покосу, нагибался низко над землей, щупал сено и говорил: — Это вчера скошено, а это — нонче… Факт: скошено.

Корней Петрович все время молчал — думал. А Алексей Степанович заключил:

— Никакого акта составлять не будем.

Сеня, ничего не подозревая, укладывался спать и тихо говорил Маше:

— Днем к ним пойду «в гости». «Знакомая» здоровущая, с теленка!.. Хитрая, а обманул: знаю, когда уходят и когда приходят и где лаз.

Уснул он крепким, безмятежным, спокойным сном.

В полночь кто-то постучал в окошко.

— Кто? — спросил Сеня.

— Я — Константин.

— Не спится, что ли?

— Открой, дело важное.

Сеня вышел на улицу.

— Дело, брат, нехорошее затевается, — встретил его Константин.

— А что такое случилось?

— Понимаешь, нехорошо… Я в правлении был. Акт на тебя хотели составить… Гурка-Скворец все говорил: «Составить акт на Трошина Семена…»

— Акт? За что? Сам же бригадир… А Алексей Степаныч что?

— Он только и ответил: «Я свое мнение сказал».

— Неужели он поверил?

— А кто его знает, — неопределенно сказал Константин. — Ты сено косил?

— Косил.

— Возил себе?

— Да как же я колхозное сено себе возить буду!

— Хорошо… Значит, Гурка-Скворец наплел… А ты почему косил там, где не положено, где сенокоса не начинали?

Сеня подробно рассказал, зачем ему надо было косить. Заключил он так:

— Неужто поверят, что я сено стал косить для себя? Да не возьму я и былинки колхозного! Убей — не возьму! Ну, как это я не догадался

раньше! Лучше копал бы лопатой. — Но, подумав, он сказал: — Нельзя лопатой: не копает там никто и никогда.

Константин постучал палочкой и раздумье, а потом сказал:

— Ну, ты спи. Спи: утро вечера мудренее.

Сеня ничего не сказал Маше, чтобы не волновать ее. Он тихо лег спать.

Около часа ночи Алексей Степанович сидел у себя дома за столом в одной майке. Он только пришел с работы, начинающейся с шести утра, и пил молоко. Домашние все спали. В одной руке он держал газету, бегло просматривая ее, в другой — кружку молока. Через открытое окно он вдруг услышал, как кто-то стукнул о плетень палисадника и осторожно, будто крадучись, шел вдоль плетня к калитке. Тихо скрипнула калитка. Человек шел уже вдоль стены хаты, внутри палисадника. Такого еще никогда не было, и Алексей Степанович подумал уже недоброе: выключил свет и стал в простенок меж окон прислушиваясь. В хате было тихо. В палисаднике тоже тихо. Так прошло несколько минут. Потом Алексей Степанович услышал, как человек, осторожно ступая, пошел обратно к калитке.

«Значит, кто-то просто подслушивал», — подумал хозяин и, высунувшись в окошко, окликнул:

— Кто тут?

— Не спишь, Алексей Степаныч? Это я — Константин.

— А ведь ты ко мне забрел, Костя. Заблудился?

— Нет. В своем селе я не могу заблудиться. Но только думал я так: не спит — постучу, спит — уйду. Ан и ошибся: ты не спишь.

— Ну садись на лавку. Я выйду.

Когда Алексей Степанович вышел из хаты, Костя спросил:

— Читал, наверно? Тихо у тебя как.

— Читал газету.

— А мне Сеня привез Островского «Как закалялась сталь». Эх, и книга, Алексей Степаныч! Какие люди бывают! — Он немного подумал и добавил: — Эх, и книга! По-нашему написана — для пальцев.

Алексей Степанович подумал: «И как это я ни разу не привез ему книги? Привезу, обязательно привезу».

— Я тебе спать не даю. Я — по делу, — сказал Костя.

— Значит, важное дело, если ночью пришел.

— За то, что ночью пришел, прошу прощения. А дело важное: о человеке… О Сене поговорить пришел.

— А что такое? — спросил Алексей Степанович, будто и не догадываясь.

Константин рассказал Алексею Степановичу все так, как рассказывал ему Сеня.

— Понимаешь, Алексей Степаныч, — закончил он, — у него даже и в уме не было, что подумают плохое. Волков он выследил. А что он еще мог там делать из таких работ, какие всегда видят волки? Пахать там нельзя, копать нельзя — никто там не копал. А сено там скоро косить будут — на лугу покончили. Гурке-Скворцу не верь: Скворец — брехун спокон веков, и ничего-то он не видит. Слепой он в жизни, этот Скворец несчастный, — так ему и помирать безобразнику и охальнику.

Ровная и спокойная речь Константина в тихой ночи лилась убедительно. Алексей Степанович понял сейчас, здесь, рядом с Костей, что хотя он и управляет колхозом уже около трех лет, но в душу каждому еще не заглянул. Вот и Константину не заглянул. А глядеть надо. И он произнес после молчания:

— Я и не поверил Гурке. Не волнуйся, Костя. — Он подумал немного и, положив на плечо Константина ладонь, задумчиво сказал: — А насчет веничков для чистки одежды я подумаю. Только все это надо организованно. На зиму надо заготовить материал. Подумаю.

— Спасибо тебе, Степаныч! — взволнованно произнес Константин. — А я, признаться по душам, подумал уже так: человек ты рабочий, с завода, пятнадцать лет не был в селе. Механику знаешь и агротехнику уже изучил. Но… понимаешь ли колхозников? Видишь, как я подумал-то неумно. Вот и хорошо: ошибся я, значит.

— Привыкаю, Константин. Помаленьку привыкаю понимать, — говорил Алексей Степанович, не снимая руки с плеча собеседника. — И Сеню начинаю понимать: один любит сад, другой — пчел, а Сеня любит охоту, поле, природу. И колхозник хороший.

Константин ушел домой успокоенный, и прикосновение руки председателя чувствовал до тех пор, пока не уснул.

Утром пришел за Сеней посыльный: вызывали в правление. Сеня шел в правление мрачный. Внутри кипела горьким обида.

— Садись, Семен Степанович! — пригласил его председатель. — Мы по отцу-то тезки с тобой.

Сеня сел, смотря прямо в лицо председателя. Тот заметил, что Сеня угрюм, и, догадываясь о причине, увидел в его взгляде нечто новое, чего не замечал раньше: глаза Сени выражали непреклонность и готовность защищаться.

— Ну? Выследил? — задал вопрос Алексей Степанович.

— Выследил.

— Теперь дальше что?

Сеня прижал фуражку к груди и с оттенком досады сказал:

— Да не возил я сена! Не себе косил… — И он, не договорив, отвернулся к окну.

Алексей Степанович встал из-за стола, накинул крючок на двери, чтобы никто не вошел, и несколько раз молча прошелся по кабинету.

— Ты вот что, Семен Степанович! — заговорил он наконец. — Иди-ка на волков я сегодня… Раз выследил — надо дело до конца доводить. Сколько тебе дней потребуется?

Сеня поднял удивленные глаза, широко открытые, и проговорил неуверенно:

— А сено?..

— Плюнь. Понимаю. Убей волков, Семен Степанович.

— Не знаю. Может, и убью.

— Ты брал когда-нибудь волка?

— Нет. От старых охотников, в Житуках, слышал, как их…

— Убей.

— Сегодня нельзя еще идти: подготовиться надо, картечи накатать. И день надо ясный, солнечный: в такие дни они от логова уходят. — Сеня говорил тихо, уверенно, но он не сказал ни одного лишнего слова.

Алексей Степанович толком не понял, как это он собирается бить волков у логова в то время, когда они уходят от него. Председателю, может быть, и не это было важно: он понял человека.

— Не куришь? — спросил он, подавая папиросы.

— Нет.

— Ну и не кури. Это лучше. Расскажи-ка мне, как к тебе приходил Гурей Кузин, к Крутым Ярам.

Сеня рассказал, ничего не скрывая. Алексей Степанович одобрительно улыбался, и Сеня повеселел.

Кто-то постучал в дверь. Алексей Степанович сказал:

— Ну, Семен Степанович, действуй. Уничтожить выводок — огромная польза колхозу. На тебя надеюсь… Да! А может быть, загонщиков дать?

— Непроходимое там место, загонщики не выгонят.

— Ну, думай. Действуй.

Снова кто-то постучал. Алексей Степанович откинул крючок, и Сеня столкнулся в дверях, лицом к лицу, со Скворцом. Маслянистые прищуренные глазки у него сверкали искорками смеха, мелкие морщины перерезали щеки крест на крест так, будто оставили следы его безалаберной и бездумной жизни. Гурка был явно в веселом настроении.

Сеня вышел.

— Вызывали? — весело и громко спросил, кланяясь, Гурей.

— Вызывали, — угрюмо и тихо ответил Алексей Степанович.

— Явился, обратно, как часы!

— Явился, обратно, — иронически повторил председатель.

— Обратно, — сказал Гурей, уже сбавив тон.

— Обратные часы, — зло сказал Алексей Степанович.

Гурей растерялся и затоптался на месте, будто стоял босыми ногами на рассыпанных кнопках, и повторил:

— Часы. Точно.

— Нет, не точно. Ты — часы обратные: не в ту сторону стрелка идет.

В соседней комнате послышался сдержанный смех. Кто-то там, изнемогая от внутреннего смеха, охнул.

Гурей ничего не понимал: он сразу как-то раскис, растопырил ноги и уже моргал медленно, опуская веки, как сонная курица надвигает пленку на глаза. И молчал.

— Та-ак. Давно врешь? — рубанул вопросом председатель.

Гурей молчал.

— «Обратно» забыл? Эх ты, Гурей, Гурей! Ну что тебе за такую ложь придумать?.. Судить за клевету по статье — пользы тебе не будет. Вот что: возьми подводу, поезжай к Крутым и перевези все сено на колхозный двор. А Семену Степановичу отвезешь, как и полагается по

уставу, каждую десятую копну. Это тебе в наказание за брехню: и люди будут знать, и сам запомнишь.

— Это как? К Крутым? К в-в-волкам?

— А это уж я не знаю, к кому. Сено перевезешь. Понял? И Семену Степановичу — десять процентов. Дошло?

— А это кто же будет, обратно, Семен Степанович?

— «Обратно» забыл? Сеня-охотник — вот кто! Не Сеня он, а Семен Степанович Трошин.

Гурей почесал локтями бока и тоненько заскрипел:

— Я человек, обратно, леригиознай. Мне лучше бы в церкву пойтить, раз уж грех такой. Замолил бы грех, раз уж так. В церкву бы, чем за сеном. Он и сам перевезет.

— Ничего, ничего. Перевези сено, а потом замолишь. Кстати, и мой грех замолишь: мне бы судить тебя за клевету, а я вот против закона поступаю. Замолишь?

Гурей вздохнул и поплелся из кабинета, шаркая подошвами.

Весь день Сеня работал на черном пару, разбрасывая навоз по клеткам. Усталый, но довольный, он пришел вечером домой. Маша задержалась на прополке картофеля — ее не было дома. Сеня отмыл ботинки от налипшего навоза, вымыл ноги, снял рубашку и вымылся до пояса. Маша пришла, когда он уже вытер тело полотенцем и так, без рубахи, копался в ящичке, выбирая лучший свинец. Она разожгла огонь под таганом, на загнетке, поставила варить картошку, а сама подошла к Сене и молча обняла его. Потом она просмотрела рубашку Сени и, обнаружив маленькую дырочку, тут же искусно зашила ее. Сегодня она была особенно ласковая, но какая-то тихая. Сеня чувствовал это по ее прикосновению к волосам, по улыбке и все поглядывал да поглядывал на нее, бросая взгляд осторожно, незаметно. Он резал свинцовые палочки на картечины да поглядывал. И наконец сказал:

— Ты сегодня особенная…

— Как это «особенная»? — с оттенком легкой грусти спросила она.

— Да я и сам не могу тебе сказать, какая ты.

Она неожиданно села рядом с ним на лавку, прислонилась щекой к его голому плечу и прошептала:

— Может быть, тебе не ходить на волков… Боюсь, Сеня. Один ведь идешь.

— Как это так «не ходить»? — удивился Сеня. — Сам Алексей Степаныч дал команду — уничтожить выводок.

И снова Маша оказалась побежденной.

Рано утром следующего дня Сеня тщательно скатал нарезанные вчера кусочки свинца в круглые шарики — получилась отличная картечь; зарядил десять патронов, пересыпав картечь картофельной мукой (для кучности боя), залил верхние пыжи воском, чтобы не отошли, и отправился к Крутым. Вместо ботинок он опять же, как и в первый раз, надел сапоги и сунул за голенище кинжал. В рюкзаке была буханка хлеба, на плечах — легкий ватник. Он шел налегке, не обременяя себя ничем лишним: ружье и лопатка.

Теперь-то он шел с ружьем — волки далеко могут его почуять. Поэтому, еще задолго до подхода к месту, он обогнул яры и пошел против ветра. Надо было сделать так, чтобы ни разу ветер не донес запаха ружья до логова и, что не менее важно, чтобы волки не увидели Сеню. Иначе вся охота пропадала.

Но, несмотря на все предосторожности, в этот день он не видел волков.

В сумерках он осторожно — теперь уже под ветер — отошел на полкилометра назад и заночевал в остатках прошлогодней соломы старой скирды. Огня разводить нельзя было. Сеня поел хлеба, густо посыпанного солью, и лег на солому. Ему не спалось: он думал о волчице. Видела она его или нет, но было ясно, что она осторожна. Сеня был убежден: «знакомая» знает его в лицо, узнает его по походке, даже по кашлю или чоху и, если учует при нем ружье, волчат перетащит в другое место немедленно. Волк не может поверить человеку — волк ненавидит человека как непримиримого своего врага. Сеня знал, что, если поранит волчицу, а не убьет наповал, волчица, защищая детенышей, перекусит ему горло, как ягненку: раненная у логова, волчица страшна даже для бывалых волчатников. Так думал Сеня засыпая. «Вдвоем бы», — мелькнуло в мыслях. Но в селе нет охотников, кроме него.

На второй день он увидел волков среди дня в километре от Крутых. Значит, волки на день уходили. А раз уходили, то только по протоку — иначе он их заметил бы.

И Сеня решил начинать. Перед заходом солнца он сполз по водомоине вниз в яр, прикрываясь бурьяном и ковылем, и засел в засаду около стенки протока, под густым кустом.

Стемнело. Наступила ночь. В овраг опустилась холодная, мутная пелена тумана. Самого тумана не было видно в темноте, и, казалось, тяжелая мокреть придавила человека в глухом яру. Ружье стало влажным, скользким. Сеня и не пытался вытирать ружье, избегая малейшего движения, не производя даже ничтожного шороха. Это было очень трудно: кости вскоре начали неметь, пальцы от непрерывного сжимания шейки приклада сделались твердыми и непослушными; он старался чаще шевелить ими, но даже и это движение ему казалось опасным: волки чутки! Короткая июньская ночь была в этот раз длинной, тяжелой, сырой. Уже за полночь, а Сеня не видит и не слышит ничего: ни единого звука, ни малейшего шороха.

Но вдруг… он вздрогнул! — хрустнула кость. Он явственно это слышал: позади него хрустнула кость. Потом он услышал легкое повизгивание, похожее на то, когда провинившийся щенок скулит, перевернувшись вверх лапками и ожидая наказания, — или волчонок был за что-то отлупцован матерью, или они покусали друг друга за трапезой… Ясно: волки были за спиной у Сени — в глубине зарослей, у родника. Они вошли не протоком, где сидел Сеня, а иной тропой. У Сени мелькнула мысль: «Не означает ли это повизгивание того, что волчица уже начала перетаскивать волчат на другое место?» И ему сразу показалось, что он в очень глупом положении: сидит, и волки знают, что он сидит. Но как же так? Когда он засел, то ветер еще тянул на него от логова, потом сразу опустился туман, притупляющий чутье волка, потом Сеня вместе с ружьем стал мокрым — это тоже выгодно для него, так как уменьшает запахи до предела. Но могло быть и так: волчица подходила к Сене, но он не разглядел из-за тумана. Нет. И этого не могло случиться: дно протока меловое, белое, и на нем даже в тумане можно видеть волчицу за пятнадцать — двадцать шагов; он присмотрелся к кустам и еще раз подтвердил мысленно: «Нет, этого не могло случится». И тем не менее все было туманно для Сени, как туманно вокруг, в яру.

С такими мыслями, с онемевшим телом, продрогший от сырости, он услышал на рассвете шорох: волки шли по зарослям. Видимо, была у них тропа: шорохи были легкими — волки не пробивались через

колючий терновник, а шли своей тропой, изредка шевеля ветки, задевая их боками. Потом все стихло.

Сеня осторожно повернулся лицом к зарослям. Теперь он смотрел вверх, на край яра, где, по его мнению, должны появиться волки, — там выходила наверх узкая и мелкая, в полметра, промоина. Вероятно, подошва ее не имеет растительности, а кустарники просто скрывают ее своими сплетенными ветвями. Сеня не ошибся: волчица и волк вышли там. Они чуть посидели, посмотрели вокруг, в разные стороны, и медленно, спокойно пошли — волчица впереди, волк позади. Это было метрах в двухстах от Сени. Он решил так: если они вечером или ночью входили в заросли там же, то ружье они не могли почуять. Другого утешения он придумать не мог, но и на этот раз надежда не оставила его.

Кое-как разогнув онемевшие ноги, он размял их, потоптавшись на месте, пошевелил руками, энергично потер локтями бока и поднялся на верх яра, к воронке и копнам сена. Сеня замер от неожиданности: здесь никакого тумана не было — все далеко-далеко было видно.

— Дурак я, дурак! — Сеня шлепнул фуражкой о землю. — Да как же я не сообразил, что по туманному яру она не пойдет!

И верно: в тех случаях, когда чутье чем-либо ограничено, волк надеется на острое зрение. Так и в ту ночь — они входили и выходили сразу наверх по другой тропе. И Сеня снова вполголоса ругал себя:

— Эх ты, Сенька, Сенька! Сколько же тебе еще лет жить надо, чтобы поумнеть? Какой же из тебя охотник?

Но как бы обидно ни было, а теперь Сеня окончательно считал волчицу хитрее себя, осторожнее, опытнее и даже проникся к ней уважением.

— Ну молодец ты, знакомая, молодец! — говорил он тихонько, успокоившись.

Взошло солнце. Запели жаворонки. Запоздалая зайчиха проковыляла на покой, на дневку: заляжет теперь в лежке и заснет с открытыми глазами, видящими и во сне; прижмет уши так, что слуховые отверстия остаются открытыми, всегда наготове.

«Ох ты, мудрая! — подумал Сеня. — Около волчьего дома уцелела. Съедят они тебя, дай срок: не доживешь до зимы. Разве ж ты не знаешь: где волки, там зайцев нет? А ты все живешь, косолапая теща. И ты, должно быть, хитрее меня».

Сеня вздохнул и присел на копну. Вдали, влево от леса, на чистом паровом поле он снова увидел волков — значит, далеко от логова не уходили. Они трусцой перебегали сейчас мимо работающего трактора, не обращая внимания на его близость и рычание мотора.

Вскоре Сеню потянуло в сон. Он прилег на копну и, прижав к груди заряженное ружье, уснул сразу.

Спал он недолго — на вольном воздухе человек отдыхает быстро. И Сеня проснулся приблизительно в завтрак. Он сел, закусил, протер ружье и устремил взгляд на то место, где, по его определению, должно быть логово.

Ветерок потянул ему в лицо — это хорошо. Но что делать теперь дальше? Оставить жить семью волков и идти домой на посмешище всему колхозу? Тогда снова, чем ближе к осени, овца за овцой будет убывать стадо. Нет, он не уйдет от яра. А дальше? Сидеть еще ночь, две, три? Нет уверенности в том, что «знакомая» не учует его. Раскопать нору? Но тогда можно взять только волчат. Зато после волчица будет нещадно мстить всей округе. Бывали случаи, когда старая волчица вырезала до тридцати голов овец в одну ночь, мстя за своих детенышей. Нет, так нельзя. И постепенно, рассуждая сам с собой, взвешивая свои наблюдения за все дни, Сеня решил.

Как только пришло решение, он немедля встал, оставил рюкзак в копне, проверил патроны и направился на другую сторону яра — туда, где выходила скрытая промоина. Вскоре он был уже там. Короткий и пристальный осмотр подтвердил, что тропа есть. Сеня застегнул ватник на все пуговицы, хотя ему и без того было жарко. Но ватника он в копне все-таки не оставил: он был ему необходим при исполнении намеченного. Идти по волчьей тропе было невозможно: колючие кустарники и сплетения ветвей настолько густы, что пройти по ним можно, только расчищая путь топором. Сеня стал на четвереньки и пополз вниз по узкой промоине. Местами он передвигался по-пластунски. Верх ватин ка изорвался в клочья на половине пути. Он исцарапал лицо и руки о колючки терна и шиповника, но все лез и лез. Вскоре Сеня услышал журчание родника.

Он остановился передохнуть. Прислушался. Вдруг на рукаве ватника он увидел самую настоящую мясную муху; это и обрадовало его и в то же время мурашки высыпали на спине: близко мясо —

близко логово. Он уже почуял запах псины. А через минуту наткнулся на телячий череп. Сеня встал.

В пяти шагах от него была кручка. Над нею росла огромная дикая груша, корни которой свисали вниз. А между корнями зияло отверстие — волчья нора в естественном углублении. Перед норой — небольшая площадка в три-четыре квадратных метра, чистая, без растительности. И на этой площадке сидели два волчонка возрастом месяца полтора. Они смотрели на Сеню сначала удивленно, а потом все же юркнули в нору друг за другом: странное все-таки животное на двух ногах появилось у них в доме, — лучше убраться.

Сеня пробрался к норе. Срезал кинжалом лещину и потыкал ею в нору, держа наготове ружье в правой руке. Нора была совсем не глубокой, не более метра, но широкой внутри. Волчата урчали там тихонько, удивляясь появлению палки, по других звуков никаких не издавали (волки лаять не умеют). Волчицы не было. Сеня снял с себя узкий ременный поясок, положил его в карман и стал расчищать лопаткой входное отверстие норы. Время от времени он останавливал работу и прислушивался. Иногда ему чудились шорохи — тогда он брал ружье на изготовку и некоторое время сидел в напряженном ожидании. К счастью, шорохи оказывались не волчьими. Но один раз он действительно весь похолодел: неожиданно над самым ухом застрекотала сорока, будь она неладна! А эта птица может привлечь волчицу своим криком. Она так, эта чортова сорока: человек пройдет — протрещит, волк пробежит — протрещит, заяц проковыляет — трещит, окаянная! Иногда Сене казалось, что ружье лежит не так удобно, чтобы при случае быстро схватить его, тогда он клал его прямо перед коленями, со взведенным курком, и продолжал работать. Встреча со «знакомой» здесь не обещала ничего хорошего — она появилась бы из гущины зарослей одним прыжком, — и Сеня работал, работал до боли в суставах. Все ему казалось, что входное отверстие расширяется медленно. Но это только казалось: через полчаса он уже мог пролезть туда до половины туловища.

И вот он снял ватник. Прислушался. Вытер пот со лба рукавом. Еще раз посмотрел на ружье и… полез в логово. Каком-то особенный запах волчьей псины ударил в нос. Он ощупал рукой впереди себя дно логова, оно было чисто, без подстилки. Он повел ладонью по дну вправо и, наткнувшись на мягкое, заграбастал всеми

пальцами волчонка. Звереныш попался так, что рука Сени перехватила ему горло, и тот захрипел. Сеня вылез. Разжал пальцы. Волчонок хлебнул несколько раз воздух и, сразу опомнившись, попробовал нырнуть в логово. Но Сеня прижал его обеими руками, и, несмотря на то, что тот скалил зубы, извивался, урчал, он перевязал его поперек живота пояском. Темно-темносерый щенок, не видевший никогда человека, уже возненавидел его всем существом: он грыз ремешок, кусал землю, но ничего не мог сделать. Сеня завернул его в ватник и направился старым следом на верх яра. Теперь, на гору да с волчонком, ползти по промоине стало труднее. Но надо было спешить, иначе он может встретиться со «знакомой» здесь, на волчьей тропе — нос к носу!.. И снова — проклятая сорока! Но он спешил, спешил изо всех сил.

Когда он поднялся наверх, рубашка представляла сплошные лохмотья, а тело исколото и иссечено во многих местах; это не так страшно — пройдет, главное в том, что Сеня уже наверху. Он вновь срезал палку, привязал к ее концу ремешок от волчонка и потащил его. Волчонок упирался, то волочась на всех четырех лапах, то на боку; иногда он ухитрялся вцепиться зубами в ремешок и так тащился волоком, свернувшись колечком.

Сеня шел быстро. Но когда волчонок начинал кувыркаться, он останавливался, давал ему немного успокоиться и снова тащил его дальше. Шел так, чтобы ветер дул все время в спину. Так он дотащил волчонка до воронки, откуда следил за волками ранее, в первые дни. Здесь он развязал обессиленного и измученного волчонка, который уже и не пытался укусить, — он тяжело дышал, вздрагивая. Затем Сеня быстро выкопал маленькую ямку, в полметра глубиной, завернул волчонка в ватник и уложил сверток в ямку.

Теперь Сеня сидел с ружьем в руках, лицом на ветер, в ту сторону, откуда тащил волчонка. Расчет у него был таков: волчица пойдет по следу волчонка обязательно, пойдет немедленно, как только появится в норе; ветер будет от нее — ружья она не почует, а Сеню увидит только в нескольких шагах. Он сам шел на короткую и страшную встречу со «знакомой».

Прошло уже много времени — Сеня не знал, сколько прошло. Он не заметил, как солнце свалилось за полдник, как уже упала прохлада, но он сразу ощутил приближение вечера по уменьшению ветра. Ветер

затихал. Это было очень и очень плохо. Но, как только он это подумал, он увидел… «Знакомая» на рысях бежала по следу детеныша, опустив голову. Сеня прижался к земле, сжимая в руках ружье. Волчица бежала, не раздумывая, торопясь, прямо и прямо на Сеню: она была готова на все. Вот уже двести метров… Сто… Она повернула голову и посмотрела в сторону не останавливаясь. Вот уже Сеня видит широкий лоб, палкой опущенный хвост и горбинку на спине.

«Не поранить, — думал он, — не поранить. Или наповал, или совсем не попасть». На какую-то малую долю секунды он вспомнил Машу, но это было только на миг… «Знакомая» остановилась в десяти шагах от Сени с ходу, будто напоровшись на что-то. Она почуяла. Она подняла шерсть на спине и, чуть оскалив зубы, пошла шагом. Сеня увидел бледнокрасные десны волчицы. О, она уже точно знала, кто взял волчонка. Знала! И Сеня выстрелил ей в грудь. На секунду дым закрыл волчицу от него. Он-то знал, что перезаряжать одностволку поздно, и выхватил кинжал, встав на колени. И увидел: «знакомая» пала на колени, уткнувшись носом в землю; она подняла зад на лапы, не желая падать совсем; она еще хотела встать и сделать прыжок — один-единственный, последний прыжок, чтобы вцепиться зубами и, не разжимая их, умереть. Но она встала на четыре лапы и… рухнула наземь.

Все было кончено. «Знакомая» лежала перед Сеней. А он еще с минуту все стоял на коленях с кинжалом в руках, с запекшейся от царапин кровью на лице, в изорванной рубахе; он тоже был страшен.

…Самца он убил на следу волчицы: Сеня тащил ее волоком метров сто и снова засел в засаду. Волк напоролся на него, подскочив на больших прыжках, не подозревая засады. Увидев Сеню, он резко повернул в сторону, бросившись наутек, но картечь ударила в бок.

— Трус! — презрительно сказал Сеня, подходя к мертвому самцу.

В логове оказалось еще три волчонка. Их Сеня убил уже утром следующего дня. Он стащил матерых волков и тех трех молчат в воронку и потихоньку пошел домой, неся подмышкой живого волчонка, завернутого в ватник. Он освободил ему голову совсем, слегка перетянув ватник вокруг шеи. Может быть, потому, что волчонку было уютно и тепло, а может быть, исстрадавшись, он был уже благодарен за то, что его приютили, — он не кусался, не рычал, но на Сеню не смотрел, отворачивая мордочку в сторону и вниз.

Последние метры до своей хаты Сеня шел через огороды с трудом, пересиливая себя, чтобы не лечь прямо на картошку.

Маши не было дома. Сеня посадил волчонка под печку, снял остатки рубахи и брюки, подошел к колодцу во дворе, вылил на себя ведро холодной воды, немного посидел, без мыслей, на срубе и только после этого стал мыться.

…В правление он вошел тихо, как и обычно, и постучал к Алексею Степановичу. Тот отозвался:

— Входите!

А когда Сеня вошел, улыбаясь, пожал ему руку.

— Алексей Степаныч! — обратился Сеня. — За волками подводу бы послать.

— Уби-ил?!

— Убил.

И только после того, как привезли волков, а народ собрался глазеть на них, обсуждая и восхищаясь, Алексей Степанович оценил и понял, что сделал Сеня: на это могли решиться только три охотника вместе, не меньше. А Сеня постоял перед волками в задумчивости и, не обращая внимания на похвалы и восклицания, тихо произнес, глядя на «знакомую»:

— Вот и все… Страшная-то какая! Как же это я, правда, один-то пошел?!

Гурей понял это по-своему и сказал:

— Это, Семен Степаныч, тебя осподь-бог, обратно, спас.

— Глупый ты, Гурей Митрич, хоть и пожилой человек, — возразил Сеня.

И удивительно: Скворец ничуть не обиделся, а сказал в ответ так:

— Кажному человеку, Семен Степаныч, богом, обратно же, свой разум дан. — Ом помолчал и с явной завистью продолжал: — Это, значит, по триста рублей за голову от государства — полторы тыщи, да за шкуры, обратно, не меньше шестисот. Эва! Больше двух тыщ! — Он почесал в затылке, крякнул от зависти и поддернул брючишки, уцепившись одной рукой за переднюю пуговку, а другой — позади. Гурка-Скворец очень сожалел сейчас о том, что не он убил волков, и ему казалось, что он вполне мог бы это сделать. Но он только повторил еще раз: — Да-а… Боле двух тыщ.

Алексей Степанович дополнил:

— Это не все, Гурей Митрич: полагается премия от колхоза — по овце за каждого матерого волка.

Но Сеня не слушал Гурку. Сеня смотрел и смотрел на «знакомую», не отрываясь, и сказал еще раз, тихо, шопотом:

— Вот и все кончено…

Дома он вытащил волчонка из-под печки и задумчиво смотрел на него долго, долго. А рядом сидела восхищенная Маша.

Было это два года тому назад.

Волчонок стал уже большим волком. Никому из чужих он не позволяет к себе прикасаться, кроме Кости. Алексей Степанович все так же бессменно руководит колхозом и часто заходит к Сене домой. Тогда волк смотрит на председателя спокойно, с достоинством.

В общем, если хотите видеть ручного волка, заходите к Семену Степановичу Трошину прямо в колхоз «Светлый путь». Только имейте в виду, днем его не застать — он обязательно на работе. А если охотится, то придется подождать его денька два. Он все тот же, так же любит жизнь — вот эту, нашу, настоящую жизнь, что порою отражается и в капле.

# Совесть хлебопашца

*Дорогим моим друзьям-*
*трактористам посвящаю.*

Борозда, борозда и борозда… Всю ночь напролет впереди борозда. Луч фары накрыл ее и не выпускает ни на миг. И кажется, мир сузился до предела: перед трактором справа — черный, блестящий, как весеннее крыло ворона, кусок зяби; слева — кусок стерни цвета заячьей шкурки; в центре — борозда, глубокая, с отвесной стенкой. Дальше, впереди и по сторонам, темнота, густая и непробойная.

Борозда ползет под трактор, чуть сбоку, бесконечно и равномерно, как конвейер. Ползет и ползет и уходит назад, в темь. Больше уже не будет этой борозды — ее заваливает новый пласт, а люди увидят потом только ровную зябь. Только зябь, до горизонта. Но ночью всегда кажется, что борозде этой нет конца, что она одна с вечера и до рассвета. Не так уж много людей, понимающих, что значит самому человеку видеть каждую борозду в могучем черноземном просторе.

Сентябрьские ночи длинные. Борозды тоже длинные, иной раз тянутся они на два-три километра. Трактор урчит, однотонно погромыхивая траками гусениц. На плотной почве он, автоматически увеличивая обороты, старается сильнее, как живой, поднатуживается. Протянет через тяжелое, тогда снова рокот становится спокойным, ровным. Чуть повизгивает ленивец — колесико, которое за всю свою жизнь не прикасается к земле, хотя и крутится совсем близко от нее, в нескольких сантиметрах; оно только поддерживает гусеницу. Алеша называет ленивец не иначе как «работяга». Впрочем, каждая деталь у него имеет свое одушевленное или ласкательное название. Например, выхлопную трубу он именует «мадам», пускач — «бездельник» или «стиляга».

Алеша видит борозду, уползающую под трактор. Он-то уж знает, что такое самому видеть каждую борозду.

Ночь. Чуть-чуть, отдельными капельками, накрапывает несмелый дождичек. «Дождишка совсем не храбрый, — думает Алеша. — При таком моросейчике паши, пожалуйста, сделай милость». И Алеша пашет. Один пашет. Кругом темь. И никого нет. Где-то вдали глаза

второго «детки» (так он называет трактор «ДТ»). Степь заполнена густым рокотом, но каждый тракторист слышит только свой трактор. Кажется, что в ночи он один. И никто до утра не придет. Да и кому надо идти или ехать сюда, когда вот-вот может пойти дождь. В хорошую погоду, и то редко кто сюда заглядывает.

К середине ночи стало сиверко. Ветер настойчиво хочет выдавить окошко кабины и угрожающе визжит в щель. Зато гонимый ветром дождишка не выдержал, и по тучам видно, как он улепетывает подальше. Алеша повязывает шарф поверх ворота телогрейки и радуется: «Дождя не будет. Главное, чтобы не было дождя. Ветер — пустяк. Не такое приходилось».

…Алеша стал вспоминать, как ему «приходилось». Начал думать о трудностях, а на намять пришло совсем не плохое.

Окончил десятилетку и стал работать на тракторе. В прошлом сезоне надел новенький ватник, а теперь он спереди залоснился и стал, как кожанка. Прошлогодних мозолей нет и в помине, пальцы уверенно и крепко держат рукоятки управления, а вначале приходилось тайком от других трактористов надевать перчатку на правую руку — ныли мозоли. И еще вспомнилось, как в дожди, слякоть, во время недельных простоев трактористы с тоской посматривали на уже прилепившуюся к гусеницам ржавчину, и — чего греха таить! — кое-кто позволял весьма крепкие выражения. В ясную рабочую погоду бригадир Туманов за такие слова может из отряда прогнать, но в муторную слякоть, когда по-волчьи серое небо давит на одинокую будку в степи и на душу трактористов, он только и скажет: «Что у тебя вместо языка жаба, что ли, привязана?» Впрочем, это относится почти всегда к одному и тому же человеку, Кондрату Багулину. Именно его-то за «яркие выражения» Туманов однажды «отлучил от отряда» на два дня. Было дело.

Кондрат удивительно близко принимает к сердцу погоду. В ненастье он всегда злой и молчаливый, а когда ясно, он веселый, и тогда любит петь песни. Так вот, этого самого Кондрата Туманов прогнал из отряда со словами:

— Два дня чтоб мои глаза тебя не видали, а уши не слыхали.

— Ну, Тихон Петрович! — мрачно взывал Кондрат и показывал пальцем в хмурое небо. — Видишь?

— Пашем же. Не стоим.

— Так я на пересмене.

— Читай, чертова голова, Алеша вот читает, и ты читай.

— Я в такую муть и читать не могу.

— А ругаться можешь? Да что я с тобой тут нюни развожу! Иди. Уходи с глаз на два дня. — И на полном серьезе заключил: — Воспитывать я тебя должен. Два дня тебе наказание.

— Ну, не буду.

— Два дня. А там посмотрим. — Туманов был неумолим.

Алеша тогда видел, как Кондрат медленно пошел от будки, широкоплечий, чуть сутуловатый, могучий коротыш. Шел, шел и сел в борозду своей загонки, которую он должен был пахать в ночную смену. Сел и сидит метрах в двухстах от будки. Алеша уехал за горизонт, и уже приехал обратно, а Кондрат сидит. Уже повариха выбросила платок на шесте и помахивала им, как у голубятни, а Кондрат все на том же месте и в том же положении. Начали обедать.

— Сидит, — сказал Алеша.

— Сидит, — подтвердил Туманов.

Ели молча. Неожиданно Туманов бросил ложку на стол и с сердцем выпалил:

— Хоть отошел бы подальше! Иди, — обратился он к Алеше, — позови его.

Алеша подошел к Кондрату. Тот ковырял пласт сухой будылиной так старательно, что казалось, более срочной и серьезной работы нет и не может быть.

— Велел звать. Иди, — пригласил Алеша.

— Через два дня приду как часы. Приду воспитанный, как из детского дома, — неудачно пытался отшутиться Кондрат.

— А ты не рыпайся, Кондрат. Он же хочет, чтобы ты не только передовиком был, а еще и…

— Святым? — поспешно спросил Кондрат, перебивая.

— Нет. Хорошим человеком.

— Все хорошие человеки не ругаются? Радуются слякоти? Они что, Тургенева читают? И когда на душе муторно, то улыбаются и ласково так говорят: «Матерь ты моя божия!»?

По полю прогудел бас Туманова:

— Кондра-а-ат! — И он махнул рукой.

Кондрат, будто бы нехотя, встал и подошел к будке. Туманов был вне себя:

— Или уходи сейчас же, немедленно, или… садись обедать!

— Ни то и ни другое! — уныло сказал Кондрат, — Объявляю голодовку на два дня. Сам себе, за свои выражения. А уходить мне невозможно: все обдумал.

— Это почему же невозможно? — спросил Туманов. — Значит, не подчиняешься?

— Подчиняюсь. Лучше два дня есть не буду, но в деревню не пойду. Почему? Очень просто. Позавчера был дома, ходил в баню, менял белье. Если я, допустим, нынче же приду на два дня, то куда я дену глаза? Брехать, что трактор сломался? Извиняюсь! — Кондрат ткнул себя в грудь большим пальцем. — Извиняюсь! — Потом стащил ушанку, смял ее в обеих руках и произнес печально: — Совесть не позволяет. Не пойду. Хочешь — два дня в борозде просижу, как призрак, хочешь — два дня есть не буду, как верблюд.

Последние слова Кондрат сказал с такой искренностью, что стало ясно: он сам вполне серьезно продумал наказание. Так показалось тогда Алеше.

Но Туманов, видимо, понял это по-своему. Ему подумалось, что Кондрат хитрит: пусть, дескать, смотрит бригадир на несчастного тракториста в борозде или пусть чувствует, что рядом живет голодающий человек, у которого никогда не бывает плохой выработки и плохого качества. И он сказал так:

— Чтобы я два дня смотрел на твою корявую фигуру в борозде?! Чтобы я морил голодом человека два дня?! Хочешь, чтобы я в буржуазную идеологию перекинулся — морить человека?! Не быть тому! Давай честное слово, что не будешь выражаться.

— Даю, — не задумываясь ответил Кондрат и протянул руку Туманову.

Тот чуть подумал, но все-таки взял руку и обратился к Алеше:

— Накрой.

Алеша положил свою руку на потрескавшиеся пальцы трактористов, что и означало — честное слово дано при свидетеле.

Обед уже остыл, но все ели с аппетитом. Кондрат мрачно и лаконично рассуждал, энергично пережевывая пищу:

— Конечно. Черным словом — нехорошо. А что сделаешь? Вся наша деревня такая. И батя, покойник, не тем помянуть, к каждому слову прибавлял. И все так. И ребятишки за ними. Вот и привыкают. Такая уж наша деревня — на всю округу. Про нас так и говорят: «Уторком с матерком, вечерком с матерком, а в обед со молитовкою». Вот она какая петрушка получается.

Вечером того же дня, на смене, Алеша спросил:

— А ты на Туманова обиделся?

— Ни на каплю. За что на него? Он бригадир. Нас если распустить, так мы и будку вверх колесами перевернем. Видишь ты, какой «хулиган»! — Он сграбастал Алешу в железный зажим своих рук и предложил, дыша в лицо: — Давай поборемся.

Алеша заметил, что у Кондрата голубые-голубые глаза, открытые и чистые. Весь он в них. Бороться они не стали — Кондрат увидел солнце и заулыбался. Оно растолкало над горизонтом облака и внимательно посмотрело на одинокую будку на колесах и на двух парней…

Осень. Степь. Будка. Солнце. И чернозем. И веселый Кондрат рядом с Алешей. То было в прошлом году, а кажется — вчера.

Вот уже два года Алеша работает с Кондратом на одном тракторе. Два года они живут одной жизнью. Кондрат «пересилил» себя и уже не «выражается», хотя оставил себе в употреблении одну только «едрену мышь». Шепотком он что-то такое иной раз добавлял еще долго, но и это перестал делать. Ясно одно: рядом с Алешей он понял, что ему надо учиться, что он забыл даже и то, чему учился в семилетке. Он с завистью посматривал на общие тетради Алеши и восторгался тем, что тот перешел на второй курс сельскохозяйственного института, не сходя с трактора. А когда выяснилось, что в районе семь трактористов-заочников, Кондрат заволновался. В один из дождливых дней он говорил Алеше:

— Как же это так получается? Рабочий может ходить в вечернюю школу, может подготовиться в институт, а трактористу невозможно. Где она у нас, школа? Нету. Да и как пойдешь? То ночная смена, то дневная. Что ж я должен одичать в степи? Одичать без высшего образования? Не написать ли нам с тобой министру какому-нибудь? Так, мол, и так: что же, тракторист должен одними месячными курсами пробавляться? Вы, мол, что же, не понимаете того, что я от

снега до снега в степи, один со своей совестью? Я хлеб делаю, товарищ министр! — Кондрат уже воображал беседу с министром. — Хочу — хорошо пашу, хочу — плохо. Только плохого не будет. Нас и так уже почти никто не контролирует и не проверяет. А где у Кондрата брак? Нету у Кондрата брака. Где у Алеши брак? Нету. Кто вкруговую собрал по девятнадцать центнеров с гектара? Бригада Туманова. Вы понимаете, товарищ министр, что совесть хлебопашца не позволит мне, Кондрату, сделать плохо. И я хочу учиться в вечерней школе. Зимой, конечно. Мы с Алешкой горы свернем, только не забывайте, что мы в степи. Мы и земля! Больше не надо ничего — и хлеб будет. Мы пашем, мы сеем, мы косим и молотим. — Кондрат замолчал. Подумал. Потом спросил: — Правильно я говорю, Алеша?

— И правильно и чуть-чуть неправильно.

— А что?

— Как это так «больше не надо ничего»?

— А что еще надо? Все у нас есть. Что еще надо? — повторил он вопрос.

— Трактор-автомат, — ответил Алеша. — Управлять трактором через кнопочное устройство! Или управлять трактором на расстоянии по радио! Вот будущее!

— Не загибай, Алеша, через край. Как это — по радио? Сказал!

— Не загибаю. На сессии заочников нам рассказали об Иване Логинове. Он уже управляет трактором при помощи копира. А недавно в Красноярском крае испытывали трактор, управляемый по радио.

— И пашет? — удивленно спросил Кондрат, привстав.

— И пашет.

— Порядок! — воскликнул Кондрат. И снова размечтался, но совсем-совсем в другом тоне: — Сижу, скажем, я вот в этой самой будке. Я, Кондрат. Передо мной рычаги такие. А я читаю «Войну и мир» Льва Николаевича и жму на них, на рычаги. Жму! Ни тебе дождь, ни тебе жара — трактор пашет и косит и… муку мелет… С одной стороны — вальцовую выдает, с другой — простого размола, а позади отруби высыпает. Три сорта!

— Шутишь, Кондрат, а зря. Будка будет не такой. Ветер не будет выть в щели, и левый угол не будет протекать. А будет будка-горенка, с линолеумом на полу.

И пёред тобой — не «рычаги» какие-то, а радиопередатчик. Он будет посылать сигналы радиосистеме в кабину трактора. И все! Ты будешь управлять не одним трактором, а несколькими. Это не мечта. Есть такое учреждение, называется «Крас-пром-автоматика». Там уже изобрели и гидравлическую систему, и электрическую, и радиосистему для управления трактором по радио. Уже все испытывали.

— И пыль не буду глотать по полведра в день?

— Не будешь, Кондрат, глотать пыль по полведра в день… Но… не годишься ты для этого… пока.

— Как это «пока»? — спросил Кондрат.

Алеша помнит, что эти слова Кондрат произнес и настороженно и в то же время угрюмо, с ноткой обиды. Тогда Алеша не нашел ничего сказать, кроме книжных фраз:

— Учиться надо. Будущий тракторист должен быть образованным человеком.

— Рад стараться! — рявкнул Кондрат. И нельзя было понять, шутит он или от души воскликнул. Но неожиданно он хитренько улыбнулся и сказал:

— Кондрат-то будет пахать по радио. Будет. А ты вот, как кончишь институт, удерешь. «Прощай, мать моя — кабина! Поклон тебе, будка-ветродуйка! Алеша, инженер-механизатор, приказал кланяться». Так скажешь. А может, забежишь на собственном автомобильчике и продекламируешь перед той самой будкой: «Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет!» А Кондрат будет так же в бригаде Туманова.

И Алеша тогда спросил:

— Кондрат! Ты правду сказал — не уйдешь из бригады?

— Железно!

— Тогда давай руку.

— На!

— Вот тебе мое слово, Кондрат: не уйду я от тракторов, пока не буду управлять по радио. Мы будем управлять.

— Давай, Алеша. Делай! Кондрат за тобой — в огонь и в воду, в пыль и в грязь.

Этот разговор произошел не очень-то давно, месяца два назад. Тогда, на следующий день, Кондрат возил комбайн на уборке, Алеша

был в будке и занимался, готовясь к сессии. Подъехала «Победа». Из нее вышли агроном и председатель колхоза. Они подошли к дверце будки, спросили, на каком участке Туманов, и уехали. За всю неделю это первые люди с «большой земли». Они ни о чем не поговорили с Алешей, ни о чем не спросили русоволосого плотного паренька. И так всегда: почти никакого контроля, но и никакого внимания. Вечером на пересмене Кондрат узнал, что были здесь люди, которые отвечают перед народом за хлеб и землю, но не подошли к трактору, не удостоили вниманием Алешу, его друга и будущего инженера-механика. Кондрат ударил картузом о землю, несмотря на ясную и теплую погоду, и выпалил:

— Где же у них совесть, едрена мышь?!

Вот что вспомнил Алеша в кабине трактора.

…Сентябрьские ночи длинные. Борозда тоже длинная. Пролегла она через всю ночь. Алеша не отнимает ладони от рукоятки и вспоминает. И много думает. И мечтает. Он даже видит будущее, этот милый чумазый парень. А Кондрат теперь спит. Он лежит всегда навзничь, раскинув руки, по-богатырски.

Но вот занялась заря. На востоке сначала появилась легкая пленка над горизонтом, и там же звезды стали проваливаться в небо, удаляясь и растаивая, как снежинки первозимья. Свет фар смешался с рассветом, и все стало неясно — и вблизи и вдали. В такие часы надо быть очень осторожным и внимательным: при плохой видимости недолго и огрех сделать и в яр завалиться (было такое с Алешей на первых порах). Чем темнее ночь, тем лучше работать «под фары». С рассветом же нужен глаз да глаз. А спать хочется.

Как хочется спать!.. Трактор урчит и урчит где-то уже под Алешей и чуть позади. Повизгивает все тот же ленивец-«работяга» под погромыхивание гусениц, ритмично рокочет выхлопная — «мадам». Хочется спать: борозда уже почти не ползет под трактор — она то вздрагивает, то, кажется, уходит в сторону. Алеша останавливает трактор, выскакивает из кабины, раздевается до пояса и в сентябрьском предутреннем холоде делает гимнастику. Так лучше всего отогнать сон. И снова пашет, уже с выключенными фарами.

Сбоку трактора, откуда ни возьмись, сел на задние лапки заяц и спокойно умывается, косой, не обращая внимания на машину. Он привык к ней, она его не беспокоит. Даже волк иной раз проходит

около трактора, не проявляя никаких признаков беспокойства. Звери считают трактор самым мирным, хотя и могучим существом.

Солнце взошло по-осеннему холодное и желтое. Не поют жаворонки — их уже нет. Не слышно и не видно людей в степи. И вдруг запел бархатный баритон: «Ой, ты, степь, ты, степь! Степь широкая…» То Кондрат отметил начало нового дня.

# Агрономы

Новый человек — редкий гость в тракторном отряде. Любого приезжего трактористы видят слету и с одного взгляда решают, получится ли польза от этого человека или он зря приехал. Потом, конечно, несколько дней будут обсуждать посетителя: какой у него плащ, как он говорит, как ходит. Всего по косточкам разберут.

В один из летних дней агроном Федор Иванович и тракторист Степа сидели на краю глубокой борозды. Федор Иванович слушал, а Степа рассказывал. Степа был человек веселого нрава и на язык острый.

«Года два прошло с тех пор, — рассказывал Степа. — Работал я тогда на „ХТЗ“. Известно, трактор дряхлый. Вот он и стал, по старости, метров за тридцать от дороги так, что ко мне надо идти через пашню. Стою — мозгую: какую внутреннюю или наружную боль лечить у старца? Смотрю, остановилась на дороге легковичка. Вылезает из нее женщина с портфельчиком. Средних лет женщина, канцелярской закваски. Ну, шляпка на ней, конечно. — Тут Степа ухмыльнулся, прищурил глаз и надвинул на него уголок козырька, чтобы не терять серьезности. — Да. Подошла к пашне и кричит:

— Тракторист! Товарищ тракторист!

— Рад стараться! — кричу ей в ответ.

— Подойди-ка сюда!

— А вы кто будете?

— Я, — говорит, — из областного управления сельского хозяйства: агроном.

— Тогда, — отвечаю, — можно. А вы по какому делу?

— По зяби-и!

— По зяби — можно. Вот сейчас налажу трактор и тогда — сию минуту!

Поняла она, что я к ней вряд ли пойду. Вижу: наступила на пашню, попробовала ногой, трошки постояла и тронулась ко мне решительным шагом. Тут-то и обратил я внимание, что на ногах-то у нее туфельки с худыми носами и совсем без пяток».

— Босоножки, — пояснил Федор Иванович.

«Идет агрономша ко мне, а у нее из носочков земля прыщет: свирк! свирк! Полны-ы туфельки земли! Подходит она ко мне. Смотрю я на ее обуву и говорю:

— С такой-то сбруей по зяби негоже ездить.

— А тебе, — говорит, — трудно было подойти?

— Извиняюсь! Не учел обмундирования.

Она, конечно, все всерьез принимает. Я — тоже, вполне серьезно. Дело выясняется, что она едет по проверке данных: в райзо — одни данные по зяби, а в МТС — другие. Вроде бы ей задание — выяснить, кто лучше сводки делает: райзо или МТС.

— Я, — говорит, — проверяю эти сводки. Нет у вас в районе правильного учета. Вот, беру на выборку. За вашим отрядом значится семьсот гектаров. Правильно это?

— Нет, — отвечаю. — Мы запахали шестьсот.

Тут она ухватилась за голову и, скажи, ну прямо пропела, как Сильва:

— Ой, ой, ой! Третья цифра получается!

— А что ж, — подтверждаю, — и получается. Один пашет, а трое учитывают. А вам, как я понимаю, требуется не то, сколько я спахал, а то, кто обо мне правильную сводку дал.

Посмотрела она на меня критически и возражает:

— Мне сейчас не до рассуждений.

Я это присматриваюсь на ее руки и вижу: пятнышко на среднем пальце вдавлено и чернильное окружье вокруг этого пятна. Пишет много, думаю про себя. И ручка не совсем удовлетворительная — пачкает. Разговариваем мы таким манером, а я тем временем трактор лажу. Неполадки, к счастью, оказались пустяковыми — отказали две свечи. Я одну — „на разрыв“ поставил, другую заменил. И делаю вид, что мне надо ехать. В заключение говорю ей:

— Никому дела нет, как я спахал. А вот спрошу-ка вас: почему у меня, на плуг каменюка в три пуда навалена?

— А ведь и правда! Зачем?

Отвечаю ей:

— Хоть вы и не заметили той каменюки, а она является фактом. Плуга нет настоящего на „ХТЗ“. Половина тракторов этой марки не пашет зяби по этой причине. Вот это — плуг старый, ему в субботу сто лет: не навали груз — не спашешь. А я ухитряюсь давать качество.

Тут я завел трактор и поехал. Оглянулся назад: стоит она и вслед мне смотрит. Право слово, мне даже жалко ее стало: может быть, думаю, человек учился в институте, а пропадает ни за грош. И на каменюку внимания не обратила и глубину не смерила. Ни укорила, ни похвалила. Одним словом, отставший от жизни человек».

Степа безнадёжно махнул рукой.

— А как ее фамилия? — спросил Федор Иванович.

— Неизвестно. Прозвали ее в отряде «Сильва».

— И не видел ее больше ни разу?

— Нет. А хорошо бы увидеть. Где-то она теперь.

— Кто ж ее знает, — ответил Федор Иванович. Он помолчал немного и сказал — да-а… Плохо, Степа, если такие «Сильвы» иногда попадают «по разверстке» в МТС. Женского они рода или мужского — все равно плохо.

— Я так понимаю, — сказал Степа, — партия говорит, чтобы агрономов из канцелярии — в поле! А какой-нибудь начальник сидит и соображает: «Себе-то надо оставить хороших, а „Сильву“ — в поле».

— Возможно, — неопределенно сказал Федор Иванович.

Оба помолчали, прислушиваясь к звуку трактора «У-2». На нем работал подсменный Степы. Но оба, видимо, думали об одном и том же.

— А эта девочка, что из института недавно приехала, как она? — спросил Степа.

— Тося?

— Ага. Выйдет из нее агроном? Больно уж она молода. Прямо девочка.

— А тебе сколько лет?

— Мне? — удивился Степа. — Двадцать три!

— И ей — двадцать три: ровесники.

— Ишь, ты! А вроде бы совсем молодая.

— Я тоже был молодым агрономом. Как и Тося…

Степа смотрел на Федора Ивановича и никак не мог себе представить его молодым, да еще таким, как Тося. Он снова надвинул козырек на глаз, ухмыльнулся и сказал:

— Э, нет! Не такой вы были, Федор Иванович, как Тося. Вы вот сидите и обсуждаете со мной «Сильву» и все прочее. Одним словом, душевный разговор. А спаши я плохо — вы мне душу вытрясете.

— Помнишь все-таки?

Оба улыбнулись, вспоминая какой-то случай «с вытрясанием души».

— Кончишь сегодня рыхлить кориандр? — спросил Федор Иванович.

— Надо бы кончить.

— Перед вечером пришлю для проверки Тосю.

Тося быстро шагала через картофельное поле. В короткой юбке, в синей кофточке-безрукавке, без чулок — в одних сандалиях, загорелая, невысокая, она издали и вправду казалась Федору Ивановичу девочкой. Она, запыхавшись, подошла к нему и горячо заговорила:

— Федор Иванович! Через паровое поле была когда-то дорога. Ее вспахали. Теперь там надо было заборонить. А они никак не хотели проборонить дорогу. Никак не хотели! А она засохнет глыбами — нельзя будет сеять.

— Кто они?

— Да трактористы! Я говорю — надо. А они говорят, указания не было. Я говорю, даю вам указание — заборонить. Смеются. «За так, — говорят, — ради уважения можем сделать, но — после». Я доказывала, доказывала, а потом рассердилась и сказала: «Совести у вас нет. Народ за каждый куст картошки болеет душой, а вы целый гектар губите».

— Так, так! Отлично, Тося!

— А потом села рядом с трактористом на крыло трактора и прямо говорю: «Поехали!»

— Ну и что же? Поехали?

— Заборонили. — Она обмахнула лицо платком. — Заборонили, — повторила она и замолчала. — Только если так всегда будет, то это невыносимо.

— Откуда такая мрачность? — спросил Федор Иванович, и в глазах у него мелькнула улыбка.

— Вот ни говорите — «непримиримость — главное достоинство агронома». Это легко сказать. А они не слушают. «Девчо-онка!», — протянула она иронически. — Это очень, очень трудно быть молодым агрономом.

Тося заметала улыбку Федора Ивановича, и губы у нее задрожали.

— Вот и вы смеетесь, — обиженно сказала она и отвернулась. Плечи ее вздрогнули. — Каждый день, каждый день… — но что Тося хотела сказать, было непонятно: слезы не давали ей говорить.

«Плачет, — подумал Федор Иванович. — Или уж и в самом деле не женская эта работа — агрономия?»

— Ну полно, не надо расстраиваться, — сказал он. — Непримиримость — непримиримостью, а реветь-то не надо.

Тося повернула к нему заплаканное лицо и вытерла глаза.

— Я, наверно, не гожусь в агрономы, — тихо сказала она.

Федор Иванович посмотрел на нее и неожиданно сказал;

— Хотите, я расскажу вам про «Сильву»?

— Я видела на сцене, — ответила она удивившись.

— Все-таки послушайте.

Они присели у копны люцернового сена, и Федор Иванович повторил рассказ Степы. Тося повеселела, но все еще молчала. Федор Иванович говорил:

— Такие вот «Сильвы» тоже считают себя агрономами, а к плугу боятся подойти. Знал я одного такого мужчину — «Сильву». В белых брюках и желтых полуботинках… боялся ходить по жнивью, чтобы не запачкаться.

— Разные бывают агрономы, — сказала Тося. — Вот вы — агроном, и я — агроном. Вам легко, а мне трудно. Попробовали бы на моем месте!

Федор Иванович задумался. Он снял фуражку. Седина заблестела на солнце. Он смотрел вдаль, в поле, туда, где колыхалось марево.

Старый и молодой агрономы сидели на стыке трех полей: здесь тихонько шушукался овес, почти неслышно шелестела ботва картофеля, пахло сеном, и над всем этим простиралось бескрайнее небо, заполненное редкими облачками-барашками.

— Да, — сказал, наконец, Федор Иванович, — разные бывают агрономы. По биографии агрономов можно разделить на три категории. Одни — сначала учатся в институте, а потом работают в поле.

— Это — я? — спросила Тося.

— Ну хорошо, пусть вы… Другие — «доучиваются», не уходя с поля: это больше народ пожилой, с серебром в волосах. Идут они от среднего образования к высшему заочно или самостоятельно, в

одиночку. Это «киты» колхозных полей: глянул — и все видит до тонкости.

— Это вы про себя, — решила Тося. — Вы «кит».

— Их много, — уклончиво сказал Федор Иванович. — Такие хорошо помнят беспокойные ночи над первой картой первого колхоза. Помнят первые борозды первых тракторов. А кое-кто помнит и свист кулацкой пули… — Федор Иванович говорил все тише. — Это было тогда, когда вас еще и на свете не было. Любят такие агрономы свою землю, и запах ее знают хорошо, пропитались им насквозь; любят свои колхозы, которые они создавали и растили, Редко кто из них выразит это чувство, но оно есть у каждого такого агронома. Есть! Потому, что у тех, кто общается с природой, никогда не наступит «профессиональное» притупление. Благо тому, Тося, кто и с седыми волосами умеет радоваться каждому восходу солнца, кто сам волнуется, когда волнуется тридцатицентнеровая пшеница. Благо тому, кто каждый день живет под этим небом.

Федор Иванович вздохнул.

Тося смотрела на Федора Ивановича в упор, не стесняясь. Она не заметила, как взяла его за рукав гимнастерки в слушала, боясь проронить слово.

— Нам, старикам, было труднее. И мы не плакали. Боролись за каждый пуд хлеба. И вот — кто верил, тот остался в колхозе, а кто не верил — ушел из деревни. И, прямо скажу, некоторые из этих маловеров нами же и «руководили» из земельных отделов.

Это были сокровенные мысли Федора Ивановича. Тося удивлялась: как это он ей, «девчонке», говорит такое.

— Наконец, о третьей категории, — сказал Федор Иванович. — Эти сначала работают на колхозном поле, потом едут учиться, потом снова работают в поле. Такие агрономы стоят на земле прочно, по-хозяйски. Уходили они с поля для того, чтобы вернуться и переделать его. Таких агрономов много.

Тося вздохнула и опустила голову. Ведь это она сказала Федору Ивановичу: «Попробовали бы на моем месте». Краска бросилась ей в лицо.

Федор Иванович встал:

— Засиделись мы с вами. А теперь — вам задании. Побывайте на обработке кориандра у Степы, посмотрите качество — он сегодня

кончит рыхление. Боюсь, что заедет на подсолнечник: не был я в том поле несколько дней — не высок ли стал, не поломаем ли его культиватором? Все просмотрите по-хозяйски. За решением не приходите. Сами решайте на месте.

Федор Иванович пошел к дрожкам, что ожидали его у лесной полосы. Тося посмотрела ему вслед. Шел он спокойной, чуть развалистой походкой, немного сутуловатый. И Тосе представилось, что вот так же он скоро уйдет совсем, навсегда. Она знала, что райком партии рекомендует Федора Ивановича председателем самого отсталого в районе колхоза, знала, что он дал согласие. Но до этой минуты ни разу не подумала, что скоро она уже не будет встречаться с ним ежедневно, что останется одна, и на ее плечи ляжет вся агротехника колхоза. И вдруг ей стало до слез жаль расставаться с Федором Ивановичем.

Солнце перевалило за «полдник». Это — около пяти часов дня, когда полевые люди едят третий раз, между обедом и ужином. До конца работы оставалось еще четыре-пять часов.

На кориандре Тося уже не застала трактора — рыхление было окончено. Она прошла по полю, посмотрела: не придерешься. По урчанию трактора догадалась, что культиватор заехал на подсолнечник. Она вскоре была там.

Трактор — с культиватором сделал всего лишь второй ход, и был от Тоси метров за триста, продвигаясь в ее сторону. Тося пошла по первому ходу навстречу трактору, присматриваясь к подсолнечнику. Все чаще попадались поломанные стебли. Тося осмотрела междурядья. Там, где еще не проходил культиватор, сорняков не было, почва — рыхлая: никакой надобности в рыхлении не было.

Степа подъехал на тракторе, но не остановился, а помахал фуражкой и крикнул:

— Агроному от тракториста — пламенный!

Тося пошла за культиватором. Подсолнечник был уже чуть выше переднего бруса культиватора. Стебли шуршали, застревая, наклонялись. Изредка потрескивали ломающиеся будылья. «Послушает ли он меня?» — беспокоилась Тося.

На краю плантации Степа начал разворот для нового заезда. Но Тося сделала знак рукой — остановить трактор. Степа остановил, но

мотора не заглушил, а спрыгнул и выпалил:

— Ожидаю указаний по вопросу качества.

— Глуши трактор, — спокойно сказала Тося. Но спокойной она была только внешне.

— Извиняюсь: по какой такой причине?

— Подсолнечник скоро зацветать будет, а ты ломать заехал.

— А кто план будет выполнять на «У-2»?

Тося ничего не ответила. Она смотрела в сторону, давая понять, что разговор окончен. Степа в долгу не остался — он тоже посмотрел в сторону и запел:

Сильва, ты меня не любишь,
Сильва, ты меня погубишь…

Степа, конечно, не подозревал, что Тося знает историю с «Сильвой». Мнение свое он выражал арией, но, собственно, для самого себя: знаем, дескать, таких! Так с этой арией он и влез на сиденье трактора, чтобы продолжать работу. Но вдруг у него расширились от удивления глаза: голова Тоси оказалась над пробкой радиатора! Она стояла перед трактором и смотрела на Степу. Но как смотрела! Брови сошлись, губы сжались так плотно, что ямочки на щеках стали глубокими и четкими.

Степа толкнул рычажок дроссельной заслонки, сбавил газ до отказа и заглушил трактор. Стало тихо. Но Тося все смотрела на Степу не отрываясь.

— Долго так будем? — спросил он, растерявшись, но все еще усмехаясь.

— Тебе не стыдно? — тихо спросила она. — Какая это я «Сильва»?

Степа молчал. Он повертел головой, будто почесал шею о воротник комбинезона.

— Ради плана культивируешь, для сводки? — спросила Тося и вдруг почти выкрикнула: — Ты и есть «Сильва»!

Степа прирос к сиденью. Хотел было сказать «долго так будем?», да язык не повернулся. Он искренне желал провалиться сквозь землю

вместе с трактором, но и этой возможности не было. Оставалось одно — ждать, когда она заговорит. И, правда, вскоре она заговорила:

— Что стоишь, как истукан? Ехал бы к будке. Завтра на силосорезке работать.

— Понимаете, Тося. Ой, простите! Вас как зовут? — виновато спросил он.

— Ну правильно: Тося.

— Да нет, по отчеству как?

— А на что? Адреса мне не писать.

— Понимаете, товарищ агроном…

— Ну вот, теперь «товарищ».

— А что, можно и «товарищ»: мы ровесники.

— А откуда вы знаете? — перешла она на вы.

— А вот и знаю: двадцать три.

— И вам?

— И мне. Чудеса, мои мамушки! — повеселел Степа. — Понимаете, Тося, в чем дело. Все тракторные бригады оказываются в дурацком положении: на «У-2» дают план в гектарах мягкой пахоты больше, чем на мощный дизельный. Ведь как планируют, Тося! В одно и тоже время этому тракторенку дают и прополку, и силос, и сортирование на «ВИМ-2». Там сделаешь — тут опоздаешь. А план требуют. Директор говорит — «шкуру долой», если плана не выполнит бригада. Директор тоже вроде бы не виноват: ему сверху план дают на «У-2». — Степа спланировал ладонью сверху вниз, показывая, откуда, как и с какими колебаниями идет план на его «тракторенка». — Они, эти планировщики, обманывают государство, а мы… вот видите… обманываем планировщиков.

— Никого обманывать не надо. От этого урожая не прибавится, — примирительно сказала Тося.

— Все! — сказал Степа и стукнул ладонью по баку.

— Не поедете больше в подсолнух?

— Раз указание от агронома есть, значит — все!

— До свиданья! — Тося кивнула, повернулась и пошла в деревню.

Степа сидел на тракторе и смотрел ей вслед. Потом он снял фуражку, вонзил пятерню в растрепанные волосы и, продолжая следить за Тосей, сказал:

— Эта «даст жизни»!

Тося шла напрямик, без дороги. Так позволительно ходить по посевам только агрономам.

# Соседи

Пожалуй, не каждый в селе скажет, где живет Макар Петрович Лучков. Но только произнеси «Макар-Горчица» — любой младенец укажет путь к его хате. Почему такое прозвище ему дано, не сразу сообразишь, но колхозник он по всем статьям приметный. Главное, работает честно. Пьянства за ним никогда не замечалось, но годовые праздники он справляет хорошо, прямо скажем, совсем не так, чтобы лизнул сто грамм — да и язык за щеку. Нет. Например, за первое и второе красное число майского праздника литра три-четыре самогонки он ликвидировал полностью. При этом говаривал так: «Попить ее, нечистую, всю, пока милиционер не нанюхал». И, правда, выпивал всю. Однако сам Макар Петрович никогда самогонки не гнал, а обменивал на свеклу без каких-либо денежных расходов. В компанию большей частью он приглашал соседа, Павла Ефимыча Птахина. В таком случае он говорил жене Софье Сергеевне:

— Сергевна-а! Покличь-ка Пашку-Помидора.

Та никогда не перечила — знала, что раз праздничное дело, то Макар обязан «попить все». Павел Ефимыч приходил. Приносил с собою либо бутыль, либо кувшин, заткнутый душистым сеном или чебрецом, завернутым в чистую тряпицу, и говорил степенно и басисто:

— С праздником, Макар Петрович!

Он ставил кувшин на лавку, снимал фуражку, разглаживал обеими руками белесые волосы, заправлял украинские усы, но пока еще не садился.

— С праздником, Пал Ефимыч! — отвечал Макар Петрович. — А что это ты принес, Пал Ефимыч? — спрашивал он, указывая на кувшин.

В ответ на это Павел Ефимыч щелкал себя по горлу и, широко улыбаясь, добавлял:

— Своего изделия.

— А-а!.. Ну, милости просим!

После этого Павел Ефимыч садился за стол. Они пили медленно, долго. Два дня пили. Ложились спать, вставали и снова сходились.

Начиналось это обычно после торжественного заседания, на которое, к слову сказать, ни тот, ни другой никогда не приходили выпивши. Наоборот, там они всегда сидели рядом в полной трезвости, следили за всем происходящим внимательно, с удовольствием слушали хор или смотрели постановку, а уходили оттуда уже в праздничном настроении.

Надо заметить также, что никто из них никогда пьяным не валялся. А так: чувствуют — захмелели, — переждут, побеседуют, попоют согласно, потом продолжают, но опять же по норме. По при обсуждении любых вопросов они оба избегали в эти дни говорить о большой политике, даже если это приходилось косвенно к разговору. Иной раз, правда, Макар Петрович и расходится:

— Я, Пал Ефимыч, пятнадцать лет работаю конюхом. Понимаешь: пятнадцать! — Он поднимал палец вверх, вздергивал волосатые брови, наклонял голову, будто удивившись, и сердито продолжал: — Были председатели за это время разные, но такого… Ты ж понимаешь, Пал Ефимыч, какое дело: конопли на путы не могут приобрести — из осоки вью путы. А? Свил сегодня, а через три дня оно порвалось. Я этих пут повил тыщи — счету нет. И просил, и говорил, и на заседании объявлял им прямо: «Что ж вы, говорю, так и так, не понимаете, что в ночном без пута — не лошадь, а обыкновенная скотина. Я ж, говорю, все посевы могу потоптать». Где там! Не берут во внимание..

— Не берут? Ай-яй-яй! — поддерживал Павел Ефимыч.

— А вот если я, — горячился Макар Петрович, — напишу в центр: так и так, мол, из осоки заставляют путы пить, не могут гектара конопли посеять. Знаешь, что ему будет?

— Кому?

— Да председателю.

— А что ему будет, Макар Петрович? Он мужик неплохой.

— Осоковым путом да вдоль…

— Эге, Макар Петрович! Мы с тобой уговор имеем — при выпивке о политике ни-ни! А ты — в центр. Об этом надо в трезвости.

— И то правда, — успокаивался Макар Петрович.

Одним словом, в праздничные дни никаких разногласий у них не было. Даже если и возникал какой-нибудь спор (чаще со стороны Макара Петровича), то прекращался он как-то неожиданно.

— Ну об чем речь, Макар Петрович? — скажет Павел Ефимыч. — Да разве ж нам в такой праздник перечить друг другу? А?

Тогда Макар Петрович вдруг встряхивал головой, закрывал глаза и затягивал сразу на высокой ноте:

— Шу-умел ка-амы-ыш, де… (тут он делал короткую паузу и набирал полные легкие воздуха)… ре-е-евья гну-у-улись!

А Павел Ефимыч склонял голову набок и подхватывал:

— … де-е-еревья гн-ну-улись…

Люди услышат такое и говорят промежду собою: «Вот, дескать, по-соседски живут. Добрые соседи — Макар-Горчица и Пашка-Помидор. Добрые!»

Но как ни говорите, а это все одна сторона жизни. А вообще-то во многом у них с Павлом Ефимычем разница. И большая разница: и по характеру и по хозяйству. И к председателю колхоза относятся по-разному, что, как мы уже заметили, проскальзывает даже при выпивке, несмотря на обоюдный уговор.

И лицом они разные.

Макар Петрович усов не носит. Нос у него длинный, глаза чистые, светлые, прямодушные, а брови волосатые. Так что, если вы его встретите первый раз, то из-за своих бровей он покажется суровым; а взгляните ему в глаза получше — и вы сразу скажете: «Чистая душа — человек». И по обувке его можно приметить: на нем всегда сапоги сорок пятого номера, потому что ни в валенках, ни в ботинках в конюшне или в ночном работать не будешь. Росту он высокого, чуть сутуловатый и весь какой-то костистый, — сразу видно, что кость у него прочная, выносливая; на такую кость чорт знает что можно навалить — выдержит. Нет, если разобраться до тонкости, то, ей-богу же, ничуть не зазорно, что Макар Петрович два дня в году пьет по-настоящему за все свои остальные трудовые дни.

Павел же Ефимыч, наоборот, усы, как уже известно, носит по-украински, а бороду бреет; глаза у него остренькие, серые, хитроватые, брови жиденькие; лицо круглое, красное, можно сказать, сдобное. За такое обличье он и прозвище получил в юности — «Помидор». Весь он какой-то круглый со всех сторон. Думается, положи ему мешок на плечи — соскочит. И руки у него не такие крупные, как у Макара Петровича. И обувается не так, как Макар Петрович: летом — ботинки солдатского покроя, зашнурованные ремешком, а зимой — валенки.

Кроме всего прочего, Павел Ефимыч совсем не курит, а Макар Петрович никогда не расстается с трубкой.

Теперь о хозяйстве. Главное, конечно, — корова. Корова была и у того и у другого. Но это очень и очень разные животные.

У Макара Петровича коровенка немудрящая. Ростом — подумаешь: телушка; длинношерстая, пузатая, но все-таки особенная. Не по молоку особенная, а по характеру. Иной раз взберется по навозной горке к самой крыше сарая, станет под солнышком и, пережевывая жвачку, смотрит на окружающий мир. Иногда ляжет на теплом навозе, который свален в кучу для кизяков. Ляжет там и шумно пыхтит, закрывши глаза. Однако, если ее испугать — крикнуть или свистнуть, — то она бешено вскакивает и во всю мочь мчится, задравши хвост, вниз и дальше. В общем, корова нервная, с телячьим характером, — бывают такие коровы, хотя, правда, и редко. Сергеевна доила эту корову, только спутав ей ноги. Иначе, если и надоит какую пару литров молока, то коровенка обязательно разольет его одним выбрыком.

У Павла Ефимыча корова была самая обыкновенная: молока давала много, на навозную кучу не лазила, а по характеру была такая, что даже от ружейного выстрела не вильнет хвостом. Ну просто — корова, в ней только и интересу — молоко. Может, конечно, кто-нибудь скажет, что это и есть главный интерес в корове — молоко. Так-то оно так, но не всегда. Более того, в этом самом вопросе между соседями были довольно большие расхождения.

Сидели как-то наши добрые соседи на завалинке рядом. День был воскресный. А в такие дни они частенько беседовали меж собою не только о каких-нибудь мелочах, а и о политике, и о коровах вообще, и о том, какой главный интерес в корове, в частности. Тут шел душевный разговор. Так было и в тот день. Макар Петрович подошел к хате Павла Ефимыча и сказал:

— Сидишь, значит.

— Сижу. Гуляй со мной.

— И то правда — отдохнуть. — Он сел и первым делом начал набивать трубку самосадом.

— И что ты ее, Макар Петрович, сосешь, непутевую? — спросил Павел Ефимыч. — Курил бы хоть цыгарку. А то — ишь ты! — сипит, как форсунка.

Правда, когда Макар Петрович посасывал трубку, то она действительно «сипела». Но он возражал так:

— А что? То сипит смак, есенец самый. (Он иногда любил вставлять ловкие, по его мнению, словечки.) А что насчет цыгарки говоришь, то по душам скажу: не накурюсь я ею досыта.

— А не все равно?

— Э, не-ет. Цыгарка, та берет одну поверхность. А из трубки потяну: чувствую, берет. Если же еще приглотнуть малость, то и вовсе хорошо, бере-ет! То есть самый витамин из трубки доходит, чувствую.

— Ну, кури, — согласился Павел Ефимыч. — Кури, раз душа требует. Само собой: кому что идет. Вот финагент наш тоже трубку курит.

Слово «финагент» сразу навело собеседников на размышления. Макар Петрович приглотнул из трубки и заговорил, будто продолжая когда-то начатый разговор:

— Дак вот я — о коровах. Это ж, получается неправильно… И моя корова, по-ихнему, дает доход в три тысячи и твоя. И я за нее плати четыреста налогу, и ты за свою — четыреста. Возражаю. Это политически неправильно.

— А ты заведи хорошую, ярославку, как у меня.

— Э, нет, Пал Ефимыч. Я докажу. Я, может, и сам понимаю, что моя корова не соответствует действительности. Так. Но учти: ни свет ни заря я ухожу на конюшню, а затемно прихожу домой. Если же еду в ночное, то забегаю только поужинать. Сергевна тоже: раненько — в колхоз, а домой — вместе со стадом. Кто будет держать уход за хорошей коровой? Некому. Девку замуж отдал, парень на сверхсрочную остался.

— А я что ж, по-твоему, не работаю в колхозе? — уже хмурился Павел Ефимыч.

— Работаешь, слов нет. Но ты же, Пал Ефимыч, даже от ездовой должности отказался — без коней на работу ходишь.

— А как же? У меня хозяйство — корова, овчонки, куры, свинка, пчелки. Кто ж будет ухаживать?

— Нет, Пал Ефимыч. Это в корне не верно. Аленка у тебя прицепщица, Володька — на элеваторе, на зарплате, сам — хочешь выйдешь на работу, хочешь — нет. Баба — до минимума дошла, и хорошо.

— Это как то есть?

— А так: в хозяйство больше вникаешь. У тебя курс в личное дело.

— А ты дай мне десять рублей на трудодень. Может, я тогда…

— А где я тебе их возьму? — уже слегка горячился Макар Петрович.

— Не ты, а они.

— Кто — они?

— Ну, правление, что ли… Тот же председатель.

— Дак это ж мы и есть! — воскликнул Макар Петрович и еще энергичнее потянул из трубки. — Все гуртом если, как один, на работу, тогда, может, и трудодень будет прочный.

— Будет! Держи карман шире, — осаживал Павел Ефимыч. — А тут, — он показал пальцем через плечо, во двор, — тут дело надежное. А налог — что? Купи хорошую корову — оправдает… Слов нет, налог, конечно, большой.

— Да мне больше четырех литров молока и не требуется. Зато моя корова — золотая по выносливости. Она и под кручу к речке сама спустится, напьется, сама же и выскочит обратно наверх и — во двор. А твоей надо носить воду за полкилометра.

Но Макар Петрович чувствовал, что говорит совсем не то, что надо, и от этого еще больше горячился. Однако настоящих слов для опровержения соседа не находил. К тому же, откуда ни возьмись, подошел финагент Слепушкин.

— Здорово были, соседушки! — поздоровался он и сразу раскрыл записную книжку. — До вас, Макар Петрович. Должок по налогу значится — триста.

А Макар Петрович и так уже был не в себе.

— Ты мою корову видал? — спросил он с сердцем. — За что я плачу? Она сама стоит семьсот, а за нее налогу четыреста. Аль вы не понимаете самого коренного вопроса?

— Не наше дело политику переиначивать. Не нужна корова — продай. Мы должны личное хозяйство того… к уклону. И налогу будет меньше.

— Налог того… — вздохнул Павел Ефимыч. — Трудноват, конечно. Ну я-то расплатился.

— А я возражаю! — закричал Макар Петрович. — Понимания у тебя, товарищ Слепушкин, нету.

— Я что… Мое дело — взыскать.

— А! Взыскать! Ну взыщи, взыщи. Где я тебе столько денег возьму?

— Не знаю. Это не мое дело, а твое.

— Я тоже не знаю. Почему мало денег на трудодни дают? Я день и ночь работаю в колхозе. Я пятнадцать лет у коней живу.

— Вот я и говорю, — вмешался Павел Ефимыч. — Если на трудодень надежи нету, то без хозяйства нельзя.

— Как это так надежи нету? — рассердился Макар Петрович. — Не в том дело. Председатель наш не соответствует действительности. Настоящего надо выбирать.

— Ну, это ты далеко заходишь! — возразил Павел Ефимыч, посматривая, однако, на Слепушкина. Он при этом подумал: «Передаст еще наш разговор председателю — хлопот не оберешься и отношение может попортиться».

— Не-ет. Не далеко захожу, а в самый раз. Ты ж понимаешь, товарищ Слепушкин: пута — несчастного пута! — не может организовать, вью из осоки. Разве ж с ним будет трудодень! — Макар стучал трубкой по ладони и говорил все горячее. — Я по любой подводе — приезжай она за сто километров — председателя узнаю. Узда хорошая, сбруя хорошая, путо на грядке привязано дельное — значит и председатель того колхоза дельный. А у меня сердце разрывается, когда я начну лошадей обратывать в тряпичные узды да осоковые путы вязать. Не можно так дальше! — воскликнул он. — Где я возьму, Слепушкин, денег? Негде.

Макар замолк неожиданно и засипел трубкой. Слепушкин не наседал — знал, что Макар заплатит, — и тоже молчал и сосал трубку, но с удивительным спокойствием. А Павел Ефимыч кряхтел и потирал бока. Так же неожиданно Макар Петрович сказал:

— Заплачу. Нельзя не платить, сам понимаешь.

— А говоришь — где деньги взять? — уже с улыбкой сказал Слепушкин.

— Это не твое дело, а мое, — угрюмо ответил Макар Петрович.

— А и правда, Макар. Где ж ты столько денег возьмешь? — участливо спросил Павел Ефимыч.

— Я свою обязанность нутрем сознаю… должен я найти.

— То правильно. Хозяин знает, где гвоздь забить, — согласился сосед.

— Знаю. Конечно, знаю. По только, — он выпрямился, стукнул трубкой о колено так, что посыпалась зола с искрами, — только неправильно это. В корне неверно: и за мою корову четыреста, и за твою столько же, да прибавь еще за усадьбу. Ты, Пал Ефимыч, не обижайся. Но это вопрос самого главного интересу в корове.

Павел Ефимыч и правда задумался. Посидел, посидел и говорит:

— А кто ее знает… Оно, наверно, неправильно. Но ты ж не Верховный Совет?

— Как так — не Верховный? Я — народ. Мы это понимаем. И там понимают. — При этом Макар Петрович указал вверх трубкой. — Должны они правильную линию надумать. Там люди-то — во какие головы! — Он растопырил руки над головой и добавил: — Ум! Если туда написать все это, товарищ Слепушкин, то поймут, ей-бо, поймут.

Но Слепушкин встал, попрощался и ушел, не говоря ни слова: он, видимо, боялся дальнейшего углубления вопроса. «Макар-Горчица наговорит, — подумал он. — Макар и секретарю обкома скажет, что захочет. С ним и влипнуть недолго».

А Макар Петрович продолжал свое:

— Если добавить про рваные узды да про осоковые путы — тоже поймут.

Павел Ефимыч явно не верил Макару Петровичу и тут же высказал это:

— Пока туда-сюда, то да се, а свое хозяйство надежнее… А там посмотрим.

— Ну посмотри, посмотри, — сказал Макар Петрович сердито. Он сдвинул брови, сунул трубку в карман, буркнул: — Прощевай покедова, — и ушел.

Вот так они поспорили и разошлись. Разговор, конечно, крупный, разногласия большие.

Обычно не проходило и нескольких дней, как соседи снова сходились, снова спорили и обсуждали. Но на этот раз Макар Петрович отпросился в правлении на два дня и, никому ничего не сказав, ушел ночью. Сосед вроде бы ненароком спросил у Сергеевны:

— Мужик-то где?

— В городе. Повел корову продавать.

— Корову! — ужаснулся сосед. — Продавать?!

— Продавать.

— И ты допустила?

— Обоюдно согласились.

— А как же дальше?

— А там дело покажет, — уклонилась она от прямого ответа.

Павел Ефимыч покачал, покачал головой и ушел в задумчивости, тихо разговаривая сам с собою:

— Корову продавать… Продать корову… Мыслимое ли это дело — без коровы?.. А может купит хорошую?.. Да где он денег-то возьмет!.. А? Как это так — продать корову!

Тем временем Макар Петрович продавал корову на базаре. Один базар прошел — никто не купил. Вывел на второй базар. Продавал он ее прямо-таки артистически.

— Ты подумай, — говорил он покупателю, такому же, как и он, костистому колхознику, но с окладистой бородой, — это ж не корова, а мысль! Корму ей — горстку, теплого не пьет — давай из речки или прямо колодезную, ключевую; холод ей нипочем. С такой коровой всей семьей в колхозе будешь работать, а молочка — само мало — четыре-пять литров в день. Молоко жирное… Смотри хвост — перхоть желтая! Ребром прочная. Корова ласковая, правильная корова: двор знает, шататься не любит. И не то чтобы тугососая, а в самый раз для бабьих пальцев сиськи приделаны. В самый раз. Все статьи правильные. Я бы ее ни в жисть не продал, но финансовый мой вопрос не соответствует действительности.

А покупатель ходил вокруг коровы, щупал ее, гладил. Он уходил и снова возвращался, снова щупал и все повторял одно и то же:

— Не омманешь — не продашь… Не омманешь — не продашь…

Макар Петрович не возражал против такой базарной истины и говорил:

— Смотри сам! Свой глазок — смотрок, своя рука — правда. Рукой не пощупаешь да глазами не полупаешь — молочка не покушаешь.

Такие слова действовали на покупателя положительно. Он наконец решился приступить к пробе доения — самому важному во

всей процедуре купли-продажи коровы. Тут совсем не то, как, скажем, купить автомобиль. Там так: паспорт сунул в карман, и давай газ. А тут — извините! Животное со своим индивидуальным характером, который может и соответствовать, а может и, не соответствовать требованиям покупателя. И Макар Петрович понимал это отлично. Поэтому он, зная характер коровы, сказал вопросительно:

— А может, спутаем? На всякий случай. — И показал путо, но не осоковое, а настоящее конопляное.

— А зачем? — будто удивился покупатель. — Разве ж она — того?

— Да не то чтобы того, а, как говорится, все может быть… Человек ты новый и, главное, — не баба. Корова к бабе привычна. Сам знаешь, у нас с тобой дух такой есть, который корове не по нюху приходится.

— А може, без пута?..

Макар Петрович не ответил, а смотрел куда-то на чужую свинью, будто очень она ему понравилась. Покупатель же стоял в раздумье и говорил:

— Конечно, мужик — не баба, дух не тот. — Ему вдруг что-то пришло в голову. Он энергично почесал живот и произнес: — Не омманешь — не продашь. Давай без пута пробовать. Цена для меня подходяща, должон я пробовать по-всякому.

Макар Петрович гладил корову, уговаривал, заглядывал в глаза. Он чувствовал, что в решительный момент дойки она может подвести, а может и не подвести, в зависимости от настроения. И, конечно, при первой же попытке прикоснуться к соску последовал выбрык ногой…

— А она того? — ехидно спросил покупатель.

— Немножко того, — смущенно ответил Макар, опустивши руки и отдавшись весь на усмотрение покупателя. Больше ему уже нечего было говорить.

Прикоснуться к вымени корова не позволила ни разу.

— Ну давай путай, — сказал покупатель.

После того, как задние ноги коровы спутали, он начал доить. И — удивительное дело! — корова стояла, как вкопанная: привычна к путу. Молоко зажурчало струйками. Макар Петрович слушал. Жжих, жжих! Жжих, жжих!.. — звенели струи о ведро. Грустно стало Макару

Петровичу. Жжих, жжих! Жжих, жжих! — хлестало его что-то по самой душе. Он вздохнул и отвернулся, глядя на пожарную каланчу.

Покупатель напился молока, пробуя его медленно, с причмоком; при этом он, когда отрывался от ведра, смотрел в землю, будто сосредоточившись весь на ощущении вкуса. Так курильщики на базаре пробуют рассыпной самосад: затянется раз и стоит, потупившись, решая — «берег или не берет».

— Ну как? — тихо спросил Макар Петрович.

— Она хоть и того — насчет дойки, но зато молоко… скусное, ох, скусное!

— Не молоко, а форменные сливки, — уже веселее подтвердил Макар Петрович. — Ну, а насчет этого… путанья-то, как скажешь? Не купишь, наверно? — почти уныло спросил он.

— Оно, вишь, какое дело, — заговорил скороговоркой покупатель, — я тебе прямо скажу. Была у меня корова. Та, батенька мой, как зверь: ка-ак даст, даст! И ведро летит, и баба — с копыльев долой. Во какая была корова! А эта стоит, спутанная, смирно. Этак можно. Вполне выносимо. И цена подходящая, а это главное дело. Уступишь сотню — возьму корову.

Но Макар Петрович уступил только четвертную. Сладили они за семьсот рублей и по семь с полтиной на магарыч с каждого. Макар Петрович и не хотел тратить деньги на магарыч, но правила того требуют — выпили по сто пятьдесят граммов.

И вот уже поводок обрывка, накинутого на рога, оказался в руках нового хозяина. Вот он повел корову по базару. А вскоре и совсем скрылся в толпе. Но Макар Петрович, прижимая карман с деньгами, все смотрел и смотрел в гущу базара. Базар шумел. Урчали автомашины, мычали коровы, блеяли овцы, хрюкали свиньи, кричали, споря, городские торговки. Продавцы и покупатели торговались то слишком громко, с азартом, то, наоборот, почти молча, перебрасываясь односложными замечаниями. И все эти звуки сливались в общий гул. Вдруг вырвался из общего гомона поросячий визг и долго висел над толпой, пронзительный, истошный, висел до тех пор, пока новый хозяин не засунул поросенка в мешок. Зато на смену визгу взвился аккорд гармони. Невидимый гармонист ударил «Барыню», хлестнул по толпе перебором и, кажется, пошла плясовая и над головами и под ногами, подталкивая к переплясу. Какой-то подвыпивший колхозник,

видимо удачно закончив продажу, рывком положил одну ладонь на затылок, вытянул другую перед собой и забарабанил каблучной дробью так, что из-под сапог пыль полетела клубом! Макар Петрович даже и не повернул головы в сторону плясуна, хотя и был от него близко. Потом замолкла и гармонь. Базар шумел и шумел. Мощный радиорепродуктор тоже говорил в тон общему гулу, перекрывая все. Но вдруг из того же репродуктора заструились звуки хорошей, сердечной музыки. А Макар Петрович все стоял и стоял неподвижно и все смотрел и смотрел в ту сторону, куда увели его корову. Он видел громадную толпу, в которой смешались люди, лошади, коровы, автомашины… Кому какое дело до того, что Макар Петрович продал корову? Никому.

А базар все шумел. Макар Петрович стоял, опустив голову. Кто-то толкнул его мешком. Он оглянулся. Высокий и сильный парень в новеньком ватнике, сердито глядя на Макара Петровича, выразился непристойно и добавил для пояснения:

— Что стоишь на дороге? Забыл, что базар? Иль нализался?

Но Макар Петрович был совершенно трезв. Он посмотрел своими светлыми и добрыми глазами на парня, поднял мохнатые брови и сказал безутешно:

— Я, брат… корову продал…

— Видишь ты, дело-то какое! — участливо сказал парень, поставив мешок на землю, — Дошло, что ли? Или заменять думаешь?

— Как тебе сказать… Финансовый мой вопрос не соответствует действительности.

— Аль ваш колхоз бедный?

— По правде сказать — плохой.

— Понятное дело! Отсюда и финансовый вопрос.

— А ты откуда? — спросил Макар Петрович, совсем не обижаясь на первые ругательства парня.

— Из Алешина. Колхоз Чапаева слыхал?

— Слыхал. Это у вас по семь рублей на трудодень?

— У нас. Да еще по три кило хлеба. А ты откуда?

— И зачем тебе, паря, знать? Не желаю, чтобы ты и знал. Плохо у нас, председатель не соответствует…

— Ну хоть скажи, по скольку денег дали на трудодень?

— Дали… по сорок копеек, — смутился Макар Петрович.

Парень рассмеялся громко, на весь базар. Он присел на свой мешок и сквозь смех говорил:

— Какого же вы чорта сами-то смотрите! Небось, по хатам отсиживаетесь да за личное хозяйство зубами уцепились. Кто их вам привезет, деньги-то? Вы же без настоящего колхоза посохнете, как подсолнечные будыли перед зимой.

— Это ты, паря, не мне говори: я, брат ты мой, пятнадцать лет конюхом работаю. Изо дня в день работаю. Не обижай так-то.

Макару Петровичу очень хотелось поговорить. Но парень поднял мешок на плечо и, уходя, сказал уже без смеха:

— Десятеро будете работать, а сто в окошко выглядать — ничего у вас не будет.

— Да ты постой, постой!

— Некогда мне с тобой… с сорокакопеешным. Ты корову продал, а я четыре тыщи за пшено наторговал — последний мешок несу на весы.

— Правда?!

— Аль тебе денег дать? — шутил парень. — Не да-ам. Сами делайте. Мы за таких, как ваш брат, четыре года поставки выполняли. — Потом обернулся и добавил душевно: — Да ты не обижайся. Может, и наладитесь.

Макар Петрович пробовал идти за ним и говорил:

— Ты ж учти: ты ж мне громадное дело сказал. Я, понимаешь…

Но тот уже нырнул в толпу и вскоре скрылся из виду.

Макар Петрович теперь всматривался в толпу, различая каждого. Для него это была уже не безликая масса людей, снующих между бричками или продающих. Вот в рваном кожушке стоит совсем не старый колхозник и продает двух кур, которых держит подмышкой. «Сорокакопеешный», — подумал Макар Петрович. А вот румяный мужчина — фуражка набекрень — держит целую связку разной мануфактуры и две пары новеньких сапог и спокойно смотрит вокруг. «„Семирублевый“, — решил он. — Накупил, как… (он мысленно никак не находил подходящего слова) …как юрист», — заключил Макар Петрович. Но мысль эта была не только беззлобной, а скорее доброжелательной.

Вечером того же дня он приехал с попутной автомашиной домой и зашел в хлев. Грустным бывает хлев ночью, когда там никто не дышит

— ни корова, ни овца. Пусто было и внутри, что-то сосало под ложечкой, и в ушах все звенели струйки: жжих, жжих! Жжих, жжих!..

Макар Петрович только сейчас почувствовал, что он с самого утра ничего не ел. И сразу же решил мысленно: «Человек, который голодный, веселым быть не может».

Он вошел в хату.

Сергеевна обрадовалась и воскликнула:

— Да где же ты пять дней пропадал?

Он ответил не сразу. Разделся, повесил фуражку на гвоздь, осмотрел хату, сел за стол и только после этого ответил:

— Два базара продавал.

— И что же?

— Да такую корову где хошь продать можно.

— За сколько же?

— За семьсот.

— А не дешево?

— Какая сама, такая и цена. На базаре цены не продиктуешь. Покупатель-то, сама знаешь, прахтиктованный пошел.

Сергеевна собрала ему на стол еду. Он съел полную миску борща, такую же миску каши. После этого по привычке протянул руку к полочке, что висела над столом, — там всегда стояла литровая банка молока, приготовленная для хозяина к ужину из вечернего удоя. Макар Петрович машинально взял эту банку и поставил на стол. Банка была пуста. Он торопливо сунул ее обратно на полочку.

Сергеевна посмотрела на него и вдруг, приложив фартук к глазам, заплакала. Макар Петрович крякнул и встал из-за стола. Он постоял в раздумье перед Сергеевной, глядя в пол, потом поднял на нее глаза и заговорил:

— Ты, слышь, Сергевна… Ты этого… брось. Гляди на меня, что скажу.

Сергеевна подняла лицо и посмотрела ему в глаза. Она любила эти прямодушные глаза своего Макара, глаза, в которых видна вся его душа.

— Проживем, Сергевна, — утешал он. — Я тебе докажу, как пять пальцев. Парнягу я одного встретил, из «Чапаева». Алешино знаешь?

— Знаю.

— Оттуда он. Четыре тыщи за пшено наторговал. Во? У них семь рублей и три кило на трудодень. Во, Сергевна! Ты прикинь сама. Я-то дорогой сосчитал. Если на наши с тобой восемьсот трудодней по три килограмма да по семь рублей, то слушай: пять тыщ шестьсот рублей чистых денег, да хлеба — можно двенадцать центнеров продать. Допустим, это будет просо. А мы его таким манером на пшено перерушаем… Это тебе, само мало, сорок пудов пшена или четыре тыщи. Да там пять тысяч шестьсот. Это сколько будет? Без малого десять тысяч. Во, Сергевна!

— Да ведь это ж в «Чапаеве». А мы-то с тобой триста двадцать рублей за весь прошлый год получили.

— Ага! Поняла? Сорокакопеешный наш колхоз! Без настоящего колхоза нам — труба. Корень-то у нас с тобой в колхозе.

— В колхозе, Макар. Правда.

Легли спать они все-таки в каком-то раздумье. Макар долго не мог уснуть и время от времени говорил:

— Я им, сукиным сынам, сделаю стыдно.

Или так:

— Я тебе покажу, как каждый день водку глушить… Праздников не понимаешь, толстый чорт…

Потом помолчит, помолчит и снова:

— Мыслимое дело: за пшено — четыре тыщи! Значит, там у них все соответствует действительности.

— Да спи ты, неуемный, — засыпая, увещевала Сергеевна.

А он свое:

— Эх! Про путы у него не спросил. И про сбрую бы надо… Убег от меня… «Сорокакопеешный…»

Так он и уснул с этими мыслями, вернее — с одной мыслью, которая засела у него в голове гвоздем.

…Рано утром следующего дня Макар Петрович пошел, как обычно, на конюшню. Несколько часов подряд он ворчал, проклинал кого-то, а больше отводил душу на других двух конюхах:

— У вас всегда так: уйди на два дня, так вы навозом обрастете. В дверях — куча навоза, в стойлах мокрость развели. Иль уж у вас понятия о порядке нету? Ну что стоишь, чешешься! Чисти хорошенько!

Он увидел во дворе председателя колхоза Черепкова.

Низкого роста, пузатенький, председатель стоял посреди двора и отчитывал доярку:

— Ты мне дай рекорд хоть с одной коровы. Другим уменьши норму, а с Милки дай пять тысяч литров. Безобразие! В прочих колхозах по две-три коровы дают рекорды, а у тебя хоть бы единственная…

— У нас стойла развалились, где уж там до лекорда! — возразила доярка.

— Я тебе не о стойлах… Мне в район стыдно показываться. «Лекорда!» Даже слова этого не сумеешь сказать… С вами надоишь пять тысяч.

Тут подошел к нему Макар Петрович и без обиняков сказал, указывая на конюшню:

— Так и в зиму пойдем? Крыша-то горбом осела: перекрывать надо.

— Надо, — ответил тот, глядя на конюха снисходительно и покровительственно.

Но когда Макар Петрович почуял от председателя запах водки, то и совсем осерчал.

— А это что? — показал он рваное осоковое путо. — Что это есть, товарищ Черепков?

— Трава, — ответил тот все тем же тоном.

— Срам это для колхоза. И это срам на весь район. — Он показал рваную узду.

— А что ж, я тебе еще путами да уздами буду заниматься? У меня хлопот полно: досок достань, гвоздей достань, в поле досмотри… За вами такими — глаз да глаз…

— Ага, — сказал Макар Петрович. — Досок достань, гвоздей достань… водки достань.

— Как ты сказал? Как сказал? — вскипятился председатель.

— Как сказал, так и вылетело… Не воробей — не поймаешь. Меня теперь хоть в морду бей — я сказал.

Председатель молчал, что-то соображая. А Макар Петрович заговорил быстро, отрывисто:

— У людей… по семь рублей на трудодень, а мы… мы прошлой осенью всю овощь поморозили. У людей по три килограмма, а у нас подсолнух попрел. А ты водку глушишь… Веры в тебе нету, веры нету,

председатель… У самого у тебя нету веры… А это мой корень. — Макар сбился с тона, заговорил тише: — Мы ж так дальше не можем… А ты — водку…

Черепков вдруг выпалил:

— Дали тебе прозвище «Горчица» — ты и есть горчица! Указывать — вас много, а работать — «выходи десятый». Ишь ты! Что ты понимаешь? Я директором маслозавода был! «Веры!» Тебя отпустили на два дня, а ты прошатался пять дней. Я т-тебе пропишу «веру».

Макар стоял и смотрел в упор на Черепкова. Удила рваной узды позвякивали той же дрожью, что и Макар. Он неожиданно опустил голову вниз и тихо проговорил:

— Я, брат… корову продал… А ты — водку… — Он вдруг резко повернулся и зашагал к конюшне. Там он зашел в лошадиный станок и оперся грудью о перекладину. Лошадь повернула к нему голову и потрогала за щеку мягкими, как бархат, губами. Макар повернулся к ней, погладил, обошел ее вокруг и дрожащей рукой потрепал холку.

Вскоре было заседание правления. Стоял вопрос об отводе из конюхов Макара Петровича Лучкова за прогул. Макар Петрович сидел в углу со связкой узд и пут. В полутемном углу лица его не было видно. Когда Черепков объявил вопрос о Лучкове, то и тогда он не пошевелился. По вдруг он услышал голоса:

— Это кого? Макара Петровича?!

— Да он пятнадцать лет…

— Лучшего колхозника у нас и нету!

— Как это так — Макара…

Все присутствующие загалдели, перебивая друг друга, говорили с возмущением. Кто-то крикнул:

— Человек корову продал!

Черепков чувствовал себя явно неловко. Он наконец понял, что хоть и председательствует больше года, а Макара Лучкова не заметил. Торчит человек целыми днями в конюшне, сует всем к носу осоковые путы — и все. А чорт его знает, какой он! Что у него дома? Чем он дышит? До всего этого Черепков не дошел. Он навел порядок и обратился к Макару Петровичу:

— Что ты скажешь, Лучков?

— Ничего не скажу, — ответил тот.

— А если снимем?

— Я с конюшни не пойду, — ответил он угрюмо. — Я без коней не могу.

Конечно, Макара Петровича не уволили. Даже и вопроса этого не обсуждали, а просто взгалделись еще раз дружно и сняли с повестки дня, без последствий. Но когда все притихли, Макар Петрович встал. Он подошел к столу, положил связку рваных узд и истрепанные осоковые путы перед счетоводом и, не глядя на председателя, сказал:

— Заприходуй амуницию. Пущай потомство в музее изучает. А я вам сделал стыдно: для своих закрепленных лошадей купил узды новые и веревку для пут. Новое стоит оно сто восемьдесят рублей. Отдадите деньги — хорошо, не отдадите — еще лучше: стыда больше. — Тут он выволок из угла мешок, развязал его, вынул несколько ременных недоуздков, показал всем при обшей тишине, затем снова все запрятал, взял мешок подмышку и вышел.

Все долго молчали. Курили и молчали. Молчали и курили. Кто-то наконец сказал:

— Давайте расходиться.

— Давайте, — поддержало несколько голосов.

Заседание закрылось само собой. Так бывает всегда в любом колхозе, когда дело заходит в тупик. А счетовод — пожилой, симпатичный человек с поднятыми на лоб очками — обратился к уходящим, минуя взглядом Черепкова.

— Куда же я буду девать… амуницию?

— Сказано — в музей, — ответил дряхлый дед. — Напиши год, число и в царствие какого председателя.

Черепков пробовал встать, но почему-то не решился.

— А мы где? А вы где, товарищи правленцы? — вскричал счетовод. Копейку добыть не умеем, а добудем — беречь не умеем. У меня с вами за каждую сотню рублей война, а на дело денег нет. — Теперь он смотрел только на председателя. Глазу у нас хозяйского нету, а от этого и касса, как решето.

— Ну, разошелся, — оборвал его председатель. — Слыхал твою ногу. Ты и в хозяйстве развернуться не даешь.

— Брошу! Ей-богу, брошу! Лучше в тюрьму сажайте, а брошу! — счетовод хлопнул книгой о стол, сунул ее в ящик и вышел.

Черепков остался один. Он сидел за столом и стучал карандашом.

Вот ведь, товарищи, что может натворить корова Макара Петровича! Помните, мы говорили о том, что интерес в корове — только молоко? А оно вон что вышло. Не продай Макар корову — может, и не было бы всего того, что произошло на этом заседании. Однако теперь не вернешь, корова продана. Макар Петрович, конечно, уплатил остаток налога — триста рублей, а остальные деньги отдал Сергеевне, в том числе и полученные от правления за «амуницию», всего — четыреста рублей. Из этих денег Макар Петрович не пропил ни копейки. Да и никогда он не тратил денег на водку, а употреблял, как мы уже знаем, местного изделия — только в особо торжественные дни.

Подходила осень. Лошади стали шерстистые, а поэтому и хлопот с ними стало больше, на одну только чистку надо два-три часа. В ночное ездить перестали — значит четыре раза задай корму да воды накачай вручную два раза в день на двенадцать голов. Это ведь сказать только легко! Да конюшню вычистить утром и вечером. Очень много работы у колхозного конюха. А день стал меньше. Приходилось Макару Петровичу выходить из дому задолго до рассвета, а возвращаться домой совсем поздно, с фонарем. Но чем ближе к осени, чем больше работы в конюшне, тем как-то живее он становился. К соседу Павлу Ефимычу Птахину он забегал лишь изредка и то только в тех случаях, если тот сидел на завалинке.

— Зашел бы, Макар Петрович! — окликнул он однажды.

— Здорово, Пал Ефимыч! Некогда мне. Ну, чуть посижу, на полтрубки — ни больше.

— Значит, хлопочешь? — как-то неопределенно и, как показалось Макару Петровичу, с чуть заметной улыбкой спросил сосед.

— Хлопочем. Как же, хлопочем. Скоро осень. Это, брат, время важнецкое.

— А авансу и по килограмму не дали.

— Должны дать.

— Ой ли?

Макар вместо ответа сказал:

— На отчетном председателя надо менять. Не соответствует.

— Мне какое дело, какой там председатель! Что ни поп, то батька. Этот нехорош, да известный характером… Потрафь ему и — порядок!

А другой-то неизвестно еще — то ли лучше будет, то ли хуже. Сколько их было-то? Не меньше, как десять аль одиннадцать.

— Рассуждение у тебя, Пал Ефимыч, не в ту сторону. Без настоящего колхоза нам никак невозможно. А председатель — всему голова.

— А этот разве не голова? А что водочку любит, дак то не вещь. Кто ее не любит! Оно даже нам и сподручнее.

— Ка-ак? — удивился Макар Петрович.

— Я, к примеру, хочу в лес поехать, — продолжал Павел Ефимыч. — Что я должен делать?

— Ну?

— Ясно, перво-наперво — достать подводу. У иного председателя умри, не выпросишь, а нашему «полмитрича» поставил и — с богом! Насчет этого он простой человек, обходительный… И сенца можно добыть таким манером побольше. По мне — он неплох.

— А по мне — дрянь! — воскликнул Макар Петрович.

— Опять свое! — развел руками Павел Ефимыч. — Ты покорись ему. Покорись, Макар Петрович. Позови, угости, помирись. Чего ты встрял против него?

— Ты ж пойми! Нам голова нужна для колхоза, а не пивной котел. Пропадем мы этак. Что ж ты-то думаешь?

Павел Ефимыч не ответил, видимо, оставаясь при своем мнении. Он помолчал немного, подумал, а потом сказал:

— Опять же вот морозы пойдут — плохо это. И дожди если — тоже плохо.

— Это что же так: и морозы — плохо, и дожди — плохо?

— Дожди если — хлеб попреет в ворохах, а морозы — всёй овощи могила.

— А ты не допускай.

— А при чем тут я?

— Не допускай, — повторил Макар Петрович. — Тормоши председателя, сам работай понатужней.

— Иль ты думаешь, мне дома делать нечего? — спокойно возразил Павел Ефимыч. — В колхозе я и так работаю по силе возможности.

После этих слов Макар Петрович встал. Полтрубки времени уже проходило, а опровержение соседу надо было дать, без этого он уйти

не мог по своей натуре. Он посмотрел на соседа и неожиданно сказал:

— А ну встань, Пал Ефимыч.

Тот хотя и в недоумении, но встал. Макар Петрович нагнулся над тем местом, где сидел сосед, как бы вглядываясь, и сказал:

— Нету червонца — не высидел, Пал Ефимыч. Садись еще. Да всей мякотью прижимай — может, десятку на трудодень и высидишь. — И ушел.

А Птахин стоял в ошеломлении и только произнес:

— Горчица и есть горчица. — Помолчал, почесался и добавил: — Каплю ее в рот положи, а она тебе и в нос шибает и в глаза бьет. — Но сказал он все это тихо, про себя, — Макар Петрович не слышал.

Тот шел и тоже про себя бурчал:

— Помидор и есть помидор. Сидит, округляется, наливается, зреет, сукин кот. Три выходных в неделю — два дня на работе, один день дома.

Долго после этого разговора они не сидели рядом на завалинке. Встретятся, поздороваются — и дальше. Что-то такое похожее на настоящую ссору и недружелюбие началось меж соседей, началось и все углублялось. Больше того, даже и бабы ихние поссорились из-за пустяка: петух на чужой насест сел.

Дело с этим петухом получилось так. У Павла Ефимыча — как на грех! — петух подох. А Макаров-то петух, как птица, всегда охочая до чужих кур, стал кое-когда садиться на чужом дворе ночевать. Он, петух-то, небось, так думает: чтобы не обидно было всем курам, сегодня сяду там, а завтра тут. Может, он и прав — определить трудно. Но ведь это же сущий пустяк! Это же обыкновенный птичий вопрос, не стоящий выеденного яйца. Ни в жизнь не поссорились бы жены соседей, если бы между мужьями не пробежала кошка. А петух взят, можно сказать, для придиру. Макар Петрович все это понимал и даже однажды, при очередном препирательстве соседок, сказал так:

— Петух — птица нахальная. Курица — глупая птица. Или вы хотите, чтобы я сказал, что и бабы похожи на них? Брось, Сергевна, в глупости вникать.

Сергеевна немедля ушла от плетня. Но Степаниха — жена Птахина — еще долго кричала:

— Если у нас беда случилась — петух подох, то вам и горя мало. А еще соседи! Жалко им петуха на время дать — попользовать для

чужих кур. Не отвалится ничего у вашего петуха! Он и петух-то ни к чему не способный, — разве такие бывают петухи!

— А ну, наддай, наддай, Степаниха, подбавь перцу! — пошутил Макар Петрович и, сняв петуха, вошел во двор к соседу. Он посадил петуха в их насест и сказал Степанихе:

— Когда купите кóчета, они подерутся с моим и разойдутся по своим супружницам. Только и делов.

— На что он нужен мне, твой петух! Куды ты его принес?! — надрывалась соседка. — Не желаю твоего петуха пользовать.

— Цыц! — рыкнул басом Павел Ефимыч на жену, выходя из хлева. — Пущай сидит, где ему хочется.

Соседи поздоровались и разошлись. Нет! Нету былой дружбы, а одна неприятность. Чем бы все это кончилось, трудно сказать; какую линию взяла бы эта ссора, тоже предположить невозможно. Но очень уж к тому времени великие дела стали твориться на селе, чтобы разногласие соседей нельзя было забыть.

В воскресный сентябрьский день Макар Петрович шел из правления с газетой подмышкой. Шел быстро, непохоже на свою походку, будто боялся опоздать. Завернул он прямо к Птахину во двор, минуя свою хату. Тот тесал какой-то кол и обернулся не сразу. Макар Петрович зашел ему наперед и, постукивая громадным пальцем по газете, спросил:

— Слыхал, Пал Ефимыч?

— Чего там? — Он воткнул топор в бревно и выпрямился. Вся его фигура говорила: «Опять пришел, Горчица».

— Ну, брат ты мой, и головы там! — Макар Петрович развернул газету и стал читать вслух.

Читал он, правда, медленно, но правильно, с толком, поймет и малый ребенок. Птахин от удивления встал. Макар Петрович тоже встал, не отрываясь от газеты.

— А ну, дай-ка — я сам почитаю, — неожиданно сказал Птахин.

Они сели теперь уже на бревно, прямо среди двора. Птахин читал тоже не очень бойко. Он время от времени останавливался, поднимая палец вверх, давая себе поразмыслить. Потом снова читал Макар Петрович. Потом — опять же Павел Ефимыч. В течение трех последующих дней они несколько раз сходились уже поздно вечером и снова читали. Газета уже разлезлась по складкам, но ее склеили и

знали точно, что там написано, под склейкой. И снова и снова принимались читать и обсуждать.

— Я тебе говорил, Пал Ефимыч: там надумают?

— Говорил. Правильно, говорил. Не отрицаю.

— Я ж тебе и еще скажу: там они мою душу чувствуют.

— И мою! — тыкал себя в грудь Птахин.

— И твою, — согласился на радостях Макар Петрович. — Тут и тебе хорошо и мне ловко. Значит, теперь получается так: заплати налог с сотки — и крышка. Есть у тебя скотина, нет ли скотины, хорошая у тебя корова или плохая — не важно. Сотка определяет налог. И до чего же это правильно!

— И не только в том, Макар Петрович. А льготы-то какие! Налогу вполовину меньше, молока — вполовину. Да все напополам меньше.

Что-то такое сблизило соседей: это была общая радость, общая уверенность в лучшем, общая благодарность правительству и партии. Оба соседа неразлучно посещали собрания, где ставились доклады о решениях сентябрьского Пленума ЦК партии, а после собраний усаживались на завалинку и засиживались за полночь. Днем им невозможно сойтись, потому что Макар Петрович все время был в конюшне и работал там с каким-то особым усердием. А Павел Ефимыч ни с того ни с сего частенько стал наведываться в город и наконец привез какие-то железные трубы. Вскоре и Макар Петрович отправился в город и привел очень хорошую телушку — породистую, смирную, ласковую. Для этой покупки он прибавил к своим четыремстам рублям аванс, полученный из колхоза на трудодни. Казалось бы, пришел мир между соседями: главный спорный вопрос решен. Но опять-таки получилось не так.

Однажды вечером сидели они, как и полагается, на завалинке. Сидели и беседовали. По улице «шла гармонь». Девчата и парни пели частушки беспрерывно. Сначала наши соседи не слушали песен, увлекшись собеседованием. (Макар Петрович рассказывал о том, какой золотой характер у его телушки, и убеждал соседа в том, что характер у скотины — это тоже очень большой интерес.) Но когда молодежь поравнялась с ними, девичий голос под переборы гармошки пропел:

Ой, товарищ Черепков!
Разведем теперь коров.
А еще будем просить,
Чтоб и сено нам косить.

— Слышь, Макар Петрович, что поет моя Аленка?

— А к чему это она? — не сразу сообразил Макар Петрович.

— Они, слышь, все наши пересуды в песни складывают. Значит, я и говорю: скотину разведем, слов нет, но корму нам надо теперь много. Вот, к примеру, про себя скажу. По уставу я буду иметь корову, телку, овец… — Тут он подумал немного. — Овец десяток, пчел, скажем, ульев пятнадцать, свинью, допустим, кормленую да поросенка малого на смену… Свинью забил — поросенка корми… Налог все равно такой же, имей я или не имей ничего. Значит, тут еще бы остается так сделать: половину лугов колхозу, а половину — нам.

Макар засипел трубкой.

— Эге-е! Во-он ты что-о! — Он подумал и вдруг с усмешкой сказал: — Ты ж воды не натаскаешься на такую ораву скотины.

— А я и таскать не буду. Я трубчатый колодезь прямо во дворе пробью. Трубы и насос уже купил. Ясно, разве ж мыслено, бабе столько воды носить. Ей и без этого теперь в колхозе не придется работать, дома хватит по горло.

— Как так не работать? — вскочил Макар Петрович.

— А так, что и самому теперь придется подумать: то ли пойти, то ли нет.

— А ты читал, как написано? Там сказано: кто не будет работать в колхозе — налогу больше на пятьдесят процентов.

— Это написано неправильно.

— Как неправильно?

— А так — неправильно. Не разорваться же мне надвое — и там и тут.

— А! Вон как! — Макар то заходил на одну сторону от соседа, то на другую, а тот поворачивал за ним голову, не видя его лица в темноте. — А! Вон как! Значит, и от колхоза и от правительства тебе все дай, а ты колхозу — ничего! Ты что? Ты что? — все больше

горячился он. — Ты ж говорил, что тебя они понимают. А сам-то ты их понимаешь? Ты куда гнешь?

— Но! Раскричался, как на пожаре.

— И буду кричать! На собрании даже буду, кричать: Пашка-Помидор не в колхозе хочет разводить скотину, а у себя во дворе.

— Да ты пойми, садова голова! — уже с сердцем говорил Павел Ефимыч. — Если будет большой трудодень, я, может, тогда и сокращу скотину, а сейчас буду разводить.

— А! Ждать будешь, когда другие добьются большого трудодня. Не-ет! Не будет так, кричать буду! Я твою нутренность увидал. Всю, как есть, увидал. У тебя корень во дворе, а сухие сучья в колхозе.

— Ты что кричишь на всю улицу! — рыкнул вдруг Помидор. — Что кипишь, Горчица?! — И придвинулся вплотную к Макару.

Тот не отодвинулся ни на сантиметр и воскликнул:

— Где же твоя совесть колхозная, чортов Помидор!

— Горчица! — сказал Птахин.

— Гнилой Помидор! — сказал Макар Петрович.

— Я еще за петуха с тебя стребую: твой петух моему голову всю раздолбал — нового опять покупать. Я еще…

— Возьми и моего петуха, чорт с тобой! — Макар добавил пару крепких, неписаных слов, плюнул и ушел домой.

Вот ведь как оно получилось! Никогда так не было, никогда не ругались так, чтобы бросать друг другу прозвище в глаза.

Больше того, доподлинно известно, что Птахин ходил к председателю колхоза Черепкову, с которым у него сложились неплохие отношения, и говорил ему, что «Макар-Горчица стоит против сентябрьского Пленума и не дает ему разводить скотину». Известно также, что Макар Петрович посетил секретаря колхозной партийной организации и сказал так: «Пашка-Помидор — гнилой колхозник, — и он, Помидор чортов, не соответствует действительности».

Если ко всему этому добавить, что болтает народ, то просто невозможно предположить, во что выльется вся эта заваренная каша. А народ вот что промеж себя говорит: будто между председателем колхоза и секретарем партийной организации — большая неприятность; будто насчет председателя имеется в районе нехороший слух и что его будут заменять на непьющего или хотя и пьющего, но по норме, а не без числа. А еще был слух — это уж точно, — что Макар

Петрович самолично ходил к секретарю райкома партии и полчаса разговаривал с ним о председателе колхоза; один ходил, по своей воле, взял палку в руки и пошел, как в свое правление. Что ж, все это могло быть — народ зря болтать не будет.

На Октябрьскую Макар Петрович выпил, как и требуется, — за два дня «попил все» и кричал в колхозном дворе, что он и в область мог бы дойти, да смыслу нет — в районе тоже не дураки: «политику знают и Макара понимают». Но ни он не пригласил Павла Ефимыча в гости на праздник, ни Павел Ефимыч не позвал Макара Петровича. Даже кланяться друг другу перестали. Вот до чего дошел конфликт! Так продолжалось до самого отчетного собрания.

А там получилось у них несколько иначе.

Когда открыли собрание, то Птахин посмотрел, кто сел с ним рядом. Оказалось — Макар Петрович! Он пришел перед самым открытием, потому что задержался на вечерней уборке в конюшне. Они оба так привыкли к своим местам, что независимо друг от друга оказались рядом.

Председатель колхоза Черепков отчитался. Все цифры, конечно, запомнить нельзя, но то, сколько выдали на трудодень и сколько еще будут давать за этот год, было очень ясно: получилось по два с половиной килограмма пшеницы и по семьдесят копеек на трудодень. Это уже хорошо. Докладчик напирал на то, что он добился высокой оплаты хлебом, он «наметил дальнейший рост зажиточной жизни колхозников». Но Макар Петрович просто перебил его и, не вставая, прокричал:

— Правительство с нас половину поставок скостило, а то бы ты дал нам «зажиточную»!

Ну, конечно, тут все немножко посмеялись, и многие сказали себе под нос: «Макар-Горчица высказался правильно». Потом обсуждали доклад, ругали правление, говорили, как надо действовать дальше. Когда все переговорили, то председателя сняли уже без всякой критики; просто кто-то из задних рядов сказал: «Заменять надо» — и все дружно согласились. Черепков посматривал на Птахина, ожидая поддержки, но тот так и промолчал.

Но когда выбирали нового председателя, то вопросов ему было несть числа: сколько лет отроду, сколько имеет детей, разводился ли с женой, сколько классов окончил, как насчет водки — с утра пьет или

только вечером, в нерабочее время; где работал, почему ушел оттуда, и много, много других вопросов. Час целый отвечал кандидат на вопросы. Человек он, видать, скромный, в гимнастерке, с виду суховатый, но голос твердый. И фамилия, как показалось Макару Петровичу, подходящая, простая — Телегин, а зовут — Петр Иванович. Из ответов выяснилось: окончил семилетку, работал бригадиром восемь лет, заочно кончил сельскохозяйственный техникум; значит, теперь по званию — агроном со средним образованием.

— Я, — говорит Петр Иванович, — от вас и живу-то не особенно далеко — из Алешина я…

Тогда Макар Петрович вскочил и спросил:

— Из Алешина?

— Из Алешина.

— Из «Чапаева»?

— Из «Чапаева».

— Это у вас по семь рублей и по три кило на трудодень? — продолжал Макар, Петрович.

— У нас.

Все притихли, затаив дыхание, и слушали вопросы Макара Петровича и ответы Петра Ивановича.

— Значит, я понимаю так: если на мои трудодни вместе с Сергевной получить так, то выходит без малого десять тысяч.

Телегин согласился с этим и подтвердил, что в колхозе имени Чапаева так и есть.

— Слышь, Пал Ефимыч? — спросил Макар Петрович. — А ты — колодезь во дворе! — Последние слова он сказал тихо — одному соседу, забыв вгорячах ссору.

Только Павел Ефимыч его уже не слушал, а встал сам и задал вопрос так:

— Как ты понимаешь, Петр Иванович, сентябрьский Пленум?

— Очень уж вопрос большой — сразу и не ответишь, — улыбнулся Телегин.

— Я уточню, — сказал Птахин. — Как ты понимаешь сентябрьский Пленум по вопросу скота у колхозников?

— А-а! Догадался, о чем речь. — Он чуть подумал в общей тишине, а Макар Петрович и Павел Ефимыч даже привстали от

напряженного ожидания. — Главное в том, чтобы улучшить жизнь колхозников…

— Правильно! — перебил его Птахин.

— Постойте минутку. Я попросту вам скажу: у нас в «Чапаеве» девяносто процентов своего дохода колхозник получает от колхоза… Наши личные интересы там зависят от колхоза и отчасти от своего хозяйства. Богаче колхоз — мы богаче, беднее колхоз — мы беднее. Так и сентябрьский Пленум надо понимать: сделать все колхозы богатыми. Если же разводить скот в одном только личном своем хозяйстве, то это будет извращение решений партии.

— Очень правильно! — сказал теперь Макар Петрович. — Это соответствует действительности.

А Птахин задумался. Он опустил голову вниз и молчал. Макар Петрович тихонько толкнул его локтем и сказал, указывая кивком на трибуну, где стоял Телегин:

— Человек! А?

Павел Ефимыч промолчал.

Через некоторое время Макар Петрович, вытирая пот со лба, произнес:

— Духота!

— Духота, — ответил, как эхо, Павел Ефимыч. А это все равно, что промолчал, и даже хуже.

Макар Петрович слушал, следил за всякими предложениями и высказываниями, но оттого, что сосед не пожелал разговаривать с ним, он внутренне начинал горячиться. «Молчит, — думал он, — и разговаривать не хочет, чортов Помидор». А Павел Ефимыч тоже думал: «Лезет с разговорами, Горчица».

Уже после того как проголосовали за Телегина и он поблагодарил за доверие, Макар Петрович вышел прямо на сцену. Он стал перед столом президиума, но обратился к новому председателю:

— Петр Иванович! Управляй нами правильно. — Он с секунду помолчал, подыскивая слова. Знал Макар Петрович, что слова эти должны быть важные, что они должны быть сильнее самой длинной речи, поэтому и приостановился чуточку, обдумывая. — Будешь управлять, как диктует партия, — мы тебя на руках будем носить. Не будешь — так прогоним. Прямо говорю: прогоним. Ты требуй от нас, требуй, пожалуйста, но… имей к нам уважение. Плохо у нас было.

Ведь до чего дошло: пута — несчастного пута! — не могли добыть. Понимаешь, пута! На одной-единственной корове рекорды делали. Учти, Петр Иванович, скотина рогатая у нас гиблая, а такие колхознички, как Пал Ефимыч Птахин, собираются разводить ее не в колхозе, а у себя во дворе. — Как и всегда, Макар не выдержал долгой речи, смешался и совсем тихо сказал: — Должен ты понимать: были «сорокакопеешные», не сразу будем «семирублевые». Трудно будет тебе. — Тут он прижал шапку к груди и отчетливо, громко, на весь клуб, спросил: — Вера в тебе есть, что сделаешь?

— Есть, — ответил Петр Иванович, не задумываясь.

— Тогда все! — И Макар Петрович под бурные аплодисменты сошел со сцены.

С собрания соседи вышли каждый сам по себе. Макар Петрович пошел вдоль одной стены, а Павел Ефимыч пересек зал и пошел вдоль другой. Но опять же — вот ведь штука! — в дверях они столкнулись вместе. Тут уж назад не пойдешь — надо вперед. Пошуршали они кожухами друг о друга и вышли на улицу. Волей-неволей некоторое время шли рядом. Идут и молчат.

— Луна-то, — наконец сказал первым Макар Петрович.

— Луна, — отозвался и Павел Ефимыч.

— На мороз, надо быть.

— На мороз.

Идут и молчат снова.

— Снегу-то нынче — ого-го! К урожаю, — произнес Макар Петрович.

— К урожаю, — все так же угрюмо откликнулся Павел Ефимыч.

Нет настоящего разговора, да и только! Далеко зашла ссора. Трудно жить молча, когда прожил рядом с человеком всю жизнь. Очень трудно. Оба чувствовали это. Но куда денешься от неприязни, если она есть!

«Значит, далеко разошлись», — подумал Макар Петрович.

«Как и не соседи», — подумал Павел Ефимыч и вдруг решительно направился на другую сторону улицы.

Макар Петрович постоял, постоял, посмотрел соседу в спину, дождался того, как он перешел улицу, и пошел своей тропой.

Так они и пошли домой: на одной стороне улицы хрустят по снегу сапоги Макара Петровича, а на другой — валенки Павла Ефимыча.

Сапоги хрустят гулко, со звонким скрипом, и звук ударяет о стены хат хлестко, по-хозяйски. Валенки — эти похрустывают с шепотком, намного тише сапог.

Хр-р-руст, хр-р-руст! — слышится с одной стороны.

Хр-р-ристь, хр-ристь! — доносится с другой.

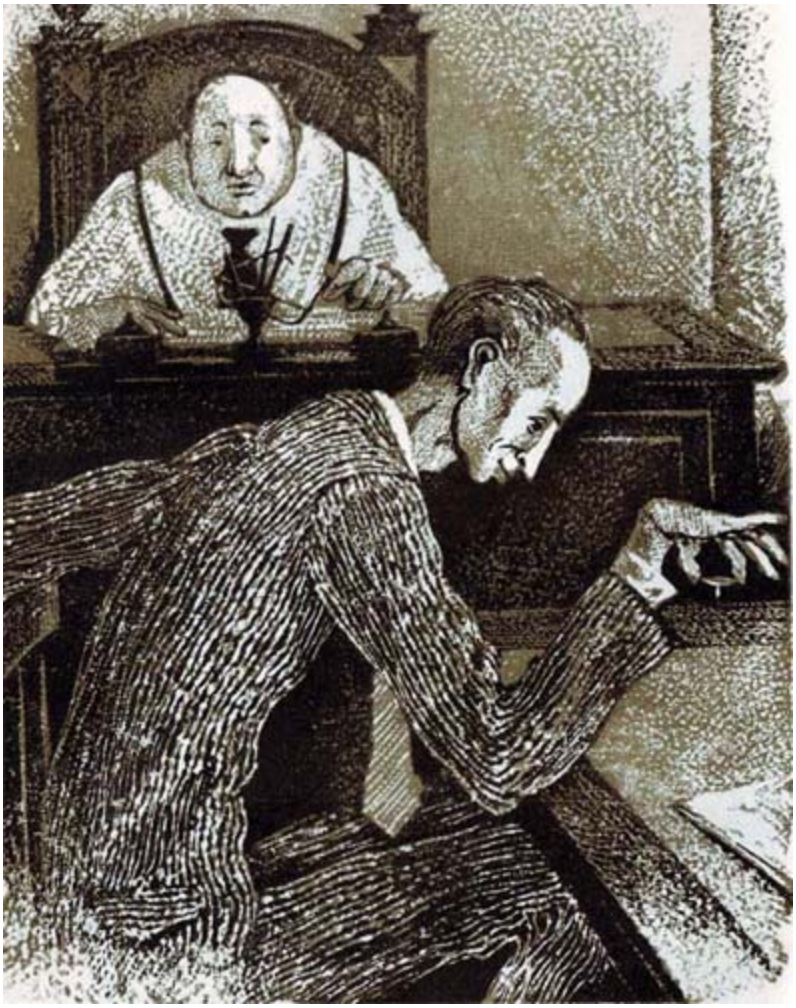
По этому звуку в зимнюю ночь соседи узнали бы друг друга за полкилометра и в былое время заскрипели бы навстречу. А теперь… Кто ж знает, как оно будет у них теперь!

А ведь все началось с коровы.

# КАНДИДАТ НАУК

***Повести, рассказы***

# Кандидат наук



***Повесть, отчасти сатирическая***

## *Глава первая*
## Турнир на чернильной крышке

Что можно сказать о характере и внешности Ираклия Кирьяновича Подсушки? Признаюсь, почти ничего особенного нельзя сказать, кроме одной детали: Ираклий Кирьянович Подсушка был настолько тощ, насколько может быть тощим человек. Совсем тонкий.

Но это не от слабости здоровья и не от того, что он мало ел, а по природе такой. Что же касается пищи, то он употреблял ее в достаточном количестве и очень, очень регулярно. Иные знакомые так и шутили: у Ираклия Кирьяновича душа тощая, поэтому для пищи остается внутреннего пространства гораздо больше, чем полагается. Он, конечно, принимал это не за очень чистую монету и в душе — именно в душе! — страстно желал растолстеть. А кто, спрошу я вас, не желает быть полным из тех, кто действительно тощ? Тут ничего удивительного нет в Подсушке.

Еще что? Ну, думал он, конечно, кое о чем. Даже глубоко задумывался. Например, сидя за столом небольшого научного учреждения, он, Подсушка, часто занимался проблемой. Мысленно он так и говорил: «Опять проблема лезет в голову». Что же это за проблема такая беспокоила его?

А дело в том, что у Ираклия Кирьяновича подохла кошка. Обыкновенная кошка. Ей-то что: подохла, и все тут. А Подсушке — проблема. «Не дай-то бог, заведутся мыши!» — с ужасом думал он. Боялся он мышей этих больше всего на свете. Искал он сначала котенка, но подходящего, трехцветного, так и не нашел. А надо обязательно, чтобы трехцветный был, — счастливый, значит. Так проблема встала перед ним во весь рост. На всякий случай он купил мышеловку и зарядил ее салом. Но мыши не ловились. Ираклий Кирьянович не поверил мышеловке и решил купить новую, более совершенной конструкции. Однако мышеловки везде были одинаковы: дощечка, пружина, сторожок. Сущий примитив.

«И что же это ученые не могут выдумать настоящего прибора», — подумал он раздосадованно. С тех пор и засела ему в голову мысль: изобрести автоматический прибор по улавливанию мышей в домах, хранилищах и на полях. Назвал он будущее изобретение «автомышеуловитель». Много часов рабочего времени в своем учреждении он посвятил этой проблеме. Много разных проектов возникло в его многодумной голове. Он даже чертил на писчей бумаге карандашиком. Были у него проекты двух- и трехпружинных автоматов, были так называемые «лапохваты», были и такие, что мышь обязана была просто прилипать, как обыкновенная муха. Но самый последний проект абсолютно поглотил Ираклия Кирьяновича всего целиком. Этот проект назывался «фотоавтомышеистребитель». В

принципе аппарат должен был иметь «фотоглаз». Если в поле зрения этого глаза попала бы несчастная мышь, то автоматически включался мощный вентилятор и через соответствующее сопло моментально втягивал мышь в соответствующий резервуар. При этом мышь обязана была бы умереть немедленно вследствие сильного удара о стенку резервуара (на каковую можно было бы даже набить сапожных гвоздиков для надежности). Ираклий Кирьянович очень был обижен, когда ему сказали в какой-то артели инвалидов, что никакого соавтора ему не дадут, так как его проект суть фантазия, что нет ни системы, ни самого аппарата, что он предлагает только одну идею, которую никто осуществить не может. Ираклию Кирьяновичу казалось, что его «затирают». И ввиду того, что он лично считал свою идею наивысшим достижением в деле мышеистребления, то больше он изобретать не стал. Смирный был изобретатель, слабоват характером. Осталась только одна папка с надписью: «Смерть мыши!»

Вот о чем и думал он частенько. Мрачные воспоминания. А трехцветный котенок не попадался.

После таких неприятных мыслей Ираклий Кирьянович вздыхал, съедал бутерброд, брал латунную крышку с чернильницы, чистил ее некоторое время бумажкой. Все это делал не спеша, спокойно, зная, что посетители бывают очень редко, а бумаги, запланированные на эту неделю, написаны еще во вторник. Так что в субботний день можно не спешить. И он не спешил. Почистив крышечку, ставил ее на «пуговку», воронкой вверх, и ловко запускал волчком. При этом он «засекал» время и, не выпуская часов из руки, следил за волчком. Милая сердцу тишина учреждения и ласковое журчание волчка располагали к ласковому же и безмятежному бездумью. Не хотелось в такие минуты думать о том, что он находится в учреждении, которое разрабатывает весьма серьезную сельскохозяйственную тему: «Что может есть лошадь и что она должна есть». И все-таки он думал, глядя на волчок и на часы. Трудное дело наука: всегда лезут всякие мысли в голову.

«В самом деле, что может есть лошадь? — думал Подсушка, — Овес? Сено? Эва! Это уже давно известно. Известно и за границей. А вот вопрос: что может есть лошадь, кроме овса и сена? Тут надо голову иметь, чтобы исследования были строго научными и вполне обоснованными».

Вторично запустил волчок Ираклий Кирьянович. И вторично думал: «В надежные руки попала тема „КК“ („КК“ означает — коню корм). В надежные. Карп Степаныч провернет! А я, Подсушка, обеспечу его кадрами на периферии, поскольку таковое дело поручено мне, Подсушке». А волчок крутился, крутился и южал… Истинное наслаждение!

А кто такой Карп Степаныч? — спросит читатель. Это тот самый Карп Степаныч Карлюк, который ведет тему «КК». Сидит он в той же комнате, где и Подсушка, слева от него, шагов за десять, за большим письменным столом. Во время первого запуска волчка Карп Степаныч смотрел в выдвинутый ящик своего стола и, казалось, сосредоточенно думал. Но это только казалось. В действительности же он читал роман «Королева Марго». Способ такого чтения представляет определенные удобства. Пришел, скажем, посетитель, тогда Карп Степаныч медленно отрывался якобы от задумчивости, дочитывая абзац, и задвигал ящик. Задвигал и веско говорил: «Я слушаю». Иной посетитель, может быть, и подумает: «Эх, не вовремя пришел. Человек мыслил, а я перебил».

В тот момент, когда крышка-волчок заюжала вторично, Карп Степаныч оторвался от чтения и поверх очков молча посмотрел на стол Ираклия Кирьяновича, своего подчиненного. Смотрел до тех пор, пока вращение не прекратилось и волчок не зазвенел по стеклу. Мягким баритоном Карп Степанович задал вопрос:

— Сколько?

— Четыре минуты, — ответил Ираклий Кирьянович, улыбаясь.

— Ниже вашего рекорда. Много ниже… На целую минуту. — Но говорил он это, скрывая зависть, так как сам еле дотягивал и до двух минут.

Да, завидовал Карп Степаныч этому Подсушке: человек ниже его по всем статьям, а рекорда не сдает. Иной раз даже приходила мысль: «Не уволить ли его?» Но это только вспышка. Вообще-то он ценил Подсушку как незаменимого.

И вот Карп Степаныч встал из-за стола, потянулся, расправил плечи и медленно пошел к столу Подсушки. Шел с единственной решимостью: победить!

Интересный человек Карп Степаныч. Это вам не Подсушка — о нем можно кое-что сказать. Он был толст и кругл настолько, насколько может быть круглым человек. Никакого сравнения с Подсушкой! Но

это не от очень хорошего здоровья и не от того, что он много ел разной пищи, а просто такая конституция организма получилась со временем. Не стоит также думать, что Карп Степаныч, будучи по представлению Ираклия Кирьяновича идеально полным, был меланхоличным или совсем неподвижным, лишенным обычных человеческих чувств. Наоборот, Карп Степаныч бывал и добр, бывал и зол, а иногда просто даже и ласков, иногда же выражал и удивление, если к тому были основательные причины.

Во всех этих чертах характера начальника Ираклий Кирьянович разбирался очень тонко. Со стороны кажется, что круглое, пухлое лицо Карпа Степаныча с вросшими в жир мочками ушей остается неизменным при проявлении различных высоких чувств, а на самом деле это далеко не так. Предположим, Карп Степаныч находится в удивлении, — тогда маленькие толстые губы складываются трубочкой, брови поднимаются вверх, локти слегка отходят от туловища. А во гневе! Тут губы Карпа Степаныча вдруг становятся большими, рыхлыми, а брови делаются углом и впиваются концами в складки над переносьем. И он слегка сопит. Говорит в таком состоянии почти басом. Весь он во гневе становится как-то толще, могущественнее. А в ласке! Когда, например, высшее начальство говорит с ним по телефону, губы — те же губы! — становятся тонкими, ибо они то плотно сжимаются, то растягиваются. И он держит телефонную трубку стоя, слегка полусогнувшись. В такие ответственные моменты жизни он ласково улыбается, слегка потеет, голос его становится значительно тоньше обычного или — как бы это сказать получше? — голос становится мягче, в соответствии с размягчением душевным. Правду сказать, улыбался он чрезвычайно редко.

Итак, Карп Степаныч подошел к столу. Сел на поданный Подсушкой стул и произнес:

— Начнем?

— Пожалуйста.

— Жребий.

Ираклий Кирьянович взял две спички. Одну из них надломил, затем сложил концы спичек, зажал в двух пальцах и поднес Карпу Степанычу.

— Короткая — первый, — пояснил он лаконично.

Карп Степаныч потянул: досталась длинная. И вот Ираклий Кирьянович запустил. Да как запустил! Так запустил, что в течение пяти минут Карп Степаныч сопел (а мы уже знаем, что это значит). Запустил и Карп Степаныч и — только две минуты! Чепуха!

— Виноват! — сказал он торопливо. — Сорвался палец. Повторю.

— Да, да, я видел: сорвался палец, — подтвердил Ираклий Кирьянович, слегка кривя душой.

Но и вторично Карп Степаныч не дотянул до трех минут.

Если бы посторонний человек сидел за стеной и слушал, то вот что он услышал бы.

— Четыре, — говорит Карп Степаныч басом и сопит так, что слышно в соседней комнате. (У них правило: результат объявляет партнер.)

А по прошествии некоторого времени скрипучим голосом восклицает Ираклий Кирьянович:

— Три!

Снова южит волчок.

— Три, — говорит Карп Степаныч уже более мягким баском.

Мертвая тишина. Молчание. Южит волчок. И упавшим голосом говорит Ираклий Кирьянович:

— Три… Сравнялись.

— Три, — звучит голос Карлюка в большой комнате.

— Три, — ржавой петлей скрипит Подсушка.

— Две…

— Ваша — три! — взволнованно восклицает Ираклий Кирьянович.

— Только две, — уже с явной радостью говорит Карп Степаныч.

— Ваша победа! — сокрушенно произносит в заключение Ираклий Кирьянович.

Зная характер начальника, он постепенно сбавлял свое время до тех пор, пока не оказался побежденным.

— Ой! — воскликнул Ираклий Кирьянович. — Уже десять минут седьмого!

— Вот так всегда, — сказал Карп Степаныч. — Никогда не вырвешься с работы вовремя.

Расстались они на тротуаре. Карп Степаныч пошел вразвалку в одну сторону, а Ираклий Кирьянович засеменил домой, в другую

сторону, быстро переставляя длинные ноги.

Он был доволен: вчера получил зарплату, сегодня рабочий день кончился, завтра воскресенье.

## *Глава вторая*
## Вечер слез

Суббота есть суббота. Хороший день — суббота. Карп Степаныч зашел домой за бельем и отбыл в баню. Искупавшись, возвратился на квартиру, где его ждала кругленькая, с этаким приятным пухленьким подбородочком жена Изида Ерофеевна. Она сложила руки по-наполеоновски и, казалось, сосредоточенно смотрела на мужа. А Карп Степаныч был в расположении духа. Тут, конечно, сказалась и победа в турнире на чернильной крышке, и добрая баня, и предвкушение вечернего принятия пищи.

— Ну-с, Изида Ерофеевна, — заговорил он, раздеваясь, — значит, с легким паром нас. Выкупались знатно.

Изида Ерофеевна и бровью не повела, а не то чтобы как-нибудь реагировать на добродушие мужа: то ли она расстроена была чем, то ли подозрение какое-то тяготило ее, но она молчала. Всегда она была веселой, а сегодня молчала и будто намеревалась придраться к чему-то, будто уже искала, к чему бы это придраться.

— Ну, Иза! В чем дело? — спросил Карп Степаныч в тревоге.

Мягким, по-кошачьи вкрадчивым голосом она произнесла два слова:

— Сними рубашку.

Это был приказ. Знал Карп Степаныч, что чем мягче у жены голос, тем беспрекословнее требуется подчиняться. И он, пыхтя, снял рубашку. Изида же Ерофеевна еще раз и тем же тоном сказала одно слово:

— Подойди.

Карп Степаныч подошел. Она потрогала пальцем его голую грудь, спину, обошла вокруг, ткнула пальцем в живот и уже грубым, скрипящим голосом заключила в качестве придирки:

— Не смог уж вымыться чисто. Эх ты!

— Что? — нерешительно вопросил муж.

— Неряха, — утвердила она, глядя снизу вверх в лицо мужа (ростом она была много ниже).

— Изида Ерофеевна! — Карп Степаныч засопел, губы стали толстыми, брови сошлись, и он повторил еще более грозно: — Изида Ерофеевна! Не позволю! Я все-таки кандидат сельскохозяйственных наук…

— Только и всего — не больше. Дальше-то ума не хватает.

— Ничего подобного! — И Карп Степаныч двинулся на супругу, полуголый, тучный, красный после бани и от крайнего возбуждения нервов. Он был страшен, но… не для жены.

И вдруг Изида Ерофеевна преобразилась — руки в боки, ноги расставила и, чуть пригнувшись, завопила:

— Ты! Раззява! Масловский семь тысяч защитил, а ты все на трех кандидатских сидишь. Неумеха! На! — Читай! Сейчас только принесли. На! — Она бросила ему скомканную телеграмму и горько заплакала.

А Карп Степаныч побледнел всем телом. Он второпях надел сорочку, поднял телеграмму, разгладил ее ладонью на столе и прочитал:

«Из Одессы. Масловский двенадцатого защитил докторскую не пропустите случая поздравить точка через два дня возвращаюсь. Привет. Чернохаров».

— Иза! — позвал он упавшим голосом.

— Что? — сквозь рыдания спросила Изида Ерофеевна.

— Подойди.

Она подошла. А Карп Степаныч обнял ее и дрожащим голосом заговорил:

— Не расстраивайся. Успокойся. Не надо завидовать… Наука — святое дело! Наука требует от человека всей его жизни целиком, каждого часа, каждой минуты! — Он помолчал. — Будет и у нас… семь тысяч. Будет.

Изида Ерофеевна верила: будет. Это была мечта и его и ее. Да и кому же больше мечтать с ними, если они вот уже двадцать лет живут вдвоем. А родные забыли их почему-то. Единственное утешение у них — Джон, кобель спаниелевой породы, куцый, с лопатистыми ушами, коротконогий, ласковый кобелек, сообразительный, понимающий.

Джон подошел к хозяевам, сел на задние лапы, поскулил. Понимает, значит, что у хозяев что-то неладно.

— Ах, Джон, Джон! — сказал Карп Степаныч и вздохнул, а затем сел за вечерний прием пищи.

Они ели и молчали. Молчали и ели. Наевшись, супруга думала-думала и легла спать, а Карп Степаныч сел за письменный стол и уставился на телеграмму. Что-то надо было делать, а что — он будто бы никак не сообразит. Сидел и думал.

Часам к двенадцати ночи он решил. А раз решил — ночь просидит до рассвета, а сделает. Характер у него был очень трудолюбивый и прямой. Он и сам говаривал иногда: «Там, где наука, я — весь! Ничем не поскуплюсь!» Так и в тот вечер: сел и написал после размышлений бумагу, которую мы приводим полностью.

***«Заявление***

*Дорогие товарищи! Во исполнение личных и общественных побуждений, подчиняясь голосу гражданской совести, памятуя о преданности партии и Советской власти, оберегая сельскохозяйственную науку от проникновения вредных социализму идей, в целях борьбы с низкопоклонством перед буржуазной наукой, имея в виду служение науки народу, считаю долгом своим сообщить нижеследующее.*

*Нам стало известно, что некий кандидат сельскохозяйственных наук, Масловский Герасим Ильич, в свое время защитивший кандидатскую диссертацию, защитил уже докторскую. Каждому гражданину приятно, когда в нашей научной семье нарождается новый член в почтенном возрасте. Масловский работал на теме „Проблемы кормодобывания и селекция кормовых культур“. Тема, конечно, общего порядка, не специализирована на одном виде животного (что было бы существенно необходимо в целях конкретизации и комплексирования, а также и наиболее желательной калорийности). Но не в этом только дело.*

*Кто такой гражданин Масловский?*

*1. Нам доподлинно известно, что он был женат на дочери бывшего помещика, а следовательно, так или иначе связан с классом*

*эксплуататоров и паразитов жизни. Идеологическое его настроение, исходящее из родства, выразилось в следующем: он, Масловский, будучи кандидатом наук, отнюдь не был предан учению Вильямса о травопольной системе, а более того, на одном из ученых советов говорил о том, что из этой системы мы якобы сделали шаблон. Нашу государственную, единственно правильную систему преобразования земли и создания плодородия для получения ста центнеров пшеницы с га он, Масловский, считает шаблоном! И такому человеку дали проникнуть в недра науки с присвоением степени доктора.*

2. *Нам также известно доподлинно, что Масловский, хотя он это и скрывает, всегда был, есть и будет до конца жизни менделистом и морганистом и тем самым всегда склоняется к буржуазным теориям в науке. И такому буржуазному человеку дали степень, будто у нас нет людей лучше. Не стыдно ли нам, кто честен и предан, терпеть такое? Можно ли об этом молчать? Нет, надо принять меры.*

*Как противника травопольной системы, земледелия, как скрытого менделиста Масловского надо не допустить в лоно науки в качестве доктора, пусть побудет кандидатом, пока проверят его и всю его жизнь.*

*Кроме того, сообщаю, что защита диссертации состоялась в Одессе двенадцатого сего месяца, а следовательно, еще не утверждена высшими инстанциями.*

*Прошу вас оградить науку, пока не поздно.*

*К сему…»*

Карп Степаныч думал-думал и подписал так:

*«Доброжелатель Советской власти».*

Это заявление он переписал, запечатал в конверт, запер в ящик письменного стола. Черновик сжег. Затем, облегченно вздохнув, снова стал смотреть на телеграмму. И чем больше смотрел, тем все больше и больше умилялся. Глаза у него стали влажными от прилива высоких чувств. Он взял ручку и написал:

«Одесса Масловскому

Дорогой Герасим Ильич восклицательный знак радуюсь вашей удаче поздравляю сердечно обнимаю точка слезы радости восхищения благодарности за вклад

сельскохозяйственную науку освежают мою душу точка живите долго на благо народа

*Карп Карлюк».*

Он достал носовой платок, вытянув для этого ногу. Чистая, как у грудного ребенка, слеза упала на телеграмму. Карп Степаныч плакал. Очень уж он сильно растрогался.

## *Глава третья*
## Понедельник — день тяжелый

После воскресенья всегда бывает только понедельник. И это ни у кого не вызывает удивления. Но Ираклию Кирьяновичу очень хотелось бы, чтобы понедельников не было совсем, чтобы сразу вторник. Понимаете, какая у него установка? С самого раннего детства он был убежден, что понедельник — день тяжелый. Об этом он слышал еще от своей матери, и от отца, и от соседей. Хотя он и не ходил уже в церковь, но в свое научное учреждение являлся в понедельник всегда с какой-то тягостью. Он в понедельник ожидал неприятностей, был уверен в этом и каждый раз думал, входя: «Ну, что-то сегодня еще стрясется? Ох, уж эти понедельники!»

В тот самый понедельник Ираклий Кирьянович пришел, как и обычно, первым. Разделся, повесил пальто на вешалку, осмотрел его, почистил ногтем пятнышко; затем уже снял кашне, аккуратно свернул его, положил в шляпу, которую и поставил на полочку, донышком вниз. Делал он все это не спеша. В учреждении было тихо. Он прошелся по комнате, осмотрел давно знакомые диаграммы успехов в области кормления лошади, постоял у стола Карпа Степаныча и вслух произнес, указывая сухим пальцем на несгораемый ящик, стоящий тут же, около рабочего места руководителя: «Тут мысль. Тут докторская — под этим чугуном». И покачал головой. Так уж сложилось, в жизни, что судьба определила ему не защищать ученые степени, а только помогать другим достигать их. Он всегда только держал за хвост скользкого вьюна научной славы, пока кто-либо другой не ухитрялся все же его выпотрошить. Попробовал Ираклий Кирьянович учиться заочно — ничего не получилось. Но он дважды побыл на курсах (не то

двухнедельных, не то двухмесячных) и на этом основании в анкете, в графе «образование», писал: «Шесть классов гимназии и высшие курсы».

Походил-походил Ираклий Кирьянович по комнате в ожидании понедельничных невзгод и остановился у правил внутреннего распорядка. Остановился и подумал: «Кто бы догадался? А вот я сообразил».

Что же такое сообразил Ираклий Кирьянович Подсушка? А дело было так. При организации данного учреждения, Межоблкормлошбюро, куда был назначен Карп Степаныч Карлюк в качестве руководителя, Подсушка тоже выехал за назначением в качестве замзавмежоблкормлошбюро. Пришлось ему быть и в министерстве сельского хозяйства. И, конечно, он ознакомился с правилами внутреннего распорядка. А ознакомившись, переписал их и привез в Межоблкормлошбюро. После перепечатал их на машинке, вывесил их в золоченой рамке за подписью Карлюка. Хотя в данном научном учреждении и было всего только четыре человека (Карлюк, Подсушка, бухгалтер и уборщица), но правила распорядка придавали внушительность всей комнате. Подсушка гордился: он это сообразил! И часто перечитывал. Он был вполне удовлетворен тем, что о верчении чернильной крышки в правилах ничего не сказано, и, подумав об этом, даже улыбнулся.

Так начался один из июньских понедельников тысяча девятьсот пятьдесят третьего года в Межоблкормлошбюро.

Часы пробили восемь. Подсушка сел за свой письменный стол. Он всегда садился точно, выполняя распорядок дня, и начинал работать.

В соседнюю комнату, за перегородку, вошел бухгалтер и оттуда приветствовал:

— Ираклию Кирьяновичу!

— Привет, — равнодушно ответил Подсушка.

— Ну как, жизнь идет?

— Идет.

— Почты не было?

— Нет.

Видно было, что бухгалтеру Щеткину хотелось поговорить. Но сверх того, что они сейчас произнесли, не было сказано ни единого слова за весь рабочий день. Ираклий Кирьянович отвечал бухгалтеру с

достоинством, лаконично, как лицу, стоящему ниже его. Но при упоминании о почте его покоробило, и он подумал: «Ох, уж эти понедельники! Не знаешь, где ждать неприятности».

И в это самое время вошел в комнату человек в кирзовых сапогах и новеньком ватнике. Он снял треух, поправил зачесанные назад волосы и сказал:

— Здравствуйте!

— Привет, — ответил сухо Подсушка, не отрываясь от бумаги.

— Здесь Облош… меж… корм? Или как там? Простите, не выговорю.

— Здесь Межоблкормлошбюро, — ответил Ираклий Кирьянович с расстановкой.

Тень улыбки прыгнула на губах вошедшего. Чтобы скрыть ее, он потрогал короткие черные усики пальцем и продолжал допытываться:

— А Карлюка могу я видеть?

Тут только и поднял Ираклий Кирьянович взор на посетителя и ответил:

— Скоро будет. По какому вопросу?

— Да вот… Слышал, будто вам нужны агрономы.

— Нам нужны агрономы, работающие или работавшие в колхозах.

— Я из колхоза.

— Фамилия.

— Егоров. А вы Подсушка?

— Совершенно правильно: Подсушка. Вы, видимо, запомнили мою подпись на той бумаге, что мы разослали по периферии?

— Точно, читал. Запомнил.

Подсушка побарабанил пальцами по столу и многозначительно сказал:

— Та-ак.

— Ну так как же насчет места? — спросил Егоров.

— Мое дело найти кандидатуры, а принимать будет Карп Степаныч Карлюк. Оставьте анкету и заявление.

— А он скоро?

— Не знаю.

— Подожду, — сказал Егоров и сел без приглашения.

Ираклий Кирьянович писал. Егоров сидел, усмешка не сходила с его губ. Он спросил:

— А в чем будет заключаться моя работа?

— Если примут, — подчеркнул Подсушка, — то будете изучать.

— Что?

— Ну… культуры, поедаемые лошадью, и…

—: А какие культуры?

— Ну те, которые… ест лошадь.

— А конкретно? Овес?

— Овес? Может быть, и овес! — Подсушка не был посвящен в точные детали развертывающейся деятельности Карлюка, но, чтобы не терять авторитета, добавил: — Сено будете, вероятно, сеять. Возможно… пшено.

— Просо?! — удивился Егоров.

— Почему? — удивился в свою очередь и Ираклий Кирьянович.

— Пшено делают из проса, — вежливо пояснил Егоров.

— Как это так — из проса?.. Ах, да! Из проса! Конечно, из проса! Конечно, просо. И… крупу. И все, что скажет Карп Степаныч.

— Наверно, он не скоро придет.

— Дела. Дела у него там. — Подсушка махнул неопределенно рукой и для вящей важности и усиления авторитета начальства добавил: — В обкоме, наверно.

— Вот моя анкета, — сказал Егоров. — А я зайду сегодня, через час-другой. — И вышел, все так же улыбаясь.

А Ираклий Кирьянович бросился к словарю. Он, торопясь, искал «культуру — пшено», потом — «просо», потом — «крупу». Последней культуры он так и не нашел. Было как-то не особенно ловко без настоящей уверенности. Он решил более подробно спросить у Карлюка впоследствии, а пока вытащил из беспорядочной груды книг «Справочник агронома». Нет «крупы»! Сложное дело наука! Было время, Ираклий Кирьянович изучал вопрос о происхождении постного масла. А на запрос одного из работников периферии о площади питания редьки он ответил: «Чем реже, тем лучше. Название „редька“ говорит само за себя». Такой ответ он дал тогда в отсутствие Карлюка, который, как мы убедимся ниже, насчет практического сельского хозяйства соображал.

«Черт бы побрал это пшено! — подумал Подсушка. — Понедельник!» И глубоко вздохнул.

Наконец пришел и Карп Степаныч. Ираклий Кирьянович встал и поздоровался с легким поклоном:

— Доброе утро!

— Приветствую вас! — покровительственно произнес Карп Степаныч.

— Как выходной? — завязывал разговор Подсушка.

— Работал всю ночь… Ох-хо-хо-хо! — Карлюк грузно повалился в кресло.

— Вы бы уж пожалели здоровье, Карп Степаныч. Вы должны понять: ваша жизнь — для науки. Нельзя относиться так безрассудно…

Так Ираклий Кирьянович «отчитывал» начальника. А тому было приятно, и он делал вид, что позволяет такое только Подсушке.

— Ну-ну, ладно. Опять пробираете. Постараюсь. Постараюсь отдыхать.

Но еще несколько минут Ираклий Кирьянович возмущался тем, что Карп Степаныч не бережет себя для науки. А под конец они оба вздохнули с грустью.

— Карп Степаныч! — обратился через некоторое время Подсушка. — Крупа — это как? Сеют или как?

— Крупа, — поучительно начал объяснять Карлюк, — эт-то бывает гречневая, манная и… перловая.

— Гречневая. Из гречихи? Такая — с остренькими краями?

— Безусловно.

— А манная с юга? Где-нибудь в пределах Палестины?

— Из пшеницы делают. — Карп Степаныч все это знал очень хорошо. — А не с неба падает. Версия. Легенда.

— А… перловая? — немного смущаясь, спросил Ираклий Кирьянович.

— Перловая? — Карп Степаныч поднял брови.

— Да. Перловая.

— Ах, да! Перло-овая! Помню, помню. Перловая… Перловая?

— Да. Перловая, — повторил и Ираклий Кирьянович.

— Перловая… Перл!.. Что такое перл?.. Что-то выскочило из памяти. Я скажу вам завтра. Вспомню. К нашей теме это не относится:

лошадь не кормить перлами.

Ираклий Кирьянович теперь уже точно знал: пшено — из проса, гречневая крупа — из гречихи, перловая — конечно, из перлов, а из каких — скажет Карп Степаныч.

«Век живи — век учись», — завершил он размышления по данному вопросу. Затем от вопросов теоретического порядка он перешел к практической работе и доложил:

— Был тут агроном, Егоров. Явился на наше письмо, разосланное по периферии.

— Егоров? Егоров, Егоров… Знакомая фамилия, — Карп Степаныч задумался, что-то вспоминая. А потом сказал как бы про себя: — Нет. Не может быть, чтобы он. Тот, наверно, погиб. Иначе был бы слух.

— Это вы про кого?

— Да так… Вспомнилось. Ну а как он, Егоров-то?

— Ничего. Соображает. По сельскому хозяйству и… вообще. Беседовал с ним — соображает.

— А анкетные данные каковы?

— Совершенно правильно: в анкете человек — весь, — Ираклий Кирьянович достал анкету и, держа ее в руках, объяснял начальнику, сидящему за своим столом, за десять шагов от него: — Та-ак. Из крестьян… Высшее. В других партиях не состоял. За границей родственников нет. Та-ак… Места работы… Интересно! Восемь лет — и все в одном колхозе агрономствует.

— О! Это совсем хорошо! — воскликнул Карп Степаныч. — С наукой не связан, разных там тонкостей в защитах диссертации не знает, а материал давать будет. А из себя-то он каков?

— Положительный… И ватничек на нем…

— Пройдет, — заключил Карп Степаныч и тут же подумал: «Не он».

Ираклий Кирьянович сочинил приказ, а Карп Степаныч подписал. Агроном Егоров назначался на «опорный пункт» в колхоз «Правда».

А через час вошел Егоров. И прямо к Карпу Степанычу:

— Здравствуйте, товарищ Карлюк!

Карп Степаныч вытаращил глаза, открыл рот и, не спуская глаз с вошедшего, взял со стола, не глядя, очки, надел их, снова снял и еще раз надел.

Ираклий Кирьянович за два года совместной деятельности ни разу не видел Карпа Степаныча таким. Он тоже открыл рот и тоже надел очки. Чему удивлялся Карп Степаныч, для Подсушки было не ясно, а сам он удивлялся удивлению начальника.

— При… ветствую… вас, — наконец произнес начальник и спросил после паузы: — Вы?

— Я.

— Филипп Иванович? — И тут он выжал улыбку.

— Филипп Иванович, — ответил Егоров.

— А… как же?

— Да так. Вот пришел.

— И усы… у вас… те же, — уже покровительственно, с улыбкой и склоненной набок головой сказал Карп Степаныч, сложив ладошки на животе.

— И усы, — подтвердил Егоров, погладив их.

И только-только начальник хотел сказать уже готовые слова: «К сожалению, вакантных мест уже нет», как выскочил из-за стола Ираклий Кирьянович и, подражая тону начальника, обратился к Егорову:

— И приказик на вас подписан. Поздравляю! Наука, она…

Карп Степаныч пронзил его взглядом, засопел да еще и пожевал губами в великом недовольстве. Но… податься некуда. Егорову вручили приказ и перечень тем для постановки опытов.

Ираклий Кирьянович ушел за свой стол, съежился там, поник челом над бумагой и ровным счетом ничего не соображал, что сегодня происходит. Дьявольский понедельник!

Филипп Иванович почему-то тоже был сердит. Он нахмурил густые брови, бесцеремонно прошелся по комнате, оглядел стены, остановился перед Карлюком и сказал утвердительно:

— Значит, вы здесь.

— Здесь, — как-то не особенно уверенно подтвердил Карлюк.

— Интересно. Еще не доктор?

— Пока кандидат.

— Итак, я ваш подчиненный.

— Не будем об этом. Мы школьные товарищи. А старое мы забыли. Понимаете, забыли?

— Возможно, — неопределенно ответил Егоров, так что Карпа Степаныча покоробило.

Но он продолжал тем же тоном, с большой выдержкой:

— А завтра вы направитесь к профессору Чернохарову, получите от него две темы для производственного изучения.

— Старый учитель, — сказал Филипп Иванович, задумавшись.

— Наш с вами общий учитель. — Карп Степаныч постучал по столу пальцами и вдруг спросил: — Где же вы пропадали? Не слышно было.

— Воевал, — нехотя ответил Егоров. — Брал Берлин… Потом в колхозе все время.

— Так, так, — оживился Карлюк. — Ну и как там, в Германии-то?

— В каком смысле?

— Дороги там, говорят, хорошие?

— Отличные. Нам бы неплохо позаимствовать.

— Во-от как? Нам — у Германии?

— Ну да. Чего вы так удивляетесь?

— Да нет, нет. Я просто так.

— До свидания! — сказал Егоров.

— Желаю удачи! — совсем уже весело напутствовал Карп Степаныч.

— Будьте здоровы! — сказал уныло и Ираклий Кирьянович.

Егоров ушел. А Карп Степаныч медленно и грозно подошел к столу Подсушки. Как он подошел! Он надел роговые очки, которые снял было после ухода посетителя и которые обязательно надевал при волнении, засунул руки в карманы, сдвинул брови и густым басом произнес, прислонясь животом к столу:

— По-ли-ти-ческая бли-зо-ру-кость! Усы! Почему не сказали мне про усы? Я спрашиваю: почему? Я бы узнал. Он всегда носил усики, еще с института. Почему, я спрашиваю?

— К-к-карп Степаныч! — взмолился Подсушка. — Я, я…

— Что «Карп Степаныч»? Зачем «Карп Степаныч»? Я спрашиваю по существу: по-че-му?

— Не было графы в анкете. Графы нет по поводу усов и с какого года. Я согласно анкете…

И Карп Степаныч неожиданно сбавил гнев. Отошел от Подсушки и несколько мягче, но довольно еще грозно сказал:

— Сколько мы теряем! Сколько теряем от неполноценности анкет!

— Действительно! — ободрился Подсушка. — Усы, глаза, приметы — где это все? Как начальник может определить человека? Невозможно. Упущение колоссальное. Ведь даже у лошади в паспорте пишется: «Во лбу звезда с проточиной» или «Задние бабки в чулках». А тут — человек! Че-ло-век!

— А мы говорим: «Почему? Как враги проникают?» Вот они как проникают.

— Истинная правда, — подтвердил Подсушка. — Так они проникают.

Остаток дня они просидели молча. Работали напряженно. А часам к четырем Ираклий Кирьянович спросил:

— А этот, Егоров, кто он?

Карп Степаныч махнул рукой, поморщился и сказал в ответ:

— Потом, потом. Сейчас некогда. Потом.

Затем Ираклий Кирьянович надраил, как обычно, чернильную крышку и… запустил. Здорово запустил! Думал он так: «Сейчас развею тягость дня». И сказал:

— Начнем, Карп Степаныч?

Тот посмотрел на Подсушку, потом на часы, неожиданно встал, надел пальто и ушел раньше времени (начальнику можно). Он куда-то очень спешил.

Жалобно зазвенела несчастная чернильная крышечка, прекратив южание. Ираклий Кирьянович со злостью шлепнул ее ладонью, заграбастал в горсть и со стуком надел на чернильницу: знай, дескать, свое место. Потом подпер ладонями подбородок и так просидел до конца дня, поглядывая, на часы, молча, с тоской. Он думал об одном и том же: «И за каким чертом бог создал понедельники!»

## *Глава четвертая*
## Враг на горизонте

На другой день Филипп Иванович Егоров пришел к профессору Чернохарову. Профессор только вчера прибыл из Одессы, где участвовал в качестве оппонента в защите докторской диссертации доцентом Масловским. Как показалось Егорову, Чернохаров был несколько взволнован — он ходил по кабинету.

— Разрешите? — спросил Филипп Иванович, приоткрыв дверь.

— Гм… Конечно. — Он с некоторым недоумением посмотрел на вошедшего, остановившись в дальнем углу комнаты.

— Здравствуйте, Ефим Тарасович!

— Приветствую вас, дорогой! Приветствую вас!

Такое же приветствие произносил и Карп Степаныч Карлюк. И это не случайно. Он просто-напросто подражал Чернохарову.

Заметьте, Ефим Тарасович слово «дорогой» употреблял, приветствуя и знакомых и незнакомых, а Карлюк прибавлял это слово только при обращении к знакомым, так как считал, что называть незнакомого «дорогой» позволительно будет не раньше, как после защиты докторской диссертации.

— Позвольте… С кем имею честь?.. Гм… (Короткое, отрывистое мычание часто завершало мысли профессора.)

— Егоров. Помните? Ваш ученик.

— Егоров? Ученик? Ах, да! Его-оров!.. Егоров?.. Не помню.

— Тысяча девятьсот тридцать восьмой год. Вместе с Карлюком кончали.

— Постойте, постойте! Это не у вас теленок… изжевал тетрадь по учету урожая? Гм…

— Нет, не у меня. Мне только подсунули. Карлюк подсунул изжеванную.

— Э, вы все продолжаете отказываться. Помню, помню. Э! Молодость, молодость… — Ефим Тарасович рассмеялся. Весь угловатый, костистый, но с животом, висящим ниже пояса, он потряс этим самым животом, стянул губы в одну сторону и совсем закрыл маленькие глазки на широком лице. Это и означало, что Ефим Тарасович рассмеялся. — Ну не будем вспоминать. Не будем. Садитесь, дорогой, садитесь! — пригласил он Егорова.

Филипп Иванович сел около массивного письменного стола, а Ефим Тарасович погрузился в кресло за столом. Теперь его видно было только по грудь.

— А изменились, изменились вы, Егоров… Четырнадцать лет утекло… Да. Ну и как у вас дела? Где вы?

— В колхозе.

— В науку, значит, не удалось… проникнуть?

— Как это, простите, «проникнуть»?

— Ну, может быть, неточно выразился… Гм… Все достигают. Стараются достигать вершин науки. Диссертации, обобщения… опыты.

— Вот и я буду ставить опыты. Теперь мой начальник — Карлюк. К вам прислал.

— Вот как?.. Но… вы же тогда с Карлюком как-то… Помните?

— Помню.

— А с системой земледелия? Все на стороне Масловского?

— Я на стороне колхозов, — уклончиво ответил Филипп Иванович.

— Похвально, похвально, дорогой. Самостоятельное, значит, мышление. И… все прочее… Гм… Не считаете ли вы это опасным?

— Самостоятельное мышление?

— Нет, нет. Я в смысле авторитетов. Отсутствие авторитетов у молодого научного работника приводит к бесплодности… К безуспешности… Гм…

— Думаю, главный успех должен заключаться в том, чтобы в колхозах было больше зерна, мяса, молока.

— А теория? Теоретическая наука? К забвению?

— Мне кажется, нельзя так ставить вопрос. Давно известно — в поле теория и практика неотделимы.

Филипп Иванович знал еще со времени учебы, что «гмыканьем» всегда заканчивался только-только начавшийся спор. Он осекся и перестал возражать.

А Чернохаров, видимо, считал этот спор ниже своего положения (хотя злые языки говорили, будто он стоит на высоте не своего положения). Но он все-таки сказал:

— Вы все такой же… ершистый. Трудно так… вам. Гм…

Филипп Иванович промолчал. Тогда только и возобновил разговор профессор.

— Итак, приступим к делу. Мы попробуем. Вы сами убедитесь в том, что в науке надо держаться… какой-то линии. Я дам вам тему. Поставьте ее в колхозе… на большой площади.

— Каково же содержание темы?

— Вот слушайте. — Ефим Тарасович медленно вытер платком лысину. Его безбровое лицо изменилось: он стал строг, во всех чертах выразилась непреклонность и прямолинейность. — Слушайте.

Некоторые «ученые» — поняли: «ученые»? — на задворках науки — поняли: на задворках науки? — скулят о том, что на юге области не растет люцерна. Это подрыв системы… Единственной… Вильямса… Надо доказать — понимаете? — доказать надо, что… люцерна там растет. Гм…

— Но если она действительно не растет? — спросил Филипп Иванович. — Тогда как?

— Если вы захотите — она будет расти. Структура! — воскликнул Чернохаров. — Структура… А где ее взять без люцерны?

— Но если она не растет, то какая же структура?

— Если вы захотите — она будет расти, — повторил с нарочитой подчеркнутостью Чернохаров. — И корм… Гм…

— Не понимаю: как это «захотите»? — пробовал возражать Егоров.

…… — Вы, дорогой, погрязли в колхозе и ничего еще не смыслите.

— Еще бы! — вставил Филипп Иванович.

Чернохаров, не обращая внимания, продолжал:

— Вы должны захотеть, чтобы люцерна росла. Если вы не захотите, то вы не сможете работать. Надо покончить с идолопоклонством перед буржуазной наукой, люцерна должна расти везде. Всюду! — воскликнул он и закончил: — Гм…

Из необычно длинной для Чернохарова речи Филипп Иванович понял все. Он сказал:

— Захочу. Но… захочет ли люцерна? — И пожал плечами.

Чернохаров встал. Голова его, расширенная книзу из-за малости лба и вообще черепной коробки, стала красной. Он обозлился, чуть-чуть попыхтел, пожевал губами, нижняя губа вздрогнула, отвисла, глаза открылись во всю ширину.

Он сказал:

— Вам этой темы я поручить не могу. Гм… — И сел.

— Простите! Но ваша тема не в программе. Вот программа, которую дал мне Карлюк.

— Да. Она идет сверх плана, но по линии… По линии, руководимой Карпом Степанычем Карлюком, достойным моим учеником. И все же не могу вам поручить. Не рискую. Гм…

Встал и Филипп Иванович. Надо было уходить.

— До свидания! — сказал он.

— Будьте здоровы, дорогой! — сказал и Чернохаров, глядя уже в окно и не оборачиваясь.

Филипп Иванович направился к двери. Но вдруг Чернохаров обратился к нему, все так же не отрывая взгляда от окна:

— Вопрос. Неужели ученик Чернохарова ничего не вынес из института? Все, что вам дано, покоится на травопольной системе. Неужели ничего не осталось в голове?

— Осталось.

— Что?

— Путаница и… пустота.

— Что-о?

— Пустота, — со сдержанной злобой повторил Филипп Иванович. — Ваши студенты, выходя из стен института, практически не знали сельского хозяйства, а теоретические знания оказывались путаными. Впрочем… — Филипп Иванович безнадежно махнул рукой и вышел.

Ефим Тарасович тяжело зашагал по кабинету, сначала медленно, потом все быстрее.

Не прошло и часа, как вошел Карп Степаныч Карлюк. Он еще у дверей согнулся в дугу. Но что это за дуга получилась, сообразить нетрудно, — она получилась только с тыльной стороны тела, а спереди была заполнена до краев благодаря идеальной полноте тела. Согнувшись в дугу, он произнес:

— Извините за то, что оторвал вас от мышления.

— Приветствую вас, дорогой! Вы очень кстати.

— Я всегда в вашем распоряжении, весь.

— Приняли этого… Егорова… вы?

— К сожалению, я. И по вине главным образом моего зама.

— Вы его хорошо помните… Егорова?

— Еще бы!

— По-моему, он был бездумен, горяч и… Гм…

— И безрассуден.

— Точно. Гм…

— Дрянь.

— Пожалуй. Гм… Как это получилось?

— Неполноценность анкетного материала.

— Возможно. Гм…

— А вы, Ефим Тарасович, дали ему тему?

— Нет. Не рискую.

— Отлично. Я был уверен. Человек он весьма…

— Опасный, — дополнил Чернохаров.

Каждый из собеседников понимал другого с полуслова, поэтому у них бывало часто так: только один начнет говорить, а другой уже завершает мысль совершенно точно.

— Что же вы думаете сделать, Карп Степаныч?

— Исправить ошибку.

— Как?

— Постепенно.

— Исправьте так, чтобы он не совал нос…

— В науку.

— Гм… Его надо…

— Уволить, — дополнил Карп Степаныч.

— Гм… И, видимо, он…

— Менделист.

— Очень похоже. Противник в зародыше. Гм…

— Интересно, о чем он говорил у вас?

— Странные вещи говорил… Клеветал на сельскохозяйственную науку. — Тут Ефим Тарасович в задумчивости прошелся по комнате. — Такие люди вообще… Гм…

— Оторваны от науки, — договорил Карп Степаныч.

— Возможно. Гм…

Они помолчали. Уселись друг против друга, побарабанили пальцами по столу. Вздохнули. Карп Степаныч спросил:

— И что же с Масловским?

— Дают кафедру здесь.

— Здесь?! — ужаснулся Карп Степаныч.

— Здесь, — подтвердил Ефим Тарасович.

— Куда же смотрит высокое начальство?

Ефим Тарасович не ответил на этот вопрос, а продолжал:

— Да, здесь. Антитравопольщик на кафедре! — Он попробовал рассмеяться, но только чуть подергал животом, лицо же оставалось неизменным, сосредоточенным.

— Но мы-то, мы, преданные науке люди, обязаны не молчать.

— Обязаны. И знаете, что я вам скажу, дорогой? Масловский менее страшен, чем этот… в ватнике… Егоров. Такому море по колено, ибо ему терять нечего — ему диссертацию не защищать.

— Опасный человек.

— Примите меры.

— Приму меры.

— Если оставлять таких в покое, то они могут нам вырыть… — Ефим Тарасович думал сказать «яму».

Но Карп Степаныч не совсем уразумел мысль учителя.

— Могилу! — воскликнул он проникновенно, выразив на лице и сожаление, и страх, и почтение к своему патрону.

О методах борьбы они не говорили. Видимо, не раз приходилось им в острых схватках за науку применять самое различное оружие. Оба задумались. И Ефим Тарасович начал резюмировать свою мысль и результаты обсуждения вопроса.

— Итак, появился новый…

— …враг на горизонте, — закончил Карп Степаныч.

Взаимопонимание учителя и ученика было трогательно. Им даже не требовалось развивать друг перед другом мысли, будто у них была одна голова на двоих. Но одно может показаться странным читателю: почему они оба так боялись Егорова, рядового агронома.

Что за человек этот Егоров?

## *Глава пятая*
## Свинья веселая и свинья унылая

В то время, когда Карп Степаныч в задумчивости шел от Чернохарова, погрузившись в раздумья о будущем сельскохозяйственной науки, Изида Ерофеевна сидела за столом дома, как и обычно. Сидела, пела и рисовала. Ввиду отсутствия служебного дела, к которому она смогла бы приложить имеющиеся в тайниках души способности и таланты, она занималась дома искусством. А Джон сидел рядом, на другом стуле, на своем, и если Изида пела, то он иной раз подвывал; если же она рисовала, то сидел смирно, изредка повиливая хвостом. И оба они были веселы в ожидании хозяина.

Вошел хозяин, Карп Степаныч. Оба домоседа бросились к нему встречать. Но Карп Степаныч, поцеловав Изиду и потрепав Джона по

шее, прошел в свою комнату, что-то там положил в ящик письменного стола и только после этого сел за стол принимать пищу. Он был хмур. Все свидетельствовало о том, что настроение у него явно уныло! Изида — наоборот. Она показала ему новую картину, на которой были изображены две свиньи: одна веселая, другая унылая, и начала рассказывать о событиях сегодняшнего дня:

— Представь себе, Карик! Нарисую свинью веселую — Джон лает, нарисую свинью унылую — он воет, — привирала она помаленьку. — Поразительный ум! Такой собаке, такому уму любой позавидует.

— Возможно, — подтверждал чернохаровским тоном Карп Степаныч.

— И управдом приходил. Такой веселый, такой веселый! Говорит: «Кланяйтесь Карпу Степанычу». А соседка, Лидка, халат купила. Ха-ха-ха! Змеиного цвета. Сама как змея, и халат — змея. Ха-ха-ха!

— Забавно, — сказал Карп Степаныч, оставаясь в унылой задумчивости.

Они поели. Но Карп Степаныч не наелся: сегодня у него «разгрузочный день» (плоды и прочее). Наедался же он по-настоящему только в погрузочные дни. Сегодня же ко всему тому, что произошло вне дома, прибавилось ощущение неудовлетворенности количеством еды. Отчасти поэтому он легонько и отстранил Изиду Ерофеевну, когда она, ласкаясь, прижалась к нему всей своей грациозной тушкой.

— После, после, Иза… После.

Она не обиделась, а сказала весело и иронически-ласково:

— Ты у меня сегодня — свинушка унылая.

Изида Ерофеевна легла в постель. А Карп Степаныч сел за письменный стол. Долго он сидел. Очень долго. Настойчивый человек! И опыт сидения имеется. А часам к двум ночи, когда супруга уже храпела, он прочитал еще раз написанное. Строку, куда писано, он заполнил многоточиями, так как не совсем решил куда. Заявление, против обычного, было коротким.

«В…….

Заявление

Как бы нам ни больно было писать о человеке, с которым один из нас учился, но голос гражданской совести

обязывает нас переступить порог личных отношений.

Егоров Филипп Иванович восхваляет образ жизни в Германии, воспевает дороги за границей и прямо говорит: „Нам надо у них поучиться“.

Он, Егоров, говорил одному из профессоров так: „Сельскохозяйственные институты вредны“. Тем самым он оклеветал всю систему советского образования. Эту злобную клевету он высказал также при свидетелях.

Он, Егоров, категорически отрицает травопольную систему земледелия как основу и единственную базу преобразования природы.

Перед нами явный враг науки.

*(Карлюк К. С.)*

*(Подсушка И. К.)».*

И долго еще сидел Карп Степаныч и думал, думал о том, как защитить науку от возможных врагов, которых он знает и которых не знает. Всегда, когда, по его мнению, надо было защищаться, он защищался, не щадя сил, памятуя древнее правило иезуитов: «Если хочешь победить врага, сначала оклевещи его». Он вспомнил это выражение и… успокоился. А успокоившись, стал устраиваться спать. Он разделся, подошел в одном белье к выключателю, увидел на столе «Свинью веселую и свинью унылую», посмотрел на художество, улыбнулся с каким-то горьким унынием и подумал: «Похоже. Очень похоже нарисовано». Выключил свет и лег в постель. Засыпал он спокойно под ритмичный стук часов.

Часы тикали. Время идет для всех — и для честных людей и для подлых. Идут часы, не взирая на личность. Время, время, какие поправки вносишь ты в нашу жизнь!

Утром следующего дня Карп Степаныч отправился на работу. Подсушка, как обычно, уже сидел на своем месте. Глаза у него были красные, как от бессонницы. Он не спал прошедшую ночь. Его волновал вопрос: «Кто же такой Егоров, если даже Карп Степаныч проявил момент растерянности?» Ему мерещилось черт знает что. Он ничего не понимал в происходящем, поэтому возненавидел Егорова. И

еще примешивалось ощущение неудобства от того, как он «засыпался» с пшеном в разговоре с этим «человеком в сапожищах». Если бы Подсушке сказали: «Поди дай ему в морду, этому Егорову», то Подсушка обязательно пошел бы, но ударить… Нет! Не мог бы он этого сделать — слишком мягкий и не очень смелый характер у Ираклия Кирьяновича.

И вот сидел Подсушка и думал. Вошел Карп Степаныч. Вошел, стал перед столом Ираклия Кирьяновича, не раздеваясь (что было необычно), и таинственным голосом, тихо, но четко, с расстановкой и прищурив глаз, сказал:

— Я так и знал…

Затем он моргнул одним глазом и только тогда пошел раздеваться. Раздевался медленно, покашливая и сопя. А Ираклий Кирьянович как вытянулся, приготовившись к приветствию, полусогнулся, выразив обычную утреннюю улыбку, — так и остался, бедняга. Было что-то важное в словах Карпа Степаныча, очень важное, что-то страшное, скребущее когтями душу и спину, так что боязно пошевелиться. Мыслей не было. Да и к чему они ему, мысли-то, если он ничего не понимает из всего этого? Даже и не подберешь слов для определения состояния Подсушки. Мягко выражаясь, можно сказать, что он обалдел. Карп Степаныч сел за стол, посмотрел на подчиненного и, обеспокоившись, спросил с тревогой:

— Что с вами, дорогой?

— Здравс… Карп-п-п Спанч! — ответил тот с присвистом. И только после этого сошла с лица улыбка. Он вспотел и наконец-то сел.

— Приветствую вас, дорогой! — вошел в колею и Карп Степаныч. — Вы чем-то озабочены?

— О чем? О ком? Кому? Чему… вы сказали: «Я так и знал»?

— Ах, да!.. Я вижу в вас, Ираклий Кирьянович, душу честную, болезненно и беспокойно принимающую к сердцу боль вашего начальника и друга. Вы в науке моя правая рука. И на вас надеюсь.

— Я… Да… Но… — Тут Подсушка чуть не прослезился, но удержался и вопросил уже более человекоподобно: — Чрезвычайно?

— Сверхважно, — ответил Карп Степаныч еще более серьезно.

А дальше все было почти без слов.

Ираклий Кирьянович вытянул шею. А Карп Степаныч втянул шею в плечи, поднял предостерегающе указательный палец, скосил глаза,

наклонив голову в сторону перегородки, затем поднял уже большой палец. И показал за перегородку. Этот жест означал следующее: «Дело сверхчрезвычайное. За перегородкой — человек, бухгалтер. Будьте бдительны!»

Подсушка понял все и приложил ладонь к губам, что следовало понимать так: «Понял. Молчу как рыба. Жду!»

Теперь Карп Степаныч вытянул шею из плеч, сделал весьма серьезное лицо, нахмурив брови и отпустив губы, и согнутым указательным перстом поманил Подсушку: «Иди, значит, беспрекословно — и все узнаешь».

И тут Ираклию Кирьяновичу вспомнилось: маленьким мальчишкой он наблюдал, как озорники ребята, перебросив веревочку с рыболовным крючком, тащили через забор индюка. Индюк тот по глупости схватил крючок, наживленный фасолью, и потом покорно повиновался озорникам. Тогда еще Ираклий-мальчик подумал: «Идет, дурак, без никаких возражений!..» Почему такое печальное воспоминание вдруг всплыло в памяти Подсушки, сказать трудно. Но все это мелькнуло у него в голове на секунду. В следующую секунду он уже бесшумно, на носках, подошел к столу Карпа Степаныча.

А тот развернул свое заявление и дал прочитать Подсушке пять слов. «Перед нами явный враг науки».

Подсушка двумя пальцами провел туда-сюда над верхней губой, изображая усики и выражая вопрос: «Егоров?»

Карп Степаныч наклонил голову в знак подтверждения.

Подсушка в удивлении и возмущении развел руками.

Карлюк тоже развел руками.

Оба затем многозначительно переглянулись и вздохнули сокрушенно. Помолчали.

Но тут Карп Степаныч поднял кулак и опустил его на стол, скрипнув зубами: «Бить, значит, требуется».

И Подсушка сделал то же самое: «Бить!»

После таких жестов, утверждающих обоюдное согласие, Карп Степаныч дал прочесть уже заявление. Подсушка прочитал. Начальник жестом показал, что надо расписаться. И немедленно под заявлением оказались две подписи, еще вчера проставленные в скобках.

— Честный человек не должен об этом молчать, — сказал теперь вслух Карп Степаныч.

— Именно, — подтвердил Ираклий Кирьянович.

Но тут произошло нечто необычное. За перегородкой, там, где входили все четыре работника Межоблкормлошбюро, заскрипела дверь: кто-то вошел. И вдруг уже в их кабинете появился бухгалтер Щеткин и сказал, запыхавшись и волнуясь:

— Прошу извинить за опоздание. Мальчик у меня заболел.

— Это что значит? — вопросил басом и с соответствующим сопением Карлюк. — Где вы были?

— Дома. Дома был. Только сейчас вошел.

— Не может того быть! — возмущался начальник.

— Клянусь! — воскликнул Щеткин.

После этого Карп Степаныч, обращаясь к Ираклию Кирьяновичу, тихо произнес:

— Эх, вы!.. Р-растяпа!

А тот действительно в расстройстве совсем упустил из виду — сел за стол бухгалтер или нет.

Щеткин же ничего не понял: то ли начальник обвиняет Подсушку в либерализме насчет опоздания служащих и невыполнении внутреннего распорядка, то ли это продолжение начатого ранее разговора между ними. Черт их поймет! Щеткин сильно осерчал. И сразу же выпалил:

— Так нельзя. Вы часто даже не замечаете — есть я или нет… А проходите мимо ежедневно. Я человек!

Карп Степаныч сначала удивился, потом тоже осерчал и воскликнул:

— Как вы смеете?!

— Так вот и смею. Не буду я у вас работать!

— По какой причине, смею вас спросить? — уже с ехидцей проговорил Карлюк.

— По двум причинам, — ответил Щеткин и сел бесцеремонно против Карлюка. — Первая: я человек. Вторая: не вижу пользы от всей вашей, а следовательно и моей, работы.

Карп Степаныч встал. Ираклий Кирьянович сел. Потом Карп Степаныч сел, а Ираклий Кирьянович встал. Щеткин же как сел, так и сидел. Карп Степаныч обратился к Ираклию Кирьяновичу:

— Что это значит?

— Что это значит? — спросил в свою очередь, рикошетом, Ираклий Кирьянович у Щеткина.

— Это значит, что хотя я смирный и робкий человек, но честный. — У Щеткина тряслись руки от волнения.

Карп Степаныч встал и отошел к столу Подсушки. Оба они там посмотрели друг другу в глаза, поняли друг друга без единого слова, и начальник сказал просто и спокойно:

— Пишите заявление.

— Не снимаете, значит?

— По собственному желанию уйдете. И характеристику получите… хорошую.

Щеткин встал в полном удивлении: фуражка выпала у него из рук, но он этого не заметил и наступил на нее.

— Не удивляйтесь, товарищ Щеткин. Не удивляйтесь, — повторил Карп Степаныч. — Все просто. Вы у нас работали четыре месяца. Мы не поняли друг друга. Вот и все. Но в вас я ценю именно человека… смелого и… все такое… трудолюбивого и… все прочее.

В тот же день Щеткин написал заявление об уходе. Все обошлось хорошо. Карп Степаныч не любит ссориться.

Затем Карп Степаныч поручил Подсушке подыскать подходящую кандидатуру на место Щеткина. И они приступили к очередной работе. Ираклий Кирьянович чистил чернильную крышечку, готовясь к очередному турниру.

И день кончился так же, как и обычно: они снова не смогли вырваться с работы раньше половины седьмого. Но, уходя, оба вдруг помрачнели.

— Егоров, — сказал Карп Степаныч.

— Егоров, — сказал и Ираклий Кирьянович.

Это значило, что мысли каждого занимала та же самая личность. И что они так испугались этого Егорова?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать всю жизнь Карпа Степаныча Карлюка. Но об этом несколько позже. Пока что Карп Степаныч занимается вопросом подготовки докторской диссертации и готовит материал о том, что может есть лошадь и что она должна есть. Он накапливал опыт: бывал на защитах диссертаций, изучал процесс защиты, вырабатывал и дополнял правила защиты. Попутно заметим: многое он почерпнул на одной защите, состоявшейся в

зооветинституте на тему: «Микроскопические исследования яичников домашней кошки в связи с проблемой животноводства и обновления породистости рогатого скота». Очень ценная была работа! И процесс защиты весьма и весьма поучительный. Так что не стоит спешить с рассказом о прошлой жизни Карпа Степаныча, поскольку сам он живет настоящим моментом. Более того, необходимо вернуться в описании событий на два дня назад и поговорить о том, что же творилось за спиной Карлюка сразу после того, как он был у Чернохарова и когда принимал меры к ограждению науки от «элементов».

## *Глава шестая*
## Два друга

В то время, когда Карлюк сидел за вечерней трапезой, Филипп Иванович Егоров стоял на перроне вокзала в ожидании поезда. Он прохаживался по перрону, время от времени поглядывая на часы. Было семь вечера. Никаких вещей, кроме полевой сумки, у него не было. Он ждал профессора Масловского.

Подошел поезд из Одессы, и Егоров заторопился, почти побежал к вагону номер пять. Он был уверен, что профессор приехал в мягком вагоне. Пассажиры выходили один за другим, но Масловского не оказалось. «Значит, задержался», — подумал Филипп Иванович и направился вдоль поезда к выходу в город. И вдруг он увидел: у самого заднего вагона мелькнул плащ Масловского. Он тряс руку пожилого колхозника (видимо, попутчика по вагону) и что-то горячо говорил. Филипп Иванович заспешил к профессору. Но тот уже широко зашагал от поезда, проскочил выход, решительно открыл дверцу такси и помахал шляпой колхознику, все еще стоявшему на перроне. Филипп Иванович спешил, проталкиваясь в потоке выходящих пассажиров, и крикнул:

— Герасим Ильич!

Но его возглас слился с паровозным гудком. Дверца захлопнулась, и автомобиль, набирая скорость, сразу скрылся из глаз.

Филипп Иванович вскочил в первый же трамвай и помчался по следу профессора. Минут через двадцать он был уже в квартире Масловского. Дверь открыла ему домашняя работница, Мария

Степановна, рослая, сухая, сморщенная старуха, обвязанная цветастым платком.

— Дома? — спросил он у нее.

Та удивленно посмотрела на него и сказала:

— Э! Да вин писля поезда ще часа два буде блукать. Такий уж… — Она махнула рукой и добавила: — Шалопутный!

— Не очень лестный отзыв, — сказал, улыбаясь, Филипп Иванович. — А я, значит, попал на ложный след.

— Ему хучь кол на голови теши — не поисть, не попье вовремя.

— Пойду распутывать след.

— Ну иди, иди… Да гони ты его у шею до дому. Ведь голодный небось. Не задерживай смотри! — сказала она строго и погрозила пальцем.

Филипп Иванович пошел на опытное поле института. И не ошибся. Герасим Ильич стремительно шагал по дорожкам меж делянок, а молодой научный сотрудник еле поспевал за ним. Филипп Иванович догнал их и пошел позади.

Профессор говорил на ходу.

— Неужели вы не понимаете простой вещи! — воскликнул он, размахивая шляпой. Седые волосы ерошил ветер, но казалось, они шевелились от возбуждения профессора.

— Был здесь директор, — оправдывался научный сотрудник, — и сказал мне: «Зачем торчат сорняки? Почему торчат сорняки? Удалить немедленно! Ожидаем экскурсию, а у вас сорняки на делянке». Ну я и…

— Вы не имели права полоть эту делянку! Вы испортили опыт. Вас судить надо! — кричал Масловский.

— Герасим Ильич! — почти жалобно пытался возражать его собеседник.

— Что ж из того, что Герасим Ильич! Я еще вам намылю шею за такое!

Филипп Иванович подумал: «Та-ак. Суд заменяется намыливанием шеи. Все идет как и полагается. Знакомое дело».

Профессор и его сотрудник остановились около одного из опытов.

Герасим Ильич повернулся лицом к делянкам и посмотрел сбоку на Филиппа Ивановича.

— Вы?! — воскликнул он.

— Я.

— Откуда?

— Иду по следу. С вокзала, — отвечал Филипп Иванович шутливым тоном.

— По какому следу? Вы за каким зверем охотитесь, позвольте вас спросить?

— За профессором Масловским, смею доложить!

— То есть как это так? Значит, вы были на селекционном участке?

— Нет. Не был. Решил сразу пройти сюда.

Герасим Ильич начинал сбавлять строгий тон. Он подошел к Филиппу Ивановичу, подал руку и, не выпуская его руки, спросил:

— Значит, с вокзала?

— С вокзала. Ездил вас встречать, но… не догнал. Хотел поздравить и порадоваться с вами, Герасим Ильич.

— Ну… этого… не надо…

— Поздравляю от души! И радуюсь.

— Ну… Спасибо. Спасибо вам. — Герасим Ильич положил руку на плечо Филиппа Ивановича и поцеловал его. — И в горе меня не забывали и в радости не забыли. Спасибо!

— А я иду позади, — снова заговорил шутливым тоном Филипп Иванович, — и думаю, слушая вас: «Ну, попал на судебный процесс!»

Герасим Ильич покосился на своего научного сотрудника и сказал, обращаясь к Филиппу Ивановичу:

— Остались дети на хуторе и такую ерунду напутали! Добрая пословица! Вот он напутал без меня. Вот смотрите: эта делянка обработана химикалиями против сорняков. А вот на этой делянке проведена тщательная прополка, без химической борьбы. На той же делянке… Пошли, пошли! — Он потянул за рукав Филиппа Ивановича. — Вот. На этой делянке сорняки должны быть целехоньки — ни химикалий, ни прополки. А он прополол!

— Только крупные сорняки. Только те, что выше растений, — оправдывался научный сотрудник.

— Ни единого! Ни единого нельзя трогать! — снова загорячился Герасим Ильич. — Цель опыта: выяснить не только видимое действие химической борьбы с сорняками, а сравнить урожай и установить, *действительно* ли эта борьба может заменить тщательную прополку и

какой экономический эффект дает. Все в опыте должно быть точно и ясно до возможного предела. Понятно?

— Я знал… Но… директор…

— Даже министр над вами не властен, если у вас есть мысль, идея, открывающая перспективу увеличения урожая. Да, да, министр! Что вы смотрите так удивленно?.. Исследователь всегда свободен. Более того, он иногда сам себя «подрубает» и… радуется этому.

— Как это понять? — спросил Филипп Иванович.

А научный сотрудник, юноша, которого Филипп Иванович видел впервые, уже и не пытался задавать вопросы. Он только слушал.

— Как понять? — говорил Герасим Ильич. — Вот как понять… Пошли, пошли! — Он шагал быстро и широко, размахивая рукой, увлекая за собой собеседников. В конце блока делянок он остановился. — Видите, Филипп Иванович? Колышки видите в гнездах кукурузы?

— Вижу.

— На конец каждого колышка нанизана картофелина и — зарыта в почву на четыре-пять сантиметров. Мы рекомендовали в свое время, и я, заметьте, подписал ту рекомендацию: для борьбы с проволочником на овощных и кукурузе использовать картофель. Проволочник любит вгрызаться в мякоть картофелины. А через день-два картофелина извлекается из почвы с этим колышком. Проволочника уничтожают. Так мы рекомендовали. И были уверены, что это хорошо — оградить линией картофеля пятна, зараженные проволочником. Даже два колхоза подтвердили это на семенных участках овощных… Ну конечно, благодарили и… все прочее…

— Никак не пойму, при чем же здесь «подрубание» самих себя? — спросил Филипп Иванович.

— Ну какой же вы нетерпеливый! Смотрите соседнюю делянку. Здесь в почву внесен гексахлоран — и нет проволочника. Совсем нет! Агроном Московской области Крутиховский установил: гексахлоран — спасение от проволочника, а урожай при этом увеличивается на двадцать процентов. Вот мы провели его исследования. И что же: мои четырехлетние исследования покатились к чертям! Идея Крутиховского отрицает мою начисто. И я рад этому. — Герасим Ильич неожиданно обернулся к научному сотруднику и сказал: — Понимаешь, Коля, очень рад этому отрицанию. Мы с тобой проверили

данные Крутиховского и тем самым подрубили самих себя. И радуемся. Правда же?

— Да, правда, — с улыбкой ответил Коля.

Герасим Ильич обратился к Филиппу Ивановичу:

— Вот мы с Колей решили: часто бывает так, что новое в исследовании заключается в отрицании предыдущего исследования, опыта, эксперимента. Так, Коля? — Он толкнул его локтем.

— А судить его будем? — спросил Филипп Иванович у Масловского, подмигнув Коле.

Герасим Ильич прямо-таки отпрянул от Коли, надвинул шляпу поплотнее и повторил строго:

— Я еще намылю ему шею. — И пошел вдоль делянок второго блока. — Он у меня еще узнает кузькину мать… «Директор, директор». Может быть, тебе Чернохаров прикажет?.. Я вам! — Грозил он на ходу кому-то.

Филипп Иванович дернул за рукав Колю и тихо сказал:

— Оставьте его на минутку. Дайте успокоиться. Я его знаю.

— А вы откуда?

— Агроном колхоза. Кончал когда-то этот же институт. А вы давно у Герасима Ильича?

— В прошлом году окончил. Ну… он и оставил меня здесь.

— Счастливый вы человек, Коля, — сказал Филипп Иванович.

Герасим Ильич ходил, ходил и как-то сразу, неожиданно, остановился невдалеке. Потом крикнул:

— Эй вы, заговорщики! Идите сюда.

Когда «заговорщики» подошли, он спросил у Коли:

— Это вы заборонили пар после дождя?

— Я.

— Кто приказал?

— Никто. Сам решил.

— Молодец. Правильно. — Он помолчал чуть и добавил: — Впрочем, путайте, ошибайтесь, но… не очень сильно ошибайтесь… Не так, как с сорняками…

Солнце совсем опустилось к горизонту. Повеяло прохладой. Растения на делянках навострили верхние листочки, слегка опущенные днем; от делянок на дорожки легла короткая тень. Герасим Ильич застегнул плащ, окинул взором поле, посмотрел на Колю, на

Филиппа Ивановича; потом взял в горсть клинышек бородки и, задумавшись, повторил:

— Ладно. Ошибайтесь. Но… не очень сильно.

Через несколько минут они были в квартире Герасима Ильича. Сели на диван рядом.

— Ну, рассказывайте, какие новости в колхозе?

— Новость на всю волость — сняли меня с работы. Уже я не колхозный агроном.

— Что?! — воскликнул Герасим Ильич. Он вскочил и заходил по комнате, говоря: — И какова же причина? Впрочем, можете не отвечать на этот вопрос. Все ясно… Все ясно… Ясно, — повторял он, взявшись за клинышек бородки и продолжая ходить из угла в угол. — Агроном, ненавидящий рутину и консерватизм в агротехнике, оказывается «опасным» человеком. Все ясно, все ясно… Но все-таки расскажите.

— На свой риск перенес травы в пойму, получил огромный урожай сена, а полевой севооборот сделал не двенадцатипольный, а шестипольный… Соединил по два поля в одно. Увеличил площадь зерновых на двадцать процентов. И вот «за игнорирование травопольного севооборота, за самовольство и анархизм в агротехнике (так и записано), за нарушение агроправил»… освобожден.

— И что же вы теперь?

— Что ж, из колхоза не пойду.

— Но жить-то надо чем-то?

— Нашел работу. — Филипп Иванович положил на стол приказ Карлюка, — Вот, опыты буду ставить в колхозе. — Он внимательно следил за выражением лица Герасима Ильича, пробегавшего глазами бумагу.

А тот поднял глаза и удивленно, так, что густые брови вскинулись на лоб, спросил:

— К Карлюку? Вы?.. Не понимаю. Вы сошли с ума!

— Я буду иметь возможность ставить и свои опыты!

— Ах, та-ак!.. Пожалуй… Это мы подумаем… Вы еще не сошли с ума… Но вас нагрузит Чернохаров «по линии Карлюка» так называемыми производственными опытами.

— Уже все — не нагрузил. — Филипп Иванович рассказал о событиях последних двух дней. — Не доверяет мне Чернохаров, —

заключил он.

— Тогда Карлюк вас просто-напросто уволит. Все, кто мешает «массовому внедрению» исследований Чернохарова, из системы научно-исследовательских учреждений увольняются. И скажу прямо: иногда с большими… неприятностями, мягко выражаясь…

— Не уволит, — уверенно перебил Филипп Иванович.

— Откуда такая уверенность? Вы забыли, как «избивали» меня, обвиняя в менделизме, морганизме и прочих смертных грехах? — Герасим Ильич все больше волновался. — Вы многого не понимаете. Чтобы защитить свою диссертацию, мне пришлось ехать в другой город. Но все-таки и туда приехал Чернохаров в качестве неофициального оппонента. Более пятнадцати лет готовая диссертация, обошедшая все столы в некоем научном учреждении, пролежала без движения… Нет, вам надо уходить самому… Но…

— Но бросить колхоз сейчас я не могу. Это значит согласиться с обвинениями, поставить крест на всем, что сделано мною в поле, согласиться с тем, что не нужны радикальные изменения, согласиться с тем, что все колхозники будто бы уже живут богато. Не могу!

— Да. Это правильно. Но ведь вас же…

— Не уволит, — еще раз повторил Филипп Иванович с еще большей уверенностью.

— Послушайте, где вы добыли такую самоуверенность? Когда уверенность переходит в самоуверенность — это плохо. Вы уже не так молоды, вам уже около сорока, а утверждаете как-то так… Мой жизненный опыт подсказывает совсем другое… Да что же это я? Вот так принял гостя! Мария Степановна! Мария Степановна! Милая Мария Степановна! Вы там чего-нибудь того-этого…

— И того есть и этого есть, — ответила Мария Степановна, входя с подносом, на котором, кроме всего прочего, по-хозяйски занимала главное место бутылка коньяку.

— Ну, Филипп Иванович! — весело сказал Герасим Ильич. — Теперь о делах, о науке, о колхозах — ни слова! Только на веселые темы.

Они сели за стол. Выпили за «докторскую». Поговорили о рыбной ловле, вспомнили какого-то необыкновенного сазана, который ломал и рвал снасти, но наконец был подведен к лодке и все-таки… ушел, подлец.

— Вот какой был! — восклицал Герасим Ильич, показывая руками, — Царь-сазан! Выдающееся явление среди сазанов!

— А помните, как вы с лодки-то?

Оба рассмеялись.

— И главное в чем, — сквозь смех говорил Филипп Иванович. — Сам-то в воде — в одежде барахтается! — а сам кричит: «Шляпа! Моя шляпа где?» А шляпа-то в лодке осталась.

Бывает так, встретишься с человеком и не сразу его поймешь. Но вот он засмеется искренне и неподдельно, от всей души, и сразу полюбишь такого человека. Есть в настоящем смехе что-то такое, что открывает дверцы в тайники человека.

Филипп Иванович уже видел подергивание живота Чернохарова, выражавшего этим приемом смех, и именно поэтому-то он еще больше любил Масловского в тот вечер, когда они ужинали вдвоем.

Посмеялись-посмеялись собеседники, отдышались, покачали головами.

— Ну и ну, — произнес Герасим Ильич.

— Прочистили мозги, — заключил Филипп Иванович.

— Посмотрел бы на нас Чернохаров!..

— А ну их! — махнул рукой Филипп Иванович.

— Кстати, давайте-ка посмотрим тематику Карлюка. Мне кажется, там больше чернохаровского.

Филипп Иванович достал программу опытов, врученную ему при назначении, и они углубились в изучение тем, забыв, что решили не говорить о делах.

— Так, — начал первым Герасим Ильич, читая отдельные темы вслух. — «Посев пшеницы яровизированными и неяровизированными семенами». Не ново: два десятка лет испытываем яровизацию. Ну-ка, что тут еще?.. «Подзимний посев яровой пшеницы…»

— Вы смотрите десятую тему, — предложил Филипп Иванович, улыбаясь.

— Десятая, — читал Герасим Ильич, — «Экономические обоснования скармливания овощных конскому поголовью». Он бросил тематический план на стол и, как обычно в волнении, заходил по комнате, засунув пальцы в карманы жилета. — И это все в то время, когда вопрос о кормовой базе для всех животных, а не только для лошади, надо решать немедленно и радикально: силос, зерно, сено.

— Все возможно! — Филипп Иванович засмеялся. — Тысячу лет известно, что лошадь любит свеклу, но редька — тоже ведь овощная культура. Э, была не была! А не заняться ли мне испытанием скармливания редьки жеребятам?

— А чеснока — коровам, — добавил Герасим Ильич.

— Предана забвению вечная истина: «лошади едят овес». Вот и надо искать заменители…

Герасим Ильич улыбнулся, но улыбка погасла сразу же. Он спросил:

— Как это там у него?.. «Что ест конь…» и как дальше?

— «Что может есть лошадь и что она должна есть», — уточнил Филипп Иванович. И вдруг взялся всеми десятью пальцами за волосы и неожиданно поник головой. Так же резко вскинул ее и стукнул кулаком по столу; взялся за борта пиджака, стянул так, что он затрещал на спине, и сказал: — Герасим Ильич! Никакого движения вперед в сельском хозяйстве не будет, если мы не повысим доходность колхозов. Все эти темы, все диссертации — все мелко по сравнению с самым важным. Неужели этого не видят?.. — Он снова опустил голову в задумчивости.

А Герасим Ильич подходил к Филиппу Ивановичу, трогал его за плечо и уходил снова в другой конец комнаты. Снова подходил и снова уходил. Он теребил седой клинышек бородки, смотрел в пол, закладывал руки за спину, но никак не находил места в комнате, где бы остановиться.

И вот он подошел еще раз к Филиппу Ивановичу, уже поднявшему голову, и сказал:

— Вы член партии. А вот видите, как…

— Простите, Герасим Ильич. Простите, не выдержал.

— Вы… вы все такой же горячий. И такой же… прямой. Трудно вам жить…

— А вам легко? Вы научили прямоте.

Герасим Ильич не ответил на вопрос, не подтвердил утверждения Филиппа Ивановича. Он присел на стул против него и, будто продолжая свою мысль, говорил:

— Вот и Карлюку вы наговорите чего-нибудь. Обязательно наговорите, и — фьюить! — уволит. А в «науке» так: ненавидишь, а говори приятности. Такая есть научная вежливость. Например,

встретит меня завтра Карлюк и рассыплется в поздравлениях, а я, понимаете ли, обязан благодарить за телеграмму, посланную им в день защиты. И ничего не поделаешь. Так уж принято.

— И это очень нехорошо. Орудуя этой самой «вежливостью», и присасываются к науке карьеристы, подхалимы, блудословы. И нм никакого отпора. Все в вежливой форме.

— Его могу я не любить, но уважать его обязан… Кто это сказал?

— Не знаю.

— Я тоже не знаю, но слова помню.

— От бюрократизма это идет.

— Возможно. Может быть, скорее от чинопочитания.

— А какая разница, — махнул рукой Филипп Иванович. — Не переваривает у меня нутро такого отношения.

— Это хорошо… — Герасим Ильич задумался. — И хорошо… и трудно вам будет. А все-таки вы идите так. Именно так. Главная наука в жизни — научиться ходить прямо.

Филипп Иванович смотрел на учителя благодарным взглядом. Он уже успокоился, этот неуравновешенный и горячий, иногда опрометчивый агроном. Нет, не неожиданными и беспричинными были частые перемены настроения у Филиппа Ивановича — горячее отношение к жизни влекло за собой быструю смену чувств.

— А если уж говорить откровенно, — продолжал Герасим Ильич, — то не очень-то и я одарен этой научной вежливостью, сами знаете. Не стоит об этом. Давайте-ка поговорим о другом: что собираетесь делать. По-моему, главное в опытной работе заключается в том, чтобы любым научным опытом помогать повышению урожая.

— Но тематика рассчитана на диссертацию.

— К сожалению, вы по должности волей-неволей будете закладывать «опыты» по тематике. Но исходить надо из требований производства зерна, мяса… Каждый опыт должен быть поставлен с точной целью.

— Что бы вы рекомендовали?

— Надо подумать… Давайте подумаем вслух. Вместе.

— Давайте, — оживился Филипп Иванович.

— Что вы считаете самым главным в агротехнике?

— На это трудно ответить сразу. Каждый прием в общем комплексе важен.

— По-моему, комплекс комплексом, а самое главное в агротехнике сейчас — сор-ня-ки. Наши поля повсеместно настолько засорены, что становится нелепостью, скажем, такой прием, как внесение удобрений. Смешно же удобрять… сорняки! А есть ли в какой-либо эмтээс карты сорняков, учет запаса их семян в почве? Разработаны ли конкретные меры борьбы с сорной растительностью по каждому колхозу? Ничего этого нет, батенька мой. В промышленности и технике мы достигли чудес (это без преувеличения). А вот в поле у нас сорняки губят половину урожая, добрую половину. Рассчитывать в этом деле только на трудолюбие и дисциплину колхозников — по меньшей мере близорукость.

— Да еще население из городов помогает в прополке.

— Ну, это уж совсем странно. Удивительно много мы затрачиваем труда на борьбу с сорняками на поле, а между тем надо решать это по-другому: нужны агротехнические меры такие, чтобы уничтожить сорняки совсем.

— Что вы предлагаете сделать конкретно?

— Поставить широкий опыт с уничтожением сорняков: метод химической борьбы, различная глубина пахоты. Перенести наши опыты на колхозное поле. Только возьмите обязательно отстающий колхоз, самый худший в районе.

— Не понимаю, — развел руками Филипп Иванович.

— Подумайте как следует и поймете. У нас принято изучать и обобщать только опыт передовых колхозов. А «опыт» отстающих попросту замалчивается. А мы обязаны изучать факторы, снижающие урожай. Не зная болезни, нельзя ее лечить.

— Вы выразили и мои мысли! Понял! — воскликнул Филипп Иванович.

— А я это знал. Вы только их не высказали… Вот вам одна тема. Теперь другой вопрос: проволочник, или, по-народному, «костяника». Вы сегодня видели наш опыт. А какой огромный запас этого маленького вредителя на полях колхозов и в особенности на целине. Разве кто-нибудь обследовал поймы на этого вредителя? Нет. А его там местами до двухсот — трехсот штук на квадратный метр! Это страшно… Понимаете, каждый пятый центнер поедает проволочник!

— Невероятно! Половину — сорнякам, пятую часть — червякам, а одну треть — в закрома.

— Вот и попробуйте. Поставьте опыты на большом массиве. Докажите. Мы обязаны доказать. — Герасим Ильич, пристукивая пальцем по столу, раздельно повторил: — Обя-за-ны!

— Вы так часто подчеркиваете слово «обязаны», что будто принимаете вину за низкие урожаи на себя.

— Да, принимаю. И вы принимайте. А когда почувствуете, что *обязаны*, вы уже не сможете не бороться. Все это кажется очень мелким — сорняки, червячки! — но в этом простом кроется великое: огромные урожаи. Огромные урожаи — если, кроме всего этого, применять систему агротехники, разработанную для каждого колхоза в отдельности.

— Уже две темы есть! — воскликнул Филипп Иванович. — «Подумали вслух»! Здорово подумали!

— Десять есть. Сто есть! Помните: если в научном опыте есть мысль, идея, подсказанная практикой, то он, опыт, уже наполовину сделан.

— И если эти результаты опытных исследований возвратятся к родившей их практике, то они обогащают ее.

— И вызывают новые мысли, идеи. Это и есть наука, батенька мой. Вы, сами того не замечая, уже много лет как приобщились к настоящей науке, вы — рядовой, обыкновенный агроном.

— Вот приобщился и — уже не агроном колхоза. — Филипп Иванович задумался. А через некоторое время сказал, будто продолжая мысль: — Уж очень много стало людей, убежденных в том, что и вопросы агротехники должны решаться там, вверху, что нужна своеобразная централизация агротехники.

— Чертовски это плохо для науки! Тут самая прочная почва для конъюнктурщиков. Но, к сожалению, есть такие люди, есть… — Герасим Ильич замолчал, взялся снова за клинышек бородки, остановился посреди комнаты и, смотря в пол, размышлял вслух:-А еще сказать, хуже всего такая линия, когда о науке думает один человек, а все остальные должны только подтверждать его мысли. Отсюда все. — Он поднял палец вверх, не отрывая взгляда от пола и будто не замечая уже и Филиппа Ивановича. — Во! Подтверждать мысли другого. Вот какая роль сельскохозяйственной науки. Во! Чудеса в решете!.. — Медленно опустив палец и тыкая им вниз, он настойчиво повторял одно и то же: — Все равно земля потребует!

Народ потребует! Партия потребует!.. — Масловский снова сел против Филиппа Ивановича, опустив ладони меж колен, и сказал: — Вот оно какое дело-то, батенька мой.

Они замолчали. Сидели и молчали. Думали.

Потом Филипп Иванович сказал, вздохнув:

— Трудное положение в сельскохозяйственной науке.

— Трудное. Но… Надо решительнее поднимать голос за настоящую науку.

— Надо, — все так же в задумчивости поддержал Филипп Иванович. — Я знаю теперь, что делать.

Рано утром, часов в пять, когда солнце взошло над городом, Филипп Иванович уже шагал к вокзалу. Он знал, что ему надо делать. И поэтому утро было хорошим.

## *Глава седьмая*
## «Личное дело»

А Карп Степаныч тем временем спал.

Часов в девять он проснулся. Посидел немного на кровати, стараясь с утра думать научно, но мысли почему-то не шли. Он почесал ногой ногу, но мыслей не было: как провалились! Наконец-таки пришла мысль: какой сегодня день? Постепенно он установил точно, что сегодня четверг, день, абсолютно безопасный по всем приметам. Это его успокоило, однако же от этого покоя мысли еще дальше залезли в какие-то закоулки и не желали вылезать. Так он и сидел неподвижно, по-утреннему припухший, с обвисшей нижней губой и приподнятыми вверх бровями, будто удивляясь тому, что никаких мыслей нет. Он был уверен, что такое состояние не есть следствие отсутствия ума, что, наоборот, ум у него есть, и даже большой, но пока что нет пищи для этого самого ума.

Вскоре обнаружились и признаки пищи. Изида Ерофеевна вошла в спальню всклокоченная, но в белом фартуке и с вилкой в руке. Она постояла в дверях, посмотрела на мужа и спросила:

— Сидишь?

— Сижу, — ответил он хрипловатым спросонья голосом.

— И долго так будешь глядеть жабой? — беззлобно уточнила она.

— Мыслей нет, — все так же полусонно ответил Карп Степаныч.

— Давай одевайся. Завтрак готов.

Карп Степаныч умылся, оделся и сел за прием пищи. И чем плотнее набивал желудок, тем энергичнее вылезали мысли. Он позавтракал, крякнул и заявил смело:

— Прекрасно!

И это была бы блестящая мысль, если бы не Изида Ерофеевна. А она задала простой вопрос:

— Что там у тебя с этим Егоровым?

— А откуда ты знаешь? — поставил контрвопрос Карп Степаныч.

— Слух дошел, — неопределенно ответила Изида Ерофеевна, но, конечно, не сказала о том, что, как и обычно, открыла своим запасным ключом письменный стол мужа и прочитала его заявление.

Мысли у Карпа Степапыча заработали. Он нахмурился и, ничего не отвечая на вопрос жены, ушел к письменному столу в другую комнату. Там он достал папку «Личное дело», сунул в портфель и направился на работу, в Межоблкормлошбюро. Но, уходя, строго сказал жене:

— О Егорове молчать. Ничего не случилось.

— «Врагу не сдается наш гордый варяг», — пропела Изида Ерофеевна, улыбаясь. И, подтянувшись на носках, поцеловала мужа в щеку.

Это было приятно так, что Карп Степаныч, чувствуя поддержку друга, улыбнулся тоже. Да и чем, собственно говоря, быть недовольным? Сыт, обут, одет, сберкнижка есть. Что же касается диссертации, то он ее защитит.

Шел он на работу пешком, переваливаясь утицей, наполненный пищей и мыслями. Он думал о том, что вот придет в свое учреждение и начнет руководить и что руководить умеет не каждый, в особенности в науке; будет руководить, а потом со временем станет доктором сельскохозяйственных наук.

Карп Степаныч глянул на часы: десять! Даже ему, руководителю, опаздывать на полтора часа неудобно. И он заспешил.

Спокойные и сытые мысли прекратились сразу же, как только он открыл дверь своего учреждения. В двери он неожиданно столкнулся с Чернохаровым. Да как столкнулся! Чернохаров выскакивал в этот момент из учреждения, а Карп Степаныч спешил войти в учреждение. Чернохаров почему-то горячился. Дверь они открыли одновременно и

так больно столкнулись, что вытаращили глаза друг на друга и долго не могли произнести ни слова.

— Вы? — наконец выдавил Чернохаров.

— Я, — ответил Карп Степаныч. — Виноват…

— Виноват… Ох! — вздохнул Чернохаров.

Наконец они все-таки сели друг против друга. От боли оба стали грустными.

— Я спешу, — уныло сказал Чернохаров. — Ждал вас полчаса… Опаздываете.

— Виноват, Ефим Тарасович… Дела. Задержался.

— Вот… Дела. Есть дела поважнее.

— Что вы хотите этим сказать, Ефим Тарасович?

— Сегодня всю ночь до рассвета вдвоем… — начал Чернохаров.

— Кто?

— Враги. Егоров и Масловский. Видимо, готовят на нас…

— Донос?

— Возможно. Еще раз проверьте свои…

— Документы и личные дела, — уже перехватывал Карп Степаныч мысли учителя.

— И ускорьте…

— Понимаю.

— Ваше должно быть впереди, чем ихнее.

— А может быть, они не писали? — будто сомневаясь, спросил Карп Степаныч.

— Смотрите, вам виднее, — ответил Чернохаров так, будто уж и не важно ему все это, однако добавил: — Предусмотрительность и предосторожность — родные сестры. Гм…

Карп Степаныч понял, что разговор окончен и что собеседник зашел именно затем, чтобы высказать последнюю философскую мысль. А Ефим Тарасович встал и вышел из комнаты.

Карп Степаныч только теперь поздоровался с Подсушкой, сел за стол и глубоко задумался. В голове возник вопрос: «Чем они могут меня взять?» После этого он положил перед собой папку. В этом домашнем «Личном деле», кроме копий документов официальной папки, которая хранилась где-то в сейфе, были записки от профессоров и к ним, пригласительные билеты на торжественные заседания или ученые советы, справки с места жительства разных лет, копии

назначений и увольнений и даже давнишняя записка от некой дамы, обожающей науку в лице Карлюка. Первым листом была анкета — «Личный листок по учету кадров». В этот-то вопросник жизни и вник сейчас Карп Степаныч, думая все об одном и том же: «Чем они могут меня взять?» Он читал свою анкету и вспоминал жизнь. Всю жизнь! И казалась она ему чистой, как стекло.

В самом деле, анкета Карпа Степаныча была зеркалом образцовой чистоты и трудолюбия человека. По этой анкете, право же, ему надо быть академиком или даже больше. Очень хорошая анкета у Карпа Степаныча! Начнем рассмотрение этого весьма важного документа вслед за Карпом Степанычем прямо с первых вопросов.

«Фамилия, имя и отчество — Карлюк Карп Степаныч». Значит, отцом его был Степан Карлюк.

«Место рождения… Год и месяц рождения — 1903, декабрь». Значит, родился в пургу и морозы. Такого человека надо обязательно выдвигать — крепкий здоровьем должен быть.

«Социальное происхождение — крестьянин». И в скобках — «середняк».

Тут Карп Степаныч вспомнил прошлое.

Вот он мальчишкой в родном доме. Отец, могучий ростом крестьянин, имел только одну корову. А Обломковы имели двадцать две, а Чухины — двадцать шесть. Карпуха же (так звали в те годы Карпа Степаныча) видел, как отец работал день и ночь, стараясь разбогатеть, видел и то, что из этого ничего не получалось: давили Обломковы.

Но отец часто повторял:

— А ты тянись, Карпуха, достигай.

Карпухе было лет тринадцать или четырнадцать, когда пришла революция. Лет восемнадцать — к началу нэпа. И Карпуха тем временем уже учился, весьма энергично перебиваясь с двоек на тройки (учение давалось ему туго).

Когда он поступил в институт и приезжал на каникулы, то отец говаривал:

— Я вот всю жизнь тянулся. А глянешь назад — одна только работа, каждый день работа. Может быть, хоть ты не будешь работать. Ты достигай. Уважай учителям, профессорам и — достигай. Кто выше тебя по чину, тот и обидеть тебя может. Но ты не обижайся, а ласкай:

выгода — другой раз не обидит, а тебя же и почтит. И главное дело, достигай. Может, и не будешь тогда работать. Ученые люди, они не работают. Достигай.

Так постепенно и вырос Карпуха на закваске такой философии: учиться, чтобы не работать. И линия жизни его выражалась в одном слове: достигай!

«Тут, — думал Карп Степаныч, сидя за анкетой, — они меня не подкусят. Чистый середняк».

И он изучал свою анкету дальше.

«Состоял ли в оппозициях? — Никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах не допускал и мысли».

«Был ли за границей? — Не был, не собираюсь и не поеду ввиду того, что мне там делать нечего».

Так продуманно отвечал Карп Степаныч Карлюк на все вопросы анкеты. Но на одном вопросе — только на одном! — он вдруг споткнулся и… вспотел. Вопрос обыкновенный: «Участвовал ли в боях в Отечественной войне». И ответ простой: «Нет». А вспотел. Миллионы людей спокойно ставят такие ответы, зная, что и в тылу нужны были люди. Знал это и Карп Степаныч. Но и Егоров-то тоже кое-что знал. Не будь Егорова — чистота анкеты была бы алмазной. Теперь же вот сиди, обхватив голову руками, и думай и вспоминай, чего не следовало бы вспоминать.

А случилось все так.

…Немец приближался к городу. Шли войска, ехали обозы, танки, пушки — Красная Армия отступала. По обочинам дорог и проселкам, по всей Европейской России, двигались эвакуированные жители. Кто как: кто пешком, кто на лошади, кто просто двигал впереди себя или тащил за собой тележку с немудреным скарбом и пищей. Люди переживали величайшее несчастье — уходили из родных мест; они видели отступающие войска, и сердце каждого сжималось при мысли о худшем. Вражеские самолеты десятками висели над городами и селами, наводя ужас и смятение, распространяя всюду смерть.

Вот в такие-то дни заволновался и Карп Степаныч, стал мрачным. Изида Ерофеевна потихоньку плакала. Вечерами они подолгу сидели и советовались, а чаще спорили о том, что делать. Так шли дни. Уже разрывы снарядов стали слышны по ночам — бои приближались. В то время Карп Степаныч не был еще, по его собственному выражению,

«наукоруком», а просто подчинялся Чернохарову. И вот он пошел по поводу распоряжения: не пора ли эвакуироваться? (Никаких указаний об эвакуации пока не было.) Но, придя к Чернохарову, он нашел пустую квартиру: тот выехал в неизвестном направлении. Карп Степаныч побежал домой, задыхаясь, толкая по пути прохожих.

Он ворвался в свою квартиру и выпалил:

— Иза! Немцы!!

Изида Ерофеевна почему-то не совсем волновалась в данную минуту и сказала:

— Ну и что же?

— Собирайся!

— С какой такой стати?

Тут Карп Степаныч взял стул и без спора, замахнувшись им на супругу, выкрикнул:

— Я кандидат наук! Повесят! Ну? — И вопросительно потряс стулом над головой.

Потом он убежал куда-то. Потом приехал на подводе, запряженной парой лошадей. На той подводе уже сидела сторожиха сада института с мальчиком. Карп Степаныч и Изида Ерофеевна быстро собрались. Они взяли с собой самое необходимое: альбомы рисунков Изиды Ерофеевны, «Личное дело» Карпа Степаныча, документы, деньги, два пуда соли, мешок пшена, два пуда солонины, мешок муки, два пуда сухарей, Джона с его постелью, двадцать две коробки спичек, две перины и четыре одеяла, пять бутылок кипяченой воды, пять пачек аспирина и пять пачек пургена, по два костюма на каждого и кое-что другое, самое необходимое в неведомом пути. Все это нагрузили так, что лошади еле стронулись с места, а сторожиха с мальчиком пошли пешком за подводой. Потом где-то в пути сторожиха добровольно (хотя и со слезами, но по собственному желанию) уволилась от Карпа Степаныча, пересевши на другую подводу со своим немудреным мешком сухарей. Карп Степаныч дал ей на прощание три стакана соли, а Изида Ерофеевна «точила» его за такой необдуманный и непростительный поступок и твердила:

— Самим не хватает, а он раздает. Растяпа!

А Карп Степаныч отвечал мудро:

— Самое трудное из всех подражаний — быть щедрым.

— Начитался, черт, разных глупостей, — заключила супруга, не вникнув в суть.

Так они и ехали. На восток, и на восток, и на восток. С лошадьми Карп Степаныч умел обращаться еще с того далекого времени, когда жил в деревне. По пути он выменял за десять стаканов соли три мешка овса и был спокоен — они уехали от боев, в кармане у него бронь.

Но однажды случилось то, чего никто не ожидал. Супруги вынуждены были остановиться около одного городка, при въезде в который висело такое объявление: «Всем эвакуированным военнообязанным, проживающим временно, а также проезжающим, явиться в военкомат. Наличие брони от явки не освобождает». Было ясно: принимались попытки к переучету всех едущих на восток. После короткого совещания с Изидой Карп Степаныч в город не поехал, а остановился на опушке леса поразмыслить, взвесить. Тут они и заночевали.

И вот ночью на далекий тыловой городок, не имеющий особого военного значения, налетел немецкий самолет. Карп Степаныч, находясь в нескольких стах метрах от городка, отдыхал в дорожной палатке, когда услышал первые звуки «мессершмитта». Впервые он услышал, как воют бомбы. В первый раз он ощутил сотрясения земли от взрыва. В первый раз в жизни он оказался в жутком смятении от канонады зениток (видимо, какая-то воинская часть шла ночью к фронту). И было Карпу Степанычу так страшно, так страшно, что он трясся всем телом, прижимался к Изиде и искренне считал, что здесь, в этом самом месте, и находится граница его личного земного существования. Изида Ерофеевна крестилась. Ночь была беспокойной.

А утром Карп Степаныч, оставив Изиду Ерофеевну одну, отправился в военкомат, С половины пути он вернулся, но, подумав, снова пошел. Однако опасения его были напрасны: бронь возымела действие, и Карп Степаныч через два-три часа возвращался в добром расположении духа.

Потом пришел к своему табору, предполагая немедленно двинуться в глубь Сибири. Но тут, на опушке леса, он увидел войска. В лесу маскировали орудия, разбивали палатки. Свежая воинская часть шла на фронт (ее-то, наверно, и бомбил самолет), а теперь располагалась здесь до ночи. А у своей повозки Карп Степаныч увидел… Егорова Филиппа Ивановича! Тот стоял, облокотись на

грядушку повозки, и разговаривал с Изидой Ерофеевной. В капитанской форме Филипп Иванович сразу внушил уважение Карпу Степанычу, и он долго тряс офицеру руку, приговаривая:

— Друзья встречаются вновь… Очень рад… Очень и очень рад… Друзья встречаются… как говорится… Очень рад… Очень рад!

— Мы, кажется, не очень-то были дружны, — сказал Филипп Иванович.

По делам и поспорить можно, но… юность, юность! Куда, куда вы удалились, и тому подобное! Очень рад!

— И все-таки попрошу вас освободить место. Здесь располагается временно мое подразделение.

— И куда же вы направляетесь? — спросил Карп Степаныч.

— Туда, — неопределенно ответил Егоров и так же неопределенно махнул рукой.

— Понимаю. Тайна, стратегический план, — многозначительно сказал Карлюк, подмигнув, и стал запрягать лошадей.

— А вы-то куда же? — спросил Филипп Иванович.

— Туда — в Сибирь, — ответил Карп Степаныч.

— Бронь, что ли, заимели?

— Как кандидат наук.

— О, уже кандидат!

Но тут вмешалась в разговор Изида Ерофеевна, возымевшая большую симпатию к Егорову с первого разговора, а потому и ставшая откровенной.

— У него ведь такие крупные знакомства. Такие крупные! Иначе ом тоже тянул бы лямку, как и вы. Не имей сто рублей, а имей сто друзей, — заболтала она. — Профессор Чернохаров и бронь-то ему… Наука, она…

Карп Степаныч опешил.

Егоров нахмурил брови и сжал зубы.

Изида Ерофеевна стушевалась и замолкла, отдаленно догадываясь о том, что она сказала что-то не так.

Егоров, круто повернувшись, отошел, остановился вполоборота и грубо, как недругу, крикнул:

— А ну живо очищайте место!

Карп Степаныч поспешил отъехать. Добра от этой дружеской встречи он не предвидел.

Долго они ехали молча. Полдня ехали. Наконец Карп Степаныч сказал первое слово:

— Дура!

Изида Ерофеевна ничего не сказала, а наотмашь ударила мужа туфлей по голове. Покормили лошадей и поехали дальше. Молчали снова до вечера. Вечером же Карп Степаныч, укладываясь спать, еще раз сказал:

— Дура!

На этот раз Изида Ерофеевна возражала не очень, так как туфлей бить не стала. Тогда Карп Степаныч стал ее воспитывать и по этой причине спросил:

— Для чего человеку дано два уха и только один рот?

— А я почем знаю, — ответила супруга.

— Два уха и один рот даны человеку для того, чтобы он, человек — высшее создание природы, слушал в два раза больше, чем говорил.

— Это ты к чему? — чуть-чуть уже соображая, спросила она.

— А к тому: сейчас война, болтать тебе меньше надо.

— Я уж тоже думаю… Да все как-то… не получается.

— Сознание ошибки — признак доброго сердца, — заключил Карп Степаныч.

Он простил супругу. И больше не вспоминал.

И вот после долгих лет Карп Степаныч встретил Филиппа Ивановича. Теперь он сидел над анкетой и вспоминал, вспоминал. Наконец он решил мысленно:

«Здесь он может взять меня за рога. Может насплетничать. Может даже написать куда-либо. Такие люди все могут… Итак, или он меня, или я его — одно из двух. Надо сделать так, чтобы ему не поверили. Попробую. — И рассуждал дальше: — В чем сила человека? В выборе — надежного средства в борьбе. Какое средство? Это не имеет значения. Для утверждения в науке все средства хороши».

После этого Карп Степаныч стал исследовать вопросник жизни еще тщательнее. Наиболее долго он остановился на том пункте, где стоял вопрос: «Ученая степень». Ответ написан жирными буквами: «Кандидат наук». Думал он, думал и задал сам себе вопрос:

— Не могут ли *они* укусить здесь?

И стал вспоминать, как он защищал диссертацию и каких это стоило усилий и напряжения его большого ума и воли.

Но, повествуя об этом, нельзя обойтись без особой главы, ибо в сельскохозяйственной науке до некоторых пор защита диссертаций протекала совсем иначе, чем в таких науках, как, скажем, технические. Там-то ведь очень просто: изложил человек свои научные исследования на бумаге, толково написал о том, к чему привели эти многолетние исследования и чем практически завершились, и все. Нет, в сельскохозяйственной науке вся эта музыка была куда сложнее. Здесь надо было сначала уметь выбрать тему, каковая может быть даже и совсем бесполезна для сельскохозяйственной практики, но обязательно чтобы научная. И много-много других отличий и особенностей, о которых речь впереди. И мы не будем отвлекаться, а будем исследовать по порядку и только в связи с «Личным делом» Карпа Степаныча Карлюка — кандидата сельскохозяйственных наук. Куда уж лучше пример!

По всем этим причинам в следующей главе пойдет одна сплошная наука.

## *Глава восьмая*
## Воспоминания о том, как Карлюк сделал диссертацию и что диссертация сделала из Карлюка

Прежде всего перед Карпом Степанычем стояла проблема: где и какую тему выбрать для защиты. В то время он работал кем-то вроде научного сотрудника на поле сельскохозяйственного института под непосредственным и испытанным руководством Чернохарова. С легкой руки последнего на опытном поле института ликвидировали тогда опыты, а поставили прямую задачу: вырастить только высокий урожай вместо изучения вопроса — как его получить. Лишь два года спустя хватились: эва! А ведь без опытов-то обойтись нельзя. И стали опять же вести опытную работу. Одним словом, не углубляясь в этот вопрос особо, скажем, что несколько лет подряд сельскохозяйственный институт работал по методу ХВНЗ — НВХЗ, то есть: «Хвост вытащил — нос завяз, нос вытащил — хвост завяз». Насколько нам известно, там было так: то уничтожали травы, то снова сеяли, то рубили лесные полосы, то снова сажали.

Карп Степаныч никак не мог выбрать тему. Пробовал взять в оборот «Сорняки одного района», но оказалось, что на сорняках

района, прилегающего к институту, защищено уже четыре диссертации, а сорняков там и по сей день уйма. Даже больше стало! Карп Степаныч видел, что диссертанты «питаются» сорняками, и сам он хотел питаться так же, но ему это не удалось, так как на последней по этому поводу диссертации выступил председатель колхоза, агроном, и сказал, что надо бы не только исследовать сорняки, а и научить, как их уничтожить. Нет, для Карпа Степаныча это не подходит. Да и небезопасно. Именно к этому времени и относится появление первого пункта правил защиты диссертации. Эти правила впоследствии оказались детально разработанными Карпом Степанычем Карлюком еще задолго до защиты диссертации, когда он тщательно изучал все, что связано с этим многотрудным делом.

В результате предварительных обобщений у Карпа Степаныча в его «Личном деле» (домашнем) появился такой лист. На правом углу — девиз: «Достигай!» В заголовке: «Правила защиты диссертации». И дальше следуют пункты:

«1. При выборе темы никогда не берись за такие вопросы сельского хозяйства, которые еще не апробированы, ибо на них можно сломать шею. А ученый со сломанной шеей перспективы иметь не может.

2. Самое важное в защите диссертации — выбор официальных оппонентов. Выбирай оппонента не слишком сведущего, но и не слишком далекого от защищаемого вопроса. Если выбрать совсем несведущего оппонента, то он будет тебя хвалить за то, за что надо умеренно бранить.

3. Парализуй возможного противника. Обращайся к нему за консультацией и делай вид, что следуешь только его советам. Если же эти советы нелепы, тогда тем более принимай их и не возражай.

4. Качество диссертации проверяй на домашних (людях), по примеру других. (В этом месте у Карпа Степаныча перечислены девять фамилий диссертантов, при проверке диссертаций которых он лично присутствовал.) Доброкачественная диссертация не должна вызывать абсолютно никаких эмоций, как-то: смеха, возбуждения, озлобления, судорог, восклицаний и прочего. Если какие-либо места вызовут что-либо подобное у домашних (людей), то немедленно переделать эти места. Если же диссертация вызывает зевоту или даже глубокий сон,

то это признак ее доброкачественности, ибо так же пропустят мимо ушей возможные ошибки и члены ученого совета.

5. Достигай! (Еще раз!) Благодари и кланяйся. Кланяйся и благодари! Это польстит членам ученого совета. Они тоже люди».

Так-то вот постепенно и готовился к вступлению в степень кандидата сельскохозяйственных паук уважаемый товарищ Карлюк. Он выступал на собраниях и всяких совещаниях, начинал обличать тех, кто был уже обличен, начинал помаленьку давить тех, кто был уже раздавлен, поддерживать тех, кто и без того стоял крепко. Все это дало ему звание активного научного сотрудника, несмотря на то, что большинство сослуживцев почему-то его не любило. Оставалось только выбрать тему. Однако и этот трудный этап разрешился впоследствии.

Однажды Карп Степаныч присутствовал в областном управлении сельского хозяйства на весьма важном совещании.

В перерывах участники совещания ходили по коридорам парами и тройками и энергично обсуждали, горячились, высказывали резкие суждения, чтобы потом снова молчать, выслушивая штатных ораторов. Конечно, и Карп Степаныч тоже ходил по коридору, но ни с кем не спорил и не горячился. И вдруг он неожиданно услышал в одну из открытых дверей разговор двух. Один говорил так:

— Черт ее знает что получается! Опять то же самое: в начале месяца вспашки — нуль; в середине — подъем; в конце месяца — полный энтузиазм.

Второй спрашивал:

— Это о чем речь?

— О тракторной вспашке.

— А при чем тут части месяца?

— Видимо, имеется какая-то связь с фазами луны: в первой четверти — плохо, во второй — лучше, в полнолуние почти совсем план выполняется, а в последней четверти завершается.

— Влияние фаз луны на выработку тракторов…

Собеседники раскатисто рассмеялись этой шутке, будучи, видимо, людьми веселыми, не лишенными остроумия, а поэтому и симпатичными.

Карп Степаныч настолько заинтересовался этим разговором, что не выдержал и вошел в комнату. Он расспросил о плане тракторной

вспашки, о результатах выполнения плана по месяцам. Затем осторожно попросил познакомить его с выполнением плана по неделям месяца. Ему сказали (те же два весельчака), что последнее очень сложно, что требуется дополнительное исследование материала по сводкам машинно-тракторных станций и что если ему это очень надо, то ему предоставят материалы (а им, дескать, такими пустяками заниматься некогда).

Дома Карп Степаныч засел за исследование сводок и донесений, годовых отчетов МТС и многого другого. Это было настолько интересно и настолько безопасно с научной и политической точек зрения, что его вскоре осенила выдающаяся мысль. И он воскликнул:

— Есть тема!

Сначала тема была еще туманной, но потом, с каждым днем исследований, выступала все более четко и наконец, как принято говорить, оформилась полностью в сознании диссертанта. Карп Степаныч сперва написал так: «О колебаниях выполнения плана тракторами». Показалось слишком просто и совсем не научно, потому что очень коротко. А надо обязательно длинно. Думал, думал он и написал так: «О выработке машинно-тракторного парка и о его колебаниях». И это его не удовлетворило. Около двадцати разных названий придумал он. В конце концов тема все-таки зазвучала вполне научно. Окончательно получилось такое солидное наименование: «О влиянии метеорологических условий в различных фазах луны на общую выработку машинно-тракторного парка в переводе на гектары условной мягкой пахоты по массивам машинно-тракторных станций средней черноземной полосы».

И пошло дело! Карп Степаныч изучил влияние луны на приливы и отливы, учел влияние луны на погоду, попутно установил, что среди трактористов не зарегистрировано ни одного лунатика, и, наконец, вывел определенную и точную закономерность: чем дождливее погода, тем меньше выполнение тракторных работ. Он сам поразился своим исследованиям. Пугала невиданная новизна вопроса.

Затем он вник, по возможности, в вопросы планирования, организации труда. Триста страниц на машинке получилось у Карпа Степаныча. Труд! Большой труд!

И вот он преподнес профессору Чернохарову толстый том. Положил на стол, склонил голову и сказал:

— Моя судьба в ваших многотрудных руках.

Через несколько дней Чернохаров позвал его к себе. Карлюк пришел, стал в дверях и поклонился молча. Поклонился, разогнулся, но совсем головы не поднял.

— А ну идите, идите ближе, дорогой, — позвал профессор.

Подошел Карп Степаныч. Сел. Смотрит в пол, задумавшись.

— Тут, в этом томе, — Чернохаров постучал пальцем по диссертации, — много оригинального. Но…

— Я готов исполнить любые ваши советы, — поспешил поклониться Карлюк.

— Похвально… Полагаю — необходимы практические выводы для производства. Гм… Вы можете своими исследованиями изменить коренным образом систему учета выработки тракторного парка.

— А именно? — спросил несмело Карлюк.

— Надо подумать. Видимо, необходимо давать сводки из эмтээс в два приема: а) до полнолуния и б) после полнолуния. Гм… Это самое внесет ясность и обеспечит цикличность и прочее… Гм… Гм…

А коль Ефим Тарасович гмыкнул два раза подряд, то разговор уже больше не возобновится. Карп Степаныч встал. Взволнованный, он выскочил с диссертацией под мышкой вон из кабинета.

Трудно было Карлюку достигать. Для этого не одну фазу луны пришлось потрудиться. Диву даешься: как это он выдержал такое напряжение?

Официальный оппонент Чернохаров Ефим Тарасович постарался подобрать и рекомендовать и второго оппонента. Все было готово к защите точно по разработанным Карлюком правилам.

И вот настал день защиты. Страшный судный день!

Сначала все шло нормально. Председательствующий объявил имя, отчество и фамилию диссертанта, а также и тему с полным наименованием. Ученый секретарь огласил автобиографию и характеристику научной деятельности диссертанта (характеристику подписал Чернохаров). Карп Степаныч за тридцать минут изложил краткое содержание работы (и никто не улыбнулся!). Затем присутствующие задавали вопросы. Зачитали свои отзывы официальные оппоненты, отметили недостатки диссертации (много недостатков). Отмечать возможно больше недостатков полагается, но это не имеет ни малейшего значения для исхода дела. Все шло до тех

пор, пока не выступил добровольный, так называемый неофициальный оппонент — доцент Масловский Герасим Ильич. При воспоминании об этом выступлении Карп Степаныч сжимал кулаки и усиленно сопел. Этот Масловский выступил совершенно против тех доводов, которые высказывал официальный оппонент Чернохаров. Чтобы уточнить несходство мнений насчет диссертации Карлюка, достаточно воспроизвести две речи.

Чернохаров говорил очень веско, в высшей степени научно:

— Многоуважаемые и почтенные члены ученого совета!.. Гм… Мы видим, как молодые силы входят в науку по нами протоптанной дорожке. Гм… Путь в науку тяжел. Гм… Я буду объективен и беспристрастен. С этой точки зрения настоящая работа представляет интерес. Гм… В ней есть новое. Есть оригинальное, но… Гм… Все, что в ней ново, не оригинально, а все, что оригинально, не совсем ново. Я беспристрастен. Я — принципиально: есть противоречия. Но, тем не менее, убежден в том, что соискатель искомой степени, Карлюк Карп Степаныч, достоин искомой степени. Я полагаю, что это будет единодушным мнением. Гм… И надеюсь на дальнейшие экспериментальные работы соискателя. Гм…

А доцент Масловский выступил совсем не научно. Он сказал примерно так:

— Уважаемые коллеги! Можно ли допустить мысль, что нам представят на рассмотрение диссертацию на тему «Луна и коровы»? Мне кажется, такую мысль допустить можно. Свидетельством того служит настоящая диссертация. Это плод какого-то странного недоразумения, если не сказать — недомыслия. Мягко выражаясь, нам представили не диссертацию, а фикцию для проведения проформы присвоения ученой степени. Мне, товарищи, стыдно.

Многие сочли его выступление грубостью, плохим тоном, не достойным ученого, нашли отсутствие такта и так далее и тому подобное. Главное же в том, что по правилам не полагается выступать вторично на таком ученом совете: высказался и садись — ни опровержений, ни возражений.

Все это Карп Степаныч учел. Когда ему дали заключительное слово (так полагается), он на все это ответил речью:

— Глубокоуважаемые члены ученого совета! (И поклонился.) Я искренне, от всего сердца благодарен за ту критику, которую я слышал

здесь. (И еще поклонился.) Бесспорно, мой труд имеет колоссальные недостатки, но я постараюсь всей своей жизнью исправить их в дальнейшей научной работе. (Здесь он преклонил голову, будто стоял перед алтарем.) Я не буду возражать уважаемому Герасиму Ильичу Масловскому. Нет. Я чувствую скромность моего труда. Но мне хотелось бы, чтобы мои, хотя и слабые, исследования послужили в какой-то степени вкладом в разрешение весьма насущной проблемы. Прошу вас не осудить меня за резкость и учесть тяжесть моего самочувствия. (Здесь у него голос задрожал. Он приложил руку к сердцу и поклонился.) Я еще раз благодарю всех выступивших, в том числе и глубокоуважаемого доцента Масловского Герасима Ильича. (И еще раз поклонился, уже затяжным, последним поклоном.)

Однако выступление Масловского совсем расстроило диссертанта.

Когда выбирали счетную комиссию, к Карпу Степанычу подошла Изида Ерофеевна и тихо спросила, так, чтобы слышал он один:

— Официальный ужин готов. Можно приглашать?

Карп Степаныч ответил:

— Все провалилось. Ужин отменить.

Изида Ерофеевна вышла. Потом снова вернулась и дополнила:

— Я больше не могу оставаться… Если надо, позвони.

А дома с двумя приглашенными соседками она, разбирая стол, разбила со зла две тарелки, облилась киселем и костила Масловского:

— Вредно ему, дьяволу, что мой будет кандидатом. Сам-то кандидат, да еще и доцент. А чтобы дать другому — вредно. Чертова собака на сене.

Она ругалась и еще более крепко. Джон лаял.

И вдруг звонок! А в телефоне голос Карпа Степаныча:

— Иза! Иди немедленно приглашай. Кажется, успех.

Он звонил в тот момент, когда ему показалось, что все обойдется, потому что Ефим Тарасович шепнул ему на ушко:

— Ничего. Не такие проходили. А эта проскочит как миленькая. — И похлопал его по плечу, да еще и животом потряс (то есть улыбнулся).

Когда же счетная комиссия разбирала результат тайного голосования и Карпу Степанычу, по выражению лиц, показалось, что

«против» больше, нежели «за», он написал Изиде Ерофеевне записку: «Ужин отменить. Все пропало».

Так он мучительно и переживал: то впадал в отчаяние, то воскресал духом.

Но вот счетная комиссия объявила результат тайного голосования: «за» — на один (только на один!) голос больше.

Все! Карлюк Карп Степаныч стал кандидатом сельскохозяйственных наук. Он, Карлюк, встал. Его, Карлюка, поздравляли некоторые. А некоторые почему-то просто уходили молча.

Был ужин. Пили. Пели. Ели. Хвалили.

А когда все разошлись, кандидат сельскохозяйственных наук Карлюк, шатаясь из стороны в сторону, добрался до стола, взял свою объемистую диссертацию, посмотрел на нее с ненавистью, сдвинул брови, с ожесточением бросил наотмашь под кровать и проговорил с остервенением:

— У, вражина! Сколько крови выпила! — И, помолчав, добавил: — А с этим Масловским мы еще повоюем: попомнит Карлюка.

На следующий день Карлюк уже не кланялся научным сотрудникам и прочим, кто ниже его. Вот что сделала диссертация из Карлюка. Человеком стал! Да и не только человеком (об этом — чуть позже).

…Но ничего этого в анкете, над которой думал Карп Степаныч, не значилось. Там было записано просто: «Кандидат сельскохозяйственных наук».

Мысль о том, что Егоров и Масловский написали о нем куда-то, не давала покоя Карпу Степанычу. Если уж Чернохаров предположил такое, то Карп Степаныч вообразил, а затем возвел воображаемое в действительность. Товарищ Карлюк не трус — избави боже! — но инстинкт самосохранения сидел и в нем, как и во всяком животном. Поэтому он еще раз подтвердил мысленно тезис: защищайся нападением. Однако прежде чем напасть, он тщательно продумывал, старательно ощупывал места, за которые могли бы укусить его враги. С этой целью он и думал над своей анкетой.

По линии отца и матери — все в порядке. Они не были ни помещиками, ни становыми. Так что с происхождением обстояло все, по его выражению, «на большой палец». Образование его находилось

на высоте: кандидат! В прочности этого положения сомнения не было. И все-таки его что-то беспокоило: а вдруг Егоров…

Уже и перерыв на обед скоро. Уже Ираклий Кирьянович осмелился кашлянуть. А Карп Степаныч все сидел и все думал и думал, вспоминая.

Итак, он стал кандидатом наук. А что дальше? Дальше случилось так, что по возвращении из эвакуации Чернохаров посоветовал принять вновь открываемую организацию — Межоблкормлошбюро. Нужны были кадры для работы в областных городах, В обязанности этих работников входило следующее: если сверху спустят бумажку, то Облкорм обязан спустить ее еще ниже, до опорного пункта, где работали только два человека, а чаще — один; если же этот человек напишет бумажку наверх, то Облкорм обязан эту бумажку принять и поднять еще выше. Так вот и работалось: спускали и поднимали бумажки. А опыты, если они и ставились в колхозах, обобщались вверху, в Главкорме, и на этих обобщениях сотрудники Главкорма в свою очередь защищали диссертации, не проводя никаких исследований лично. Всем было очень хорошо.

Как бы там ни было, Ефим Тарасович Чернохаров дал Карпу Степанычу отличную характеристику и напутствовал его перед поездкой на утверждение такими словами:

— Во-первых. Самостоятельная работа и никакого начальства рядом. Во-вторых. Докторскую обсосете за тройку лет, не выходя из-за стола… В-третьих. Мои темы широко пойдут в колхозы по вашей линии… Надеюсь. Гм…

И Карп Степаныч отвечал:

— Я всегда в вашем распоряжении.

Он поехал в Москву, в Главкормлош. Ну конечно, подал он рекомендацию, заполнил (заранее) анкету, написал заявление, и его, как кандидата наук, без размышлений утвердили. На этом все оформление и закончилось.

Затем одному господу богу известными путями Карп Степаныч узнал об авторе фотоавтомышеистребителя, отыскал Ираклия Кирьяновича (каковые водятся, к его счастью) и направил его на утверждение вверх. При наличии трех характеристик утвердили и Подсушку. Хотя, как уже известно, Ираклий Кирьянович не имел особого образования, но в качестве младшего научного сотрудника в

свое время мог работать любой имеющий тягу к науке. А Ираклий Кирьянович, конечно, имел такую тягу. Карлюку же почему-то не очень хотелось иметь своим помощником человека, сведущего в защитах диссертаций. Здесь, видимо, богатый жизненный опыт подсказывал решение.

И когда все утряслось, то есть купили все необходимое для работы в сельскохозяйственной науке — столы, стулья, шкафы, бумагу, чернила, несгораемый сейф, — Карп Степаныч, не задумываясь, решил начинать докторскую диссертацию. Очень долго он думал над названием темы. Пока, временно, коротко обозначил известную уже нам тему «Коню корм» сокращенным шифром «КК». В проекте же у него записано несколько длинных названий. Одно из них было уже подчеркнуто красным карандашом и звучало так: «К вопросу о кормлении лошади с ретроспективным обзором предмета по исследованиям прошлого века и перспективах комплексного скармливания продуктов в целях экономии дефицитной и высококалорийной продукции в условиях социалистического сельского хозяйства и в целях воспроизводства конепоголовья».

Были еще и другие названия, но красным карандашом не были подчеркнуты. Мы поэтому имеем полное основание считать, что соискатель остановился на вышеприведенном названии.

Итак, кандидатская диссертация сделала из Карпа Степаныча Карлюка не только человека, как упоминалось выше, а еще и соискателя искомой докторской степени. (Да простится мне заимствование оборотов речи из научного лексикона Ефима Тарасовича Чернохарова.)

И снова ничего не нашел Карп Степаныч в своей анкете, ничего плохого. Следовательно, гвоздем его жизни стал Егоров. Тот самый Егоров, которого он сам назначил себе в подчиненные! «И каких только чудес не бывает на свете с этими кадрами», — думал Карп Степаныч. И все было ясно — Егорова надо морально уничтожить. Чтобы не выглядывал из-за анкеты и не портил впечатления.

Карп Степаныч оторвался наконец от анкеты, вздохнул, скорбно посмотрел на Подсушку и произнес:

— Так-то вот, дорогой мой Ираклий Кирьянович!

— Вы о чем? — несмело спросил тот.

— Егоров нас опередил.

— А именно?

— Он написал о нас с вами.

— Куда? — в страхе спросил Ираклий Кирьянович.

— Пока неизвестно куда. Но написал.

— Как же теперь нам быть?

— Наше придется подавать, волей-неволей.

— Подавать. Обязательно, — подтвердил Подсушка. — Подавать.

— И в этом ничего зазорного. Ничего. Мы за науку. Мы боремся. А в таких случаях, как я слышал от одного командира, бери те средства, что есть под рукой, действуй тем оружием, которым хорошо владеешь. Это — философия жизни.

— Ум и справедливость всегда у вас на уме, Карп Степаныч.

Карп Степаныч был польщен.

А вечером он запечатал три конверта, в каждый вложив известное нам заявление на Егорова, надписал три разных адреса. Затем пошел, темной ночью опустил все три конверта в почтовый ящик. А придя домой, лег спать и ласкал Изиду Ерофеевну. И ничего особенного во всем этом не было…

## *Глава девятая*
## Беспокойная душа

Филиппа Ивановича Егорова мы оставили в то время, как он ранним утром шел на вокзал. Станция, на которой утром же следующего дня он вышел из вагона, отстояла от его родного колхоза «Правда» всего лишь на десять километров. Филипп Иванович осмотрелся вокруг, ища попутную автомашину. Машин не оказалось. Было пять утра. Ждать до восьми-девяти — получается три часа безделья. Филипп Иванович решил идти пешком: что означают десять километров для ног колхозного агронома! Пустяк. И зашагал, помахивая полевой сумкой. Пошел напрямик, межполевыми дорогами.

Июньское утро выдалось на редкость тихим и ясным. Шел агроном по полям.

Рожь отцвела, но ее колосья стояли еще прямо, не поникнув. Озимая пшеница была ниже ржи ростом, но зеленая, как лук. Острые, похожие на ланцетики, листочки проса с еле заметным нежным пушком, казалось, росли на глазах — так напористо они стремились

вверх, к солнцу. Подсолнечник завязал шляпки и уже начинал ревниво следить за солнцем: утром он смотрит на восток, а вечером — на запад, так и наблюдает целый день. И вообще это растение очень «дисциплинированное»: если уж шляпки повернулись на юг, то все до единой, будто неведомая сила скомандовала: «На солнце равняйсь!»

Филипп Иванович остановился. Он вздохнул глубоко и подумал: «Так вот и человек — к солнцу правды! К правде обязан стремиться человек. Правду надо не только любить, правдой надо жить, как растение живет солнцем».

Филипп Иванович проходил полями. Всем существом ощущал он присутствие могучей земли, черной земли, спокойно и тихо лежащей под прикрытием ею же рожденной зелени, которая станет потом хлебом. Земля! И дед, и отец, и мать приучили с детства произносить это слово с великим уважением. Филипп Иванович стал агрономом потому, что он просто не смог бы нигде жить и работать, кроме как на поле. Здесь он родился, здесь прошли его детские и юношеские годы, если не считать отлучку в институт, здесь он мечтал, здесь поставил целью своей жизни высокие урожаи и благополучие людей, работающих на этой земле. Здесь же он и понял, что при мощной технике не должно быть беспорядка на колхозной земле. Земля никогда не прощает плохого обращения с нею и всегда благодарна за любовь и ласку.

И вдруг ему стало не по себе оттого, что вот эти поля, в возделывание которых вложено много и его личного труда, будут снова искромсаны «по инструкции о введении севооборотов», снова начнется переход к «новому» севообороту. И все это будет чуть ли не десятый раз при его жизни. Земля не прощает. И он, агроном, не может простить за то, что его, понявшего землю, на которой он родился, обвинили в том, что он по своему усмотрению и с согласия колхозников ввел короткий севооборот, вопреки «инструкции». Он всегда считал нелепостью положение, когда к лозунгу «Больше хлеба!» прибавлялось условие: только при таком-то севообороте, а не при каком-либо другом; при такой-то системе земледелия, а не при какой-либо другой. Он был убежден, что каждый колхоз, каждое поле в колхозе имеет свои особенности, отличные от других колхозов и других полей. Земля, насыщенная неисчислимым количеством бактерий, живет своей жизнью. Понять эти особенности — значит,

понять землю. И он старался понять. Но его-то не поняли, обвинили в анархизме, в нарушении указаний вышестоящих организаций и… освободили от работы.

Шел агроном по полям, но он не был агрономом этих полей. Земля уже не подчиняется ему. Чувство одиночества и оторванности закрадывалось ему в душу. Он на ходу гладил колосья ржи, прикасался к шершавым листьям подсолнечника, останавливался, подолгу смотрел вдаль и снова шел, но все тише и тише. Было грустно. Из своих дум он еще не сделал какого-то вывода. Что-то уже мерещилось ему, но он еще не додумал, не решил. Так иногда человек мучительно старается припомнить какую-то мысль, мелькнувшую однажды. Грусть заслонила строй мыслей, среди которых была какая-то важная. Филипп Иванович встряхнул головой и зашагал быстрее. И вдруг остановился, услышав звук трактора. Потом зашел прямо в рожь. Он вспомнил: этот сорт ржи выведен Герасимом Ильичом Масловским, а вот та пшеница — известным селекционером-женщиной. Оба селекционера — знакомые ему люди. Вот и трактор звучит. Он тоже изобретен учеными. Тракторные плуги — тоже. А культиваторы, а комбайны? — уже спрашивал себя Филипп Иванович.

Так, постепенно, он перешел от мысли о себе к мысли о том, что в поле, везде, во всем, на каждом шагу, видно влияние сельскохозяйственной науки, настоящей науки, а не чернохаровской.

Оказывается, думал он, есть две науки: настоящая и ненастоящая. Масловский — настоящая наука, Чернохаров — ненастоящая, псевдонаука. А если ненастоящая, то как же она может хозяйничать на полях?

Эти мысли беспокоили Филиппа Ивановича. Поле наводило на размышления об агротехнике, о селекции, о будущем этого поля. И когда в мыслях он дошел до того, что он, Егоров, в лагере настоящей науки и что он тоже отвечает за будущее полей, он вспомнил слова Герасима Ильича: «Когда вы почувствуете себя обязанным, вы уже не можете не бороться». Именно эту мысль он и старался вспомнить! Чувство одиночества ушло.

Осталась только обида, что он уже не может иметь власти над полями, что у него отняли эту власть человека. А будет так: дадут ему гектаров десять — пятнадцать, разобьет он их на делянки и будет ставить опыты, настоящие опыты; но рядом расположит и опыты-

фикции по тематике Карлюка. И ничего не поделаешь пока, иначе не будет средств и никто не даст столько земли в его распоряжение. Так и оправдывал Филипп Иванович поступление к Карлюку одним словом: необходимость.

В раздумье Филипп Иванович не заметил, как прошел весь путь и уже входил в село. Навстречу ему в гору поднималась подвода. Лошадь, опустив голову, тянула дроги с бочкой воды. На бочке, свесив ноги, сидел Пал Палыч Рюхин, водовоз тракторного отряда. Он что-то мурлыкал себе под нос, помахивая кнутом, на который лошадь не обращала ни малейшего внимания. Не спешила лошадь, не спешил и ездовой.

Пал Палыч прослыл в колхозе не то чтобы лодырем, а весьма медлительным, спокойным человеком, которого ничто не тревожит. Считалось, что Пал Палычу совершенно безразлично, что делается в колхозе, как делается и зачем делается. Приедет, например, землеустроитель нарезать новый севооборот, а Пал Палыч скажет:

— Этот на год опоздал. Раньше через год путались, а этот два года пропустил! — И добавит: — Валяй, валяй! Кромсай с божьей помощью.

Больше по этому вопросу он уже ничего не скажет ни на бригадном собрании, ни на заседании правления, куда он, к слову сказать, иногда ходил, но упорно молчал. Если его побуждали высказать свое мнение на заседании или собрании, то он отвечал коротко: «Интересу нету».

Вот этот самый Пал Палыч и встретился Филиппу Ивановичу.

— Здорово, Пал Палыч! — приветствовал он.

— Тпру-ру! — остановил тот кобыленку. А уж потом ответил: — Здоров был!

— Везешь?

— Везу, — ответил Пал Палыч и стал доставать кисет с табаком, видимо располагаясь к длительной остановке.

— Можешь опоздать, — попробовал напомнить Филипп Иванович.

— На! Закури-ка! — Пал Палыч подал кисет собеседнику, будто и не обратив внимания на предупреждение.

Отказать Пал Палычу не было никакой возможности. Филипп Иванович знал, что после отказа собеседник молча свернет кисет,

медленно положит его в карман и уедет, так же не спеша и помахивая кнутом, будто и никого не встретил и ни с кем не разговаривал. Конечно, Филипп Иванович взял кисет, свернул цигарку, прикурил и спросил:

— Как там дела-то?

— Где?

— В тракторном отряде.

— Здорово. Дела идут — сеют.

— Что-о? — удивился Филипп Иванович.

— Сеют, говорю. Овес пополам с чечевикой.

— Да ты смеешься, Пал Палыч?

— Ничего не смеюсь, сеют. План «спустили». Занятой пар будто.

— Но ведь конец июня! — воскликнул Филипп Иванович. — Через месяц — сеять озимые. Когда же он освободится, занятый пар?

— А я почем знаю? Вчера — план. Дополнительно. Ноне сеют… Вот везу воду.

Филипп Иванович взволновался. Он не находил слов и только произнес:

— Черт возьми!

Пал Палыч предложил так же спокойно:

— Може, доехал бы туда? Землю-то мучают.

— Да что же я? Не послушают меня теперь.

— Вона-а! Это почему такое не послушают? Тебя послушают. Это вот меня не послушают. Скажут: «И Рюха туда же!» А Рюха видит, Рюха знает, что хорошо и что плохо. Только на него — ноль внимания. А душа болит. Хоть и нету интересу, а душа болит.

— Болит… — машинально повторил Филипп Иванович.

— То-то вот и оно. Ехать надо.

— Да видишь ли… Сняли же меня. Как мне теперь вмешиваться?

— Вишь ты, как оно! А ты не думай об этом. Наплевать. Если тебе зарплату не платят, то ты уж вроде и не имеешь права? Ты колхозник?

— Колхозник.

— И я колхозник. Я три года получал по шестьсот граммов на трудодень, а работал. А ты уж… сразу. Не-е! Не должон ты об этом думать. С меня спрос один, а с тебя — другой.

— Надо как можно скорее попасть в отряд, — заспешил Филипп Иванович. — Поехали! — И стал взбираться на бочку.

— Не. Со мной скоро не попадешь. Там, у кладовой, сейчас семена нагружают. Машина пойдет. Ты с ней махни. Подожди тут маленько и — махни. А?

— Пожалуй.

Оба помолчали. Пал Палыч медленно курил и о чем-то думал, глядя вниз с бочки. Потом сказал:

— Я к тебе спозаранку ходил. Хотел сказать про это самое. А тебя нету.

Филипп Иванович многое понял здесь, у бочки. Ему стало немножко стыдно за малодушие, прокравшееся в душу там, в поле, по пути домой.

— Спасибо, Пал Палыч! — сказал он, растирая ногой окурок.

— Это за что же спасибо? За то, что я хочу жить лучше? Я, Рюхин Пал Палыч? — И он ткнул себя пальцем в грудь. — Не понимаю. Вот если ты остановишь эту глупость, тебе будет спасибо. — Он помолчал и добавил: — А я не в силах.

— Ну поезжай, поезжай. Уже время.

Пал Палыч пошевелил вожжами. Кобыла покачалась, стронулась и повезла. А Пал Палыч, обернувшись, сказал с этакой ехидцей:

— Часам к одиннадцати доеду. А ты тем временем… — Он что-то пробурчал еще, улыбнулся в густые усы, почесал затылок, сдвинул картуз на глаза да так и поехал с надвинутым картузом, будто затаив под козырьком выражение глаз и свои мысли.

Так Филипп Иванович и не дошел до дома.

Вскоре встретилась автомашина с семенами.

— В отряд? — спросил он у шофера.

— В отряд. Садись, Филипп Иванович. Поедем чудо-юдо смотреть: как сеют овес с чечевикой.

— Поедем, поедем! Поспешим давай.

По дороге шофер рассказал, как вчера до полуночи думали в правлении о дополнительном плане занятого пара, как председатель противился ему и как директор МТС обещал председателю «намылить голову» на бюро за саботаж дополнительного плана.

Подъехали к отряду. Филипп Иванович, поздоровавшись с трактористами, взошел на поле, вспаханное в эти дни под занятый пар. Глыбы земли, вывороченные плугом, лежали несуразными каменьями, земля была настолько суха, что разборонить ее не было никакой

возможности. Сеять в такую землю и в такой срок — бессмысленно и вредно. Филипп Иванович вернулся к будке и спросил у бригадира Боева:

— Вася! Чего ж вы стоите? Есть указание сеять.

— Да вот… жду воду. Должен скоро подвезти. И председатель обещал приехать. — Указав на глыбы, бригадир спросил: — Видите?

— Вижу. И что же, будешь сеять?

— А как же? Буду.

— А если я запрещу?

— То есть как это так «запрещу»? Вас же…

— Как рядовой колхозник запротестую и потребую созвать общее собрание. Как ты на это посмотришь?

Вася улыбнулся, повел могучими плечами и сказал:

— В уставе сельхозартели такого пункта нет. А здорово было бы! — И сразу пошел напрямую, без обиняков: — Пишите на меня акт, Филипп Иванович. Дескать, нарушает агротехнику, угробляет урожай. А я подпишу внизу личное мнение: дескать, по дополнительному. И — ни кот, ни кошка не виноваты.

— А если без акта, а просто так?

— Без акта невозможно — снимут меня. И будем мы с вами тогда ходить по полю вдвоем и грустные песенки распевать.

— Да я акт на тебя составить не могу. Не имею права.

— Вот задача так задача! — задумчиво произнес Вася и развел руками. Потом он сел в борозду, поковырял ключом ссохшийся ком земли и сказал, не обращаясь ни к кому: — Ну как тут сеять? Как в печке спеклась. — Потом он посмотрел на дорогу и уже совсем сердито заговорил о другом: — И что это за водовоз, черт возьми! То он за полчаса доставляет воду, а то и за пять часов не дождешься. Буду просить другого. Ну разве ж так можно! Два трактора на культивации черного пара работают, а два с сеялками здесь стоят, ждут воды. Хоть бы председатель ехал скорее. Не могу я с этим Пал Палычем работать. — И было что-то в Васе такое, что внушало к нему уважение. То ли могучая сила, выступающая буграми-бицепсами, то ли открытое голубоглазое лицо, то ли рассудительность, а может быть, все это вместе взятое. А между тем до тридцати лет он оставался для всех односельчан «Васей». Сейчас он злился на Пал Палыча не очень-

то сильно. И заключил: — И обижать его нельзя — пожилой человек, и не поругать нельзя этого Пал Палыча — будет гнуть по-своему.

— Когда я шел в село, видел его. Едет, — сказал Филипп Иванович.

Оба замолчали. Молчали и смотрели на пашню. И не было им тягостно от этого молчания. Они знали, о чем думает каждый из них, и оба понимали друг друга. И еще раз Филипп Иванович упрекнул себя: «А я-то считал, что и Вася теперь меня не послушает». Он положил Васе руку на плечо и сказал просто:

— Не надо сеять, Вася.

— Не надо, — согласился тот. — А как сделать?

— Просто не сеять. И все. Поедем в правление к председателю: будем думать.

— Да он же должен приехать сюда.

— Пока он вырвется из правления, а мы уж будем там. Вот с этой же машиной.

— Семена сложить или везти обратно? — спросил шофер.

— Пока… сложим, — неуверенно ответил Вася, посматривая на Филиппа Ивановича, — Ну-ка да кто из района нагрянет. А у нас — ни семян, ни воды. По крайности на Пал Палыча свалить можно… Ему как с гуся вода.

Семена сложили в бурт и поехали в село.

Километра за два от будки, в лощине, они увидели одиноко стоящие дроги с бочкой, а рядом с ними, на траве, Пал Палыча. По всей видимости, он спал, потому что перед лошадью лежала зеленая трава, чересседельник же был отпущен.

Пал Палыч расположился, вероятно, основательно и надолго.

— Ну-ка остановись, — сказал Филипп Иванович шоферу.

— Черт возьми! Спи-ит! — зашипел Вася в негодовании.

— Тише. Я подойду. — Филипп Иванович предостерегающе поднял руку.

Он подошел к Пал Палычу. Тот лежал вверх лицом, прикрыв козырьком глаза. Но странное дело — один глаз, казалось, был полуоткрыт и смотрел на мир вообще и на Филиппа Ивановича в частности.

— Пал Палыч! — окликнул его Филипп Иванович.

— А? — отозвался тот, не пошевелившись.

— Что же это такое?

Пал Палыч приподнялся на локте и спросил:

— А что?

— Надо торопиться. Сеять занятого пара не будут. Надо переключать все тракторы на культивацию черного пара. А ты спишь. И воды нет.

— Не будут сеять?! — бодро воскликнул Пал Палыч и сел.

— Не будут.

— Ах я сукин сын! — еще раз воскликнул Пал Палыч. — Как же это я не догадался-то?

Он вскочил, подтянул чересседельник, поправил узду. И — удивительное дело! — лошадь подняла голову, запрядала ушами, ободрилась, будто ездовой что-то такое шепнул ей на ухо, и… побежала рысью.

— Вперед! — крикнул Пал Палыч, сдвинув картуз на затылок, и скрылся в облаке пыли, поднимаемой колесами.

Все трое смотрели ему вслед. И каждый реагировал по-своему. Филипп Иванович шутя сказал:

— Ну и «саботажник»!

А Вася — свое:

— Обижать нельзя — пожилой человек — и не поругать невозможно.

— И прозвище-то ему Рюха, — добавил шофер.

Но Филипп Иванович знал, что за странностями и медлительностью Пал Палыча тщательно скрывается человек, не понятый никем; до поры до времени спрятал он свой взгляд под козырьком, будто и в самом деле ему «интересу нету».

Председатель колхоза Николай Петрович Галкин встретил агронома и бригадира одним словом:

— Понимаю. — И добавил: — Опять снюхались.

— Опять, — подтвердил Вася и улыбнулся одними глазами.

— Вот что я тебе скажу, Филипп Иванович, плохо мне без тебя, — ни с того ни с сего сказал Николай Петрович.

— А я вот он, тут.

— Тут, да не тот, — вздохнул председатель.

— Хоть и шляпа иная, да голова своя. — И Филипп Иванович после этих слов положил на стол удостоверение о заведовании опорным пунктом в колхозе.

— Так, так, так, — приговаривал Николай Петрович, читая удостоверение. — Вроде бы наукой будешь заниматься. Так, так. А что же это означает, это самое Межоблкормлошбюро?

— По кормовым культурам.

— Ага, по кормовым. Тогда вот что — ученые берут, я слыхал, шефство над колхозами, а ты берешь шефство над своим колхозом и берешь в руки всю агрономию. Идет?

— Идет, — ответил Филипп Иванович.

Они пожали друг другу руки. Николай Петрович вдруг рассмеялся, хлопнув себя по лысеющей голове.

— Одна беда с кудрявой головы долой! — Но также неожиданно помрачнел. Опустился на стул и задумался. — Каблучков будет возражать против тебя… А тут еще и этот «дополнительный» план, будь он неладен!

— Ну как же, — спросил Вася, — будем сеять или нет?

— Подумать надо, — сказал Николай Петрович.

— А я придумал! — воскликнул Филипп Иванович.

— Что придумал? — спросил председатель.

— Напишем профессору Масловскому. Вызовем сюда. Приедет.

— Не поедет твой профессор сюда.

— Приедет, — заверил Филипп Иванович.

— Не верю, — скептически утверждал Николай Петрович. — Чтобы профессор — в колхоз! Не может того быть. Шефство-то они, говорят, берут, да только сами-то не едут, а своих сподручных посылают — ассистентов или как их там… Да еще — по вызову! Что ему до нашего колхоза, до нашей свистопляски с этими «дополнительными»? Не поедет.

— Ну давайте попробуем, — настаивал Филипп Иванович.

— Почему не попробовать? Попробовать можно. Но… Не верю. Попробуй, что ж. Попробуй, беспокойная душа.

Письмо профессору Масловскому отправили в тот же день — опустили прямо в поезд на станции. Только после этого Филипп Иванович вспомнил, что он еще не заходил домой, что его ждут, что он голоден как волк. Он забежал домой, наскоро пообедал. Мать Филиппа

Ивановича, Клавдия Алексеевна, сидела на лавке против сына и упрекала, пока тот обедал:

— Ты хоть ешь-то не спеша. И все он торопится, и все ему недосуг. Уже сорок тебе, а ты все… такой же, Филя. Такой же. — И сокрушенно качала головой. Но в старческих морщинах над губами и в лучиках морщин около глаз играла еле заметная лукавая улыбка.

— Такой же, мама, такой же. Еще одну тарелку супу съем — все такой же.

Жена, Люба, заведовала молочной фермой, дома ее не было. Сынишка, Колька, был в школе. Так до вечера Филипп Иванович и не увидел своей семьи.

— Ну, я пошел, мама. Допоздна не буду шататься, рано приду.

И уехал с Николаем Петровичем на его «Москвиче» по полям.

Николай Петрович работал председателем колхоза всего только два года. Он успел понять колхозников, наладил дело с дисциплиной, но в сельском хозяйстве, в тонкостях агротехники не очень-то разбирался. Раньше был на руководящей работе, даже заместителем председателя райисполкома, но в чем-то провинился. А в те годы на должность председателя колхоза частенько посылали за провинность. Председателей колхоза просто назначали. Было тогда ходячее выражение: «Дать команду председателям колхозов». Товарищ Каблучков, второй секретарь райкома, в течение полугода замещал первого секретаря и настолько увлекся «командой», что, говорят, так и сказал своей жене:

— Я лично дал команду — обед в три часа, а у тебя в полчетвертого не собрано. Не имею времени. — И ушел не обедавши.

Николай Петрович попал в председатели не по собственному желанию, но, к своей радости, полюбил эту работу, увлекся перспективами, которые развивал Филипп Иванович. Они подружились. Когда Филиппа Ивановича освободили от работы, Николай Петрович узнал об этом вместе с ним. Они оба развели руками и поехали сразу же к Каблучкову. Тот сидел в кабинете первого секретаря и писал. Не поднимая головы, он сказал:

— Садитесь. — Потом, через некоторое время, поднял взор, пристально посмотрел прищуренными глазами на вошедших, сморщил лоб. — По какому вопросу?

— Сам знаешь, — ответил Николай Петрович.

— Вы о Егорове? — И тут же ответил: — Этот вопрос мы ставили уже на бюро.

— Но Егоров — член партии, — возразил Николай Петрович. — А вы миновали первичную партийную организацию. Это нарушение…

— Прошу, товарищ Галкин, не брать на себя защиту виновного.

— Да в чем он виноват-то? — негодовал Николай Петрович.

— Еще повторяю: я лично дал команду о сроках сева, а Егоров — по-своему; я лично дал команду о глубокой пахоте, а Егоров — по-своему; сверху спущена команда о десяти- и двенадцатипольных севооборотах, а Егоров — по-своему. Анархия! Надо было наказать. И все!

Филипп Иванович глядел на Каблучкова и поражался: какой случай помог этому человеку попасть на такую важную работу? Тут чья-то ошибка. Конечно, с приездом первого секретаря все должно пойти по-иному. Но что делать сейчас?

Каблучков, обращаясь к Николаю Петровичу, заключил:

— Надо бы и с тебя, Галкин, снять стружку, но решил пока воздержаться. Посмотрим дальше.

— Меня твой рубанок не возьмет, Каблучков.

— Шерхебелем дернем. Все!

Разговаривать дальше не было смысла. Агроном и председатель встали, вздохнули и вышли.

Теперь они ехали вместе в «Москвиче» и вспоминали этот эпизод.

— А что же ты сделал бы? — рассуждал Николай Петрович. — Видно, потерпи до нового первого. Думаю, не продержится этот долго. Хорошо, брат, что ты устроился в это самое — как его? — в «Облкормложку». Ставь опыты, пожалуйста, сколько влезет, а колхозные поля — за тобой.

— Эге, я вижу: «налицо недооценка» значения опытной работы. А опыты — дело серьезное. Вот слушай! — заговорил Филипп Иванович. — Первым делом докажу, как уничтожить сорняки химическим методом. Второе — надо опытным путем установить глубину вспашки для каждого поля в отдельности. Третье — очистить почву от вредителей. Четвертое — поймы продолжать засевать культурными многолетними травами, чтобы кормов было невпроворот. Есть еще и пятое, и шестое, и седьмое… И все это надо так сделать,

чтобы доказать. Понимаешь — до-ка-зать! Чтобы не один только наш колхоз понял, а все колхозы района.

— Что?

— Все колхозы района, — повторил Филипп Иванович.

— Ишь, загнул! Ну, валяй, валяй. Все, что от меня надо, — не постою. Помогу. Только знаешь… Как бы это тебе сказать?.. — Галкин нагнулся к Филиппу Ивановичу и шепнул на ухо: — Ты меня-то подучай маленько по агротехнике-то. Не больно я горазд.

— Вместе будем учиться… у земли.

Дружба между председателем и агрономом укрепилась и росла, несмотря на различие характеров: один — спокойный и степенный, другой — горячий, беспокойный.

Но никто из них и не подозревал, что беда стоит за плечами.

## *Глава десятая*
## Свежий ветер

Через четыре дня Филипп Иванович и Николай Петрович встречали на станции профессора Масловского.

У Филиппа Ивановича был приготовлен для гостя завтрак. Предполагалось хорошо угостить профессора, а потом уж приступать к делам. Но Герасим Ильич останавливал автомобиль у каждого поля, выходил, смотрел и расспрашивал так, будто не он должен учить агронома и председателя, а сам приехал у них учиться. Видно было, что он заметил многолетние заботы Филиппа Ивановича в поле и то, что колхоз идет на подъем, — лето обещает хороший трудодень. Сразу же завернули и на злополучный участок, предназначенный под занятый пар. Вот тут-то Герасим Ильич и вспылил.

— И вы допустили, товарищ председатель! — воскликнул он. — Это же издевательство над землей. — И добавил совсем не по-научному: — Кроме того, если посеять здесь сейчас, это значит — выбросить семена коту под хвост.

Николаю Петровичу после такой речи стало легче. «Черт их знает, как с этими профессорами обращаться», — думал он несколько часов тому назад. А теперь как-то сразу все стало на место. Он и согласился и возразил так:

— Издевательство — точно. Коту под хвост — исключительно точно. А вот насчет «допустили» — не согласен. Попробуй-ка возразить нашему Каблучкову. Куда там!

— А я буду возражать. Попробую. И не думаю, что вы правы. Возражайте, протестуйте, пишите, жалуйтесь. Иначе вы не коммунисты, — наступал Герасим Ильич.

— Вы не понимаете сути, — возразил Николай Петрович, согласно своему характеру, совершенно спокойно. — Дело-то в чем? Да в том, что Каблучков временно замещает первого секретаря. Ну и… заместил так, что закрыл собою от нас весь белый свет. Любое возражение он считает посягательством на авторитет.

— Жалуйтесь! — настаивал Герасим Ильич. — Что вы, маленькие дети, в самом-то деле?

— Попробуем дождаться первого. Новый будет. А старому не вернуться, заел его туберкулез. И к тому же — ну, напишем мы о том, что мы не желаем выполнять дополнительный план по состоянию погоды. Что из этого? Кому за это будет? Никому. План планом. А с меня и с Филиппа Ивановича будут «снимать стружку». Ведь жалобу-то не разберут за три дня? Нет. А сеять все равно заставят, пока жалоба будет ходить месяца два по разным инстанциям.

— Это как — «снимать стружку»? — спросил Герасим Ильич уже более примирительно, чем и дал понять, что он почти согласен с доводами.

Филипп Иванович улыбнулся и не стал отвечать на вопрос профессора, кивнув на Николая Петровича. А тот вполне серьезно сказал вместо ответа:

— Знаете что — хотел бы я, чтобы вы лично посетили самого Каблучкова и высказали ему все так, как нам. Может быть, и поймете «стружку».

— Обязательно поеду, — согласился Герасим Ильич.

С поля ехали молча. Всеми овладело самое обычное человеческое состояние, при котором любая идея тускнеет: хотелось есть.

К одиннадцати часам дня они подъехали к дому Филиппа Ивановича. Николай Петрович, выходя из «Москвича», сказал:

— Ну вот теперь и я знаю, что такое ученый. Думалось, как с ним говорить? А ну-ка да он скажет ученые слова, каких не знаешь? Выходит, все не так уж сложно.

Герасим Ильич улыбнулся. Филипп Иванович пригласил всех в дом. А Николай Петрович продолжал тем же ровным и спокойным голосом:

— А дозвольте спросить: водку пить будете?

— Водку?! — ужаснулся Герасим Ильич, но сразу же изменил выражение лица на благожелательное. — Буду!

Николай Петрович рассмеялся.

— У нас поговорка такая есть: «Если гостя встречать без вина, то хозяин — сам сатана».

За завтраком, после того как утолили первый голод, зашел разговор об опытном участке. Начал Филипп Иванович:

— Вот вы, Герасим Ильич, рекомендовали взять отстающий колхоз. Помните?

— Помню. И убежден в этом.

— А Николай Петрович категорически предложил оставаться здесь, то есть в «среднем» колхозе.

— Никуда я его не пущу. Пусть тут и ставит опыты, — подтвердил Николай Петрович.

Герасим Ильич возразил:

— Вы, видимо, исходите из своих личных соображений. А надо думать об общем, не только о своем колхозе.

— Нет, не из личных. Мне Филипп Иванович уже говорил о вашей точке зрения: «не изучаем опыт отстающих», «нельзя лечить болезнь, не зная ее», и тому подобное. А я возражаю.

— Но ведь это же неопровержимые доводы.

— А кто знает, может, и опровержимые.

— Интересно, — оживился Герасим Ильич, — очень интересно.

Поставив вилку острием вверх, Николай Петрович возражал:

— Если следовать этому вашему доводу, то надо обязательно посеять овес с чечевицей в конце июня, по глыбистой пахоте.

— Не понимаю! — удивился Герасим Ильич.

— Ну что ж тут не понимать! Посеять занятый пар в конце июня, а в октябре — ноябре посеять озимые, чтобы их не было совсем. Это и будет «изучение» отстающей агротехники, то есть изучение того, как не надо делать. Я не горазд в агротехнике, но думаю — этого не следует делать.

— Позвольте, Николай Петрович! Я имею в виду и организацию труда, и вообще организационные вопросы, и работу с людьми в отстающих колхозах.

— И все равно. Лучше изучать, как сделать хорошо, чем изучать, как не надо делать плохо.

Герасим Ильич ответил не сразу.

— Тут надо подумать… Пока тебе никто не, возражает — считаешь, что ты прав… А вот сейчас вы, кажется… правы. У вас — логика.

— Я, Герасим Ильич, не понимаю ее, эту логику. А так — «по личному соображению». Все-таки жизнь прожил, шестой десяток пополам перерубил.

Герасим Ильич легонько хлопнул Николая Петровича по плечу.

— А ведь мы вроде ровесники! Знаете что, Николай Петрович, вы меня немножко подучайте.

— А вы меня.

— Идет!

— По рукам?

— По рукам.

Филипп Иванович был очень доволен, что скептическое отношение Николая Петровича к профессору рассеялось как дым. И он уже уверенно спросил:

— Значит, вы не возражаете против того, чтобы я остался здесь, в своем колхозе?

— Побежден, — ответил Герасим Ильич, — «Личным соображением» побежден. Впрочем, ведь это был только мой совет. А от меня совершенно не зависит, где вам основать опорный пункт.

— На это есть «Облкормложка», — ехидно вставил Николай Петрович.

— А советоваться будем все-таки с вами. Вы только сейчас заключили условие с Николаем Петровичем.

— Ладно, ладно. Уж раз «попался» — ничего не поделаешь.

— Не будем спорить, дорогие товарищи. О том человеке, который взялся за гуж, пословица уже есть, и ее нечего выдумывать, — заключил Николай Петрович.

После завтрака Филипп Иванович и Николай Петрович ушли в правление, а Герасима Ильича уговорили отдохнуть.

В горенке приготовили постель. Клавдия Алексеевна, до сих пор произносившая только слова, относящиеся к угощению, пригласила гостя:

— Отдохните с дороги, Герасим Ильич. — Она вошла с ним в горенку, пододвинула стул для одежды и сказала: — Филя про вас много говорил. Мы тоже хотели вас видеть. Только не обессудьте. Может, что и не так.

— Что вы, что вы, Клавдия Алексеевна! Мы с Филиппом Ивановичем друзья, хотя он и мой ученик и я на пятнадцать лет старше его.

— Он ведь у меня один остался-то, — вздохнула Клавдия Алексеевна. — Трое было. Двух-то убили на войне. И сам пропал там же.

Герасим Ильич впервые услышал это.

— И сам! — вырвалось у него.

— Да Иван-то мой — отец Фили. — Она стояла перед профессором, высокая, сухая, на первый взгляд чуть суровая старуха. Но что-то крепкое и сильное было в ее глазах. Такое, будто она готова всегда встретить горе и выстоять.

— Простите, Клавдия Алексеевна! Вам трудно об этом вспоминать. Не надо.

— Конечно. Все пережито… И не у нас у одних. Война. — Слез у нее не было, только морщины на лице стали как-то гуще и отчетливее.

Герасим Ильич невольно обратил внимание: против обычного, на стенах нет портретов ни ее сыновей, ни мужа. И она по взгляду, скользнувшему по стенам, догадалась и сказала:

— Нету патретов-то. Нету. В сундуке держу. Иной раз взгрустнется — выну, посмотрю… А письмо почитаю — не плачу, а утешаюсь. Человек был мой Иван-то!

— Письма от него сохранились? — осторожно спросил Герасим Ильич.

— Не-ет. От него так и не получили ни одного письма с фронта. От его товарища письмо, из плена. В плену он погиб, Иван-то… Да вы ложитесь, ложитесь в добрый час, отдохните. Поди, устали? Ложитесь. — И она вышла.

Герасим Ильич лег, но уснул не сразу. Он лежал с закрытыми глазами и думал.

Через час он встал, освежился холодной водой и пошел в правление. Там, в кабинете председателя, сидели Филипп Иванович и Николай Петрович и на чертеже намечали места опытных участков. Решили так: основной участок, Карлюка, выделить в одном месте, а настоящие, свои, в каждом поле. Они изложили свои соображения Герасиму Ильичу, и тот предложил сначала осмотреть участки на месте. Все с этим согласились. Но Николай Петрович внес новое предложение о порядке работы на этот день:

— Если сегодня не поговорить с Каблучковым, то, значит, нам влетит обязательно. Завтра бюро.

Все втроем поехали в район, предварительно позвонив о том, что едет профессор. Каблучков встретил Герасима Ильича учтиво: он встал из-за письменного стола, поправил пояс, затушил папиросу в пепельнице и только тогда приветствовал:

— Прошу! — Подал руку и произнес: — Секретарь Каблучков.

— Масловский.

Каблучков небрежно сунул руку и остальным двум, вошедшим с профессором (обычно он посетителям руки не подавал).

— Чем могу быть полезным? — спросил Каблучков Масловского.

— А мне казалось, что я мог бы быть чем-либо полезным для вас.

— О! У нас много недостатков.

Герасим Ильич спросил:

— Какие же недостатки вы считаете наиболее серьезными?

— У нас есть еще безобразия. Вот, например, они, — Каблучков указал на Филиппа Ивановича и Николая Петровича, — плохо ведут обработку почвы. Факт! Мы еще недостаточно ведем борьбу за лесные полосы — уход плохой, посадки выполнены не на сто процентов. И так далее. И вот остался один я — все на одних плечах. — При этом он похлопал себя по плечу, указывая таким образом, на каких плечах лежит все. — А они вот — палки в колеса.

Герасим Ильич попробовал вставить:

— Что касается посева овса в конце июня в занятом пару, то я с ними согласен — сеять нельзя.

Каблучков в удивлении развел руками, говоря:

— А как же?

— Сеять нельзя. Я утверждаю это со всей ответственностью.

— А облзу план спустило дополнительно. Что я должен делать? — возразил Каблучков.

— Объяснить, что сеять нельзя, что план надо было давать вовремя, ранней весной, а лучше — зимой, что колхозы не могут расплачиваться за чью-то недогадливость. Все просто. Вы согласны?

— Согласен на сто процентов. Но только я партбилет на стол не положу. Обязан выполнить. А ваше мнение, простите, будет нам дальнейшим тормозом.

— Знаешь что, Каблучков, — заговорил Николай Петрович, — никто с тебя за это не спросит партбилета. Что, у тебя бюро нет, что ли? Партактива, что ли, нет? Не с кем посоветоваться? Собери и вынеси коллективное решение. И твой билет будет цел, и у нас гора с плеч, у всех председателей.

Каблучков возмущенно обратился к Масловскому:

— Вот! Вот так с ними и поработай. Из области есть указание, а я собирай собрания, обсуждай, обсасывай. У меня и для бюро и для партактива есть план. Придет срок — пожалуйста! А сейчас, будь ласков, не тормози телегу.

— Тормозить телегу, — машинально повторил Герасим Ильич. — Это сказано здорово — «тормозить телегу».

Каблучков улыбнулся: дескать, действительно здорово.

— Товарищ Каблучков! — вмешался наконец и Филипп Иванович. — Если профессор говорит с полной ответственностью, то ведь можно же понять…

Но тот перебил:

— Только ты и понимаешь. А мы не понимаем. Нельзя допустить анархию. Да и вообще с тобой будет отдельный разговор. — И многозначительно добавил: — Особый разговор.

Герасим Ильич поочередно посмотрел на каждого из собеседников и задал вопрос Каблучкову:

— А нельзя ли мне начальника облзу к телефону?

— Почему нельзя? Можно. — Каблучков взял трубку. — Центральная?.. Срочно начальника облзу. Без задержки! Профессор будет говорить.

— Василий Аркадьевич! — закричал в трубку Масловский. — Дело-то какое! Овес с чечевицей — на носу у июля! Смех!.. А? Какой такой дополнительный? Кто придумал? Кто-о? Чернохаров? Мое

мнение? Мое мнение: отменить надо немедленно… А? Неужели ни одного сигнала?.. Сегодня был на поле, видел — издевательство над землей. Местные работники протестуют… А? Хорошо. Телеграфирую сегодня же в обком. Будьте здоровы!

— Ну что? — спросил Филипп Иванович.

— В общем так: спасибо вам, Филипп Иванович! Если бы вовремя не дали мне знать, то… Впрочем, еще не все кончено.

— Пока не будет распоряжения, я лично сеять буду, — заключил Каблучков.

Все опешили. Герасим Ильич развел руками.

— Добейтесь распоряжения — дело другое, — настаивал Каблучков.

— А сами-то вы почему не добиваетесь отмены головотяпства?

— Как? — опешил теперь Каблучков.

— Головотяпства, — повторил Масловский.

— Ну и ну! — произнес Каблучков. — Да вы понимаете, что такое дисциплина? Позвольте спросить, вы член партии?

— Да.

Каблучков выразил всем своим существом полное удивление. После этого он умолк, о чем-то задумался, посматривая то на Филиппа Ивановича, то на Николая Петровича.

«Нельзя обижаться на человека, попавшего не на свое место», — думал Герасим Ильич.

Достав из кармана записную книжку, что-то записал, а потом сказал:

— Будьте здоровы!

Каблучков проводил глазами посетителей. Когда дверь, обшитая клеенкой, закрылась, он подошел к окну и сердито произнес:

— И на ученого-то не похож.

Усевшись снова за стол, Каблучков достал из ящика письменного стола «дело». На папке было написано: «Егоров Филипп Иванович». Раскрыл папку и углубился в чтение: на Егорова поступило одно заявление и запросы от двух организаций. Читал Каблучков и думал: «Он, он, Егоров, всему вина. Анархист… Он и профессора притащил в район. А оно вон что! Во какая птица этот Егоров!»

Заявление, которое читал Каблучков, уже знакомо читателю — то было творение Карлюка, а запросы от двух организаций состояли в

просьбе дать характеристику Егорова по тем же пунктам, что и в заявлении.

Каблучков сам созвонился с Карлюком, просил его и Подсушку выслать «углубление подробностей». К вечеру уже была готова характеристика на Егорова в ответ на запросы — такие дела у Каблучкова делались без волокиты.

В характеристике значилось: «Егоров Филипп Иванович — снят с работы как противник травопольной системы земледелия и анархист в агротехнике…», «Он пропагандирует зарубежный образ жизни…», «Он, Егоров, говорит не о высоком уровне развития нашей науки, а о том, что система сельскохозяйственного образования порочная», «Отец Егорова, Егоров Иван Иванович, был в плену у немцев, откуда и не вернулся…» И так далее.

Никто из троих друзей и не подозревал о нависшей беде. Через два-три дня пришло распоряжение об отмене дополнительного плана. Опытные участки были намечены. Филипп Иванович приготовился закладывать опыты с озимыми. Казалось, все шло хорошо.

Герасим Ильич исколесил все поля колхоза «Правда», несколько дней побыл в других колхозах и, возвращаясь поздно вечером, переписывал в общую тетрадь свои заметки из записной книжки.

В последние дни перед отъездом он стал молчаливым, задумчивым. Ночью вставал, тихонько выходил и медленно шагал по дорожке садика, заложив руки за спину. Село спало спокойным трудовым сном. Соломенные крыши были настолько высоки и громоздки по сравнению со стенами хат, что ночью казалось, будто все село построено из соломы. Лишь кое-где луна бросала блики на железные крыши. По этим отсветам можно точно определить, где находится школа, где правление, а где клуб. Солома и глина. Глина и солома. Да редкие, одинокие деревца, оставшиеся от садов. Около одной из хат гигантский тополь темным силуэтом одиноко вытянулся в небо. Громадный тополь! Герасим Ильич вообразил — стоит этот тополь и шепчет: если бы у каждой хаты только по одному такому, как я, то какая бы уже была красота! Герасим Ильич пошел к этому тополю. Он не мог не пойти. Уже третью ночь тянул к себе тополь. Подошел и удивился: тополь чуть-чуть шептал листьями, одинокий, гордый, стройный, ожидающий, чтобы люди его поняли.

На околице тихо заиграла гармошка. Видимо, гармонист возвращался домой. Ветерок чуть-чуть ласкал деревню. А тополь все шептал и шептал.

Утром следующего дня профессор Масловский собрался уезжать. Втроем они последний раз поехали в поле. Николай Петрович внимательно слушал советы Герасима Ильича, иногда записывал на память, а Филипп Иванович, слушая, думал. На кургане, с которого были видны почти все поля колхоза, они присели. Герасим Ильич пошутил:

— По старому обычаю присядем перед отъездом.

— Неплохой обычай, — серьезно сказал Николай Петрович. — Человек должен за те минуты успокоиться от суеты сборов, подумать, не торопиться.

Филипп Иванович сел молча. Ему жаль было расставаться с учителем.

— Во-он, видите — тополь? — спросил Герасим Ильич.

— Видим, — ответили оба.

— Сколько в селе хат?

— Триста десять, — ответил Филипп Иванович.

— Если бы было триста десять таких деревьев? Или шестьсот? А?

— Здорово было бы, — сказал спокойно Николай Петрович.

— Вы-то здесь второй год, — обратился Герасим Ильич к Николаю Петровичу, — а вот Филипп Иванович агрономствует здесь восемь лет. Так что же вы, черт возьми! Вы понимаете, о чем я?.. — И эта фраза звучала как обвинение.

— Убедительно, — согласился Николай Петрович.

А Филипп Иванович молчал. Поэтому Герасим Ильич спросил только у него одного:

— Как вы думаете?

— Я думаю, что сначала надо сделать так, чтобы колхозник мог думать и о красоте. — Герасим Ильич встал, а Филипп Иванович продолжал, глядя в даль поля: — Я думаю, что… — Он неожиданно махнул рукой, не закончив.

— Что вы думаете, дорогой? Что думаете? Давайте выкладывайте! — требовал Герасим Ильич.

— Думаю, что обвинять народ в отсутствии чувства красоты могут только люди… плохо знающие народ… — Он тоже встал.

Свойственная ему быстрота смены чувств сказалась и здесь: он заговорил уже быстро и громко. — Плохо знающие народ, который веками жил в рабстве; народ, революцией освободившийся от рабства и отстоявший свои завоевания в тяжелых войнах. Этот народ ждет улучшения жизни! Я агроном, я на особом положении, получаю зарплату, имею льготы, поэтому и сохранил свой садик. Другие же действуют по простому правилу: или дерево, или двадцать кустов картошки.

Филипп Иванович умолк, с волнением глядя на Герасима Ильича. Поймет ли? Не обидится ли? Или, может быть, молча уйдет, не выдержав обвинения в незнании народа?

А Герасим Ильич смотрел на село. Ветер шевелил его седые волосы. Не отрывая взгляда от села, он неожиданно спросил:

— Почему вы никогда не сказали мне о том, что два ваших брата и отец погибли?

— Не знаю почему, — ответил Филипп Иванович.

— А я знаю. Потому что вы еще не считаете меня настолько близким, чтобы высказать без горячности хотя бы те мысли, которые вы высказали сейчас.

— Нет, это не так.

— Так. Подумайте наедине, взвесьте… — Он помолчал. — Да, я городской человек, я меньше вас знаю народ и еще меньше, чем Николай Петрович, но то, что я увидел, — и не только у вас, заметьте! — заставляет меня возражать вам.

— А что ж, — заметил Николай Петрович, — разговор интересный. — И разлегся на траве.

— То есть я согласен с тем, что вы высказали, — продолжал Герасим Ильич. — Но мне кажется, что вы все уводите в одну сторону. Вот у меня записано, сколько учителей, агрономов, трактористов, инженеров вышло из вашего села. Поразительно! Народ создал свою собственную интеллигенцию. У вас есть десятилетка. Но… один тополь! Понимаете? Один только тополь. Это же абсурд! Два дерева перед домом на улице, а не на усадьбе — и село изменится. Вокруг школы — сад: это уже красиво! То есть я хочу сказать, что одновременно с требованием улучшения материальной жизни, одновременно с повышением культуры полей надо учить народ жить культурно. Если этому помешала война и мешают ошибки, то это не

может продолжаться долго. Будет лучше. Скоро будет. Верю! Дорогой мой! Коммунист обязан верить. Ведь так?

Но Филипп Иванович не успел ответить — помешал Николай Петрович:

— А я так скажу, — вставил он, ковыряя соломинкой в зубах. — Вы здорово поклевали друг друга. Ой, здорово! Культурно поклевали. А все-таки вы оба правы. Вам осталось только понять друг друга. А в чем соль? Да в том, что прошляпили мы, Филипп Иванович. Ты тоже виноват. Я тоже. Грязь же кругом невылазная. Вот и надо — и хлеба дать и денег… И тело мыть… и душу.

— Закончим мы вот на чем, — весело сказал Герасим Ильич. — Насчет агротехники договорились, насчет опытов договорились, а насчет деревьев — условие: в этом году посадить по два дерева перед каждой хатой. А там посмотрим. Я вам! — И он погрозил пальцем.

— «Команда дадена», — провозгласил Николай Петрович.

— Вы не обиделись? — спросил Филипп Иванович у Герасима Ильича.

— А что ж: я ведь и действительно не так уж хорошо знаю народ. Я не стыжусь учиться у людей. Вот только резковато маленько. Ну да ничего! А сам-то принял на себя вину?

— Принял. «Прошляпили».

У вагона на станции Герасим Ильич сказал им обоим:

— Итак, друзья, буду у вас частым гостем. Не прогоните?

— Это как будет называться — шефство? — спросил Николай Петрович.

— Никак это не будет называться! Я просто полюбил и вас, Николай Петрович, и село, и людей.

— Ну, в добрый час!

По дороге со станции Николай Петрович говорил:

— Ну, брат, и профессор!

— Доктор наук, не шутка!

— Э, да не в этом дело! Доктор, доктор! Ум, а не доктор. Дураку хоть всю башку науками набей до отказа, все равно ветром выдует. А тут — ум… Ничего не скажешь — человек!

— Человек, — повторил Филипп Иванович в задумчивости.

— А главное-то в чем? Да в том, что он всей своей душой чувствует ответственность. А кто, спрашивается, возлагал на него эту

ответственность? Никто. Только собственное сердце.

— Да. Собственное сердце и вера в будущее.

— Приехал он — и свежий ветер принес с собой, — заключил Николай Петрович.

Как бы там ни говорили они, а Филиппу Ивановичу было не по себе. Жаль было отпускать Герасима Ильича. И что-то еще тяготило его. Что именно — догадался не сразу. Наконец всплыла в памяти угроза Каблучкова: «С тобой разговор будет особый». Филипп Иванович напомнил об этом Николаю Петровичу. Но тот посоветовал односложно:

— Плюнь.

Всегда Николай Петрович умел находить короткие и мудрые решения жизненных вопросов, а тут ошибся, хотя и ободрил Филиппа Ивановича. Забыл он, что Каблучков — человек-ошибка, совсем не относящаяся к категориям тех, на которых мы учимся.

…А Герасим Ильич все смотрел и смотрел из окна вагона на пробегающие поля, на села и соломенные деревни. Он смотрел и думал. Думы его были беспокойными.

А в поле тянул свежий ветер, по пшенице ходили волны.

## *Глава одиннадцатая*
## Каблучков в действии

Через несколько дней события развернулись неожиданно.

С утра Каблучков сидел в кабинете один. Он любил сидеть один, в полном убеждении, что он, Каблучков, — единственное лицо, думающее за весь район, за всех людей. Он ожидал, что его утвердят первым, был в этом уверен. У него не было даже подобия мысли, что он сидит не на своем месте. Более того, ему казалось, что почти все коммунисты района сидят не на своих местах, что надо их перестанавливать, перемещать, держать в строгости и подчинении. Это он, рассматривая «личные дела» коммунистов, придумал такие определения: «Ого! Уже два года на одном месте. Оброс. Заплесневел. Встряхнуть на другое место»; или: «Ого! Этот сросся с массами и идет у них на поводу. Переместить!»; или: «Кого рекомендуют! Ни в номенклатуре не значится, ни наград не имеет. Отказать!» К Егорову все это не подходило. Значит, Егорова надо исключать.

Все материалы для этого мероприятия он подготовил. В одиннадцать часов вечера назначено бюро. Вызван Егоров. Вызван и Галкин как член бюро. Он сильно беспокоил Каблучкова: «Подведет, будет против».

Каблучков знал метод, который считал безошибочным. Это «метод предварительного опроса».

— Ты врага народа поддерживать не будешь? — спрашивал он у вызванного члена бюро.

— Не буду. А что?

— Ознакомься с «делом». И пойми, кто у нас сидит за пазухой.

Член бюро читал, знакомился и думал: «Три характеристики. Все доказано».

Но один из членов бюро, старый рабочий маленького ремонтного заводика, Морковин, повел себя иначе.

— Врага поддерживать будешь? — спросил Каблучков.

— Какого? — спросил и Морковин, по-нижегородски окая.

— Ну во-от тебе! Какого… Егорова!

— Егорова? Давно он перекинулся к врагам? — так же спокойно, поглаживая усы, продолжал спрашивать член бюро.

— На! Читай. — И Каблучков сунул Морковину «дело».

— Не шибко я читаю, долго буду читать.

— Сядь вон в уголке и читай, — посоветовал Каблучков, приняв слова собеседника за чистую монету.

Морковин и правда уселся в углу и стал листать «дело», предварительно свернув «козью ножку».

Прошло полчаса. Морковин листал. Каблучков сидел в ожидании. Прошел час — позиция Морковина осталась прежней: сидел, молчал, шевелил листы «дела».. Наконец Каблучков не выдержал, подошел и спросил:

— Ну как?

— Все правильно, — ответил Морковин, не поднимая головы, и продолжал смотреть в листы. Он даже рассматривал и оборотные, чистые, стороны: казалось, он не читал, а нюхал бумагу.

— Значит, как же? — настаивал Каблучков, уже раздражаясь.

— Все правильно, секретарь. Сочинено здорово, — Морковин наконец закрыл «дело» и подал Каблучкову.

— Значит, ты — за исключение? Голосуешь?

— Недельку бы подумать, — с деланной неуверенностью сказал Морковин. — Егорова-отца я знал, хороший человек. Филиппа тоже знаю. А вот видишь — враг. Как это так?

Каблучков забегал по кабинету.

— Так, так! — воскликнул он. — Значит, сомневаешься? На дорожку Галкина вышел. Потакать противникам партии собираешься? Ну что ж, подумай. И я подумаю.

— А правда, Каблучков, подумай-ка.

— Подумаю. И ты подумай.

— Подумаю. Подумаю. — Морковин встал, надел фуражку, повторил: — Подумаю, — и вышел из кабинета.

Каблучков открыл форточку, чтобы проветрить кабинет от махорки Морковина, увидел в окно его сутулую спину, медленно удаляющуюся в переулок, и сказал:

— Ох, уж это мне старичье!

А Морковин пришел домой, сел на пороге крыльца и задумался, опустил голову. Когда же жена, старушка, спросила: «Чего осовел?» — он ответил, невесело усмехаясь:

— Думаю. Каблучков дал команду — думать.

Так большая часть членов бюро была подготовлена «путем опроса». Двое были в отъезде. Галкина для личной беседы Каблучков не вызывал, знал, что с этим разговор будет там, на бюро.

Филипп Иванович и Николай Петрович получили вызов на бюро за два часа до начала. Они, не раздумывая долго, сели в «Москвич». Николай Петрович, сидя за баранкой, сказал, заканчивая какую-то мысль:

— Ну, кажется, теперь нас с тобой не за что ругать.

— А зачем же меня вызывают? Подобру так не бывает.

— Вот и я думаю: и ругать вроде не за что, а что-то Каблучков выкаблучивает.

Так они и не знали о повестке дня до начала бюро.

— Вопрос будет о Егорове, — объявил Каблучков. — Сообщаю материалы. На Егорова поступил материал от соответствующих организаций.

Он зачитал заявление Карлюка и Подсушки, не упомянув их фамилий, затем зачитал их же подтверждения, уже назвав фамилии и должности. И стал задавать вопросы Егорову:

— Ты лично против травопольной системы земледелия или нет?

— Нет, не против. Но против шаблона в земледелии.

— Ну, против трав?

— Нет. Я за травы, но только там, где они растут.

— С оговорками, значит?

— Пожалуй.

— Ясно, товарищи! Егоров выложил нутро, но с оговорками. — И задал вопрос уже по следующему пункту: — Ты в Германии был?

— Был. В армии.

— И как ты думаешь, — с улыбочкой уточнял Каблучков, — немецкий образ жизни лучше нашего или хуже?

— Хуже. Позвольте! Я считаю эти вопросы провокационными. Я протестую! — загорячился Егоров.

— Ты постой, постой, Филипп Иванович, — успокоил Николай Петрович. — Надо все выслушать. Больше выдержки.

Николай Петрович и сам внутренне негодовал. Только он умел себя сдерживать.

— Не могу я быть спокойным, когда понимаю, о чем идет речь, — не останавливался Филипп Иванович.

— Товарищ Егоров! — грозно сказал Каблучков и перешел на вы: — Не командуйте на бюро! Иначе мы попросим вас вон! И решим заочно.

— А я протестую! Это нарушение партийных норм! — выкрикнул Филипп Иванович. — Вы минуете первичную партийную организацию!

— А я вас спрашиваю: вы на вопросы отвечать будете? Или нет?

— Отвечай! — почти приказал Николай Петрович спокойно. Но в его голосе звучала уже нота надорванности. — Иначе ты будешь бессилен протестовать после.

Руки Филиппа Ивановича дрожали, но он пересилил себя.

— Буду отвечать.

— Так вот, насчет образа жизни. Дороги, машины и тому подобное — как?

— Дороги у них лучше.

— Значит, нам надо у них учиться?

— Насчет дорог — да.

— Ясно, товарищи! — утвердил Каблучков. — Нам остается выяснить один вопрос: где ваш отец, товарищ Егоров?

— Умер, — ответил Филипп Иванович уже угрюмо и зло.

— Отчего умер, товарищ Егоров?

— От смерти, товарищ Каблучков. И я прошу не порочить моего отца.

— Не увиливайте. Я спрашиваю: был отец в плену? — И Каблучков обвел членов бюро взглядом, будто говорил: «Вот еще какие дела он скрывает». — Был или не был?

— Был, — выдавил Филипп Иванович.

— И оттуда не вернулся?

— Не вернулся.

— Все ясно, товарищи! Отец Егорова, Егоров Иван Иванович, остался в плену.

— Не издевайтесь! — крикнул Филипп Иванович, — Отец себя не запятнал! Он…

— Не кричите на бюро! — Каблучков стукнул пресс-папье о стол. — Вы секретарь или я? Не допущу анархии! — И совершенно неожиданно перешел на тихий тон (он так умел): — А на вопросы отвечать будете. Вы опорочили сельскохозяйственный институт в присутствии ответственных лиц, в областном городе. Считаете ли вы, что это достойно звания коммуниста?

— Вопрос казуистический, — ответил Егоров. — Не отвечаю.

Николай Петрович дернул его за полу, а вслух сказал:

— Надо отвечать.

— Ладно, отвечу, если смогу. Отвечу… Систему сельскохозяйственного образования надо перестраивать. Всю. Институты выпускают агрономов не таких… Оторванных от практики. Об этом должен думать и говорить каждый коммунист, работающий в сельском хозяйстве.

Филипп Иванович сел, обхватив голову руками, и больше не отвечал ни на какие вопросы.

— Все ясно, товарищи! — заключил Каблучков.

Но тут встал Николай Петрович. Помолчал чуть. Сказал:

— Думаю, что у нас создалась обстановка нездоровая. Мы обошли первичную парторганизацию — это во-первых. Мы обязаны проверить заявление на Егорова и другие материалы.

— Проверено. Точно, — вставил Каблучков, не отрывая взгляда от окна.

Николай Петрович сделал вид, что не обратил внимания на Каблучкова, и продолжал:

— Надо вызвать на бюро этих… как их. Карлюка и других. Убежден — здесь дело не обошлось без клеветы. Это во-вторых. И еще: у тебя, Каблучков, к Егорову личная неприязнь за то, что на партактиве он тебя прочесал вдоль спины. Помнишь? Только я прошу все это записывать. Так. А человек ты злопамятный. Так вот я и говорю… — Николай Петрович уже заметно волновался — все чаще и чаще покашливал в кулак. — Я говорю не для того, чтобы убедить присутствующих здесь, а для того, чтобы это было записано… для других. А там видно будет.

— Не грозись, — вставил Каблучков.

Но Николай Петрович снова не обратил внимания на реплику и продолжал:

— Я знаю Егорова хорошо. Сам он прошел от Сталинграда до Берлина. Два брата погибли. Отец… Отец, конечно, был в плену и там погиб… И вот, товарищи, все это сделано так, чтобы Егорова выбросить из партии, выбросить человека смелого и непримиримого, выбросить человека, знающего село и сельское хозяйство. И все это потому, что есть еще клеветники и есть еще люди, подобные тебе, Каблучков, люди, не понимающие, что такое партия, и попавшие случайно к руководству там, где нарушается демократия в партийной организации.

— Записать! — воскликнул Каблучков.

— Обязательно, — подтвердил Галкин. — Так и записать: верить в великую силу партии, а не в силу Каблучкова.

— Ложь!! — выкрикнул Каблучков, — Ложь не писать!

— Ты, Каблучков, не кричи. Не надо. Авторитет себе подрываешь. А меня этим не возьмешь, я уже тридцать лет в партии — и ты на меня не кричи. Я, брат, Ленина… видал… лично. В Смольном видал. Так что криком меня не возьмешь… Ну вот… Я считаю — дело передать в первичную организацию.

— А там будешь ты решать, — добавил Каблучков.

— Не я, а партийная организация.

Филипп Иванович сидел все так же, с опущенной головой.

В тишине неожиданно прозвучал голос Морковина:

— Присоединяюсь к Галкину.

— Ну-с, — начал Каблучков, видимо не считая нужным возражать Галкину и отвечать на его высказывание. — Ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы Егорова Филиппа Ивановича за идеологическое разложение и за анархию в агротехнике исключить из партии? Кто за это — прошу поднять руки… Пять. Кто против? Два. Воздержались? Нет. Принято подавляющим большинством. Все ясно, товарищи!

Наступило молчание.

— Каблучков! — неожиданно прозвучал голос Галкина.

— А?

— Опомнись!

Каблучков покачал головой и сказал:

— Эх-хе-хе-хе! Устарели вы, товарищ Галкин. Стареете и отстаете. И ничего-то вы не понимаете. — И сразу же обратился к Егорову: — Товарищ Егоров! Положите билет на стол.

Только теперь Филипп Иванович понял, что случилось. Он должен положить билет члена партии. Тот самый билет, который сохранял в боях сухим, даже и в то время, когда сам был мокрым до нитки; положить тот самый билет, на котором, на уголке, осталась капелька его крови, напоминая о многих погибших друзьях, о неведомом никому героизме отца. Положить этот билет! Это было не в его силах. Он стоял, сгорбившись, и держал в руке красную, дорогую сердцу книжечку. Стоял и не двигался. А Каблучков подошел, взял билет за уголок, слегка дернул его и вернулся с ним к столу.

— Не имеешь права! — крикнул Николай Петрович, не сдержавшись. — Это можно только в обкоме!

— Я знаю, у кого можно взять и у кого нельзя, — ответил Каблучков.

Филипп Иванович с трудом смог бы вспомнить, как он вышел из кабинета…

В «Москвиче» по дороге домой Николай Петрович и Филипп Иванович молчали. Было тяжко.

А у гаража, после того как загнали автомобиль, Николай Петрович сказал:

— Ты не того… Не падай духом. Не теряй веры… в партию.

Филипп Иванович крепко пожал руку Галкину, долго держал ее в своей, будто прощаясь навеки, и тихо произнес:

— Спасибо… друг! — И ушел в темноту.

Было два часа ночи.

Филипп Иванович миновал свой дом. Он прошел село и оказался между двух полей — справа пшеница, слева картофель. Шел и шел. Потом остановился, посмотрел в темноту. И вдруг упал ничком в картофельное поле… Прижался щекой к мягкой земле и заплакал горько, безутешно.

Ночь была темная-темная! Тучи закрыли небо. Надвигался дождь. Где-то вдалеке сверкнула молния.

А в поле одиноко плакал человек, царапая скрюченными пальцами любимую землю.

Николай Петрович пришел домой. Поужинал через силу. Ел просто потому, что считал — есть надо обязательно. Так колхозница, похоронив дорогого человека, не забывает вынуть хлебы из печи.

И вдруг ему пришла мысль: «Малый-то он горячий. Как бы чего не сотворил с собой». Он встал из-за стола, не допив молока, и вышел.

Тихонько постучал в окно. Дверь открыла Любовь Ивановна, жена Филиппа Ивановича.

— Дома? — спросил Николай Петрович.

— Нет. А что? Он же с вами поехал.

— Дело-то какое, — замялся Николай Петрович. — Неприятность вышла.

— Не томите! Скорей скажите! — вскрикнула Любовь Ивановна.

— Не надо так волноваться. Все обойдется… Из партии исключили… Ну вот… куда-то ушел.

Любовь Ивановна потащила за рукав Николая Петровича в комнату. Она зажгла лампу, разбудила Клавдию Алексеевну. Она забыла, что стоит перед Николаем Петровичем без кофточки, и тихо плакала, без всхлипываний и причитаний — просто катились непослушные слезы.

— Что же это такое? — спрашивала мать не то сама у себя, не то у Николая Петровича. Она смотрела в пол, скрестив руки на груди и ссутулившись, — Где он?

— Ушел из гаража домой. Поискать бы надо… — А внутренне Николай Петрович ругал сам себя: «Вот я какой старый дурак!

Человека в беде отпустил». И добавил: — Может, он в саду?

— Мама! Не в клети ли он лег спать? Не хотел нас будить и лег там. — Любовь Ивановна вышла из хаты, но сразу же вернулась и закричала: — Пойдемте! Поищем!

— Не кричи, Люба, — строго сказала мать. — Пойдем, девонька. Спасибо тебе, Петрович.

— Может, и мне с вами?

— Не надо. Побудь тут, может, без нас придет… Если надо, кликну сама.

Шли они молча. Материнское чутье подсказывало: «Если ушел от гаража домой, то прошел мимо хаты, значит, так и пошел в поле, пошел прямо и прямо — горе не даст кривулять. А если шел прямо и прямо, ничего не случится. Когда человек идет прямо — выдержит».

— Ничего не случится, — сказала она вслух, подтверждая свою мысль. — Не горюй, Люба. Обойдется.

Светало. Филипп Иванович сидел сбоку дороги в картофеле и смотрел на зарю, положив подбородок на колени. Тут и увидели его мать и жена.

Он сидел к ним спиной. Любовь Ивановна упала ему на плечо и говорила:

— Филя! Не надо так. Надо держаться. Правда сильнее, Филя.

Николай Петрович после ухода женщин, с рассветом, пошел в сад, спустился к речке, постоял там и вернулся на крыльцо Филиппа Ивановича. Он сел и задумался, наклонив голову. Казалось, дремал. Но он думал. Это была не первая его бессонная ночь — их было много, беспокойных и трудных бессонных ночей. Солдат революции, Галкин всегда думал, жизнь многому его научила. Взвесив все, он решил: Филипп Иванович вернется. И еще думал он о Каблучкове и о многом ином. Не перечислить всего, о чем может думать человек, отдавший всю свою жизнь народу, партии. С тех пор как он взял в руки винтовку, еще молодым рабочим, ни один день не принадлежал ему лично.

Николай Петрович услышал шаги, поднял голову и улыбнулся.

Филипп Иванович спросил:

— Испугался?

— Не то чтобы испугался, а…

— Зря. Не веришь мне?

— Как тебе сказать?.. Человек же ты… Может струна лопнуть. А натянулась она донельзя.

— Ну, пойдем в хату. Люба! Достань нам поллитровку. Спать надо. А так — не уснем, — сказал Филипп Иванович.

Он умылся. Сел за стол против Николая Петровича. И тот заметил в осунувшемся лице Филиппа Ивановича что-то новое: за ночь появилась еще морщина на лбу, ко во взгляде выросла уверенность. Казалось, он постарел сразу на несколько лет, и Николай Петрович подумал: «Сам себе душу вытряс».

— Так что выдержишь? Вытерпишь? — спросил он.

Филипп Иванович кивнул головой и налил в стакан водки.

— Вот этого-то и не надо бы, — возразил Николай Петрович.

— Надо, — твердо сказала мать. — И — спать. Спать. Помогает.

— Ну что ж сделаешь, надо так надо. Не за горе, а за надежду! — Николай Петрович выпил залпом.

Они поели. Посидели немного молча. Обе женщины вышли, оставив двух мужчин наедине.

— А это уберем, — сказал Николай Петрович. — Пить больше не будем.

Филипп Иванович заткнул бутылку пробкой и поставил в шкаф.

— Может, и еще год постоит… До следующей «надежды»… — проговорил он, отходя от шкафа и снова садясь против Николая Петровича.

— Ну что ж, вера в тебе есть, сила в тебе есть — устоишь. Выдержишь.

— Трудно, друг! — Филипп Иванович поник головой на руку, лежащую на столе. — Обидно и… тяжко.

— Ну потужи, потужи… Помогает, если выскажешь. А если есть слезы — поплачь: легче, говорят.

— Нету слез. И не нужны они. Я их сегодня… последние за всю жизнь. Уже нет их. И не будет. Осталась злоба…

— И это надо. Человек, если он не умеет ненавидеть, не умеет и любить. Все это правильно. Бой только начался. Подтянись. Успокойся. Я, брат, тоже и падал и вставал, был битым и сам бил. Все было. А кажись, правду всегда чуял.

— Я вот надумал сегодня там, в поле: правда в народе. Мы с тобой слышим эту правду. И можем выдержать любое горе. — Он

помолчал, потом открыл сундук, порылся в нем, достал конверт и подал его Николаю Петровичу. — Читай. Об этом письме ты знаешь, а читать и тебе не пришлось. Мать говорит: «Читай и помни, как надо жить».

Николай Петрович вынул из конверта письмо, развернул его, надел очки и стал читать про себя. А Филипп Иванович смотрел на друга. Письмо было написано не очень грамотным человеком, корявым почерком, поэтому быстро его прочесть нельзя.

«Письмо к Егоровой Клавдии Алексеевне. — Так начиналось оно. — Пишет вам из плена солдат Степан Федотыч Чекушин. Еще кланяюсь вам, супруга моего товарища, Клавдия Алексеевна. И еще кланяюсь вашим детям, каких я тоже не знаю. И еще кланяюсь вашим родным и всем родным Ивана Ивановича Егорова. И еще кланяюсь председателю вашего колхоза. И пусть они все узнают, как по-русски помер Иван Иванович. Сам я из Пензенской области, и скоро мне помирать. А идет завтра ночью один человек из плена, убегает, а я ему даю это письмо и говорю ему, чтобы письмо было пущено на первой почте, если проберется к своим. Это я вторично пускаю письмо. Мне скоро помирать, а люди и не узнают, что было. А еще одно письмо зашито у меня в картузе: как помру, то мой картуз наденет другой товарищ, а если он помрет, то наденет третий. Так что кто-нибудь да останется жив, а картуз не пропадет и люди все равно узнают, что было. Я, наверно, остался один из тех, кто был со мной в части, а тут, в лагере, помру я обязательно, так что есть нам почти не дают, а с красной свеклы мы все не выдерживаем и начинаем пухнуть и хворать, а потом все равно помираем. И нам не страшно помирать.

А было все так.

Наш полк бился три дня и три ночи, а кругом были немцы. Осталось нас человек пятьдесят, а то и того не будет. И больше все раненые. И майор с нами пока был, товарищ Зиновьев, а других командиров побили в бою. И тот майор был поранен в голову, его перевязали без сознания, а командовать стал молоденький лейтенант Степин, и его тоже убили. А потом стал командовать старшина, но у нас кончились боеприпасы, не было ни снарядов, ни патронов.

Со мной рядом стоял Иван Иванович Егоров, ваш муж и мой товарищ до гроба. Я был поранен в грудь, а он в плечо. Так мы и попали сюда в лагерь.

Прошло полгода. Рана у Ивана Ивановича зажила. И стал он тосковать. Один раз он мне говорит: „Убегать надо, Степа. Не могу я тут быть“. А куда мне убегать, говорю ему, если я уж и подняться не могу. Он тогда и говорит: „Брошу я тебя, Степа. Не осуди“. И стал он собираться. А через месяц, темной ночью, он мне сказал: „Прощай, Степа. Прощай, говорит, друг мой боевой. Если от лагеря не уйду, то напиши, говорит, по адресу письмо Клавдии Алексеевне“. Ну, думаю, на смерть пошел.

А утром все увидали: повис Иван Иванович на колючей проволоке. И висел он так весь день. Не давали убирать для устрашения. Так и пропал мой друг.

А в лагере я живу уже больше года. Все мои однополчане тут пропали. Так что один я, должно быть, остался от всего полка. А потому и должон стоять, пока живой.

И еще кланяюсь вам, Клавдия Алексеевна, и прошу вас не плакать. А как вы поймете наши страдания, то не будете плакать. Так что нельзя плакать над героем вашим Иваном Ивановичем. Пущай же дети наши и наши внуки будут знать, как надо жить, чтобы спокойно было умирать, и чтобы они знали, какие были люди, такие, как мой друг дорогой Иван Иванович Егоров, рядовой девятьсот пятьдесят пятого полка.

А я скоро помру обязательно. Так что письмо это пишу через силу. Но соображение еще не потерял. Прощайте. Кланяюсь вам земно. Пущай люди помнят Ивана Ивановича.

А по вот этому адресу напишите моему сыну письмо, что я помер в плену. И пусть он помнит о тяжкой доле пленных, погибших за Родину. А жена моя померла в войну, остался один сын восемнадцати лет. Может, и он теперь в солдатах. А письмо напишите, так что я уже не в силах написать.

И прошу я, перед смертью, прощения у всех родных русских людей, что не на поле брани приходится гибнуть, а на нарах и хуже скота. Рана моя и болезнь, а то бы я все равно убег. А вам и вашим детям желаю доброго здоровья и в хозяйстве благополучия, и быть вам желаю всегда сытыми, обутыми и одетыми.

Прощайте и не осудите, добрые люди!

Девятьсот пятьдесят пятого полка рядовой Степан Чекушин.

Одна тыща девятьсот сорок третьего года, а числа не помню».

Филипп Иванович все смотрел на Николая Петровича. А тот кончил читать, посмотрел на Филиппа Ивановича, заморгал-заморгал, снял очки, встал из-за стола, отвернулся и, проведя пальцем по глазам, сказал:

— Глаза что-то… Вот уж некстати… — Он и здесь сумел сдержаться, этот сильный духом и спокойный с виду человек.

Он снова сел, побарабанил пальцами по столу, задумался. Потом спросил:

— Сыну-то писали?

— Мать писала. Вернулось письмо: адресата не оказалось.

— Распалась семья, значит?

— Распалась.

И снова они помолчали. И снова начал Николай Петрович:

— Отец-то коммунист?

— Да. Бригадиром работал.

Они еще помолчали. О многом надо было поговорить, и все-таки разговора не было. Бывают такие моменты в жизни, когда надо помолчать, осмыслить происшедшее в самом себе, внутренне уложить в порядок пережитое. Только после этого появляется снова ясность мысли и четкость ви́дения.

Перед уходом Николай Петрович сказал вопросительно:

— А может быть, мы с тобой кое-что еще и не знаем?

— Наверное, — ответил Филипп Иванович.

— Тогда вот что: спать, Филипп Иванович. Спать! А потом подумаем. — Он отошел, взялся за ручку двери и еще раз повторил: — Спать.

## *Глава двенадцатая*
## Оклеветанный

Говорят: у клеветы длинный язык, но короткие ноги. И все-таки как иногда далеко доходит она этими короткими ногами и как больно жалит сердце честного человека своим длинным языком-жалом. Еще хуже, когда человек не имеет возможности опровергнуть клевету. Тогда она оставляет саднящую рану надолго, иногда на всю жизнь.

Тяжко было Филиппу Ивановичу. Но близкие люди делили с ним горе — он не был одинок. В семье незаметно шло тепло от матери, но

ему было жаль мать, перенесшую и без того слишком много горя; он чувствовал ласку жены, но ему было больно от одной мысли — как он скажет сыну, Коле, об исключении из партии, поймет ли мальчик; он с благодарностью думал о друге Николае Петровиче, но ему было не по себе оттого, что, не раз битый за прямоту, его друг может оказаться битым и еще раз, — ведь после всего происшедшего Каблучков при первом же случае отстранит того от должности председателя колхоза. И еще Филиппу Ивановичу тяжело было думать о том, что колхозники могут не понять причины исключения его из партии.

С такими мыслями он и встретил следующий день.

С утра пошел в правление колхоза. Ничего не делать он не мог. По привычке он договаривался с Васей Боевым о работах на сегодняшний день, говорил о предстоящей уборке с бригадирами, отчитал их легонько за медлительность в подготовке уборочного инвентаря. День начинался обычно. Вася, помимо прочих претензий о прицепщиках, о подвозе горючего, сообщил, что Рюхина Пал Палыча нет на работе второй день: говорят, будто заболел.

Николай Петрович, поспав пару часов, уже уехал на луг и на огород: он тоже продолжал жить размеренной жизнью, в которой нет места безделью и бездумности. Колхоз продолжал жить так, будто вчера и не произошло особого события. Только отсутствие возражений со стороны бригадиров, их сочувственные взгляды с оттенком неприятной Филиппу Ивановичу жалости да особая почтительность конюхов говорили о том, что случилось. Молва пронеслась быстро. Но Филиппу Ивановичу хотелось быть среди этих людей, несмотря на то, поймут ли они случившееся или не поймут. Вспомнив о болезни Пал Палыча, он пошел его проведать. И там, у Пал Палыча, он тоже понял, что в его семье все идет своим чередом. Но одна деталь запала ему в душу.

Он вошел во двор Пал Палыча через калитку. Как всегда, хозяин был занят делом: сидел на коленях перед дровосекой и обтесывал топором высокую палку с рогулькой на конце. Рядом с ним лежала собака-дворняжка. Он и у себя во дворе оставался таким же степенным, медлительным, скупым на разговоры.

— Здорово, Пал Палыч! — приветствовал Филипп Иванович.

Тот оглянулся, посмотрел внимательно и только тогда ответил, снова продолжая работу:

— Здорово.

— Заболел, что ли?

— А что?

— Говорят мне — два дня на работу не выходил.

— А-а…

— Или что случилось другое?

— Не. Болею. Грып.

— Лежать надо.

— А?

— Лежать, говорю, надо.

— Гм… Попробуй полежи без дела два дни.

— А болит?

— И кости… И голова.

— Лечишься?

Пал Палыч сначала кивнул на дверь хаты, а уж потом, более тихим голосом, чем прежде, сказал:

— Попробуй у нее… полечись! Вона-а!

— У кого?

— Да разве ж моя баба даст полечиться по-человечески? Ни в жисть!

— Не понимаю!

— А тут и понимать нечего. — Пал Палыч воткнул топор в дровосеку, внимательно посмотрел на собаку, и, кажется, улыбка мелькнула у него в усах. — Я знаю, что от грыпа — красный перец, стручок на два стакана водки, и — на ночь. Все! Как рукой.

— А в чем же дело?

— Куда та-ам! Одно пилит: «Клюцекс пей».

— Что?

— Клюцекс!

— А-а!.. Кальцекс!

— Ну пущай так. Пустяк, а не лекарство. Раз нутренность не берет — не лекарство… Не понимает, а пилит, и пилит, и пилит…

— Небось под горячую руку говоришь-то?

— А я тебе так скажу… — Пал Палыч почесал висок, надвинул козырек на глаза и указал на собаку. — Видишь — собака?

— Ну?

— Она лучше иной бабы. Ей-бо! Собака на хозяина не лает.

— Да в чем у вас дело-то? Не пойму, — снова недоумевал Филипп Иванович, пожимая плечами.

— Ей, вишь, рогульку надо — веревку подпирать, когда белье сушить.

— Ну?

— Дак вот и брешет.

— И давно так-то?

— Да уж… с полгода будет.

— Ну и сделал бы.

— Вот… видишь… делаю, — И он снова стал затесывать сучья и кору у рогульки. — Если бы не заболел, так бы и не сделал до зимы. Некогда мне, кажин день на работе. Ишь ты! Я буду рогульку делать, а трактора будут стоять. Интересно!

Пал Палыч тесал, Филипп Иваныч смотрел, как ловко он орудует топором. Не сразу пришла мысль: была война — Пал Палыч возил к тракторам воду днем и ночью; прошла война — он делал то же самое, только воду возил; давали по кило на трудодень — Пал Палыч ежедневно работал; давали по триста граммов — он делал то же самое. И так каждый день. Ежедневно, начиная с ранней зари и до поздней ночи. А на натруженных руках выступили хрящеватые мозоли. Замызганные брюки лоснились на нем от солнца, а картуз неопределенного цвета., пропитанный всеми составами земли, воды и керосина, тоже блестел, закрывая глаза владельца. Почему-то пришло в голову Филиппу Ивановичу: «Поделиться с ним своим несчастьем. Рассказать. Вряд ли люди, руководящие колхозом, доносили до Пал Палыча свою душу. И главное: что он скажет? Как примет?» Подумав так, он сказал:

— Не слышал, Пал Палыч, новость?

— Ай опять мериканец ватомную бомбу разорвал где? — Пал Палыч закончил свою рогульку, воткнул ее в землю, закурил и подал кисет Филиппу Ивановичу со словами: — На-ка, закури. — Видимо, он приготовился слушать новость международного масштаба.

— Нет, не бомба. А тут дело такое: из партии меня исключили.

— Как это так — исключили?

— Ну как? Исключили, и все.

— Непонятно. Насчет водки — ты не замечен. Насчет баб — никогда не слыхать. В поле — порядок, вот-вот, глядишь, и на

трудодень дадут, как у людей. Кормов у нас сроду, спокон веков, столько не было. Непонятно, за что же это?

— Наклеветали на меня, Пал Палыч.

— А разве ж можно из партии выгонять по навету?

— Нельзя.

— Ну, значит, все и обойдется. А ты знаешь как? Собери общее собрание колхоза и расскажи все по душам. Да позови секретаря райкома на собрание-то. А мы там и скажем, можно иль не можно.

— Этого я сделать не могу. Нельзя.

— Это как так — нельзя? Надо бы спросить и у нас. Как, мол, товарищи колхозники, заслуживает такой товарищ или не заслуживает? Отчего не так, мы в этом деле поможем им разобраться.

— Нельзя, — повторил Филипп Иванович.

— А чего же можно? Ну тогда надо жаловаться. Пиши. В центр пиши. Нельзя, дескать, выгонять, кого народ уважает…

— Как, как? — спросил Филипп Иванович.

Но Пал Палыч пояснять не стал, видимо полагая, что он сказал достаточно ясно. Но добавил:

— И можно бы написать еще: нам, мол, говорят: «Работай!», а спрашиваться у нас — ни капельки! А ведь твой Каблучков не высидит пшеницы этим самым местом. — Пал Палыч показал ладонью, каким местом не высиживают пшеницу, и утвердил окончательно: — Так и напиши. Понял? Не об одном себе пиши. Обо всем пиши. Вот и поймут — не о себе болеешь. И опять примут обратно.

Такая разговорчивость была для Пал Палыча необычной. Что-то прорвалось у него внутри, о чем-то он и раньше думал, а теперь вот говорит и говорит, хотя высказывается так же не спеша, как и всегда.

— Не о себе пиши. Обо всем пиши, — в раздумье повторил Филипп Иванович.

— Потому о себе только — довольно совестно, — уточнил Пал Палыч.

На крыльцо вышла его жена, низенькая полная и боевая старушка.

— Лукерья! — окликнул ее хозяин. — Принимай работу. Замеряй и клеймо ставь. — С этими словами он взял рогульку и потряс ею в воздухе. Потом попробовал встать, но не мог разогнуть спины. Он охнул, схватился за поясницу и проговорил тихо: — Чертов грып! Взял все-таки. Не осилил я его.

Филипп Иванович поздоровался с хозяйкой и стал «помогать» Пал Палычу:

— Лукерья Васильевна! Напрасно вы возражаете против домашнего лекарства. Говорят, помогает.

Она подошла, осмотрела рогульку и сказала:

— По медицине надо следовать. У нас сын фельдшер, на Дальнем Востоке.

— Ну, слухай, Лукерья! Если уж точно по медицине, то так: штуки две-три клюцексу и стакан водки с перцем.

— А мне-то что? Да пусть себе пьет. Там — в сундуке, — сказала она так, будто отвечала одному Филиппу Ивановичу.

— А что ж: моя баба сто сот стоит. Мы с ней — душа в душу. — Пал Палыч, видно, признавал над собой власть жены и в общем-то не очень тяготился этим.

…Обратно Филипп Иванович шел быстро, хотелось поскорее увидеть Николая Петровича. Шел и думал: «О себе только совестно. А я-то вчера только и думал о себе». Шел, а из головы не выходило: «Обо всем пиши. Вот и поймут».

Николая Петровича он встретил, улыбаясь. Тот даже удивился, ожидая угрюмости и, может быть, отчаяния.

— Ну как? — спросил Николай Петрович.

— Во! — ответил Филипп Иванович и показал большой палец. — Я еще не последний солдат из полка. Полк цел. Будем драться.

— Оно так-то лучше. Ну пойдем в кабинет.

И они вошли в правление.

— Главное дело, — продолжал Филипп Иванович, — написать обо всем! Писать о нарушении демократии, о положении колхозов, об агротехнике и шаблоне. Писать все: поймут.

— Что ж, это верно. Но знаешь, что тебе скажу? Получается у нас с тобой по русской пословице: «Гром не грянет — мужик не перекрестится». Пока тебя не ударили, мы тоже охали, ахали, молчали, шептались, а не писали, не протестовали.

— Значит, надо нам исправить нашу линию! Драться по-партийному!

— Ну, давай, выкладывай, что надумал.

— Ты видишь, что в сельском хозяйстве неблагополучно, что в районной партийной организации неблагополучно? Видишь. И я вижу.

И другие члены партии видят. Значит, партия видит. Понимаешь? Надо писать прямо в Москву.

— Пожалуй.

— Если даже меня и восстановят в партии, то все равно надо писать… О каблучковых, карлюках, чернохаровых, о земле, о колхозниках. Теперь я уже не могу. Злоба у меня.

— Правильно. Писать. Но не очертя голову, а с разумом. Не лбом пробивать, а мозгом.

— Ну, советуй! Николай Петрович, советуй! — сказал Филипп Иванович.

— Дай подумать. Подожди чуть… Не возражаю, готовь письмо постепенно, все давай взвесим… И дай подумать. И сам подумай. Дело-то большое. Надо сказать слово члена партии, а не обиженного. И действуй по уставу: подавай жалобу в обком на неправильное исключение. Сам поеду туда, повезу твою жалобу… Да и со старыми друзьями надо повидаться. Там есть люди поумнее нас с тобой.

И Филипп Иванович согласился с доводами Николая Петровича.

…Прошел месяц. Николай Петрович вернулся из области угрюмым, молчаливым. Он не пошел к Филиппу Ивановичу, а дождался его у себя дома. Закрыл окна и ходил по комнате в полусумраке.

— Плохо дело? — спросил Филипп Иванович.

— Плохо.

— Утвердили решение бюро?

— Утвердили.

— Что еще нового?

— Секретаря обкома переводят в другую область.

— И что же?

— Каблучков остается на неопределенное время.

— Да-а… Вот это да-а… — протянул Филипп Иванович. — А что говорят умные люди?

Николай Петрович перестал ходить. Он остановился перед Филиппом Ивановичем, засунул руки в карманы пиджака и сказал:

— Езжай в Москву. Надо попасть в ЦК. Во что бы то ни стало попасть. Живи там неделю, две, три! Но попади и отдай письмо. Надо донести мнение рядовых членов партии о положении в сельском хозяйстве… Вечером приходи. Принеси письмо — еще раз подумаем.

## *Глава тринадцатая*
## Наступила осень

На другой день Филипп Иванович получил приказ Карлюка. В приказе говорилось: «Егорова Филиппа Ивановича освободить от работы по причинам, сформулированным решением бюро при исключении из партии».

Филипп Иванович пошел в правление, положил перед Николаем Петровичем приказ и сказал;

— Из партии исключен, с работы снят, что и требовалось доказать. Я свободен — можно ехать в Москву.

Николай Петрович прошелся по кабинету, постучал пальцем по барометру, потом подошел к окну и посмотрел в небо. Густые кучевые облака лезли с юго-запада всклокоченной ватной стеной.

— Видишь? — спросил он у Филиппа Ивановича. — Будет дождь.

Филипп Иванович тоже стал у окна и посмотрел в небо. Они стояли рядом, плечом к плечу. И молчали. Потом Николай Петрович сказал:

— Уборка только началась. Осень, по всем приметам, ожидается дождливая. Что я буду делать без агронома?

— Пришлют, — коротко ответил Филипп Иванович.

— Кого? Девочку со школьной скамьи? Ей еще надо годика два-три, чтобы понатореть — понять, узнать людей, почву, поля. Практика, брат ты мой, великое дело.

— Но я-то тоже был молодым, — возразил Филипп Иванович.

— А что ж, думаешь, не ломал дрова в поле?

— Ломал, конечно. Ошибался до смешного. Но это ничуть не значит, что от молодого агронома надо открещиваться.

— И это правда… Видишь ли, к чему я это все говорю, — обожди-ка ты… недельки две с поездкой в Москву. Может, хоть зерновые кончишь. А? Что ты на это скажешь?

— А это? — спросил Филипп Иванович, указав пальцем на приказ об освобождении от работы.

— А что тебе «это»? Лишен зарплаты — больше ничего. Это тебе не завод и не фабрика.

— Не понимаю, — недоумевал Филипп Иванович. — Есть-то мне и семье что-то надо?

— Обязательно.

— А к чему тут завод или фабрика?

— Очень просто. На заводе приказ об освобождении от работы есть запрещение работать на данном заводе, а не только лишение зарплаты. А в колхозе запретить работать никто не имеет права, кроме общего собрания. Ты колхозник. Зарплаты тебя лишили…

— Значит?

— Значит, надо переходить на трудодни.

— Прицепщиком разве? — серьезно спросил Филипп Иванович.

— Зачем прицепщиком?.. Полеводом. Обыкновенным полеводом, на полтора трудодня за день. Решим на общем собрании и — закон.

Филипп Иванович улыбнулся.

— Так-таки и не хочешь отпускать?

— Пожалуйста, уходи в другой район, агрономствуй, — развел руками Николай Петрович, зная, что Филипп Иванович никуда не уйдет. — Письма будешь мне писать, а я буду отвечать с запозданием. Одному мне будет не до писем.

— А я буду телеграммы слать с оплаченным ответом.

— А я тебе на оплаченные телеграммы — плачевные ответы.

Филипп Иванович вспомнил разговор с Пал Палычем и тряхнул головой.

— Все! Кроме шуток — иду на трудодень. В самом деле, к черту этот приказ! Порвем?

— Порвем, — согласился Николай Петрович.

И Филипп Иванович тут же разодрал бумажку на несколько частей.

Вошел почтальон, положил газеты на стол и вышел. Николай Петрович развернул газету, пробежал глазами и, не выпуская ее из рук, выскочил из-за стола.

— Филипп Иванович! — вскрикнул он.

— А ну? Что?

Оба облокотились на стол и плечом к плечу наклонились над газетой. Оба сразу прочитали одновременно: «На днях состоялся пленум ЦК КПСС. Постановление… принятое седьмого сентября». Потом в комнате было тихо. Долго было тихо. Наконец оба выпрямились, радостно посмотрели друг на друга и крепко пожали руки.

Они согласились на том, что Филипп Иванович задержится с поездкой в Москву «недельки на две». Да и сам он теперь считал, что в его письме еще не все сказано, что надо еще и еще над ним думать, дополнять, исправлять.

…Пришла осень. Давно уже прошли те самые «недельки две». Уборка, хлебосдача, осенний сев, зябь, силосование кормов — все это в колхозе идет одновременно. И все надо успеть сделать вовремя. Помимо того, Филипп Иванович убрал урожай на опытных делянках, заложил опыт с озимой пшеницей по трем видам паров. Он рассчитывал в конце сентября отправиться в Москву. Но… пошли дожди.

Что такое дожди в сентябре для колхоза?

В поле стоит неубранным красно-бурое просо, тоскливо поникая метелками; стоит огромное, в триста гектаров, поле подсолнечника; лежит в земле картофель. И ни к чему нельзя прикоснуться: комбайны не могут даже стронуться с места, а не то чтобы косить; из жидкой грязи не выпашешь картофеля. Ветер ломает просо, и на глазах урожай уходит обратно в землю. Шляпки подсолнечника начинают загнивать, пораженные болезнью — склероцинией. На токах лежат вороха зерна под открытым небом. С неба — дождь. А из района телефонограммы: «Не обеспечили уборку», «Не выполнили в срок план поставок», «Срываете план хлебозакупок», «Тянете назад весь район» (каждому колхозу), «Будут приняты строгие меры»… И так далее. А хлеб гибнет, не подчиняясь строгим телефонограммам. И душу председателя колхоза уже не тревожат телефонограммы, не оставляют следа бессмысленные в такое ненастье прения на бюро насчет погоды. И не очень-то тревожит ожидание неизбежного «предупредить», или «поставить на вид», или «вынести выговор». Что сделаешь с погодой! Поле — не завод. А небо — мутно-серое, тревожно-косматое — остается небом. Из него то через мелкое сито сыплется водяная пыль, то льет и хлещет косыми веревками густой ливень, оставляя пузыри на лужах. Кажется, кто-то заквасил землю и небо и пучит их пузырями.

И холодно! Холодно сидеть в поле под комбайном, прикрываясь соломой. Только и остается — зарыться в мокрой копне поглубже и попробовать еще раз спать. Дрожко! Очень дрожко сидеть женщинам на току, в ватниках, прижимаясь друг к другу молча в ожидании погожего часа. Очень муторно жить в эти дни трактористу в дощатой

будке и посматривать на обмытые дождем безмолвные тракторы, на гусеницах которых уже прилепилась легкая ржавчина. А дождь идет. Ползет туча за тучей, туча на тучу. Льет вода сверху на воду снизу. Мокро. Холодно. Сиверко. Жалко хлеба. Так жалко, черт возьми, что хочется грозить кулаком в небо… Мрачные мысли. Зачем скрывать — тоскливо в такую осень! Это не золотая осень, воспетая много раз, это мокрая ранняя осень, от которой человек со слабой душой и беспокойным сердцем может махнуть рукой, плюнуть и — черт бы все побрал! — запить горькую, пока не проглянет солнышко. Недаром в такую погоду самогонщики работают с полной нагрузкой.

Скользко. И темно. И дождь все идет, идет и идет. Хлеб гибнет.

Вот что такое ранняя дождливая осень в колхозе.

В такие-то вот дни Николай Петрович даже почернел от забот и холодной слякоти. Но на бюро постоянно хмуро молчал или коротко говорил: «Постараемся…», «Будем прилагать все силы…», «Выправимся…»

Однажды при снятии очередной «стружки» Каблучков сказал:

— Умышленно задерживаешь хлеб. Пригрел под крылышком исключенного Егорова.

На этот раз Николай Петрович получил выговор, принял его молча и уехал снова под дождь. Филиппу Ивановичу он об этих словах Каблучкова ничего не сказал — пожалел.

А Филипп Иванович схватывал любой погожий час, мотался верхом по полям и токам, в плаще, севшем коробом. Он скакал в отряд и направлял трактор на склон или супесь, где можно было помаленьку пахать, и простуженным голосом хрипел:

— Вася! Будь другом, паши в десятом. Супесь — пойдет. Отними один корпус, облегчи. Иначе дело табак. Не управимся с зябью, тогда на будущий год — зубы на полку.

— А куда будем девать перерасход горючего? — спрашивал кто-нибудь из трактористов.

— Натягивайте на других работах, но зябь чтобы была. Как вы не поймете простой вещи! Вот этот хлеб, — он указывал на просо, — подготовлен в прошлом году вами же, хорошей зябью. Ребята, не надо серчать. Прошу. — Он подсаживался к самому молодому трактористу, Сереже, запросто обхватывал его за плечи и спрашивал: — Ну? Понатужимся?

— Понатужимся, — отвечал тот баском. — Раз надо, значит надо.

— Понятно? — обращался уже ко всем Филипп Иванович и улыбался.

И трактористы знали, что этот простуженный агроном с потрескавшимися губами, обросший щетиной, не будет говорить много и долго, но уедет из отряда только вместе с трактором и будет проходить с ними первую борозду, пока не убедится, что на супеси пахать можно.

Филипп Иванович пробовал — регулировал глубину, отнимал вместе с трактористом и прицепщиком корпус и торопил, торопил:

— Хватайте каждый час. В день по два-три часа урвать — за неделю наберется двадцать часов, а это целых три смены. А глубину на супеси больше шестнадцати сантиметров и не надо. Неглубокая зябь лучше всякой весновспашки.

— А нам было указание — на двадцать пять, — говорит Сережа.

— Ну тут уж моя ответственность. В случае чего, так прямо и сваливай на меня. Мне теперь не страшно.

Как-никак, а Филипп Иванович «выбивал» за неделю тридцать — сорок гектаров зяби. «Нельзя уехать, пока зябь не будет закончена», — думал он, отъезжая от тракторов. И скакал на ток: скорее, пока дождя нет!

На токах он действительно «тормозил». По его настоянию и совету работа «в солнечных просветах» была сосредоточена на одном току из четырех.

— Не трогать ворохов! — хрипел он натуженно. — Зерно промокнет только сверху. А тронь ворох, перемешай — пропало все.

И он ехал с несколькими колхозниками на три других тока, показывая, как надо окопать ворох канавкой и отвести сток, чтобы вода не подошла снизу. Он запретил накрывать эти вороха соломой, так как заметил, что под мокрой соломой зерно запаривается в глубину быстрее. А уезжая с токов, думал: «Нельзя уехать из колхоза, пока не сохраним зерно».

На том току, где сосредоточена основная рабочая сила трех бригад, «солнечные просветы» использовались так. Филипп Иванович расставил живой конвейер от ворохов до сарая: сверху, с одной стороны вороха, удаляли мокрое зерно, брали сухое ведром, и из рук в руки оно шло в сарай, к веялкам. Навеянное отвозили в

зернохранилище на тракторе (автомобили не проходили по грязи). Как только находил дождь, ворох заравнивали, работа прекращалась и все снова сидели. Часто проходил в мучительном безделье колхозников весь день. Но с поля уходить нельзя — вдруг выпадет час. И снова Филипп Иванович убеждался: «Уехать в Москву сейчас нельзя».

А Николай Петрович изворачивался и возил хлебопоставки, возил помаленьку, но систематически. Пять-шесть подвод, запряженных тройками, ежедневно отправлялись на станцию с хлебом. Больше нельзя было — не было брезентов, да и сухого хлеба больше этого количества не наготовишь в такую погоду. И еще корма надо подвозить скоту. Транспорта не хватало, людей не хватало, поэтому он тоже, как и Филипп Иванович, метался по хозяйству с утра до вечера. И думал: «Что бы я делал без Филиппа Ивановича? Разорвался бы на две части».

Потом выпадало несколько ведренных дней, и Филипп Иванович набрасывался на комбайнеров, ладил с ними машины и торопил. Потом вдруг снова дождь, снова слякоть, мокрая спина, огрубевший плащ и колючие мурашки по спине. Бр-р-р!

Один из ворохов, накрытый ранее, в начале дождей, начал «гореть». Филипп Иванович увидел тонкие, еле заметные струйки пара. Он соскочил с седла, сунул руку в зерно по самое плечо, взял в горсть и выругался. Зерно было горячим на всю глубину вороха — пшеница горит.

Он постоял-постоял около вороха, потом обошел его вокруг, прикинул на глаз — центнеров четыреста! — и погрозил кулаком в небо.

— Раскисло! — зло бросил он, обходя ворох.

Казалось, он был бессилен, поэтому обозлился на весь белый свет. Дождь стучал по плащу, плескался в лужицах. А Филипп Иванович не уходил с тока — думал. И вдруг его осенила мысль. Он вскочил в седло и поскакал в село к Николаю Петровичу. Нашел он его около фермы, повязанного вокруг шеи шерстяным платком (он тоже простудился и покашливал).

— Вот, брат ты мой, занемог не к сроку, — сказал он.

— Надо лечь, — угрюмо сказал Филипп Иванович.

— А сам хрипишь — ничего?

— А черт бы меня взял, — снова с такой же мрачностью сказал Филипп Иванович.

— Вижу, с бедой прибыл. С чем прискакал?

Филипп Иванович помолчал и ответил:

— Горит.

— Где?

— На третьем току.

Николай Петрович подумал, смотря в землю, и спросил:

— Говори сразу. Что надумал?

— Взорвать небо! — со злобой воскликнул Филипп Иванович.

— Да брось ты, пожалуйста, злиться. Не желаю я с тобой сейчас ругаться. Ну?

Филипп Иванович заметил в глазах Николая Петровича болезненный блеск — видно, его температурило.

— Вот и ну… Ложиться тебе надо, Николай Петрович, — уже более мирно сказал Филипп Иванович.

— Хлеб будет гореть, а я буду лежать. Покорно благодарю!

— То, что я надумал, потребует хлопот.

— Ну?

— Перенести крытый ток с усадьбы.

— А ты не рехнулся?

— Возможно.

— Выкладывай. Не злись. Самому тошно.

— Чтобы перевезти ворох к крытому току, где кончаем веять, надо двадцать рейсов трактора. Никто нам не даст для этой цели тракторов — мы и без того Васе Боеву навалили перерасход. Перевезти на лошадях в этакую слякоть — и думать нечего. Ну, допустим, возьмем трактор. И все равно потребуется двадцать — двадцать пять рейсов, неделю будем валандаться и еще больше перемочим хлеб. А чтобы перенести крытый ток, надо только четыре рейса — один день. Сегодня же заготовить ямы для столбов, завтра перевезти. Солома для крыши там, на месте. Работать, несмотря на дождь. Зерно — под крышу, и веять, ворошить, еще раз веять. Спасем хлеб.

— Не хлеб к сараю, а сарай к хлебу? Наоборот?

— А мне сегодня и пришла мысль: изобрести переносный крытый ток. Просто ведь, а никто не подумал из строителей.

— Ну что ж, пожалуй, давай согласимся. Попробуем.

Всех мужчин, кроме животноводов, перебросили на аврал. За два дня ток был готов. Хлеб спасли, но годен он был только на фураж. А крытый ток так и остался в поле — решили не возвращать его на старое место, а в будущем году построить новый. Филипп Иванович уже набрасывал на ходу схему будущего переносного крытого тока.

Так ежедневно находились дела неотложные, такие, от которых зависела судьба колхоза в этом и будущем году. Оба друга знали, что в такое трудное и горячее время года отлучаться ни тому, ни другому нельзя.

Так прошла и половина ноября. Ударили морозы. Колхозники закутались кто во что, зимние кожухи замелькали в поле — то на подсолнечнике, то на кукурузе. У комбайнеров полопались и кровоточили пальцы, у девчат облупились обветренные носы, старики ходили красноглазые, закрываясь рукавицей от ветра. Но хлеб весь был убран. И в этом была большая доля труда и Филиппа Ивановича. От всяких же выговоров, неизбежных в такую осень, Филипп Иванович был избавлен — он был обыкновенным колхозником.

И только уже зимой, получив на трудодни деньги, Филипп Иванович собрался в Москву.

Николай Петрович несколько ночей просидел над письмом новому секретарю обкома, выпросил у Клавдии Алексеевны письмо Степана Чекушина и приложил его к своему. По пути в Москву Филипп Иванович заехал к Герасиму Ильичу Масловскому. Тот написал от себя лично письмо в ЦК партии обо всем, что тяготило душу честного ученого.

В Москву ехал бывший агроном, исключенный из партии и снятый с работы. Он упорно продолжал считать себя членом партии.

## *Глава четырнадцатая*
## День рождения

Давно мы расстались с Карпом Степанычем Карлюком. Как вы помните, мы расстались с ним тогда, когда он лег спать после трудового дня, опустив три конверта в почтовый ящик. Он выполнил все, что задумал. Егоров теперь не опасен: «Личное дело» осталось чистым, как слеза грудного ребенка.

Карлюк был уверен в том, что Егорову уже никто не поверит: опороченный человек теряет веру в глазах других. Карлюк победил. Благодаря Каблучкову борьба с Егоровым была теперь уже пройденным этапом.

За этот прошедший год Карп Степаныч собрал массу материалов для докторской диссертации и предполагал в ближайшие дни сделать на ученом совете сообщение об итогах исследований в своей теме. А предварительное сообщение, если оно принято с одобрением, — уже половина дела. Теперь требовалось предварительное угощение, ибо предварительное сообщение без предварительного угощения Карп Степаныч себе представить не мог. Такая уж у него была щедрая натура. В этом не могло быть никакого сомнения. Вот почему, когда Изида Ерофеевна пробовала возразить против расходов, он и повторил супруге любимое изречение:

— Из всех подражаний самое трудное — быть щедрым.

Изида Ерофеевна возражать в данном случае не стала и согласилась.

Каждый понимает, что нельзя же просто так сделать: позвал и угостил. В науке еще не дошли до той милой «простоты», как, скажем, в ином колхозе. Там так: кликнут в окно бригадира — и ставят на стол «полмитрича». Войдет бригадир, поздоровается, увидит бутылку и спросит: «Чего просишь?» Ему отвечают тут же: «Подводу — в лес». Тогда он выпьет пару стаканов и скажет вежливо: «Можно». И все. В науке же на этот счет имеются свои законы, правила, никем не писанные инструкции. Тут полагается делать так: придумывается какая-то знаменательная дата в семействе и приглашаются нужные люди. Лучше всего подходит для таких случаев день рождения — отца, матери, любого из детей, внуков, племянников, сестер, дедушек, бабушек, если таковые имеются в наличии. Но войдите в положение Карпа Степаныча, его день рождения уже отмечался официально (с теми же лицами), день рождения Изиды Ерофеевны тоже достаточно известен. Чей, спрашивается, день рождения праздновать? Не мог же Карп Степаныч родиться дважды! Да и кто позволит?

Трудное получалось положение у Карпа Степаныча. В поисках решения задачи он ходил из угла в угол, а супруга сидела, прислонившись щекой к комоду.

— Момент упущен, — сказал Карп Степаныч, как и обычно, приходя в отчаяние. — Послезавтра предварительное сообщение делать. Остается только один день.

— А ты бы, Карик, на свой день рождения и договаривался бы.

— Интересно! За полгода вперед! Да они и за две недели забыть могут… Люди же. И люди занятые.

— Правда… Ну что же придумать? Что придумать? — ломала голову Изида Ерофеевна.

Так они и легли спать, ничего не решив окончательно.

И только глубокой ночью Изида Ерофеевна придумала. Она толкнула мужа в бок и спросила:

— Спишь?

— Нет. Не до сна.

— Не придумал?

— Нет.

— А я придумала.

Карп Степаныч поднялся на локоть и приготовился слушать. Но вместо посвящения в свои мысли Изида Ерофеевна сказала так:

— Все будет хорошо. День рождения будет. Да еще как все обернется хорошо. Это будет очень интересно! Ах, как все будут довольны! Давай скажу на ушко. — И она прошептала ему что-то так тихо, будто боялась, что их подслушают и перехватят секрет.

— Тут что-то… не то, — запротестовал сперва Карп Степаныч.

— То! Именно то! И не думай возражать. Я знаю людей лучше тебя. Это будет очень интересно!

А утром началась лихорадочная подготовка к вечеру.

Приглашены три нужных человека.

Вечером стали собираться гости.

Первым вошел Чернохаров и сказал:

— Приветствую вас, дорогой! Приветствую вас, дорогая! И поздравляю вас и… гм… этого, именинника. Гм… — Он оглянулся по сторонам и, не увидев никого кроме, сказал еще раз: — Гм… — И сел за стол. Затем развернул журнал «Крокодил» и стал рассматривать картинки, слегка потряхивая животом, то есть улыбаясь.

— Насчет именинника, Ефим Тарасович, это сюрприз, — кокетливо сказала Изида Ерофеевна.

— Что ж… Интересно… Гм… — А рассмотревши бесцеремонно кругленькую и приятную фигуру хозяйки, еще раз повторил: — Гм…

И Изида Ерофеевна улыбнулась, потупив очи. У нее это получалось очень здорово!

Вторым вошел доцент Святохин. Скажем по душам: смирнейшая личность! Личико у него маленькое, остренькое и весьма скромненькое, с просвечивающим носиком и часто моргающими глазками. Он всегда улыбался и был в высшей степени почтительным везде и всегда. Рассказывают про него такое: когда воры потребовали у него на темной улице часы, он им сказал: «Будьте любезны! Я вас понимаю отлично и отношусь с уважением к личности. Пожалуйста!» На научных убеждениях Святохина мы остановимся несколько, позже — не время и не место говорить о делах, когда люди пришли отдыхать. Итак, вторым вошел Святохин. Он шаркнул ножкой, подошел к хозяйке дома и поцеловал ручку. Затем по возможности крепче пожал руку хозяину, потом, наклонивши почтительно голову, чуть-чуть пожал руку Чернохарову, будто боясь причинить ему боль своей немощной ручечкой. И только после такой процедуры произнес тихо-тихо:

— Уважаемые Карп Степаныч и Изида Ерофеевна! Я весьма польщен приглашением. Поздравляю вас с именинником. И разрешите преподнести ему…

Изида Ерофеевна перебила его восклицанием:

— Ах, ах! Это после, после! — И, подморгнув ему, пояснила: — Здесь маленькая шутка. Игра в сюрприз.

— Не поним… То есть будьте любезны! Пожалуйста!

Рассыпаться ему в вежливых выражениях не пришлось, так как вошел Столбоверстов. Это был сильный на вид и крепкий духом человек. Он был прям и высок фигурой, что сочеталось с прямотой характера и высокими принципами. Он не знал различия между инициативой и ловкачеством, напористостью и нахальством, а, смешав эти понятия в одно, шествовал по научному миру с вытянутым вперед указательным перстом, безапелляционно указуя им на противников науки. Но об этом опять же после. Личность Столбоверстова как профессора и как человека представляла следующее: брит кругом, кругл головой, сух, морщины не омрачали лица ни в одном месте, а глаза, будучи навыкате, казалось, видели и спереди, и сбоку, и чуть-чуть позади; голос — могучий бас, но говорил Столбоверстов

сдержанно, тихо, как в пустую бочку; очков не носил, что тоже представляло собой исключение из правил в научном мире; не стар — лет сорока пяти, что тоже исключение, так как быть профессором в сорок пять лет — явление не очень частое: в этом возрасте подавляющее большинство ходит в доцентах. Здесь он далеко-далеко обогнал Карпа Степаныча Карлюка, но сочувствовал ему и помогал достигать.

Столбоверстов не спеша поцеловал руку у Изиды Ерофеевны, пожал слегка руки мужчинам, отчего бедняга Святохин чуть не взвыл, но стерпел и сказал:

— Будьте любезны! Пожалуйста!

— Поздравляю! Поздравляю! — пробубнил вошедший. — Рад. Рад. Рад увидеться. Очень рад.

В общем все гости пришли точно к назначенному времени. Стол был накрыт заранее. По приглашению хозяйки все сели. Но гости обратили внимание на то, что один стул остался пустым.

— Кого нет? — спросил Чернохаров.

— Почему пустой? — ткнул пальцем в пустое место за столом Столбоверстов.

— Не обижаем ли мы кого-либо, садясь — простите! — заранее? — скромно осведомился Святохин.

Карп Степаныч ответил на все три вопроса разом:

— Вот… Она руководит. Она и речь скажет. — И указал на супругу.

Изида Ерофеевна так старалась казаться симпатичной, так старалась, что буквально вылезала из собственной кожи. Она держала оба мизинца оттопыренными, вздрагивала плечами, поправляла на груди кофточку и обаятельно улыбалась, растягивая губы возможно шире, как это делают красавицы на фотографиях.

— Милые наши друзья! — начала Изида Ерофеевна, встав за столом. — Вы люди ученые, умные и занятые. И вам надо отдыхать. Встряхивать нервы. Я хочу, чтобы вам было весело. И мы придумали отметить необычный день рождения. — Тут она обвела всех чуть прищуренными глазами и сообщила главное: — Ровно тринадцать лет тому назад Карп Степаныч вступил в науку и прочными ногами стал топтать по ней дорогу. В тот день он стал кандидатом наук. Сегодня день рождения научного работника.

При этом умный старик Джон вскочил на стул позади хозяйки, повилял хвостом и с размаху лизнул Святохина в щеку.

— Ох! — воскликнул Святохин. Но немедленно поправился: — Пожалуйста! — И вежливенько кивнул головой хозяйке.

— Ну что ж! — гаркнул Столбоверстов. — Нальем за рождение научного работника Карпа Степаныча.

— Пожалуйста! — откликнулся Святохин на призыв коллеги. — За рождение научного работника! Это весьма оригинально. Каждый ученый должен бы отмечать день своего научного рождения.

Тем временем Изида Ерофеевна уже налила стаканы, и гости выпили, поддержав тост. Сперва молчали, ели, а потом «пропустили» по второй, потом — по третьей и так далее. И вдруг Святохин вежливо, но уже чрезвычайно весело спросил у всех:

— Друзья! А как же подарки? Мы ведь думали…

— Любой подарок приятен от таких дорогих гостей, — сказал Карп Степаныч.

— Да! — воскликнул Столбоверстов. — Поздравляю! — Он положил перед Карпом Степанычем коробку шоколадных конфет и фарфоровую статуэтку балерины.

— Приветствую! — пискнул Святохин. И преподнес тоже коробку конфет.

— Поздравляю вас, дорогой! — сказал Чернохаров и подарил фигурку шелковистой собачки. — Я лично тоже люблю собак. Гм…

— За рождение кандидата! — вскричал басом Столбоверстов, поднимая стакан.

— За Карпа Степаныча! — пропищал Святохин.

— За рождение того, кто хозяин стола! — разразился тостом Чернохаров. — За вторжение его в науку.

Карп Степаныч кланялся. Изида Ерофеевна тоже кланялась, улыбалась и гладила Джона, сидевшего позади нее.

— Пей, Карпо! — кричал Столбоверстов панибратски.

— За науку и для науки! — чуть не плача, вопил Святохин.

— Сам-то пей до дна! — обращался Чернохаров к Карпу Степанычу.

И Карп Степаныч исполнял желание учителя: пил до дна так, что забыл даже говорить о деле, о завтрашнем предварительном сообщении. Наоборот, запел «Шумел камыш». Все подхватили и тоже

пели по мере своих талантов в вокальном искусстве. Джон подвывал. Все шло хорошо и весело. Святохин сыграл даже дробь на двух ложках (к чему у него был большой талант), Чернохаров сплясал, не вставая со стула и выделывая кадрили ногами под столом. Изида Ерофеевна спела «Ой, кумушка».

— Нет! До чего же приятно! — умилился Святохин. — Истинное наслаждение! Умилительно! Душа моя поет вместе с вами, дорогая Изида Ерофеевна!

— Спасибо вам, милая! Спасибо и за вечер и за песни! Спасибо! — восторгался Столбоверстов, обнимая хозяйку за талию и не обращая внимания на ревнивое ворчание Джона.

— Ух! Гады! — вдруг рявкнул Чернохаров и ударил кулаком по столу так, что подпрыгнули рюмки. — Засоряют науку всяким дерьмом!

— Это вы… про кого? — спросил оторопевший Святохин.

— О чем вы? — насторожился Столбоверстов, стараясь сквозь хмель понять.

— Ефим Тарасович! — воскликнул Карп Степаныч.

— Ой, ой! Дорогой мой! — умильно воскликнула Изида Ерофеевна и обняла рядом сидевшего Чернохарова, — Что с вами?

— Противников науки надо не просто выгонять, а… сажать! Сажать! В тюрьму! В тюрьму-у! — и Чернохаров выкрикнул несколько бранных, весьма крепких слов.

Вполне возможно, что после этого и завязался бы ученый разговор о науке и предварительном сообщении Карлюка, так как Чернохарова, может быть, все и успокоили бы, согласившись с его вескими доводами, выразившимися в разбитии трех тарелок. Так что разговор о науке мог быть. Но тут произошло совершенно неожиданное и никем не планированное событие.

Когда Чернохаров ударил третью тарелку, Джон не выдержал: он рванул за рукав буйного профессора так сильно, что вырвал клок материи шириной в ладонь.

Все встали как по команде.

Чернохаров, покачиваясь, подошел к собаке, схватил ее за шиворот, поднял в воздух и зарычал:

— У, гадина! Св-волочь! — Он поволок Джона за дверь, потом на улицу, а там трепал несчастного пса и кричал: — Я ученый, черт

возьми! Соб-бака и наука! На-у-ка-а! Карлюк, мой ученик, позорит науку! Ненавижу собак!

Хозяин и гости выскочили на улицу, уговаривая взбунтовавшегося вновь Чернохарова.

А когда кое-как развезли гостей на такси по домам, Карп Степаныч обхватил голову руками и, поникнув на стол, простонал:

— Я так… и знал. Знал, что-то получится. Что мы наделали!

— Карик! — плакала Изида Ерофеевна. — Карик! — И ничего не могла досказать.

— Я знал: тринадцать — чертова цифра! Так и есть. И как это я не догадался?!

— Карик! — рыдала супруга. — Все обойдется, Карик! — Она, всхлипывая, предложила: — Может быть, нам второй раз сделать день рождения?

— Второй раз — это уже не рождение!! — взревел Карп Степаныч и замахнулся кулаком, будучи весьма хмельным. — Ух!

Вот тут-то и проснулось самолюбие жены. Она уперла руки в бока, сжала зубки и, наступая на мужа, зачастила:

— Ах ты мразь! Дурень безмозглый! Ты перед кем рассыпаешься? Кто они? Они сами пролезли в науку через черный ход, а потом растолкали других и изображают. И пусть! Пусть Джон им выложил свои соображения. Не боюсь! К черту! Плевать я хотела на твоего Чертохарова! — визжала она, нарочито уродуя фамилию уважаемого учителя.

Карп Степаныч сперва опешил от такой пулеметной очереди, но потом со злобой сказал:

— Как ты была баба, так и есть баба. Тьфу! — Он плюнул в сторону.

— Что-о?! А ну повтори, безмозглый! — Изида Ерофеевна вдруг начала молотить мужа кулаками, потом книжкой по голове, так что он и руки ее не успевал отвести, бедный.

Потом Карп Степаныч уснул, так и не раздеваясь.

А ночью Изида Ерофеевна тихонько раздела его, накрыла одеялом и плакала. Плакала над ним, как над покойником. Потом тихонько звала, крадучись по комнате:

— Джон! Джон! Где ты? Замучила нас с тобой чертова наука. Господи, неужели же тебе трудно сделать Карпа Степаныча доктором?

Ты все можешь — сделай, — молилась она на ходу и снова звала: — Джон! Где ты?

Бедный Джон! Он забился в угол, вздрагивая всем телом. Вызвать его оттуда не было никакой возможности, так напугал его Чернохаров.

Настало утро. Карп Степаныч встал поздно, в одиннадцать часов дня. Голова была тяжелая, на душе было скверно — так скверно, будто сам черт ходил там своими когтистыми лапами. Карп Степаныч умылся. Молча сел пить кофе. Супруга тоже молчала. Неизвестно, чем бы вся эта тягость кончилась, если бы неожиданно не вошел… — кто бы, вы думали? — …вошел Чернохаров в сопровождении Святохина.

Карп Степаныч встал и согнулся в поклоне. Изида Ерофеевна растерялась. А Чернохаров сказал:

— Приветствую вас, дорогой!.. Вчера я… Гм… Накуролесил. Уж как-нибудь… Гм… Извините.

— Дорогой Ефим Тарасович! — воскликнул Карп Степаныч и обнял Чернохарова. — Что вы, что вы! Я, только я, считаю себя виноватым. Только я!

— Говорил вам когда-то: не надо мне… Гм… Давать много питья. Гм…

— Все хорошо, — шептал Святохин. — Все хорошо. Ну выпили, ну отдохнули. Кто ее не пьет? Все пьют. С кем грех не бывает? Бывает, простите, со всеми. Будьте лю…

— Ну как же? — перебил его Чернохаров, обращаясь все так же к Карлюку. — Мир?

— Мир! — патетически воскликнул Карп Степаныч, тронутый великодушием учителя.

— И ничего не было? Гм…

— Ничего не было. И не вы кричали на улице, а кто-то другой.

— Я, например, ничего не слышал, — подтвердил Святохин.

— Ну… пойду… Желаю сегодня успеха. Гм…

— А вы будете там? — спросил Карп Степаныч Чернохарова, бросив взгляд и на Святохина.

— Обязательно, — сказали оба. — До шести!

— До шести вечера! — попрощался и Карп Степаныч. — Надеюсь.

И ушли.

Изида Ерофеевна бросилась к мужу в объятия и говорила:

— Вот видишь, как все обошлось. Я говорила?

— Говорила. Умница. Даже лучше сделалось, чем мы хотели.

— Как так?

— Да ведь он же чувствует себя в какой-то степени виноватым. Понимаешь?

Карп Степаныч тут же, немедленно, сел за стол и записал еще одно правило защиты диссертации:

«Если намеченный тобою официальный оппонент чем-либо тебе обязан, или в чем-либо виноват перед тобою и тяготится этим, или (что то же) чем-либо напакостил тебе и не знает, как искупить вину, то бери его обязательно: сделает».

День прошел хорошо. А к шести Карп Степаныч пошел делать сообщение. И все-таки было очень боязно: как-никак предстояло сообщение об исследованиях материалов и сводок. Это — начало докторской диссертации. Пробный камень!

И когда все эти опасения Карп Степаныч высказал Изиде Ерофеевне перед выходом из квартиры, супруга произнесла:

— Господи, благослови!

## *Глава пятнадцатая*
## Смотря с затылка, или разные направления в сельскохозяйственной науке

В тот самый день, когда Карлюку предстояло делать сообщение, в городе появился Филипп Иванович Егоров. Он вернулся из вторичной поездки в Москву, куда ездил по вызову ЦК партии.

Было пять часов дня. С вокзала немедля направился к профессору Масловскому. Дома его не оказалось. Мария Степановна сообщила Филиппу Ивановичу, что профессор ушел на научный совет — слушать доклад Карлюка. Недолго думая, Филипп Иванович отправился туда же, оставив у Марии Степановны чемоданчик.

Филипп Иванович чуть-чуть опоздал — заседание ученых началось. Он остановился перед дверью малого зала и прочитал объявление, прикрепленное кнопками:

«Сегодня состоится очередное собрание научных работников, на котором кандидат с/х наук Карлюк К. С.

сделает предварительное сообщение о дополнительных исследованиях в области кормодобывания.

Приглашаются все научные работники и все желающие.

Начало в 18 часов».

«Значит, можно и мне», — подумал Филипп Иванович и вошел в зал. Свободное место осталось в самом заднем ряду. Он тихо, на цыпочках, прошел туда и сел. На соседнем с ним стуле сидел… Ираклий Кирьянович Подсушка и по обыкновению поедал глазами кафедру, откуда докладывал его непосредственный начальник, Карлюк Карп Степаныч. Как мы уже сообщали, товарищ Подсушка от рождения и до настоящих дней был тощ. Посему шея его отстояла от воротника на весьма почтительном расстоянии и поворачивалась бесшумно по первому требованию начальства. Такова была у него конструкция тела. Подсушка слушал глубокомысленно.

Карп Степаныч читал интересное для производства сообщение: «К вопросу о проблемах замены овса тыквой и помидорами для скармливания конскому поголовью и расчеты потребности тыквопомидоропродукции для центрально-черноземной зоны в кормовых единицах». Все шло как полагается. Стояла тишина.

Поскольку Филипп Иванович очутился в самом заднем ряду, перед ним во множестве расположились затылки ученых. Филипп Иванович подумал в удивлении: «Какие бывают затылки! Громадный ассортимент! Смотришь человеку в затылок и толком не знаешь, какой у него там ум и есть ли там ум вообще». Подобные не очень-то уж серьезные мысли завладели им полностью. Так иногда бывает, когда неудобно засыпать, как говорится, с ходу. О проблемах тыквозамены он еще не слышал ни разу, но особого интереса к этой теме не проявил. И рассматривал затылки. Конечно, подавляющее большинство затылков были обыкновенными, но были здесь и особые, выдающиеся. Так Филипп Иванович обвел взглядом всех и наконец остановился на отдельных личностях, на тех, что знал отлично, и стал их рассматривать с тыловой стороны. Из множества голов он отметил только пять. Зато каких!

У ученого Чернохарова затылок очень похож на печной чугун: бей кочергой — не прошибешь! Филипп Иванович очень хорошо знал, что в одной стороне этой головы уместилась вся травопольная система

земледелия целиком, а вторая половина ничем не замещена. Именно поэтому Чернохаров не признавал никаких сельскохозяйственных культур, кроме трав.

У профессора Плевелухина, наоборот, затылок изрезан мелкими складками. Он выдвинул лозунг: «Уничтожим всякие травы с лица земли нашей!» В общем, никакой середины Чернохаров и Плевелухин не признавали. По сему случаю все подчиненные этих ученых и все диссертанты и даже студенты шарахались от одного профессора к другому, стукаясь иной раз лбами; а выходя из института, толком не знали — что же, собственно, осталось в голове. Как известно, мыслительная способность битого лба резко понижается, и человек в таком случае успокаивается либо на одной шишке, либо на второй, смотря по стечению обстоятельств.

На затылке доцента Святохина — смирнейшего из ученых — Филипп Иванович не стал долго задерживаться: голова его была настолько свежа и чиста, что ни единой волосинки на ней уже не осталось. Это очень уважительный человек, соглашающийся со всеми, в том числе и с Плевелухиным и Чернохаровым одновременно. Очень приятный человек! Его лба никогда никто и нигде не бил, и он достиг научных степеней без особых волнений. О лысине Святохина, вообще-то говоря, ходили разные слухи в научном мире. Одни говорили, что ему за правду, выражающуюся в особой почтительности к авторитетам, бог головы прибавил; другие, наоборот, говорили, что пустой шалаш и крыть нечего. Филипп Иванович в данном случае стал на принципиальную точку зрения самого Святохина и в вопросе оценки его лысины решил: «Правы и те и другие».

Больше других остановил внимание затылок доктора сельскохозяйственных наук Столбоверстова. Редкие коротенькие щетинки-шипики на бритой голове создавали такое впечатление, будто весь затылок усижен мушками дрозофилами, о коих он успешно когда-то защитил докторскую диссертацию и достиг всего, чего следует достигать в таких случаях. А с очень глупой головой это, конечно, невозможно. Взять хотя бы его карьеру. На «кариотипической структуре мушки дрозофилы» он сидел прочно несколько лет подряд. Но когда понял, что ветер шевелит волосы не с той стороны (тогда у него еще был редкий пушок на голове), он ощетинился, и на затылке появились короткие шипы. А что означает «ощетинился» на языке

такого ученого? А это значит, что он проклял несчастную малютку, мушку дрозофилу, не выполнил клятвенного обещания поставить ей памятник, отказался от нее публично, признал ее главным тормозом в науке, обругал черным словом как самую обыкновенную поганую зеленую муху. И стал после этого называть всех противников своего нового убеждения менделистами, или морганистами, или менделистами-морганистами, или просто врагами прогресса. Зато он получил четвертое место — по совместительству. Да, он не глуп! Указующий перст его еще не раз ткнет кого-нибудь из молодых или строптивых старых, и он произнесет безапелляционно и неукоснительно: «менделист!» или какое-либо новое слово, которое вполне может народиться в научном лексиконе. И горе тому, кто начнет мыслить не так, как думает Столбоверстов, ибо он тоже не знал спорной середины в науке, а шарахался от одного авторитета к другому вот уже дважды. Где-то мы увидим его в третий раз?! Тем не менее лба своего он не портил и ходил по земле без шишек на мыслительной части тела. Над затылком его стоило призадуматься. Это настоящая тыльная сторона настоящей науки! Дунь на него иным ветром — и все: запах и цвет всей личности меняется на глазах.

И еще один удивительный по своей конструкции затылок задержал внимание Филиппа Ивановича. Он как бы обрублен, то есть фактически самого затылка-то и нет, а есть место, где полагается быть затылку. Место это — бритое или лысое, не поймешь. Голова эта принадлежала Барханову — человеку с некоторым именем, известному и даже не совсем действительному члену Академии сельскохозяйственных наук. А что означает звание «не совсем действительный член академии»? Объясню. Перед выборами он разослал множество писем знакомым ученым. В этих письмах он считал себя вполне достойным избрания в члены академии и просил поддержать его кандидатуру; но так как все же его не выбрали в члены, то за ним так и осталось звание «не совсем действительного». Барханов ничего не открыл сам, но до сих пор ни разу не согласился с чужим открытием. Он немилосердно критиковал все, на что направлял свой нос. Его все боялись и обращались с ним в пределах научной вежливости.

Таким манером Филипп Иванович пробовал отыскать еще подобные затылки, но не нашел больше ни одного хотя бы отдаленно

похожего на какой-либо из тех пяти затылков, что рассматривал.

Потом Филипп Иванович долго смотрел на профессора Масловского. Седые, ставшие за последние годы совсем белыми, густые волосы зачесаны назад; затылок широкий, как говорят — двухмакушечный, на котором волосы никогда не лежат спокойно, а все упрямо топорщатся. Казалось, эта голова, слегка наклоненная вперед, всегда готова к драке. Любил эту голову Филипп Иванович. Очень любил! И сейчас он представил себе сосредоточенный и нахмуренный взгляд Масловского и жесткие руки, сжатые в кулаки. «Будет и сегодня драться!» — подумал он.

Но что это? Профессор Масловский передернул плечами и поежился, будто к его спине прикасался червяк. Вероятно, сквозь дрему и до его слуха доходили отрывки речи Карпа Степаныча. Это движение заставило и Филиппа Ивановича вслушаться в речь докладчика, и ему сразу стало скучно. Потянуло в сон. И он занял обычную позицию спящего на заседании ученого, а именно: наморщил лоб, опустил в задумчивости ресницы, выпрямился, подставил кулак под подбородок и задремал. Со стороны казалось, что он глубоко задумался, а фактически он добросовестно пытался дремать. Все нормально мыслящие на подобных докладах спали таким же образом еще и раньше Филиппа Ивановича. И это никогда не считалось зазорным, как явление обычное.

Но не спал Ираклий Кирьянович Подсушка. Он усиленно пытался думать. Даже более того: мучительно пытался думать. Что же заставило его думать в такой момент, когда вообще можно не думать ни о чем? Оказывается, это — дело случая. Кто-то из ревнителей науки задал спросонья докладчику бесцеремонный вопрос:

— Какой сорняк порождает тыква?

Карп Степаныч Карлюк отвлекся от сообщения и, поскольку вопрос касался его темы, ответил так:

— Если мы уверены, что овес порождает овсюг, то вполне можем быть уверены, что кормовая тыква порождает сорняк. Какой? Наукой еще не достигнуто. Но почему бы и тыкве как заменителю овса априори не родить что-либо подобное или в этом роде? В этом вопросе открыты широчайшие горизонты в науке, и этот вопрос необходимо изучить, что представляет непосредственный интерес для производства, так как в борьбе с проникновением вредного влияния

менделизма это будет еще одним плюсом… — И Карп Степаныч был удовлетворен собственным ответом настолько, что внутренне улыбнулся. (Внешне он улыбался очень редко.)

Неожиданно Масловский встал. Он попросил слова и сердито заговорил:

— Ответ «глубокоуважаемого» сообщителя заставляет меня дать существенную, как мне кажется, реплику. Любое научное исследование может не только утверждать предположения или подтверждать чьи-то мысли, идеи, но и отрицать. Да, отрицать. Многие, например, не согласны с Лысенко. Ну и что? Наука развивается в противоречиях, в спорах. Отнимите у нее этот принцип развития — и наука превращается в схоластику со всеми вытекающими отсюда последствиями. С этой точки зрения сообщение Карлюка весьма интересно. Он, как уже видно, ничего не собирается отрицать или с кем-то спорить. А что же он утверждает?.. В своем «научном» изложении он раз двадцать употребил слова «менделизм» и «менделисты», а в ответе на заданный вопрос уже заявил, что гипотетический тыквосорняк «будет ещё одним плюсом в борьбе» с менделизмом же. Но позвольте: сам Лысенко, кажется, не утверждал, что сорняки рождаются от всех культурных растений. Карлюк же превратил овсюго-гипотезу в инструкцию о происхождении новых видов растений. Вот вам пример схоластики. Когда же это кончится?! Нет, я больше не могу. Надо наконец называть вещи своими именами: это — не научное сообщение, а профанация науки. — И вдруг Масловский бросил к кафедре: — Вы, Карлюк, не понимаете того, что опошляете науку, настоящую науку, повергая даже и то, что пытаетесь подтверждать и чему поклоняетесь. — Тут профессор совсем обозлел и обратился вновь к собранию, уже вовсе не по-профессорски: — Вспомним, товарищи, и почтим… сидением того из пословицы, кто разбивает свой лоб, если его заставляют молиться. — И правда, сел на свое место.

Наступила тишина как в подвале — пауза небытия, провал духа: для одних это было первым дуновением зловещего ветра против науки, для других — первым-первым ветерком начала восстановления доброго имени российской науки… Полно, начало ли это? А пока была только тишина.

Наконец Столбоверстов шепнул Чернохарову на ухо:

— Дальше некуда — Масловский вылупился весь!

— Учтем, — ответил Чернохаров гусиным шипением. — Теперь-то уж он — как на ладони.

Ближайшие к ним видели, как Чернохаров показал Столбоверстову пухлую, идеально безмозольную бабью ладонь и как тот внимательно задержал на ней выпуклый взгляд, будто там, на ладони, на мгновение возникла не то проклятая им своевременно дрозофила, не то, как бы сказать, блоха какой-то истины. Иначе зачем же показывать пустую ладонь? А мудрых слов двух довольно печально известных ученых никто не слышал и потому не понимал, что приметная ладонь сия была в тот момент суровой дланью пресечения. Заметь такое Подсушка, он так бы и сказал: «Думать надо. Думать! И расти над собой, товарищи».

Карп Степаныч, прежде чем продолжать сообщение, некоторое время стоял, выпучив глаза. А Масловский при общем молчании иронически заключил:

— Можете продолжать.

Вот что заставило некоторых отвлечься от дремы. В зале зашевелились, выражая свое сомнение в ответе Карлюка. Вот что и заставило думать Ираклия Кирьяновича.

Мы уже знаем и о том, что он не принадлежал ни к кандидатам, ни к докторам, а был наукоруком по призванию. Это обстоятельство заставило его продумывать кое-что, для того чтобы вовремя успевать менять течение мыслей, убеждений и проблем, для улавливания момента в научной ситуации. А для этого требуется тоже большое искусство.

И вот сейчас ему, Подсушке, почему-то вспомнились слова священного библейского писания, каковое он постигал еще в начальных классах гимназии. Думал он так:

«Авраам роди Исаака. Исаак роди Иакова. А Иаков в свою очередь роди… Кого же роди Иаков? Забыл. Неважно: хрен с ним, с Иаковом. Нет, постой, постой… Кажется, есть какая-то связь… Значит, овес роди овсюг. Так. Понятно. А кого роди овсюг? Ведь и он кого-нибудь роди обязательно… Пшеница роди рожь, а рожь, обратно, роди пшеницу — это понятно: и тот роди и тот роди… Но кого же роди овсюг?..»

Он, по возможности незаметно, все-таки высунул кончик языка, но… ответа все равно не нашел. Он лишь искал себе объяснение, чтобы при случае не ударить лицом в грязь и объяснить другому. Сам же он действительно верил совершенно искренне в то, что сорняки рождаются от всех культурных растений. Верил просто, как верит истый христианин в то, что отрок в пещи огненной хотя и должен был сгореть в пепел, не сгорел все-таки и даже не потерял волос. Верил Ираклий Кирьянович и в то, что яровую пшеницу надо сеять именно там, где она не родится: важно — не урожай, а важно, чтобы она сеялась по пласту многолетних трав и вне зависимости от местонахождения этих трав даже в Архангельске или на Новой Земле.

После воспоминания о библейских предках мысли все-таки не покинули Подсушку. Он продолжал думать так:

«Что это за наука у Масловского?.. „Гипотеза“, „отрицание“, „не все растения рождают сорняки“… Надо же! Как это так — не все? Вот у Карпа Степаныча действительно наука: если тыква не родила пока сорняки, то родит вскоре. „Априори“ — обязательно родит! Рад Карп Степаныч сказал родит, то, значит, родит».

И это была глубочайшая вера в науку. Так Подсушке легче. А главное — думать гораздо меньше придется.

Филипп Иванович все-таки не уснул, а после реплики Масловского и вовсе взбодрел. Он украдкой посматривал на соседа, Подсушку, задумавшегося над вопросами науки. И Филиппу Ивановичу пришла мысль:

«Сколько таких верующих помогали, помогают и — кто знает! — будут помогать двигать вперед генетику, селекцию, агротехнику, животноводство! Того и гляди они помогут и Мальцеву так же, как „помогли“ Лысенко! Благо тому и бремя того легко, кто верует в непогрешимость инструкций и приказов наукоруков».

А подумав так, Филипп Иванович смотрел на самого докладчика, Карпа Степаныча Карлюка, каковой, как нам известно, был, в противоположность Подсушке, настолько кругл и толст, насколько может быть круглым и толстым человек. Сейчас он казался еще более толстым. До сих пор Филипп Иванович знал, что Карлюк всегда умел выглядеть весьма ученым. Теперь, казалось, вырос он еще больше. До сих пор Филипп Иванович знал, что Карлюк в свое время соискал кандидатскую степень. Теперь же было ясно, что начинается

соискание докторской степени. Сейчас он читал уже заключение своего предварительного научного сообщения:

— Итак, много- и глубокоуважаемые коллеги! Роль овса в балансе кормопроизводства практически сводится к нулю, о чем свидетельствуют сводки, собранные мною по ряду окружающих колхозов. Лошадь на новом этапе развития сельскохозяйственной науки не желает есть овса. Она желает есть тыкву, о чем свидетельствуют упрямые факты, которых не буду приводить ввиду их ясности. Оговорюсь, что эксперименты скармливания зеленых помидоров конскому молодняку еще не закончены, а редьку лошадь отвергает начисто. Об этом я заявляю со всей научной смелостью и решительностью — редьку лошадь отвергает. Но… — В этом месте он вытер лоб платком, снял очки и, держа их двумя пальчиками в полусогнутой руке, постучал локтем по своему пышному боку. — Но с точки зрения тыквозамены уже ясно теперь, что: а) производство овса необходимо оставить на минимальном уровне; б) этот уровень должен соответствовать такой структуре площадей овса, чтобы обеспечить полностью выпуск овсяных хлопьев для меню грудных младенцев, а равно и отнимаемых от груди детей. И все. Мы, таким образом, можем расширить значительно площадь яровой пшеницы во всех областях, от Черного до Белого морей, с одновременным поднятием уровня тыквы для конепоголовья. И тогда лошадь скажет нам с вами, дорогие коллеги: «Спасибо вам, товарищи!» Если к этому добавить последние данные науки о кормовых качествах рогоза в сметане (о чем сообщалось в печати), то наши выводы полностью соответствуют новому направлению сельскохозяйственного производства. Замечу: говоря о рогозе, я имею в виду оба рогоза: Тифа ангустифолиа и Тифа латифолиа. Весь этот рогоз скотина пожирает навалом даже в том случае, если ей не давали корма только четыре-пять дней.

Карп Степаныч закончил доклад. И вдруг…

— Ерунда! — крикнул на весь зал Филипп Иванович, нарушив все нормы внутринаучной вежливости.

Все повернули к нему головы. А сидевший с ним рядом Подсушка вздрогнул от страха, зашипел, как горячая сковорода, на которую плеснули холодную воду, и отодвинулся подальше.

Филипп Иванович встал, Он видел лица всех сразу — затылков уже не было. Были в подавляющем большинстве добрые люди. Он

остановил взгляд на лице Масловского: умный и в то же время злой взгляд этого ученого одобрял его — они поняли друг друга. Много таких же искренних и умных глаз смотрело на него. Настолько много, что чернохаровы и святохины сидели среди них корявыми сорняками, похожими на сухую полынь среди сочного огорода.

— Прошу слова! — сказал Филипп Иванович громко и отчетливо. — И я больше не могу! Нельзя дольше терпеть!

— Что вы хотите этим сказать? — перебил его резким голосом Карп Степаныч, привыкший к тону многих председателей собраний, умеющих одной такой репликой осадить любого оратора, если он им не нравится.

— Я хочу сказать, товарищ Карлюк, прежде всего о том, чтобы вы меня не перебивали.

По залу прокатился шелест. В нем нетрудно было различить и одобрение и злость. А Филипп Иванович заговорил.

Ни Карп Степаныч, ни Ираклий Кирьянович не помнили толком, о чем говорил Егоров, — их ошарашили слова обвинения, которые он бросал прямо в лицо Карлюку, Чернохарову, Столбоверстову и иже с ними. Ираклий Кирьянович находился-то рядом с Филиппом Ивановичем, и на них обоих, как ему казалось, смотрели все сразу. Он стонал, видя, что буря нарастает. Сейчас, вот-вот сейчас, думалось ему, этот колхозный агроном в кирзовых сапогах начнет добираться и до него, товарища Подсушки.

— Сегодня мы слышали весьма «интересный» доклад-сообщение, — говорил Филипп Иванович иронически. — Он интересен тем, что всем содержанием доказывает одно: в сельскохозяйственной науке при желании можно из блохи выкроить голенища. (По залу прокатился смешок.) Сегодняшнее сообщение — продолжение все той же линии…

— Грубо и недостойно собрания ученых! — бросил реплику Столбоверстов.

Но Филипп Иванович не обратил внимания на это.

— Да, продолжение все той же линии… Но посмотрим внимательно в село, в поле, в колхозы, для которых якобы делаются подобные диссертации. Сельское хозяйство отстает, оно ждет — требует! — от науки помощи и вмешательства. А карлюки достигают званий на темах глупых и бесполезных.

Тут-то и вспотел Карп Степаныч. Но все-таки нашел силы перебить оратора. Он собрал весь свой дух, сделался внешне спокойным, почесал кончик носа оглобель-кой очков и встал. Перебивая оратора, обратился к собранию:

— Кто перед вами выступает? Перед вами выступает исключенный из партии. Он уволен с работы. — Повернувшись к Егорову и надев очки, Карлюк строго и повелительно сказал: — Прекратите клеветать! Не то место выбрали! — И, забыв, что он не председатель собрания, обратился к присутствующим: — Кто имеет слово?

Все молчали.

В напряженной тишине Филипп Иванович продолжал:

— Нет! Не получится, Карлюк! Я не замолчу, пока не скажу. Я знаю, почему вы меня боитесь. И вы знаете! — Филипп Иванович смотрел прямо на Карлюка и продолжал: — Предстоит трудная работа по очищению сельского хозяйства от болтунов и невежд в мантиях ученых, по очищению науки от бездумности, своекорыстия и шаблона в агротехнике и животноводстве…

Карп Степаныч опешил. Он не понимал аплодисментов, раздавшихся после речи агронома Егорова. Он не слышал того, что говорил Чернохаров, спасая ученика, не заметил, как по инициативе того же Чернохарова собрание было перенесено на неопределенное время «ввиду грубых и недостойных выпадов против науки». Не заметил Карп Степаныч, как разошлись все и зал остался пустым. Он все сидел и сидел. Наконец он заметил в заднем ряду единственного человека. То был Подсушка. Ираклий Кирьянович не мог стронуться с места, он был не в силах возвратиться к жизни и шептал:

— Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова…

— Вы? — спросил глухим голосом Карп Степаныч.

Подсушка очнулся и ответил, глядя в упор на начальника:

— Я. Так точно — я. Как же… теперь?

— Вот так… — Карлюк поник головой.

Тут вошла уборщица и сказала:

— Ну-у, раскисли! Выходите. Мне порядок наводить надо.

— Извиняюсь! — сказал Подсушка.

— Приветствую вас! — сказал Карлюк.

— Да вы что — или рехнулись? — спросила уборщица. — Провалилась диссертация, что ли?.. Бывает. Я на своем веку не такое видала. Водой отливали одного, потом пол подтирала целый час. Ну, уходите, уходите, — уже добродушно выпроваживала она их.

Оба уныло поплелись вон, поддерживая друг друга под руки. Слишком толстый и слишком тонкий еле переставляли непослушные ноги. Много страданий доставляет наука!

…А Филипп Иванович с Герасимом Ильичом Масловским пришли на квартиру.

Повесили головные уборы на вешалку. Встретились глазами. Посмотрели. И вдруг рывком обняли друг друга.

Потом Герасим Ильич спросил:

— Ну как? Все сдали?

— Сдал. Сказали — скоро разберут.

— Будем ждать.

— Ждать.

— Ждать и надеяться!

## *Глава шестнадцатая*
## Перевертни, путаные карты и новое поприще Карлюка

А дальше пошли интересные события — и печальные и веселые.

Ираклий Кирьянович заболел расстройством нервной системы и несколько дней не выходил на работу. Карп Степаныч хотя и похудел малость, но искал выхода из создавшегося положения. Думал.

Так прошло два месяца.

И вот однажды Карп Степаныч получил записку от Чернохарова. Эту записку он немедленно подшил в «Личное дело». А написано в ней было так:

> «Возвратился из Москвы Столбоверстов. Сегодня вечером он будет у меня. Приходите. Дело серьезное. Жду в десять.
>
> *Ч.»*

Карп Степаныч пришел ровно в десять, почти одновременно со Столбоверстовым.

— Приветствую вас, дорогие мои! Приветствую! — встретил их хозяин.

Они сели за стол, за чашку чая. Чернохаров начал:

— Мы с удовольствием послушаем сообщение… Гм… Надеюсь, будем откровенны. Гм…

— Что думает Москва? — спросил Карп Степаныч.

— Да. Москва думает, — в задумчивости пробубнил Столбоверстов, помешивая ложкой в стакане. — Главные устой сельскохозяйственной науки пересмотрены… Вильямс ошибался. Следовательно, ошибались и мы. Травы — под сомнением. Упор на паропропашные севообороты.

— Значит, признавать ошибку? — поспешно спросил Карлюк.

— Нельзя, — категорически заявил Чернохаров.

— Но и в бездействии быть невозможно. Нужно принять меры, — возразил Столбоверстов.

— И что же вы думаете практически? — спросил ободренный Карлюк.

Столбоверстов ответил:

— Думаю, пока не получены указания сверху, мы уже должны…

— Перехватить? — спросил Карлюк.

— Не перехватить, а перестроиться, то есть…

— Вот именно. Как бы «не перехватить»… лишнего Гм… — перебил его Чернохаров. — Как бы не попутать карты… Гм…

— А что бы вы предложили? — спросил Столбоверстов.

— Надо выступить в печати.

— Именно так. Выступить, пока не перехватил Масловский.

— И ликвидировать полностью все травы при институте. Все! Гм… — дополнил свою рекомендацию Чернохаров.

Все трое согласились в концу беседы: надо выступить в печати и ликвидировать травы на всех полях института. Так они и перестроили свои многолетние убеждения за один вечер. И сразу же приступили к коллективному сочинению статьи для областной газеты.

Через две недели в газете появилась подвальная статья «Система земледелия на черноземах» за подписью трех: Чернохарова, Столбоверстова и Карлюка. В этой статье обстоятельно доказывалось

на материалах института, что единственно правильная система земледелия — паровая, что, по многолетним данным, травы себя не оправдали, что даже трехполка лучше травопольной системы, что травы должны быть изгнаны повсюду, что профессор Плевелухин прав, ратуя за паропропашную систему земледелия. В статье ученые писали: «Честно заявляем, что учение Вильямса тормозило практику». Получилась очень сильная статья! Смелая, обстоятельная, вполне соответствующая ветру, подувшему с высокогорных вершин науки. Ясно, направление изменилось.

Но внешне Столбоверстову измениться уже не удалось. В свое время он стриг голову «под Менделя», потом расчесывал «под Лысенко», теперь он очень желал бы иметь прическу «под Мальцева», но… был уже лысоват, с редкими торчащими шипиками. Впрочем, это и не так уж важно. Важно внутреннее убеждение. Важно то, что Столбоверстов всегда был хозяином своего слова: дал слово — и взял его обратно.

Карлюк энергично перестраивал тематику своего учреждения.

Чернохаров упорно говорил студентам:

— Думать надо, товарищи!.. Гм… Думать. И тогда Гм… Собственные ошибки вы сможете использовать на пользу народа. Гм… Думать и думать.

Триумвират ученых перестроился коренным образом. Травы уничтожались безжалостно. Срочно закладывались опыты для подтверждения пропашной системы, откапывались из архивов данные старых опытных станций, выбирались нужные для перестройки материалы и обобщались. Карлюк денно и нощно сидел над бумагами (к чему у него был выдающийся талант). Кажется, он уже решил изменить тему будущей диссертации согласно моменту. Все шло хорошо и быстро. Думалось, все карты разложены правильно.

Но произошла неприятность.

Егоров у себя в колхозе прочитал в областной газете статью «могучей тройки». Он вскипел, побежал к Николаю Петровичу Галкину и, сунув ему газету, закричал:

— Перевертни! Блудословы! Они снова будут «руководить» сельским хозяйством! К черту! Не могу!

— А ты утихомирься. Подумай. И напиши свою статью, — советовал Николай Петрович.

Дома повторилось то же самое. Только те же слова Егоров говорил жене Любе. Та успокаивала:

— Ну что тебе все надо? Что ты — хочешь вмешиваться в дела области?

— Хочу! Буду! Не могу молчать!

Ночью Филипп Иванович ворочался с боку на бок, кряхтел, что-то шептал и никак не мог уснуть. Тихонько встал, взял лампу, бумагу и чернила и ушел в клеть. Там он зажег огонь и стал писать.

Любовь Ивановна все это слышала, тихонько выходила во двор, видела огонь в клети и, вздыхая, шептала:

— Вот уж неугомонный. И так всю жизнь.

Филипп Иванович написал в газету такое письмо.

«Ответ Чернохарову и Столбоверстову.

***Открытое письмо.***

Недавно я прочел вашу статью „Система земледелия на черноземах“. В этой статье вы признаете единственно правильной системой паровую, даже трехполье. Вначале замечу: а все-таки травы мы сеять будем, но там, где они растут. Вы же размахнулись уничтожить травы под корень. Неужели это писали вы, Чернохаров? Ученому Столбоверстову все это не страшно подписать, он уже третий раз меняет „убеждения“. Но вы-то, вы, опубликовавший в той же газете год тому назад статью о „единственно правильной травопольной системе земледелия“, неужели считаете за дураков всех тружеников сельского хозяйства и специалистов сельского хозяйства?

Вы были ярым „травопольщиком“ всю свою сознательную „научную“ жизнь. А теперь отреклись от того самого евангелия, которое сами же создали для нас, и строго наказывали нас за „неверие“. Может быть, вы не подумали о том, сколько стоила ваша защита докторской диссертации и вся работа научно-исследовательского института? Нет, вы отлично знаете, что три миллиона в год затрачивал институт

по вашим темам, а за пятнадцать лет это сорок пять миллионов! А что из этого получилось? Пшик! Чьи это деньги? Народные, деньги рабочих и колхозников. Почему вы не сказали раньше о том, что травы якобы не оправдали себя и у вас? Почему годами жили, присосавшись к теме, наплодивши „ученых“, подобных Карлюку, зная, что ничего не выходит из исследований? Разве вы не знали, что несколько выпусков студентов сельскохозяйственных вузов воспитаны на данных вашего института, что студенты выходили с „единственно правильной“ системой в голове и оказались теперь опустошенными, встречая на полях колхозов противоречие всему тому, чему их учили? И вы не посмеете ответить. Вам нечего ответить. Отвечу я, бывший когда-то вашим студентом.

Все это потому, что вы потеряли чувство гражданского долга, чувство чести. А теперь срочно „перестроили“ научные „убеждения“. Не было у вас никаких убеждений, нет их у вас и не будет в будущем, ибо вся ваша жизнь „большого“ ученого — это жизнь подхалима, замаскировавшегося цитатами, чужими обобщениями и чужими же исследованиями.

Вы не поняли, что после вашей последней статьи вы оказались голым. Голый человек на вышке науки! Слезайте, голый человек! Если этого не случится, то вы придумаете еще какой-нибудь новый шаблон в земледелии, у вас будет новая маска и вы во что-то оденетесь, присосетесь, чего доброго, к Мальцеву при помощи опытного в этих делах Столбоверстова и „талантливого“ ученика Карлюка.

*Ф. Егоров».*

Через неделю Филипп Иванович получил ответ из редакции: «… Ваше „Открытое письмо“ не может быть опубликовано в газете… оно грубо… Газета не может выражаться таким языком… Редакция согласна с критикой ошибок Вильямса».

Сначала Филипп Иванович приуныл. Задумался. Не знал он никаких правил писания подобных писем, не знал и газетного языка,

первый раз в жизни пришлось такое. Он думал: «А может быть, и действительно не полагается печатать такие письма? Но я-то не могу писать никаким другим языком».

Как это случилось, неизвестно, но письмо Егорова оказалось в обкоме партии. То ли редактор, несмотря на грубый тон письма, счел нужным посоветоваться в обкоме, то ли заведующий сельскохозяйственным отделом газеты был не согласен с мнением редактора и продвинул дело по партийной линии, но факт остается фактом — письмо попало сначала в отдел сельского хозяйства, а потом уж к первому секретарю. Егоров об этом знать не знал и ведать не ведал. А в отделе сельского хозяйства один товарищ прочитал вслух своему близкому товарищу, не подозревая того, что поблизости сидел сухощавый скромный человек, обладающий весьма острым слухом. То был Ираклий Кирьянович Подсушка. Он прибыл в обком для того, чтобы передать отчет Карпа Степаныча о деятельности своего тихого учреждения. Именно в то время настойчиво заговорили о каких-то ненужных «карликовых» научных точках, а в связи с этим обком потребовал отчета и от Карлюка. Одним словом, Ираклий Кирьянович сумел-таки ознакомиться с содержанием письма Егорова. Но он сделал вид, будто его ничего абсолютно не интересует, — он принес отчет, и только. Зато, выйдя на улицу, он заспешил и вскоре полушепотом передал Карлюку содержание письма в еще более густых красках, чем оно было в действительности.

— Боже мой! Какая подлость! — восклицал он, поднимая обе руки вверх. — Какая низость! Наклеветать в такое высокое место!

Карп Степаныч сопел. Пока только сопел. Состояния, близкого к обалдению, не было, но негодование, страх и уныние заполнили его благородную, мятущуюся сбоку науки душу.

Утром следующего дня в кабинет Чернохарова вошел Карлюк.

— Приветствую вас! — сказал он уныло.

— Приветствую вас, дорогой! — ответил Чернохаров, широко шагая из угла в угол и не остановившись при входе ученика. — Вы чем-то опечалены?

— Да, — ответил Карлюк и спросил в свою очередь: — А вы чем-то взволнованы?

— Извольте отвечать на вопрос. Гм…

— Вот, — сказал Карп Степаныч и положил на стол развернутые исписанные три листа. — Получена клевета, на вас лично. — Он хлопнул ладонью по бумаге. — Вот! Мне рассказали, а я восстановил по памяти.

— Кто рассказал? Когда рассказал? Куда клевета?

Карп Степаныч ответил на все три вопроса коротко:

— Подсушка. Вчера. В обком.

Чернохаров прочитал. Сел. Гмыкнул раза три подряд и произнес:

— Столбоверстова вызвать. Немедленно.

Через некоторое время, тяжело стуча каблуками, вошел Столбоверстов и, расплывшись в улыбке, поздоровался:

— Мое глубочайшее!

— Читайте, — сказал Чернохаров и сунул ему бумагу в руки, не ответив на приветствие.

Столбоверстов, прочитав, без обиняков стукнул кулачищем по столу и пробасил:

— Вот ч-чер-рт!

Все трое стали ходить по комнате. Чернохаров и Столбоверстов вышагивали по разным диагоналям кабинета, а Карлюк топтался в углу. При встрече на пересечении диагоналей оба профессора посматривали друг на друга вопросительно. Карлюк следил за обоими, стараясь уловить возможный исход их волнения. Его все больше и больше начинал сковывать страх. И он не очень смело спросил:

— А вдруг… он написал еще куда-то?

— Куда? — спросил Столбоверстов.

— Ну, скажем… в Академию сельскохозяйственных наук, — ответил Карлюк.

— Не страшно, — резюмировал Чернохаров.

— А если письмо попадет к первому? — догадывался Карлюк снова.

— Что-о-о? — громыхнул басом Столбоверстов.

— Возможно, — подводил итог Чернохаров. — Возможно. Гм…

— Привлечь за клевету, — внес предложение. Столбоверстов. — Ненавижу клеветников! Всегда ненавижу. Я никогда не писал на противника, я всегда указывал прямо и открыто: вот! — И он ткнул перед собой указательным пальцем вперед.

— Его исключили из партии. Он подал в ЦК жалобу. Теперь, пока его не восстановили, и привлечь за клевету, — настойчиво убеждал Карлюк.

А Чернохаров молчал. Казалось, он не слушает остальных двух. Он соображал. Через некоторое время сказал:

— К секретарю обкома, лично. Гм… И прощупать отношение. А потом… Гм… Смотря по обстоятельствам, написать жалобу на клеветника… секретарю обкома лично. Гм…

— И в ЦК — пока не восстановлен. Напишем? — спросил Карлюк.

— Это решим потом. Потом. Все! Гм… Гм… — закончил беседу Чернохаров.

— Сегодня к секретарю? — спросил Столбоверстов.

— Да, — ответил Чернохаров.

— Все втроем пойдем?

— Нет. Один пойду… Вечерком соберемся здесь же. Гм… Будьте здоровы!

Секретарь обкома Натов, встав из-за стола, вышел навстречу Чернохарову, пожал ему руку и попросил сесть. После этого сел сам.

— Я буду краток, — начал Чернохаров, заранее обдумав свою речь. — Ни у вас, ни у меня… гм… нет времени на длинные разговоры.

— Присоединяюсь, — добродушно сказал секретарь, повернувшись в кресле поудобнее и откинув ладонью седые волосы. Казалось, он тоже приготовился к краткому и точному разговору.

— Вот так, — продолжал Чернохаров. — Пришло время пересмотреть наши… гм… позиции в сельскохозяйственной науке. Гм… Ошибки учат.

— Вы о травопольной системе?

— И о травопольной… и о севооборотах, в частности… Гм…

— И что же вы предлагаете?

— Мы высказались в статье. Читали, надеюсь?

— Читал. Заметил — перестроились. Что же практически предложим колхозам по севооборотам?

— Видите ли… Этот вопрос предстоит изучить. Конечно, изучить пропашные севообороты.

— Простите! — Пра-кти-чески: какие севообороты будем рекомендовать колхозам разных зон?

— До обобщений опыта нельзя вот так, сразу, рекомендовать… Гм… А опыта еще мало. Надо изучить…

— Прошу извинить! У нас так много опыта с неправильными севооборотами и уродованием полей, что пора бы уже иметь и практические рекомендации от науки. Как, а?

— Да. Пора.

— Пора, пора.

Вместо короткого разговора получилось нечто неудобное. Чернохаров ничего не мог предложить «практически», а секретарю обкома до зарезу надо было выправлять свистопляску с севооборотами. Но Чернохаров уже упустил момент для начала разговора о клевете. Он попробовал возобновить начатую «короткую речь»:

— И вот, когда пришло время пересмотреть наши позиции и… гм… изучить. Клеветники стараются.

— Они всегда стараются, — заметил Натов. — Что вы имеете в виду?

— Чудовищный вымысел больного и озлобленного воображения.

— Опять не понимаю, — будто удивился Натов.

— Значит, у вас лично письма нет. Оно находится в отделе сельского хозяйства. Гм… Письмо Егорова… Агронома Егорова.

— А-а, вот оно что! Каким же образом вы узнали об этом? А?

Нет, Чернохарова не собьешь таким вопросом, он не ошибется. Он подумал, тряхнул животом и ответил:

— Сам Егоров и разболтал. Бахвалиться-то он мастер. Хвастун. Гм…

Натов внимательно еще раз посмотрел на Чернохарова, чуть подумал тоже. Что-то лукавое блеснуло у него в глазах на какую-то долю секунды и сразу же скрылось, он что-то уже решил, но продолжал тем же тоном, серьезным, прямым и в то же время добродушным:

— Письмо это у меня. — При этих словах он достал его из стола. — Та-ак… Письмо, вот оно. Та-ак. А кто такой Егоров?

— Бывший агроном.

— Ах, вот что! А ну, что тут написано? Та-ак. — Он пробежал глазами письмо, выхватил вслух отдельные фразы: — «Три миллиона в год… А что из этого получилось? Пшик… Может быть… не было свободной мысли… Голый человек…» — Он оторвался от чтения и сказал: — Ну что ж, подумаем.

— Но это же клевета, — возразил Чернохаров.

— Подумаем, — еще раз повторил Натов.

— Но… Гм…

— Да. Конечно.

— Значит, вы ничего пока не предпримете?

— По какому вопросу?

— По этому письму.

— Да при чем же тут я? Вы — ученые, агрономы — можете спорить, ругаться, доказывать, а мне важно, что из этого получится для практики сельского хозяйства, для колхозов и совхозов. А в результате этих споров все, что полезно для социализма, мы будем поддерживать и поощрять. А?

— Но ведь письмо — оскорбление!

— Если вы считаете оскорблением, защищайтесь.

— Простите! Могу ли я рассчитывать на вашу защиту?

— От кого вас защищать?

— От этого клеветника.

— От *бывшего* колхозного агронома?

— Да.

— Ну, знаете, если у профессора не хватит сил доказать рядовому, бывшему агроному, то обком… обком тут ни при чем. А?

— Да.

Последнее «да» Чернохаров сказал нечаянно. У секретаря была такая привычка — заключать высказанную в разговоре фразу вопросительным «а?», что означало: «Поняли ли вы мою мысль? Согласны ли с ней или будете возражать?» Но Чернохаров потерялся от неудачного разговора и так прямо и ляпнул: «Да». Этим он отрезал путь к дальнейшему разговору и встал.

Когда Чернохаров вышел из кабинета, Натов еще раз прочитал письмо, уже без улыбки, и, нажав кнопку звонка, сказал вошедшему помощнику:

— Вызовите мне агронома Егорова из колхоза «Правда».

— По какому вопросу?

— По личному. По моему личному вопросу.

Натов остался один. Задумался. Но думать долго было некогда — ждали приема многие. Он только мысленно резюмировал краткие размышления: «Перестроить работу научных учреждений области. От этого зависит многое — будут лететь миллионы на ветер или не будут. Не наплел ли тут Егоров как обиженный?» А в записную книжку записал: «Лично и тщательно обследовать райком и колхозы Н-ского района». Он снова нажал кнопку и сказал в открывшуюся дверь:

— Следующий.

А вечером у Чернохарова собрался триумвират. — Чернохаров точно и лаконично передал разговор с секретарем.

Все сидели некоторое время молча. Потом каждый сказал по одной фразе.

— Надо признать ошибки полностью, — сказал Столбоверстов решительно и окончательно.

— Надо бороться! — твердо, не свойственным ему тоном пропагандиста сказал Чернохаров.

— Страшно, — чуть слышно сказал Карлюк. На него, как и всегда в тяжелую минуту, нашло отчаяние. Он уже не верил ни Чернохарову, ни Столбоверстову.

Сказали они так, коротко, и разошлись: двое уверенные и непоколебимые в своей уверенности, а третий — с мучительным вопросом в голове: «Что-то будет дальше?»

Карп Степаныч после этого не спал двое суток подряд. Было страшно: он вообразил, что враг уже берет его за горло. На третьи сутки он уснул, но страшные сны мучили его так, что он встал утром совершенно разбитым.

Чернохаров заперся у себя в кабинете и думал.

А Столбоверстов всегда был на людях и басил чистосердечно:

— Ошибки свои надо уметь признавать. Кто ничего не делает, тот только и не ошибается. Ошибся — исправься! И все! Неужели нельзя понять простой логики? — При этом он разводил руками в недоумении и, в общем, не очень-то страдал.

Но лед шел и шел. И вот еще одна льдина ударила по Карлюку: закрыли — совсем ликвидировали! — Межоблкормлошбюро.

Сошлись они в последний раз с Подсушкой в своем умершем учреждении. Посидели-посидели вдвоем и с грустью посмотрели на две блестящие чернильные крышечки, напоминавшие о тихой заводи, в которой два друга спокойно и безмятежно прожили не один год. И Подсушка в глубокой печали спросил:

— Разрешите… на память… взять чернильную крышечку? — Голос у него дрожал.

— Возьмем, друг, по одной. Вы одну, и я одну. Будем помнить дни служения… науке.

— Будем, — эхом отозвался Подсушка.

Они тепло попрощались, долго-долго трясли руки, прослезились. Расстались они друзьями. Но, уходя от Карпа Степаныча, Подсушка оглянулся ему вслед — в последний раз! — и сказал так:

— Погоди, сукин ты сын! Я ведь напишу все — какой ты «наукой» тут занимался. Ты ведь теперь мне никто.

Вскоре Подсушка устроился конторщиком в каком-то далеком от науки учреждении.

Карп Степаныч искал работу. Ведь только подумать! Если бы была какая-нибудь специальность — дело другое: и токарь, и слесарь, и пекарь всегда найдут работу. А вот что делать свободному кандидату сельскохозяйственных наук? В институт — пока и думать нечего. На опытную станцию — мест нет. В колхоз агрономом — унижение. Все карты спутались. Думал-думал Карп Степаныч и надумал: «А пойду-ка я председателем колхоза!» Надумал так и подал заявление в обком партии первому секретарю. В заявлении написал: «…кандидат наук»… «желаю служить народу»… «богатый опыт имеется»… «но чтобы недалеко от города и с сохранением квартиры»… В общем, написал все очень толково. И уверенно ожидал решения, будучи убежден, что он приносит себя в жертву социализму.

И что же вы думаете? Отказали! Непонятно: людей просят — они отказываются, а Карп Степаныч сам просился — ему отказали. Ну просто тупик получился какой-то. На Карпа Степаныча стало находить что-то вроде помрачения. Он даже стал вышивать болгарским крестиком подушечки ради подавления скуки и тоски. А тут еще беда: Джон подох. Изида Ерофеевна ходила вся в слезах, убиваясь о Джоне и о муже.

Зашел как-то к Карпу Степанычу доцент Святохин (тот самый, смирнейший и вежливейший, соглашающийся со всеми). Он выложил свое полное согласие с новыми течениями в сельскохозяйственной науке и стал утешать:

— Все утрясется, утихомирится. Не такое бывало, а проходило. Глянет солнышко — обсохнете. И пойдет дело снова. Прошу вас: не падайте духом, не унывайте. Попробуйте читать лекции где-нибудь.

Карп Степаныч обнял Святохина. Тут же оделся и направился вместе со Святохиным устраиваться в общество по распространению знаний.

Представьте себе, не очень-то оказали доверие анкете Карпа Степаныча в этом обществе. А сказали так: «Выбирайте тему, прочитайте лекции в колхозах. Потом посмотрим».

И все равно Карп Степаныч повеселел.

## *Глава семнадцатая*
## В гуще жизни

Месяца через четыре, после успокоения Карпа Степаныча, из Н-ского районного отделения общества по распространению знаний в областное поступило отношение с просьбой выслать высококвалифицированного лектора для чтения антирелигиозных лекций «хотя бы на неделю». В этом отношении говорилось, что антирелигиозная пропаганда в районе запущена, а ученых кадров для этой цели нет.

Получили такое письмо в области, подумали, посмотрели список, позвонили одному, другому ученому. Оказалось: все ученые сильно заняты и в колхоз ехать никакие могут. Единственный ученый, которого можно использовать «на неделю», — это Карп Степаныч Карлюк. Его вызвали, побеседовали, снабдили брошюрой «Внутреннее строение солнца и звезд» и пожали руку. Он весьма вежливо откланялся, получил командировочные и стал готовиться к выступлению в колхозах на антирелигиозную тему на базе последних данных астрономии.

Так началась новая деятельность Карпа Степаныча Карлюка. Он приближался к жизни. Выражаясь распространенным языком, можно утверждать, что Карп Степаныч начинал изучать жизнь.

Перед тем как ехать в колхоз, состоялись семейные сборы. Было все предусмотрено. Изида Ерофеевна купила даже и резиновые сапоги на случай ненастья. Все могло быть. Таким образом, при наличии запаса одежды оказалось багажа много — три чемодана Как тут быть? Не брать же с собой носильщика в колхоз. Выход нашла опять же Изида Ерофеевна.

Она сказала:

— Поеду-ка я с тобой сама. Что ты сделаешь один!

— Пожалуй, — согласился Карп Степаныч.

После этого супруга купила еще два глиняных горшка, то есть две самые обыкновенные макитры.

— А горшки зачем? — спросил Карп Степаныч.

— Меду выпишем в колхозе. Сюда войдет килограммов пятнадцать — двадцать.

И поехали. Сначала поездом. Потом, со станции до района, на грузовике. Трудно. Устали. Остановились в районной гостинице, отдохнули. А затем уж Карп Степаныч отправился в районное отделение общества. Встретили Карпа Степаныча хорошо. Как-никак, а в район приехал кандидат сельскохозяйственных наук — случай довольно редкий. Карп Степаныч большую часть времени хранил глубокомысленное молчание и казался весьма респектабельным.

После всех приветствий и объяснений о состоянии антирелигиозной пропаганды ему сказали:

— Не мешало бы представить вас районному начальству.

— Что ж, можно, — согласился Карп Степаныч.

Председателя райисполкома не оказалось — уехал в район. Карпа Степаныча повели к секретарю райкома. Секретарь тоже собирался выезжать, но не успел — застали его.

Карп Степаныч представился.

— Карлюк, кандидат сельскохозяйственных наук, — сказал он, сгибаясь в привычную для него почтительную позу.

— Галкин, — назвался в свою очередь и секретарь, не сгибаясь, подобно вошедшему, а рассматривая его внимательно. — Вы из области?

— Да.

— Читать лекции?

— Да.

— Это хорошо. А позвольте спросить, как ваше имя и отчество? — Казалось, секретарь что-то вспомнил.

— Карп Степаныч, — ответил Карлюк. — А ваше?

— Николай Петрович.

— Очень приятно. Рад познакомиться.

Карлюку это знакомство не говорило ничего — он не знал Николая Петровича, никогда о нем не слышал. Но могут спросить: как же это все получилось? Куда девался Каблучков? Как оказался Николай Петрович Галкин секретарем райкома партии? Ответ простой. Заболел Каблучков. Вот взял и заболел сам собою. Пришел с выборов, где его «прокатили на вороных», а выбрали Галкина, лег на постель и сказал:

— Должно быть, я сделал все, что мог. — Потом подумал печально: — Ну и секретарь обкома — приехал и поставил все на голову, вверх ногами!

Каблучков искренне верил, что Галкин — ноги, а он, Каблучков, — голова. И заболел. Точных причин медицина так и не установила. Да и то сказать: причина-то вряд ли доступна определению медиков. Тут и просвечивание не объяснит ничего, если человек перепутал голову с ногами. Печально, конечно, но заболел.

Итак, лицо Галкина ничего не говорило Карлюку, ровным счетом ничего. А цепкая память секретаря помнила всю жизнь Егорова, помнила, следовательно, и роль в ней Карлюка.

— Так, так, — заключил он свои молниеносные воспоминания. — Значит, читать? Лекции?

— Читать. Лекции, — подтвердил Карп Степаныч.

— Что ж, хорошо. Поезжайте-ка в колхоз «Правда». Там, знаете ли, нужны лекции.

— Пожалуйста! Можно начать с «Правды».

— А вы предполагаете здесь задержаться?

— Командировка на две недели.

— Ну, хорошо. Хорошо. Посмотрим.

А когда Карп Степаныч вышел, Николай Петрович взял телефонную трубку и вызвал колхоз «Правда».

— Привет, Филипп Иванович! Живешь?.. Добро! Телятник кончил? Добро!.. Нет, сегодня к тебе не буду — ты сам с усам. А вот сюрприз тебе есть. Сегодня приедет лектор из области, кандидат…

Хорошо, говоришь? Неплохо. Принимай… Карлюка!.. Алло! Алло! Ты что, опешил?.. Как это так «выгоню»? Не горячись. Дай ему высказаться перед народом. Пусть… Как? Не пойдешь сам? Ну сам можешь не ходить, а секретарь парторганизации Боев пусть побудет обязательно, послушает. Не горячись. Бывай здоров!

Через несколько часов «Победа» мчала Карлюка в колхоз, мчала со всеми приложениями: с тремя чемоданами, двумя макитрами и Изидой Ерофеевной.

Первым делом Карп Степаныч обратился к счетоводу насчет выписки меда. Счетовод спросил:

— Сколько?

— Килограммов пятнадцать — двадцать, — ответил Карп Степаныч, помня о емкости макитр.

— Ордер выписать могу, а количество надо согласовать с председателем. Для вас, возможно, и разрешит.

— А где я могу видеть председателя? — спросил Карлюк.

— Он в кабинете у себя, но сказал — сегодня никого принимать не будет. Очень занят. Очень!

— А вы доложите: приехал лектор, кандидат сельскохозяйственных наук.

— Он знает. Но ему некогда. А насчет меда я сам зайду. Для вас, возможно, выпишет.

Карлюк подождал, сидя в комнате счетовода. Он думал: «Ну и бюрократ же председатель! Вот и подними с ними сельское хозяйство, с такими».

— Что? Меду ему? — спросил Филипп Иванович у счетовода.

— Просит двадцать килограммов.

— Дай-ка мне ордер! — И Филипп Иванович собственноручно написал: «Двести граммов».

Счетовод вышел из кабинета и сказал Карлюку:

— Пожалуйста! Я говорил, выпишет. И выписал.

Только не заметил Карп Степаныч ехидной улыбки на лице. Карлюк взял ордер и, не глядя, сунул в боковой карман, будучи уверен, что двадцать килограммов меда у него в кармане.

— Иди получи, — сказал он самодовольно Изиде Ерофеевне, придя на временную квартиру и подавая супруге ордер неразвернутым.

— Выписал? — обрадовалась Изида Ерофеевна.

— А как же! Цена плевая — копейки, что-то около трех рублей заплатил. Иди! Попросишь кого-нибудь из колхозников донести. Дай ему за это рублишко. Дай, дай! Ничего, дай!

Вскоре Изида Ерофеевна прибыла в кладовую с макитрой в каждой руке. Она подала ордер. Кладовщик Иван Григорьевич Кузин надел очки, посмотрел на ордер, повернул его и еще раз посмотрел с тыловой стороны, потом поверх очков посмотрел на макитры, окинул взором Изиду Ерофеевну.

Он не сказал ни единого слова, а взвесил кусочек меда, указал пальцем на него и только тогда произнес первое слово, сняв очки:

— Берите.

— Это что?! — воскликнула Изида Ерофеевна.

— Двести граммов меда, — холодно ответил кладовщик.

— Сколько?! — взвизгнула покупательница.

— Двести. На! Смотри ордер. — Иван Григорьевич перешел на ты, потеряв уважение к клиентке.

— Не нужен мне твой ордер! Ты что, мои горшки измазать медом хочешь?! Невежа!

— Нужны-то мне твои горшки, — спокойно ответил кладовщик. — Мне они хоть бы век не были, твои горшки. Мне все едино — чистые они или грязные, твои горшки. Подумаешь! Твои горшки! «Неве-е-жа»! Подумаешь, какая «вежа» приехала! Вас тут только допусти, вы весь колхоз выпишете по ордерам ни за копейку. Иди, иди! Мне некогда с тобой антимонии разводить.

Изида выскочила из кладовой, забыв макитры.

С этого и началось варение Карпа Степаныча в гуще жизни.

Наступил вечер. В клуб собралось народу уйма! Карп Степаныч взошел на сцену, чуть расстроенный поведением кладовщика и его обращением с супругой. Однако он утешился тем, что завтра можно исправить всю эту неприятность и осадить зазнавшегося невежу. Василий Сергеевич Боев (тот самый Вася Боев, бригадир тракторного отряда) объявил:

— К нам приехал кандидат сельскохозяйственных наук товарищ Карлюк. Он прочтет лекцию на антирелигиозную тему. — Вася обернулся к Карлюку и спросил: — Как называется ваша тема?

— О строении солнца и звезд, и есть ли бог, — ответил Карлюк.

— «О строении солнца и звезд, и есть ли бог», — повторил Вася. И добавил: — Просим вас, товарищи, слушать тихо. Вопросы задавать после лекции. Чтобы — культурно. Прошу! — обратился он к Карлюку.

Карп Степаныч стал за трибуну. Перед ним сидела публика разных возрастов — от семилетних ребят и до глубоких стариков. Были здесь и празднично одетые и просто в рабочей одежде. Начал он свою лекцию уверенным баском. Он говорил о туманностях, о том, как они образуются, как во вселенной нет ни начала, ни конца и какая земля маленькая по сравнению с большими звездами. Но говорил он не «от себя», а по брошюре «Серия № 3» издательства «Знание». Он старательно переписал опубликованную в брошюре лекцию и читал ее, как свою, добавляя лишь слово «товарищи»:

— «Принято считать, товарищи, что атом кислорода имеет атомный вес, равный в точности шестнадцати элементарным единицам, товарищи. Одна шестнадцатая доля массы атома кислорода принята за единицу, товарищи… Масса атома водорода равна единице и восемьсот двенадцать стотысячных, а масса нейтрона — единице и восемьсот девяносто три стотысячных. Товарищи! Если выразить массу протона в граммах, то она окажется, товарищи, чрезвычайно малой, а именно: один и шестьдесят семь сотых умноженное на десять в минус двадцать четвертой степени грамма, товарищи». — И он написал на доске мелом: $1{,}67 * 10^{-24}$.— Понятно, товарищи? — спросил он, не ожидая ответа.

— Понятно, — неожиданно откликнулся Пал Палыч Рюхин. — Валяй дальше.

— Тише! — предупредил Вася Боев и постучал о графин, давая этим понять о неуместности реплики.

Карп Степаныч продолжал:

— «Вещество, находящееся в недрах звезд, является смесью быстро движущихся частиц: атомных ядер, электронов и частиц излучения — фотонов. Здесь господствует полный… „беспорядок“… столь непривычный для „земной“ действительности… Обратимся к так называемому уравнению Клайперона. — Карп Степаныч написал мелом уравнение. — Это уравнение связывает давление, товарищи, плотность и температуру так называемого идеального газа, товарищи».

Кто-то громко вздохнул. Кто-то кашлянул. Кто-то неожиданно зевнул, громко, с потягом.

Василий Сергеевич написал лектору записку:

«Закругляйтесь. Могут не выдержать. Я свой народ знаю».

Карп Степаныч прочитал записку, посмотрел на Боева, на публику и спросил:

— Вам понятно, товарищи?

— Понятно! — ответил кто-то из задних рядов. — Давай теперь про бога.

Но лектор еще целый час продолжал все в том же духе.

Под конец лекции он заговорил «от себя»:

— Итак, товарищи! Вселенная не имеет ни конца ни краю. Вот почему и нет бога: ему жить негде… А троица, ваш престольный праздник — бог-дух, бог-отец, бог-дед, — это от язычников осталось. Благодарю за внимание. — И Карп Степаныч поклонился в зал.

Пал Палыч Рюхин, поскольку он сидел в передних рядах, встал со скамейки и тоже поклонился лектору, уже из зала. При этом Карп Степаныч подумал: «Вежливые люди!»

— Какие будут вопросы? — спросил у публики Василий Сергеевич.

Сначала публика задвигалась, зашевелилась. Потом как-то сразу и затихла. Вопросов не было. Только один престарелый колхозник проскрипел:

— «Бог-дед» — нету такого. Бог-сын есть. А бог-дед не бывает.

— Ну что ж, задавайте вопросы, товарищи! — обратился еще раз Боев.

И вот из глубины зала зазвучал почти детский голос мальчика:

— Почему Меркурий обращен к Солнцу всегда одной стороной?

Стало еще тише. Карп Степаныч молча поднял глаза в потолок, будто обращаясь к небу. Он вспоминал. Потом переспросил:

— Меркурий?

— Да, Мелкурий, — подтвердил Пал Палыч Рюхин. — Почему так? Давай, давай, Васька! — обратился он туда, откуда был задан вопрос.

— Видите ли, дорогие и многоуважаемые товарищи! Меркурий, конечно, планета. Так? Планета. А раз она, планета, вращается, то, значит, вращается она с одной стороны, а с другой стороны… нельзя

так думать, что она… не вращается. Отсюда вывод: даже астрономы не могут сказать «почему», а я не астроном.

— А кто же? — спросил голос.

— Кандидат сельскохозяйственных наук.

— А это что — кандидат?

— Степень такая есть, ученая, — ответил Карлюк.

— А-а! — протянуло сразу несколько голосов.

— Одним словом, по сельскому хозяйству?

— Да.

— А чего же это вам, дорогой товарищ кандидат, пришлось по звездам-то читать? Вы бы и говорили по сельскому хозяйству. Оно нам сподручнее понимать.

Это сказал тот самый кладовщик, Кузин Иван Григорьевич. Здесь он был без очков, потому что видел хорошо. Вообще говоря, Иван Григорьевич — личность в колхозе приметная. Лет ему под семьдесят. Бородку носит клинышком, ходит в помятой шляпе. С первых дней организации колхоза и до настоящих дней он с удовольствием разъясняет колхозникам новости из газет и журналов. В бога он совсем не верит, ни капельки. А самое главное, до почтенной старости спокоен и… маленько хитроват. Это он переключил лектора на сельскохозяйственную тематику в надежде на то, что удастся его «прощупать». Так и звучала в его словах нотка: «А ну-ка, что ты за птица!»

И он после паузы добавил:

— По-моему, надо бы вопросы и по сельскому хозяйству и про бога. Увязать надо.

Кто его знает, что скрывалось под этим предложением! У Ивана Григорьевича никогда не угадаешь.

— Увязать! — поддержала его публика единодушно.

— Пожалуйста! — согласился Карлюк, уже изрядно взмокший от первых вопросов.

— Не-ет, — возразил Пал Палыч всем сразу. — Сперва надо выяснить про Мелкурию. Почему она так? Мало ли что она планида! А почему одной стороной? И мне желательно знать. Может, он, бог-то, на той стороне, товарищ депутат.

— Не депутат, а кандидат наук, — поправил его Иван Григорьевич Кузин.

— Ну и что ж из этого? — возражал все-таки Пал Палыч. — А про Мелкурию выяснить надо все равно. Мы только первый год получили по два кило хлеба. Теперь и про Мелкурию интерес есть узнать. Выяснить обязательно.

— Наукой не установлено, — сказал Карп Степаныч, чтобы отвязаться от назойливого водовоза.

Почему — неизвестно, но легкие смешки запорхали в зале из угла в угол. Зал загудел.

— Тише, тише, товарищи! — остановил Василий Сергеевич Боев. — Не волнуйтесь! Выясним. Для ответа имеет слово ученик девятого класса Костров Виталий. Давай, Виталий!

— А я тут при чем? — смущенно спросил юноша из третьего ряда.

— Ну, не скромничай. Выручай, — уговаривал Боев и улыбался.

Виталий вышел. Стал около стены. Заложил руки назад и ломающимся баском объяснил коротко:

— Меркурий делает оборот вокруг своей оси за восемьдесят восемь суток. За такое же время он вращается и вокруг солнца. Поэтому солнце освещает всегда только одну сторону. — Виталий решил, что это не очень понятно. Он взял у ближайшего мальчика (из тех, что торчали всегда около сцены) кепку за пуговку и, обведя ее вокруг лампочки, показал, как при вращении Меркурия освещена одна сторона. — Вот! — заключил он.

— Ясно? — спросил у публики Василий Сергеевич.

— Ясно! — откликнулся дружный хор голосов.

— Так. Переходим к следующим вопросам. Кто имеет слово?

— А ну-ка, дай мне слово, Василий Сергеевич, — попросил Иван Григорьевич Кузин.

Почему-то все переглянулись, и многие улыбнулись. Все знали спокойствие и хитрецу кладовщика.

— Что ж, товарищи, у меня вопрос простой, — начал Иван Григорьевич. — Раз вы специалист по сельскому хозяйству, то и вопрос мой будет насчет сельского хозяйства. Он и к богу касается, поскольку, как говорит легенда, бог создавал все самолично. Ну-с… Возьмем, товарищи, обыкновенную овцу. Можно?

— Пожалуйста! — сказал в изнеможении Карп Степаныч.

— Ну-с… У моей старой овцы в верхней челюсти остались только два резца. А сколько у нее бывает резцов в верхней челюсти — не знаю. — Иван Григорьевич сел, захватив клин бородки в горсть, и стал ждать ответа.

С Карпа Степаныча повалил пот ручьями. Он то улыбался, то становился серьезным, выражение его лица менялось ежесекундно. Все увидели замешательство кандидата, и все ждали: что-то он скажет на вопрос Кузина?

И Карп Степаныч пошел напролом, наугад, догадавшись, что хуже того, что было, уже не может быть.

— Шесть или восемь — не помню, но обязательно четное число.

Громкий хохот встряхнул здание клуба так, что задребезжало стекло за сценой. Карп Степаныч сел. Платок, которым он вытирал лицо, стал совсем мокрым, поэтому наш кандидат вытирался просто рукавом. Было очень похоже, что он уже ровным счетом ничего не соображал. А зал хохотал.

Почем было знать Карпу Степанычу, что у овцы в верхней челюсти не бывает резцов совсем, от рождения! Конечно, тут и не особенно сложно, если знать. Но вся беда-то в том, что он этого не знал. Да и не мог знать. Он ведь окончил в институте полеводческое отделение. Это вполне понятно — у нас готовят агрономов очень узкой специальности. Поясним более точно. Бывает агроном-полевод — он не знает ничего о животноводстве. Бывает зоотехник — этот мало соображает по полеводству. Бывает просто садовод или просто овощевод — эти еще «уже». И так далее. Вполне возможно, будут специалисты такого профиля: гусятник (только по гусиному вопросу), овчатник, курятник, а в овощеводстве — чесночник, огуречник, тыквенник и тому подобное. Ведь случается порой — соберутся такие специалисты в колхозную бригаду и ну требовать, ну трясти душу бригадира. И главное, требуют, чтобы бригадир комплексной бригады знал все: и полеводство, и животноводство, и садоводство, и овощеводство — все, все! А они — каждый только свое.

Но смеялись тогда здорово. Конечно, такого беспорядка Василий Сергеевич Боев допустить не мог. Хотя и смеялся сам. Он позвонил карандашом о графин и остановил всех такими словами:

— Товарищи! Где вы находитесь? Вы находитесь в клубе. Надо культурно. Так нельзя.

И все успокоились. Тогда Пал Палыч спросил:

— Значит, ты, товарищ, — кандидат?

— Да, — жалобно ответил Карп Степаныч.

— Раз ты, товарищ, не в курсе, то так и должон сказать: я, мол, пока не агроном, а только кандидат, — поучал уже его Пал Палыч.

— Кандидат — это больше, — пробовал возразить Карп Степаныч.

Куда там! Разве Пал Палычу возразишь? Он тут же пояснил:

— Мало ли что больше. Ну, хуже, значит. У нас вот есть настоящий агроном — теперь он председателем колхоза, Филипп Иванович Егоров. Так того сразу видать — агроном, а не какой-нибудь там кандидат.

Карп Степаныч привстал. Потом присел. Потом еще раз привстал, а сесть уже не смог. Он только и спросил тихо, убитым голосом, выдавленным из пересохшего горла:

— Егоров? У вас? Председателем?

— Да. Егоров, — ответил Василий Сергеевич.

Карп Степаныч пошел со сцены. Он быстро зашагал к выходу, ни на кого не глядя. Зал молчал. Карп Степаныч мысленно повторял про себя одно только слово: «Восстановили! Восстановили!»

Он немедленно потребовал в письменном виде, чтобы его отвезли на станцию.

Но машину подали только ранним утром. А когда автомобиль отъезжал от квартиры, двое бежали за ним, махали руками и какими-то круглыми предметами. Встречные колхозники, идущие на работу, делали шоферу знаки, показывая назад. Он остановился и увидел: позади бежали старик, Кузин Иван Григорьевич, и мальчик. Они кричали:

— Макитры-ы! Макитры-ы! Макитры забыли-и!

Как только Карп Степаныч услышал эти крики, он приказал:

— Немедленно вперед!

И остались макитры колхозу на память.

Теперь Иван Григорьевич показывает их приезжим и говорит:

— От кандидата остались. Макитры-то научные!

Иногда приезжий спросит:

— Ну, как он из себя-то, кандидат-то?

Иван Григорьевич отвечает коротко:

— Представительный!.. — И махнет рукой: дескать, не нашего ума дело обсуждать человека ученой степени.

Так-то вот и окунулся Карп Степаныч в гущу жизни. Не жизнь, а одно переживание.

В район он не заезжал, а прямо на станцию.

Точно не знаем, но в общество по распространению знаний Карпа Степаныча, кажется, не приняли. Не сумели и там оценить человека.

## *Глава восемнадцатая*
## Потрясение мозгов

Не будем заниматься описанием того, как Карлюк с супругой ехали домой, как они доехали, как переживали. Важно одно: земля закачалась под ногами Карпа Степаныча. Пока он сидел в вагоне, или в автомобиле, или в гостинице — то есть на чужом месте, — качания земли под ногами не было заметно. Но как только он начинал ходить, земля начинала качаться под его же собственными ногами. Это было очень странно для Карпа Степаныча. Он даже иногда останавливался, некоторое время стоял неподвижно с таким же философским выражением лица, с каким дети сидят на горшочке, а потом спрашивал у жены:

— Иза! Под тобой качается?

— Не-ет, — с удивлением отвечала та.

— А подо мной качается. Отчего бы это стало?

— Устал ты. Отдыхать надо. И волнения…

Изида Ерофеевна еще в пути начала замечать, что с Карпом Степанычем творится неладное. А дома это стало еще отчетливее заметно — на Карпа Степаныча напала сонная болезнь. Спит, спит он, встанет — поест. Поест и снова засыпает. Кажется, если бы его не будить, то он во сне и ел бы. Редкое явление! Но медики утверждают, бывает. А старые люди говорят, что такие сонливые иной раз даже и изрекают кое-что.

В таком состоянии он пробыл несколько дней. А потом, наоборот, спал мало, не более восьми часов в сутки, то есть только ночью. Днем же ему, оказалось, делать нечего. И он стал поэтому думать. И чем больше он рассуждал, тем сильнее земля качалась под ним и тем все более странные мысли он начал высказывать. Мысли чаще всего

выходили в виде вопросов к супруге и выяснялись в итоге двухсторонней беседы. Иной раз он спросит:

— Иза! А как ты думаешь о происхождении слова «сметана»?

Видно, он долго думал над этим вопросом, но не решил.

— Сметана? А кто ж ее знает… — отвечала супруга.

— Вот видишь, какие у нас ограниченные знания.

— А на что мне знать? Сметану просто можно купить на базаре и без всякого происхождения.

— Так-то оно так, но знать надо. Все это наука и… жизнь.

— Да брось ты думать, — просила Изида Ерофеевна, замечая все более ненормальное поведение мужа. — Пожил бы в покое месячишко.

Карп Степаныч вздыхал и говорил:

— Мысли не остановишь. Человек в них не волен.

Проходило некоторое время, и Карп Степаныч снова обращался к супруге:

— Плохо ты сказала Егорову… Тогда-то… Помнишь?

— Это о брони, что ли?

— То-то вот и оно. — И снова вздыхал. Снова мучительно думал, сидя неподвижно и смотря в одну точку. Потом задавал вопросы снова: — А может быть, я бесполезно и старался с этими диссертациями-то?

— Да плюнь ты на все! Отдохни…

А Карп Степаныч все вздыхал и вздыхал. Вздыхал все печальнее и печальнее. Изида Ерофеевна смотрела на мужа удивленно и думала: «Никогда с ним этого не было. Что-то неладное у него с мозгами».

За завтраком, во время еды, он вдруг переставал жевать и спрашивал с набитым ртом:

— А может быть, мне бросить всю эту науку и…

— И заняться каким-нибудь делом, — пыталась завершить мысль супруга.

— Так-то оно так, но… — И Карп Степаныч что-то не договаривал, замолкая и вновь жуя.

После еды сидел, молчал и думал о своем положении. И чем больше думал, тем все более ненормальные возникали вопросы. Однажды он спросил:

— Иза! А как ты думаешь: почему меня не назначили председателем колхоза?

— Не знаю, милый, не знаю.

— Вот и я не знаю. Хорошо это или плохо — что не назначили?

— Не знаю, Карик, не знаю.

Раньше Карп Степаныч не раздумывал над тем, что хорошо и что плохо: впереди была ясная цель — диссертация, а все остальное расценивалось с точки зрения пригодности или непригодности для этой цели. Теперь, оказалось, цель потеряна. И появились ненормальные для него мысли.

Он как-то проснулся среди ночи, сел на кровати, потрогал Изиду Ерофеевну и спросил:

— Ты тут?

— Тут.

— Разбудил я тебя?

— Разбудил, — спросонья отвечала жена. — А что?

— Возник вопрос: в партию меня могут принять? Или не могут?

— Вряд ли… Не знаю, Карик.

— Может, подать заявление? А? Раскаяться во всем… признать ошибки… И сказать, что меня надо послать не в науку, а… Куда бы это меня послать?

Супруга не отвечала, так как тоже не знала, куда его можно послать. Она просто засыпала. В мучительном раздумье засыпал и Карп Степаныч.

Так прошло недели две. Карп Степаныч совсем замолчал. Никуда не выходил. Он забился, как осенняя муха в щель, и даже не пытался смотреть на мир божий.

Однажды пришел неунывающий Святохин. Он решил навестить товарища и утешить. Пришел, позвонил, стоя у двери, на лестнице. В это время Изиды Ерофеевны дома не было (ушла на базар), поэтому Карп Степаныч сам лично вышел в прихожую и спросил через дверь:

— Кто?

— Будьте любезны открыть. Святохин. Святохин я.

— Вам кого?

— Да вас же, вас! Карпа Степаныча Карлюка!

— Его нет дома, — четко ответил Карп Степаныч и решительно отошел от двери. На повторные звонки он не вышел.

Святохин встретил Чернохарова, покрутил пальцем около лба и сказал:

— Карлюк-то того… Не выдержал.

— Да ну? — забеспокоился Чернохаров. — Надо сходить к нему.

А Карп Степаныч все думал, и думал, и думал. И молчал. Только один раз он спросил у Изиды Ерофеевны, перед тем как задремать в кресле:

— Я человек или не человек?

— Что с тобой? — И жена заплакала.

Карп Степаныч неожиданно закричал на всю квартиру:

— Ты отвечать будешь или не будешь?!

— Конечно, человек. Настоящий человек. Все как у человека, — сказала Изида Ерофеевна и подумала: «Врача!»

Ее ответ немного успокоил горячую работу мозга ученого мужа, и Карп Степаныч задремал.

Изида Ерофеевна отправилась за врачом.

Так, стараясь понять свое положение, Карлюк сошел с ума. В отдаленных тайниках мозга — где-то в самой-самой глубине! — попытался было проснуться человек. И Карп Степаныч сошел с ума — не выдержал.

В том, что он попал в сумасшедший дом, ничего страшного не было: он не был там буйным. Вел себя тихо и прилично. Только иногда он становился на четвереньки, изображая, видимо, лошадь, и медленно топтался из угла в угол, потом останавливался посреди комнаты и тихо, четко произносил длинное научное название своей темы.

И — все. Был в свое время кандидат — Карлюк Карп Степаныч, но в нем не было человека. Потом попробовал проснуться в нем человек — не стало кандидата, Карлюка Карпа Степаныча. Так и не могли они жить вдвоем: либо один, либо другой.

Все это очень печально… Очень! Трудная обстановка получилась в науке.

## Эпилог

Прошло четыре года. Много произошло разных изменений в жизни, много ликвидировано ненужных учреждений и комиссий. Много полезного сделано и в сельскохозяйственной науке. Диссертации теперь защищают совсем по другим правилам, а не по тем, что составил Карлюк.

Кстати, о Карлюке. Был слух, что он выздоровел и уехал в неизвестном направлении. Давно уж нет Межоблкормлошбюро, а Карпа Степаныча все помнят, даже анекдоты о нем рассказывают. Долго он будет жить в памяти современников.

Жизнь идет.

Ефим Тарасович Чернохаров работает все в том же институте, так же читает лекции, но уже по другим конспектам. Он теперь признает единственно правильной системой только систему Мальцева; он и опыты ставит только с приемами из системы Мальцева, не сравнивая их с приемами из Вильямса. Он так же продолжает борьбу с Герасимом Ильичом Масловским. И если Масловский говорит, что новая система земледелия на черноземах должна слагаться из народного опыта и из таких приемов Вильямса и Мальцева, которые полезны в данной местности, то Чернохаров называет Масловского «оппортунистом в науке» и говорит, что он якобы сидит на двух стульях. Так-таки и народилось новое слово-ярлык! Но нет уж той львиной силы у Чернохарова. Он стал раздражительным и еще более угрюмым. На экзаменах теперь смотрит студенту не в лицо, а на носки ботинок. Аудитория его становится все малочисленней. Что-то будет!

Столбоверстов тычет перстом в Герасима Ильича Масловского и басовито бубнит:

— Соглашатель в науке! Он ищет безобидной серединочки.

Говоря о Столбоверстове, необходимо сделать предварительное сообщение о новом научном достижении: открыты флюгероиды! Мы не можем пройти мимо этого вопроса, весьма интересного, требующего самого пристального внимания исследователей. Поэтому попытаемся дать краткое и абсолютно научное изложение этого вопроса.

Флюгероиды — особая порода людей. К этой породе, по последней классификации, отнесен и Столбоверстов. Среда пока не оказывает никакого влияния на изменчивость этого вида. Хотя подобная консервативная устойчивость и противоречит некоторым правилам, установкам и постановлениям, но… в жизни бывает. Флюгероиды, как показали исследования, чрезвычайно живучи, выносливы и весьма устойчивы против неблагоприятных условий погоды. В этом аспекте и наши исследования, вероятно, должны быть продолжены более компетентными лицами. Этот вопрос предстоит

изучить, углубить и обобщить. О, работы тут еще много! Потребуются коллективные усилия многих ученых.

Чуть не забыл! У Чернохарова появился новый научный сотрудник, Кульков — юркий, пронырливый молодой человек. Он недавно окончил институт, но приметил его Чернохаров с первого курса и оставил при себе (так когда-то он обласкал Карпа Степаныча). Так вот этот самый Кульков теперь точно выполняет все указания Чернохарова. Если Ефим Тарасович велит уничтожить травы, Кульков их уничтожает, если же Чернохаров велит их сеять вновь, сеет. Если Ефим Тарасович велит вырубить замечательную дубовую лесополосу, посаженную квадратно-гнездовым способом по методу Лысенко, то Кульков вырубает аккуратно, под корень, чтобы знаку не было. Если Ефим Тарасович скажет «переплавить предплужники как отрыжку системы Вильямса!», то Кульков сваливает все предплужники в металлолом и отправляет в утильсырье по две копейки за штуку. Если же в какой-либо части области родится яровая пшеница, то Ефим Тарасович пошлет туда Кулькова, чтобы *доказать*, что она там сейчас не родится, не может родиться и не будет родиться и что все селекционеры яровой пшеницы суть люди ненормальные. В общем, он выполняет все в точности и аккуратности. О кандидатской диссертации он уже начинает заботиться сейчас. Вполне возможно, что со временем Кульков округлится, располнеет и приобретет вид настоящего ученого. Он сейчас трудится не покладая рук. Поэтому в науке он может еще много… накуролесить.

Впрочем, молодые научные работники почему-то не очень любят вступать в общение с Кульковым. Наоборот, появились на научных советах и, представьте себе, возражают. Даже Чернохарову — Чернохарову! — возражают.

Как-то встретились Столбоверстов с Чернохаровым и разговорились по душам.

— Ну как? — спросил Столбоверстов.

— Да так… Гм… — ответил Чернохаров.

— Шумят?

— Гм…

— Уже не подремать на ученом совете. Эх-хе-хе!

— Эх-хе-хе! — вздохнул и Чернохаров.

— Надо подпрягаться.

— Возражаю. Гм… Наоборот… Мы должны вести.

— Будьте здоровы!

— Всего доброго!

Такой довольно откровенный разговор глубоко запал в душу каждого. Они этой беседой констатировали:

а) что-то такое произошло в науке, б) обсуждение этого вопроса не имеет смысла, в) отсутствие взаимопонимания по принципиальному вопросу. А разойдясь после этой встречи и оглянувшись, каждый из них тихо произнес в адрес друг друга по одному слову.

— Колода! — сказал Столбоверстов.

— Арап! — сказал Чернохаров.

Ведь вот до какой грубости можно дойти в научном запале. Просто даже и не знаешь, что с ними будет дальше.

Святохин все тот же: ласковый, соглашающийся со всеми и весьма вежливый, корректный, сияющий своей лысиной. «Ласковый теленок двух маток сосет» — мудрейшая пословица!

Герасим Ильич Масловский хотя и постарел, но такой же бодрый, такой же непримиримый. Он все ищет пути улучшения жизни деревни. Он все так же продолжает биться за действительную, настоящую науку. Герасим Ильич часто бывает в колхозах, а уж мимо колхоза «Правда» не проедет никогда: там все так же председательствует Егоров Филипп Иванович, уже защитивший кандидатскую степень.

Недавно они встретились на колхозном поле, председатель и профессор. Обнялись. Долго беседовали, ездили по полям и фермам. Филипп Иванович тоже мало изменился, такой же горячий. Это он держал за пуговицу Герасима Ильича и, разрубая другой рукой воздух, отчетливо говорил:

— Согласен с вами! Колхоз дружно идет в гору. Все пошло в гору. Все. Но… — Филипп Иванович осекся. Он уже начинал почему-то волноваться, выпустил пуговицу профессора и уже нервно теребил колоски.

— Что «но»? Давайте, выкладывайте.

— И скажу. — Филипп Иванович сорвал колосок и бросил наотмашь. — Но почему до сих пор продолжается свистопляска с севооборотами? Севооборотов-то в районе фактически нет, за редкими исключениями. Они на бумаге, и то не всегда. Почему?.. Почему еще

подвизаются шаблонщики и неуместным применением системы Мальцева иногда порочат идею этого ученого? Почему? — Филипп Иванович уже горячился. — Я бы смог вам перечислить десяток таких «почему».

— На все подобные «почему» ответ один: шаблон — следствие отрыва теории от практики. Шаблон в сельском хозяйстве — штука опасная.

— А сколько лет мы это слышим?

— Да не перебивай, пожалуйста! Что за привычка, ей-богу, — закипятился и Герасим Ильич. — Надо сделать так: каждый ученый, каждый научный сотрудник — каждый! — должен быть связан с колхозами, должен знать колхоз или совхоз, должен жить этой жизнью. Иначе нельзя. Жить!

— Во! — воскликнул Филипп Иванович восторженно. — Тогда и в сельскохозяйственной науке все станет на свое место. Уж не будут «упражняться» на земле псевдоученые и псевдоустроители севооборотов.

— Почему именно тогда они не будут упражняться? — спросил Герасим Ильич уже спокойнее.

— Потому, что их прогонит, просто прогонит единственный хозяин колхозной земли. — И Филипп Иванович показал, как это будет: он загреб рукой воздух, выбросил наотмашь и подтолкнул коленом.

Герасим Ильич посмотрел вдаль, на волны хлебов, и, задумавшись, произнес:

— Поле волнуется.

Так они оба все принимают к сердцу, оба всегда в напряжении, иногда мучимые бессонными ночами. И нет им покоя. Да и хотят ли они покоя?.. Разум человеческий как река — он обретает покой только в движении.

Жизнь идет. Она стучится в сердце каждого. Иное сердце отзовется, а иное останется глухим. Но все равно жизнь идет.

*1957*

# Экзамен на здравый смысл

Вы хотите, чтобы я рассказал вам что-нибудь интересное. К сожалению, мне трудно вспомнить такое, что было бы интересно. Я ведь тридцать с лишним лет пробыл в поле. Что у меня может быть интересного? Ничего не может быть. Так, пустяки какие-нибудь — могу, пожалуй… Кстати, вы несколько минут тому назад заговорили о снах. Вы только сейчас сказали мне, что видели во сне таракана, и спросили: «К чему бы это приснилось?» А ни к чему, скажу я вам. Так просто — извращенное отражение усиленной работы отдыхающего мозга. Какие бы то ни были сны — не верьте им. Прошу вас, не верьте снам. По собственному опыту знаю — блажь одна.

Чтобы доказать это, расскажу вам, как мне приснилось такое, чего и в жизни-то не бывает никогда, да и не может быть. Хотите расскажу? Все равно нам с вами, молодой человек, сидеть в этой заброшенной тракторной будке до тех пор, пока не перестанет дождь и пока наш грузовик какая-нибудь добрая душа не вытащит на буксире. Ну, если вы охотно согласитесь, буду рассказывать, что мне приснилось.

В тот день, задолго до отхода ко сну, конечно, я занимался реальными делами, а не какими-нибудь глупостями: читал старинную книгу, которую подарил мне мой бывший учитель и навечно друг профессор Ухломский. Люди, утверждающие, что чтение старинных книг — глупости и вредный уход от современности, никогда не поймут меня. Бог с ними! Я все-таки читал старинную книгу издания тысяча восемьсот двадцать пятого года. И не только читал, а и долго думал о ней, после, до самого того момента, как уснул. Вам, конечно, хочется знать, что же такое я думал перед сном. Не могу точно припомнить всего, что мне приходило в голову. Потому что, когда я мыслю много и долго, то забываю почти все; когда же я думаю мало или совсем ни о чем не думаю, то помню все. Хотите верьте, хотите нет, но это так.

Мало ли людей на белом свете ни о чем не думающих, но все-таки помнящих, и все понимающих, и обо всем рассуждающих? Есть такие. В чем же дело? Почему именно я должен помнить все, о чем думал?

Представьте себе, в голове остались только воспоминания, почти не касающиеся содержания книги. Забыл сказать, что та самая книга

написана о сельском хозяйстве (название очень длинное, вы его узнаете после). Но я не забыл и до сих пор, что тогда, за время моего длительного размышления, вспомнил некоторых людей, с которыми вместе работал или непосредственно им подчинялся по научной инстанции. Кстати, к научной работе я имел некоторое отношение. Какое? Это неважно. Не имеет значения. Каждый человек должен пахать свою борозду. Следующий за мной тоже пашет свою борозду, но заваливает мою новым пластом. Так что я не удручаюсь, если моей борозды не будет видно, зато общая пахота получается взрыхленная и урожайная. Я — лемех в многокорпусном плуге. Лично меня это вполне устраивает… Вам, может быть, не очень интересны мои отступления? Так вот я и хотел сказать, что к научной работе имел отношение и имею по сей день, как вам известно. Поэтому, видимо, я и вспомнил тогда перед сном, после чтения книги, некоторых своих коллег.

Работал я в Астрахани, работал и в Курске. В Воронеже тоже. Так что знакомых у меня всюду много. Я помню многих ученых и директоров опытных станций и просто рядовых научных работников. И всех их уважал и уважаю за то, что каждый из них вносил что-то новое в науку. Правда, кое-кто из них перестраивал что-то и в поте лица исправлял своего предшественника, заваливая его борозду иной раз начисто, а иной раз с огрехами. В последнем случае чаще всего борозда была мельче предыдущей. Это бывало. Не очень часто, но бывало. Вспомнил я тогда и товарища Глыбочкина, директора опытной станции, открывшего новейший прием агротехники — боронование всходов. По его утверждению, после этого открытия колхозы в те времена сразу стали зажиточными. Товарищ Глыбочкин, представьте себе, очень любил делать доклады и сообщения и страстно, до упоения, увлекался этой в высшей степени интересной исследовательской работой. Он, правда, был мал ростом и достаточно щупл для того, чтобы назвать его мизерным, но я его уважаю. Тем более много лет спустя он стал-таки кандидатом наук. Но в этом я не очень уверен, а врать не хочу.

Вспомнил и товарища Серобелохлебинского, тоже директора опытной станции. Он впоследствии стал доктором. Но не в этом суть. Товарищ Серобелохлебинский своими многотрудными делами поднял опытную станцию на высоту ни для кого не досягаемую, так как никто

не мог постичь, чем в те времена там занимались. Этот был, наоборот, высок ростом, угловат и костист, угрюм, очень редко улыбался. Злые языки утверждали, будто мозг его не изнемогал от умственных упражнений, но как этому верить, если в мозги посторонней личности проникнуть пока невозможно. Не столь важно, каков он был, но я его уважаю за глубокомыслие и сосредоточенность на одном и том же объекте в течение многих лет. Он, например, готовил свою диссертацию всем коллективом станции, то есть *сосредоточил* почти всех на этом объекте. В наше время такие весьма сосредоточенные люди встречаются редко. Вы хотите возражать? Вы думаете, есть еще такие? Думайте себе на здоровье. А я остаюсь при своем мнении: таких хороших людей почти уже нет. Кто из нас с вами оптимист и кто пессимист — не будем спорить. Если вы считаете, что они есть, то пожалуйста. Будем терпимы друг к другу. Если же я, допустим, увижу, что они есть, то обязан все равно сказать «нет», поскольку нахожусь в подчинении, и вы мне можете не поверить. Имейте свое собственное мнение. Зачем спорить! Лучше давайте уважать мнения друг друга.

Минутку! Я ж тогда, перед сном, держа в руках открытую книгу, вспомнил еще одного человека. Помилуев! Товарищ Помилуев! Заведующий опорным пунктом опытной станции. Это был единственный в своем роде человек. В тридцатом мы вместе с ним кончали один и тот же институт. Друзья были! Закадычные. Я ему однажды в приступе дружеской фамильярности наломал бока и нос расквасил за то, что он насплетничал декану. И так каждый раз у нас получалось. Ах, молодость, молодость! «Куда, куда вы удалились…» И тому подобное. Всякое может быть между друзьями… Вот и вы не возражаете. Значит, я прав. Нельзя же быть всегда неправым уже седому и сгорбленному человеку шестидесяти лет, какого вы видите перед собой! Да! Так вот, товарищ Помилуев сейчас работает в каком-то научном учреждении (не знаю, как оно называется) где-то не то в Херсоне, не то в Николаеве или Смоленске. И выводит, знаете, какую культуру? Не знаете… Хлопчатник! Не удивляйтесь. Вы думаете, если в Смоленске или Херсоне не сеют хлопчатник, то его нельзя там выводить? Ошибаетесь: можно. Помилуев выводил и выводит его для Средней Азии. И в самом-то деле, вывести новый сорт для Средней Азии в самой Средней Азии — и дурак выведет. А вы попробуйте сделать сорт далеко-далеко от Средней Азии, там, где хлопчатник не

растет совсем… Это потруднее! Гораздо труднее, скажу я вам. И может это делать только Помилуев. Вы имеете основания мне не верить. Но если бы вы знали этого настойчивого человека с глазами навыкате, вы бы не сомневались. Поверьте хотя бы на слово, спасибо вам.

Меня можно простить за то, что я так отвлекся (я уже старый человек), но вы же сами хотели, чтобы я рассказал, о чем думал перед сном, прочитавши книгу. Я уже говорил, что думал много, но все забыл. Как видите, только и осталось в памяти — вспомнил трех человек, которых не перестану уважать даже и в том случае, если уйду на пенсию, то есть окажусь в таком состоянии покоя, когда никто из них меня уже не достанет своей благородной дланью.

А может случиться и так: встретимся мы когда-нибудь с Помилуевым лет через десяток, оба старенькие-старенькие. Встретимся и вспомним юношеские годы и всю его безупречную деятельность на поприще хлопчатника. Конечно, может, мы и не встретимся с ним. У меня-то, уверяю вас, страстное желание увидеться с таким старым и испытанным другом. Но если и не встречусь, то вряд ли потеряю что-либо. Пожалуй, не встретимся. А уж если соткнемся где, то у меня хватит храбрости… промолчать о его творческих проказах. Я человек такой! Да и вы сами знаете: для того чтобы смолчать глупую мысль, тоже требуется разум. Свою собственную глупую мысль не высказывает только умный человек. Все остальные высказывают.

Ну-с, о чем я? Да. Вот эти три человека мне и вспомнились перед сном. Больше ничего — уснул.

И увидел я необыкновенный сон.

Может быть, вам скучно от моей болтовни? Может быть, отложим до завтра? Ведь агрономический участок я еще не весь сам сдал, еще дня на два-три хватит нам с вами работать, да еще акт будем писать. Успеете меня дослушать. Как вы полагаете?.. Ну, если вы сами хотите, чтобы я рассказывал и дальше, то спасибо.

Увидел я, значит, сон…

Ах, простите старика! Совсем запамятовал. Немножко не так было. Вот уж и склероз дает себя знать, чтоб ему провалиться… Еще до того, как я уснул, вспомнил еще одного человека — Сарову Марию Петровну. Да, совершенно верно — вспомнил именно ее. Если бы вы знали, какая это была женщина! Нет, вы не можете знать этой

женщины — вы еще так молоды. Она была некрасива: огненно-рыжие волосы, широкое красноватое в конопатинах лицо и угловатые плечи никак не создавали хотя бы чуть-чуть привлекательности. Но если ей посмотреть в глаза, то — боже мой! — какая глубина разума была в них видна! Я не шучу. Глаза всегда выражают работу мысли. У Марии Петровны глаза были очень умные. И при том это был человек честнейшей души, великого трудолюбия и беспредельной преданности своему делу… Это хорошо, что вы не улыбаетесь. Значит, понимаете, — не шучу. Я всегда буду чтить память этой замечательной женщины, отдавшей лучшие годы своей жизни селекции такой культуры, которую пинали и топтали, смешивая с пылью своего недомыслия и грязью скаредности, некоторые ретивые конъюнктурщики. Пожалуй, вы меня тоже обвините в конъюнктуре, если я назову культуру, с которой работала эта честнейшая женщина-агроном четверть века. Бог с вами, если вы так подумаете. Но я все-таки скажу: она вела селекцию кукурузы. Двадцать пять лет она упорно доказывала, что означает ее работа. Годами ей отпускали мизерные суммы на селекцию, годами она жила на зарплату, равную четверти вашего месячного оклада. Было время, когда совсем закрыли селекцию кукурузы на опытной станции, и Мария Петровна брала какую-нибудь плановую культуру для того только, чтобы рядом продолжать работу с кукурузой. Никому не было дела до ее работы. Но она не сдавалась. Это была женщина-герой! Она вывела за свою жизнь несколько сортов кукурузы, но… их никто не сеял. Не сеяли по самой простой причине: не было «спущено» плана на эту культуру. Вы, извините, вероятно, знаете, молодой человек, что в свое время планы «спускались» колхозам, но хлеба от такой агротехнической операции не прибавлялось. Ну, это я сказал к слову. Не в этом суть. Так вот, пришло время, когда кукурузу стали сеять, много стали сеять, даже больше, чем нужно, и не там, где нужно. Почему ее стали сеять, вы сами знаете.

И сорта Марии Петровны пошли в ход на больших площадях.

Вы скажете мне: «Вот и хорошо!» Не спешите, пожалуйста. Дело-то в том, что эта женщина-селекционер умерла до тысяча девятьсот пятьдесят третьего года. Она не увидела плодов героической жизни. Да, не увидела…

…Вы извините меня, что я так надолго задумался и молчал. Но ведь вы тоже молчали. Мы оба молчали. Не скрываю: мне грустно. Да и вы, как я вижу, не веселитесь от моего воспоминания о трагической жизни замечательного человека. Больше скажу: мой друг и бывший учитель (теперь уж престарелый) профессор Ухломский плакал, идя за гробом Марии Петровны, за которой не очень-то многие признавали при жизни здравый смысл. Да, да, он плакал. И я плакал. Не осудите, пожалуйста, старика. Так было. Мы весь вечер после этого просидели с Митрофаном Степановичем Ухломским вдвоем и почти все время молчали. Именно в тот самый вечер он и подарил мне ту старинную книгу, которую я читал потом, а после чтения долго не мог уснуть.

Но, как уж вам известно, я все-таки уснул тогда. Уже теперь точно скажу, что после Саровой Марии Петровны и профессора Ухломского я никого не вспомнил. Думал, думал и все-таки уснул.

Вот вы и снова улыбаетесь. Это, наверно, потому, что я сразу же изменил тон. Такая уж у меня натура.

Итак, увидел я, представьте себе, странный сон.

Вижу, что вхожу будто бы в какое-то огромное, невиданной архитектуры здание. И будто впереди идет Помилуев (тот самый, что насчет хлопчатника соображал и с каковым, как я уже сказал, страстно желал увидеться). Я пошел за ним в некотором отдалении, шагов за десять. Входим мы в вестибюль. Массивные колонны поддерживают потолок. По стенам таблицы и диаграммы, колосья и плоды земли разные. В два ряда стоят статуи ученых, одетых в те самые костюмы, в каких они ходили при жизни. И вдруг, представьте себе, я заметил, что статуи ожили, зашевелились и все повернули головы к Помилуеву. Потом Дарвин — хотите верьте, хотите нет — отвернулся от него и тихонько-тихонько, по-стариковски, плюнул в сторону. Климент Аркадьевич Тимирязев указал пальцем на Помилуева и произнес:

— В главный зал! Сегодня ваша очередь.

Столетов спросил у своего соседа Ивана Владимировича Мичурина, указывая пальцем на Помилуева:

— Этот?

Иван Владимирович не ответил на вопрос, а вдруг топнул в негодовании ногой и сердито вопросил:

— Ты зачем сюда?

И голос его громом прокатился под сводами здания.

Помилуев опешил. Он остановился и задрожал, как телячий хвост, потому что был не настолько смел, чтобы его можно назвать храбрым.

И только один старик Мендель тихо и ласково так проговорил:

— Христом-богом прошу: пропустите его! Смотрите, он «посинел и весь дрожит». Выяснить надо его содержание. Почем, дескать, вы знаете, что там у него внутри? Хоть он и плевал на меня множество раз, но я не помню зла. Пропустите!

Помилуев пошел дальше. Подходит он к громадной двустворчатой двери. И та дверь открывается перед ним сама собой. Я пошел за ним. И увидел вдруг конференц-зал того самого института, где мы с Помилуевым учились и где Серобелохлебинский защищал диссертацию. До чего же это было странно — и подумать невозможно. Но что-что не приснится! Всякая небылица во сне может померещиться… Да. Над сценой, в зале-то, святящимися буквами написано: *«Экзамен на здравый смысл»*. А на сцене полукругом расставлены столы. За каждым столом сидит только по одному человеку. В центре полукруга — какой-то старинный ученый в мантии академика, на голове у него академическая шапочка. Точно я не определил, кто это, но лицо его напоминало отчасти Тимирязева, отчасти Столетова, отчасти кого-то еще. Перед этим ученым на столе, слева и справа, лежали толстые книги в кожаных переплетах, почерневших от времени.

Справа от того важного и престарелого ученого сидел профессор Ухломский. А слева какой-то колхозник, очень, скажу я вам, похожий на моего родного дядю. В общем, колхозник довольно почтенного возраста, этак лет семидесяти. За остальными столами — люди разных возрастов. Лица у них серьезны. Кто они, не знаю. Одно было ясно, это ученые других наук, не сельскохозяйственных, потому что на Помилуева внимания не обратили, а продолжали искать что-то в книгах. Над каждым столом — этикетка с названием отрасли науки, например: «Химия», «Физика», «Электротехника», «Архитектура», «Математика», «Медицина» и так далее. Над столом Митрофана Степановича Ухломского значилось: «Сельское хозяйство». Над столом ученого в мантии, в центре, написано по-латыни: Retrospicere (то есть «глядеть назад»).

Затем я окинул взором зал. Народу было немного. Но здесь сидели некоторые директора опытных станций, один или два директора

института сельскохозяйственного направления, какие-то кандидаты сельскохозяйственных наук и даже один доктор.

Вы сомневаетесь? Вы хотите сказать, что не мог я во сне определить ученые степени присутствующих? Позвольте! Не надо перебивать. Дело-то в том, что у каждого из них был приклеен на лбу ярлычок соответственно занимаемой должности или присвоенной степени. Ну, пожалуйста, не смейтесь. Разве не может присниться человеку всякая чепуха!

И дальше вижу во сне. К Помилуеву подошел швейцар — наш бывший прелестный Матвеич, которого мы, студенты, встречали в дверях каждый день. Подошел он к Помилуеву и говорит:

— Вон у того стола предъявите документ. А мне шепнул: — Вы займите место в заднем ряду.

Помилуев подошел к столу, что стоял в нише, предъявил документ, и ему тот же Матвеич приклеил ярлычок. Вот уж, ей-богу, не помню, какой ему ярлычок приклеили — то ли «Кандидат», то ли «Доктор». Нет, «Доктор» вряд ли: Матвеич не дурак. А может, «Доктора» приклеили — во сне все может приключиться. Не в этом суть. Да. После этого Помилуев сел в одном из рядов, посмотрел налево, направо, вздохнул, съежился и стал смотреть на сцену, на ученых.

Я тоже сел на указанное мне место и стал слушать и тоже смотреть на сцену, как все. Там стояло простое сооружение в виде постамента, высотой вровень со сценой, с правой от нее стороны. Ученый в мантии пошептался с профессором Ухломским и кивнул ему головой. Ухломский встал и объявил:

— Директор опытной станции товарищ Глыбочкин! Есть?

— Есть, — ответил дрожащий голос из зала.

— Ваша очередь, — сказал Ухломский.

Глыбочкин вышел, стал на постамент и поклонился к сцене.

Он стоял так, что его лицо было видно и всем присутствующим в зале, и всем сидящим на сцене. Глыбочкин, как я уже говорил, был маленького роста, а во сне он мне показался еще меньше.

— Первый вопрос, — начал торжественно профессор Ухломский, видимо руководивший экзаменом. — Великий Экзаменатор просит изложить по пунктам то новое в агротехнике сельскохозяйственных культур, что открыто на руководимой вами станции и внедрено в

производство. Отвечайте конкретно, не употребляйте сокращенных слов в научном изложении, ибо Великий Экзаменатор не понимает слов-уродов.

Глыбочкин откашлялся и совсем-совсем дрожащим голоском начал свою речь:

— Я постараюсь быть кратким… Новое в агротехнике, разработанное нами на опытной станции, заключается в следующем: а) установлено, что наилучшая глубина вспашки — тридцать сантиметров, что обеспечивает борьбу с сорной растительностью; исследован также вред, приносимый огрехами; установка о глубине и недопущении огрехов дана повсеместно. — Глыбочкин входил в обычную свою роль «сообщителя» итогов работы на разных совещаниях и продолжал заученно: — б) установлено, что растения полевых культур, взятые семенами с другой почвы, впоследствии переделываются новой почвой на свой лад и становятся лучше или хуже; в) открыто и разработано внесение минеральных удобрений одновременно с посевом семян; г) исследовано тщательно и установлено, что пастьба скота по озимым вредна; д) открыто значение смачивания семян навозной жижей и разработана методика применения этого новейшего способа; е) боронование всходов открыто нами впервые в истории и внедрено в практику… И многое другое, подобное перечисленному выше, — заключил он теми же словами, как и обычно, и замолчал, видимо считая, что и этого вполне достаточно, чтобы получить «пятерку» на таком высоком экзамене.

Наступила тишина. Было слышно, как разговаривала муха с мухой. Великий Экзаменатор взял из стопы книг одну — старую и пожелтевшую — и перелистал. Потом о чем-то посоветовался с профессором Ухломским, поговорил тихонько с колхозником и закивал головой. Ухломский объявил:

— Для ретроспективного взгляда в историю имеет слово Великий Экзаменатор.

— Достопочтенные! — начал тот. — Предо мною лежит книга. Называется она так:

> «Новый опытный сельский управитель, прикащик и эконом, или самонужнейшия и обстоятельныя наставления о управлении деревнями, крестьянами, земледелием,

пчеловодством, скотоводством, птицеводством и огородными работами».

Книга сия писана в одна тыща семьсот девяносто шестом годе, а издана сиречь в университетской типографии в одна тыща восемьсот двадцать пятом годе по рождеству Христову. Да внемлет экзаменующийся директор слову сему! На странице осьмой писано здесь:

«Всякую пашню пахать глубиною в одну четверть и три вершка. — Иметь предметом, чтоб чрез то пахание слипшуюся между собою землю раздробить или разрушить, а чрез то сделать нивы свои мягкими и рыхлыми. Равно чтоб чрез то искоренить вредныя травы, заглушающая паханую землю; но как земля и сеемый на оную хлеб бывает различных свойств, то и определение пахания распорядить должно по различию земли и самых семян; ибо опытность доказывает, что хлебы не одинаковы, следственно одне из них многаго и частаго пахания требуют, нежели другия».

Тут Великий Экзаменатор обратился ко всем сидящим на сцене, внимательно прослушавшим ретроспективное чтение:

— Достопочтенные! Видите ли вы здравый смысл в ответе директора?

— Нет! — воскликнули все — физики и химики и иже с ними.

Математик пояснил тут же:

— Одна четверть и три вершка равны приблизительно тридцати сантиметрам.

Я и во сне, помню, был убежден, что книга, которая только что цитировалась, есть только у меня одного, что никто не знает о ее существовании, кроме Ухломского Митрофана Степановича, подарившего мне эту книгу. А оказалось: знают! Ну и чушь приснилась, ну и чушь!

— И дальше, — продолжал Великий Экзаменатор. — Зачитаю о семенах и влиянии на них почвы. Внемлите!

«Ибо лучшая земля, принимая в себя семяна худой земли, посредством своих соков и тучности придает зернам

силу и как бы принуждает их быть такими, какия ей свойственны».

И он спросил:

— Есть ли здравый смысл в открытии опытной станцией уже открытого сто тридцать пять лет тому назад?

Встал Химик и ответил:

— Нет.

Встал Физик и сказал:

— Нет.

Встали все на сцене и хором ответили:

— Нет!

— И далее читаю, — сказал Великий Экзаменатор:

«…способ, служащий к умножению хлебородия: клал я при насыпке семян в телеги на каждую четверть всякого хлеба по полфунту мелко истолченной перетопленной селитры, которая в отдаленных местах, куда за дальностию навоза возить неудобно, — служила мне вместо посредственнаго унавоживания; а иногда смачивал я зерна навозною водою, и давши оным несколько провянуть, засевал оными; почему и чрез сей способ получал довольно выгод».

И Великий Экзаменатор задал вопрос:

— Как решим?

Ответил колхозник, похожий на моего дядю:

— Вот тебе и открытие с рядковыми удобрениями, товарищ директор! Вот тебе и влияние навозной жижи! Нет здравого смысла в присвоении открытого раньше.

И все экзаменаторы согласились с колхозником.

Великий Экзаменатор стал снова читать:

«…озимыя поля ежедневно объезжать и смотреть, чтоб на оных не было лошадей и другаго скота, а особливо в сырую и ненастливую погоду; ибо скотина не укоренившийся еще зерна зубами с корнем выдергивает, или копытами выворачивает; равно валяясь, их вытирает, от чего

множество зерен безплодными остаются. К отвращению же сего вреда, надобно к каждому полю приставить сторожей…»

— Это ретроспективный ответ на «исследования» опытной станции, — пояснил Великий Экзаменатор. — А вот о бороновании:

«А как трава ростет гораздо скорее ячменя, то от сего и должно последовать совершенное ему заглужение. Есть-лиж заскороживанием дней пять-шесть подождать, буде только погода дозволит, то поспешно ростущий, рыжик в сие время весь из земли выйдет, и борона может тогда весь его в самом начале роста разрушить и истребить его так, что он никогда уже с силами не сберегся возрости. Впрочем хотя то и правда, что ячмень, а особливо посеянной в благорастворенную погоду, очень скоро иногда пускает росты и всходит, однако ячменю не мешает то, хотя бы он и во время самого пускания ростов и самого всхода был заскороживан; ибо как семяна… из своего положения бороною не вытаскиваются, но остаются на своих местах».

Великий Экзаменатор окончил чтение и сказал:

— И здесь опытная станция выдает за свои открытия давнишние вековые народные исследования и опыты. Ясно: в здравом смысле отказать.

После этого выступил Механик. Он с возмущением сказал:

— У вас сотни тысяч современных машин. И вместо того чтобы изучать, как при помощи этих машин получать урожаи, вместо того чтобы изучать, какие машины еще нужны для получения высокого урожая, вы, директор, занимаетесь переливанием старых исследований в свои лаборатории, а затем в книги, провозглашая открытием и откровением давно известное, но отчасти забытое. Я буду голосовать за признание отсутствия здравого смысла. — И он сел.

Больше никто не говорил. Начали тайное голосование шарами.

Результаты объявил Математик:

— Деятельность директора опытной станции Глыбочкина здравого смысла не имеет.

— Снять ярлык! — торжественно провозгласил профессор Ухломский.

Тот самый швейцар, что направлял Помилуева к столу, в нишу, влез на постамент и ногтем указательного пальца стал сковыривать ярлык. При этом он послюнявил палец и сказал с досадой:

— Ишь, как крепко прилепился! Не отдерешь.

— Мозги просвечивать будем? — спросил Физик у Великого Экзаменатора.

— Пожалуй, надо, — ответил тот.

После этого поднесли к голове Глыбочкина какой-то необыкновенный гудящий аппарат, от которого тянулась паутина проводов. Что-то шипело, трещало и искрило в аппарате.

Потом вынули из того прибора черную банку, и все члены экзаменационной комиссии стали поочередно смотреть в нее через какую-то трубу. Заключение огласил теперь Физик:

— В мозгах способность к здравому смыслу еще не потеряна, но есть наличие порчи, происходящей от установок соответствующих научных инстанций.

Тут я, представьте себе, перевернулся на другой бок, наверно.

Хотя сон и продолжался, но на постаменте оказался уже директор института животноводства. И будто экзамен на здравый смысл подходил уже к концу, будто директору задан последний вопрос.

— Последний вопрос такой, — говорил профессор Ухломский. — Какова общая земельная площадь в распоряжении института?

— Девять и семь десятых, — отвечал тот.

— По угодьям? — уточнял Ухломский.

А директор института животноводства ответствовал;

— Асфальтированной — пять и семь десятых, в том числе под тротуарами — ноль восемь га, под строениями — один и четыре десятых га, под полевыми опытами — ноль шесть десятых га, под скотными дворами и лужами — два га, а итого — девять и семь десятых га.

И вдруг где-то за окном заревели коровы, заблеяли овцы, захрюкали свиньи.

Зал покрылся туманом. Совершеннейшая небылица мерещилась!..

Потом туман рассеялся. И я увидел: на постаменте стоит… Помилуев!

— Как ваше здоровье? — спросил неожиданно Медик.

— На уровне, — ответил Помилуев.

— Так почему же вы не едете в Среднюю Азию выводить хлопчатник? — вмешался дотошный Ухломский.

— Жарко там, профессор. Очень жарко. А у меня — жена, дети. Я уж как-нибудь… (Вот не запомнил, какой он город назвал — то ли Смоленск, то ли Херсон.) Я уж, — говорит, — как-нибудь на старом месте буду. Я стараюсь. Я десять лет жизни отдал хлопчатнику.

— Ну и как? — досаждал Ухломский. — Получается?

— А как же! Каждый год планируем вывести новый сорт.

Великий Экзаменатор вздохнул, подпер щеку ладонью в исторической печали и спросил:

— Как вы думаете: кому хуже от всего этого — хлопчатнику или вам?

Помилуев не смог ответить на такой сложный вопрос истории.

— Не желаете отвечать? — спросил Великий Экзаменатор. — Хорошо. Проверим аппаратом.

Помилуев весь обвис и сел на постамент в полном изнеможении.

Колхозник в достаточно вежливой форме предупредил:

— Тут тебе не чайная! Расселся! Как макитра из-под простокваши!

Такое деликатное обращение несколько отрезвило Помилуева, и он встал-таки.

И вдруг загремел под сводами зала голос Великого Экзаменатора:

— Люди! Во всех великих делах всех времен и у всех народов к великому деянию всегда присасываются паразиты и невежды. Вы творите в своей стране величайшее из великих дел на земле — новое общество коммунизма. Научитесь отличать паразитов и тунеядцев, какого бы они ни были чина! И вы обретете благо в веках.

И вот — ей-богу, не брешу! — сотни и тысячи репродукторов подхватили возгласы Великого Экзаменатора, земля и небо повторяли его слова, казалось, мир ликовал, услышав призыв времени. А со сцены, сквозь торжественную симфонию радости и ликования, Великий приказал строго:

— Подать аппарат-кибернетик!

И, представьте себе, направили этот аппарат на голову Помилуева. Зажужжал, зашипел, затрещал, завыл тот аппарат по просвечиванию

мозгов. А Помилуев выл за ним, как куцый на перелазе, которого немилосердно колотят чем попало.

Да. Кончил выть аппарат. Кончил выть и Помилуев. После просмотра черной банки Физик объявил результат:

— Обнаружено: голова весьма похожа на гнилой орех — оболочка нормальная, а внутри горечь.

После тайного голосования Математик заключил:

— В здравом смысле отказать!

— Снять ярлык! — безжалостно крикнул профессор Ухломский.

Швейцар стал сковыривать ногтем ярлык со лба Помилуева.

— А-а-а!!! — дико закричал тот, поняв, что произошло.

Рядом, на постаменте, уже стоял Серобелохлебинский, угловатый, высокий и удрученный, в каком-то адском отсвете, как врубелевский Демон.

Выскочило у меня из памяти, какие ему вопросы задавали. Помню только, наседал на него колхозник и все повторял неотступно:

— А что из твоей «сосредоточенной» диссертации внедрено в практику колхозов? Нет, ты скажи! Ты скажи!

А тот что-то лопотал, лопотал, что-то такое рыкал басом, вроде: «Да. Нет. Ни да, ни нет. Так, так. Нет, не так». Одним словом, к большому сожалению, я видел Серобелохлебинского во сне смутно.

Да и с постамента он ушел странно: как-то весь расплылся, растаял перед экзаменом истории бесследно, исчез, как призрак.

Ну и чепуха! Ну и блажь примерещилась мне! Надо же!

Повернулся я на спину и снова уснул. Представьте себе, снова тот же сон! Так редко случается, но случается. И вижу тот же постамент и тех же лиц. Только стоит перед полукругом ученых… Сарова Мария Петровна. Говорят, покойников во сне видеть — к перемене погоды. Не верьте.

На следующий день была хорошая погода.

Не верьте снам ни на каплю. Я жизнь прожил — знаю: не верьте. Правда, и в этом случае я не помню, какие вопросы ей задавали, но отлично помню, что произошло чудо.

Когда наставили аппарат-кибернетик по просвечиванию мозгов, то вокруг головы Марии Петровны засветился ореол, как у святой, а черная банка, когда ее вынули, стала блестящей, отливающей золотом. И вдруг Великий Экзаменатор в восхищении преклонился перед этой

женщиной на одно колено, скрестив руки на груди. Все ученые и колхозник последовали его примеру. А она стояла, выпрямившись, гордая, непреклонная, уверенная в настоящем и будущем науки. Лицо ее, озаренное внутренним светом, стало красивым.

Растаял тут же Помилуев, как снежная баба на солнцепеке, как-то сплющился блином и пропал начисто Глыбочкин; а она все стояла и светилась вся.

И я проснулся.

Было хорошее светлое утро. Лучи солнца падали мне на лицо. Спросонья я не сразу понял, откуда эти лучи — то ли от солнца, то ли от нее.

…Вот и все. Неправдоподобная галиматья, и — только. Разве я не доказал вам, как и обещал вначале, что сон — это сумбурное и совершенно извращенное отражение отдыхающего мозга. Не больше. Лишь чудаки и невежды могут верить снам. Разве ж может быть в действительности то, что мне приснилось? Не может.

Однако, не скрою, на следующую ночь мне очень захотелось продолжить тот же сон. Но… снились одни только глупости.

Вот видите, как мы с вами незаметно провели время. Вам не надоело? Вероятно, надоело. А я все говорю, говорю и говорю. Возраст, возраст! Старею. На склоне лет всегда так: мысль молчит, а язык ворчит. Простите уж старика.

А дождик-то, смотрите, все идет, и идет, и идет. Хорош! Давно такого благодатного дождя не было на нашей земле.

О чем это вы задумались, молодой человек?

*1961*

# Паршивая фамилия

Он высокий, сухой, остроносый. Волосы жесткие, густые, почти седые. Голос же совсем не соответствует росту: тонкий, со скрипом, чуть приржавленный. А лет ему приблизительно пятьдесят пять — шестьдесят. Он никогда не улыбается, не может улыбаться, всегда суров и смотрит букой. Представьте себе тощего, прямого, как сухостойная ольшина, человека, тщетно пытающегося изобразить лицом и телом своим, скажем, Илью Муромца. Вот вам и будет он самый.

Его можно часто видеть и на улице города, и в Доме культуры, в кино, на базаре, в горсовете, на почте, в милиции — где угодно. Он вездесущий, этот угрюмый человек. И куда бы он ни пришел, там людям становилось не по себе. Если они до этого смеялись и были веселы, то сразу мрачнели; если они работали не покладая рук, то после него опускали руки; если люди были добрыми, то становились злыми; если же до приезда угрюмого кто-то был невесел, то, будьте спокойны, обязательно заплачет.

Я совсем не хотел называть этого интересного субъекта по той причине, что очень уж паршивая у него фамилия, тоже совсем какая-то несоответственная. Даже неудобно говорить — Прыщ. И каких только фамилий не бывает на белом свете! Только подумать — Прыщ!

Так вот, гражданин Прыщ, получая хорошую пенсию, отгрохал себе домик. Потом продал его. Потом отгрохал дом. И еще раз продал. После таких операций он потребовал, чтобы ему дали квартиру. И дали. Пытались не дать, но куда там!

— Вот как вы относитесь к народу! — заскрипел гражданин Прыщ в лицо председателю горсовета. — Значит, учтем. Мы и в центр дорогу найдем. Что ж, будьте здоровы… до поры до времени.

— Вы же продали собственный дом! — развел руками председатель.

— А вы хотели, чтобы я в коммунизм вошел собственником? Интересно! Идеология! И вы, товарищ председатель, собираетесь руководить обществом, воспитывать?.. Да… Это действительно… — поскрипывал он с мрачной улыбочкой, стоя и пристукивая пальцами

по притолоке, собираясь уходить. — Идеология! Ты, председатель, бюрократ! — И ушел, угрюмо усмехаясь.

Он никогда не стеснялся в выборе выражений, будь перед ним молодой человек или старый, заслуженный или незаметный.

А через неделю из области — запрос. Из Москвы — запрос. И все по поводу «дела» гражданина Прыща. Пять раз заседал Озерский горсовет, пять раз отписывались, разводили бюрократизм, а в шестой раз дали-таки квартиру тому человеку, который не желает войти в коммунизм собственником, а желает войти туда со сберкнижкой ценою в двести тысяч.

После того, как гражданин Прыщ перестал быть собственником и стал на порог коммунизма, он посвятил себя целиком и полностью делу укрепления общества города Озерска и воспитанию молодежи. Такую он поставил задачу, поскольку делать ему было нечего. И стал воспитывать.

Шел как-то гражданин Прыщ по улице. Шел медленно, будто он очень тучный человек, переваливаясь. Шел угрюмо, посматривая исподлобья. И вдруг услышал — боже мой! — он услышал веселый, раскатистый смех. Навстречу ему — три комсомольца, веселые, жизнерадостные. Они что-то рассказывали друг другу наперебой и заразительно смеялись, прижимая книжки к груди.

— Непорядок! — сказал товарищ Прыщ. — Эй вы, хулиганы, стойте! — И он сам остановился перед ними.

Для ребят он будто вырос из земли. Ершистый парень с непослушными волосами вытаращил глаза и в ужасе прошептал:

— Пры-ыщ!..

— Где вы находитесь? Почему хулиганите?

— Мы не… — попробовал возразить ершистый.

— Ну? Возражаешь? Хорошо. Учтем. Заявлю в милицию. Пятнадцать суток.

Ребята попробовали его обойти. Один даже извинился, неизвестно за что. Но гражданин Прыщ преградил дорогу. Около них уже собралась группа любопытных.

— Что там? — спрашивали они друг друга.

— Да хулиганов задержали. Послушаем. Интересно…

А гражданин Прыщ пошел и пошел точить:

— Вы слышали, что неделю тому назад обокрали магазин? Кто воры? Оба молодые люди. Отчего это так? Воспитываем, граждане, вот таких вот. — И он указал на смущенных ребят. Гражданин Прыщ уже вошел в азарт: — Вы несчастные хулиганы, вы не понимаете, что улица — для всех трудящихся! А вы идете и гогочете так, что все на вас оглядываются и тоже смеются. Улица — это вам не дом терпимости!

— Вон оно что! — послышался голос из толпы.

— Смеялись на улице, — сказал другой. — Что же им за это будет?

И в тот момент, легонько раздвигая толпу, подошли два милиционера. Один из них сразу узнал Прыща и спросил:

— Кого задержали?

— Троих. Хулиганов. Нарушали порядок.

— Граждане, разойдитесь! Ничего не произошло! — взывал пожилой милиционер. — Давайте пройдемте… Пошли, ребята! В милиции разберемся.

— Пойдемте скорее: стыдно! — шепнул милиционеру ершистый паренек.

И они все ушли. Угрюмо ушел и гражданин Прыщ.

За углом первого квартала ребята кратко изложили о происшедшем. Их отпустили с миром. Но никто из троих уже не смеялся так заразительно, как они смеялись до этого. Было обидно. А вокруг все стало мрачным.

Но гражданин Прыщ проследил за ходом исполнения. Он узнал-таки, что ребят не довели до милиции, он пришел к начальнику милиции и мрачно запилил:

— Потакаете хулиганам! Для вас не существует законов! Воров разводите, хулиганов воспитываете! Кто виноват, что молодежь развращенная?

— Я этого не вижу, — перебил его спокойно начальник. — Наша молодежь хорошая. Есть, конечно, исключения. Этих надо лечить. Паршивая овца все стадо портит.

— Что вы мне слова не даете сказать?! — пилил гражданин Прыщ. — Вы виноваты. Зачем отпустили троих хулиганов? За взятки? Да?

— Каких хулиганов? — забеспокоился начальник.

И пошла катавасия. Прыщ — заявление. Начальник вызвал тех двух милиционеров. Нашли тех самых ребят, вызвали их в милицию, допросили. И опять отпустили. И опять гражданин Прыщ написал в область. И опять — запрос. И снова — ответ в письменной форме.

О, если гражданин Прыщ вошел в милицию, будьте покойны, милиционеры попотеют: обязательно будет «дело»!

А в доме, где жили три веселых комсомольца, пошла молва: «Вызывали. Всех троих. Два раза вызывали. Ну и молодежь пошла! Ну и ну!»

— Воспитываем плохо, — скрипел гражданин Прыщ на каждом перекрестке. — Хулиганов отпускают. Она, и милиция-то, разложилась. С кого спрашивать?!

В общем, получалось так: если гражданин Прыщ шел по улице, то улица становилась угрюмой и казалось, дома сереют, а небо опускается и давит на городок Озерск.

Более того, гражданин Прыщ внес в горсовет письменное предложение следующего характера: «1. Запретить красить дома в белый, розовый, голубой, зеленый цвета, а равно и в прочие цвета, не внушающие доверия. 2. Предупредить всех граждан города о том, что дома должны быть преимущественно серыми, располагающими к серьезным раздумьям, или красными, поднимающими революционный дух масс».

Поскольку горсовет отказался от такого предложения, то гражданин Прыщ дал этому делу ход и написал в газету. Поскольку же газета не опубликовала его статью, то он написал на редактора в вышестоящую инстанцию. Будут скоро разбирать дело о невнимании редактора районной газеты к письмам трудящихся. Очень настойчивый этот сухой человек с жесткими волосами!

Но что дома? Дома — пустяк. А вот воспитание молодежи — это дело сложнее. Дело дошло до того, что гражданин Прыщ не удовлетворился полным молчанием улицы; он все чаще и чаще стал просто останавливать молодых людей и продолжал воспитывать на ходу.

Однажды шли по тротуару девушки, человек пять-шесть. Все они из десятого класса, все в фартучках — очень культурная и милая ватажка.

Вдруг одна из них тихо произнесла:

— Пры-ыщ!

И все произнесли тоже:

— Пры-ыщ!

Девушки приняли прямо-таки монашеский вид: слегка опустили головы, не разговаривали и скромно поприветствовали товарища Прыща. Он глянул на них, нахмурив брови и опустив углы губ, и спросил:

— А куда вы идете, позвольте-ка вас спросить?

— По домам, — ответила Лиза, самая смелая и самая маленькая из ватажки. — По домам. Из школы.

— Та-ак. А разве вы все живете в одном доме?

— Нет.

— Зачем так: ватагой?

— Так лучше, — ответила все та же Лиза.

— Ах, видите ли что! Так лучше! А если вас соберется сорок человек? А если сто? Значит, все можно? Так лучше вам? — Он уже не давал открыть им рта. — Знаете ли вы, что в поведении на улице мы видим лицо школы, мы видим и результаты воспитания? Вы разве не слышали, что в нашем городе за один год народный суд рассмотрел шесть разводов? Да. Шесть женщин бросили шесть мужей! Отчего? От плохого воспитания в школе и дома. Улица вам не… для хулиганства. Улица, она призвана воспитывать молодежь. А вы, бессовестные, ватагой, как те глупые овцы… Бесстыдницы!

Высокая худенькая Нина заплакала. Она никогда не слышала подобной обиды ни дома, ни в школе. А маленькая Лиза, как обозленный котенок, прыгнула к сухому человеку и выкрикнула в негодовании, покраснев:

— Товарищ Прыщ! Вы прыщ!

О! Это было уже хулиганство. Гражданин Прыщ немедленно отправился к директору школы. Гражданин Прыщ возмущался. Гражданин Прыщ негодовал и требовал немедленного созыва родительского собрания, где он, Прыщ, желает сделать сообщение о новейших методах воспитания молодежи.

— Распустили! Довели молодежь до того, что жутко жить становится, — методично скрипел он, чуть взвизгивая, как тупая ножовка на сучке. — Вы понимаете, что вы разрушаете будущее нашего общества? С кем мы войдем в коммунизм, спрашиваю я вас? —

пилил он директора. Известно ли вам, что обокрали магазин? А? Неизвестно? Обокрали. Кто? Два молодых человека. Вы привели молодежь к пропасти. Вы!

Директор поднял обе руки, замахал ими и прокричал одно только слово:

— Уходите!

— Учтем, — сказал гражданин Прыщ. — Голос общественности выгоняете… Совесть народа! Прекрасно. У нас и в Москву дорога известна. Мы и в облоно знаем путь.

Директор, уже совсем обессилев, тихо и жалобно, в изнеможении, сказал еще раз, будто выдохнул:

— Уходите…

Гражданин Прыщ ушел. А директор, закрыв за ним дверь, сел в кресло и заплакал. По-настоящему заплакал. Сколько трудов, сколько бессонных ночей, сколько теплых писем из разных концов страны от выпускников школы! А тут пришел «голос общественности» (он же «совесть народа») и оскорбил старика… Заплачешь! Волком завоешь!

В тот же день об оскорблении директора узнали и те трое парней, которых таскали в милицию. (Они, оказывается, носили одно и то же имя — Петя. Так их, впрочем, и на улице звали — «три Пети» или «три веселых Пети»), Они возмутились. Чаша их терпения переполнилась. Они потрясали кулаками в воздухе, будто угрожая неприятелю.

— В райком комсомола! — крикнули все трое. — Завтра в райком! Больше терпеть нельзя! Нам теперь все равно: два привода в милицию уже имеем.

Все три Пети притопали в райком комсомола: Петя-длинный, Петя-толстый и Петя-ершистый.

Пети требовали немедленно созвать бюро и обсудить вопрос о гражданине Прыще.

— Не понимаю, — удивился, разводя руками, секретарь. — Как же вы сформулируете вопрос в повестку дня? Это же совершенно невозможно.

— Возможно! — гаркнули три Пети.

— Как же сформулировать? — повторил секретарь.

— «О влиянии Прыщей на состояние лица комсомола», — предложил Петя-длинный.

— «Борьба молодежи с Прыщами», — предложил Петя-толстый.

— Не так, — сказал Петя-ершистый. — «Прыщи порочат лицо советской молодежи и комсомола».

— Ну, это уж совсем не годится, — сказал секретарь. — Может быть, просто «О гражданине Прыще»?

— Нет, — сказали три Пети сразу, наперебой, — «О Прыщах», обязательно «О Прыщах», а не о Прыще. Может, еще где есть такие. Обо всех надо.

— Тогда так: «О гражданине Прыще и ему подобных», — заключил секретарь.

Представьте себе, ведь обсуждали на бюро! Степенный Петя-длинный сделал краткое сообщение.

— Товарищи! — говорил он. — Мы — молодежь. Это точно. Мы любим школу. Точно. Мы работаем. Это тоже точно. Молодежь покорила целину, молодежь строит заводы, молодежь строит дома, молодежь проливала кровь на защите Родины. Это уж точно. Раз я сказал… — Тут он малость зарапортовался, сбился и продолжал: — Не так я сказал. Значит, так: откуда же взялась такая молодежь? Из плохой школы, из плохой семьи? Не может этого быть! Точно. А гражданин Прыщ позорит нас на каждом шагу, оскорбляет. Везде сует нос и везде портит здоровый воздух. За что он порочит всех и вся? А от нас требуют вежливости к таким вот… Да если курицу дразнить, то и она будет драться! — крикнул он и вытер лоб рукавом. — Вот я вам еще расскажу. Играл на гармошке на базаре комсомолец из колхоза «Луч», а он, этот самый Прыщ, назвал его хулиганом. И чуть гармошку не отобрал. Да, спасибо, парень с головой. Говорит: «Ты за гармошку не берись. А то будешь очень бледный». И кулак показал. «Играть, — говорит, — не буду. Извиняюсь, если не полагается на базаре играть. А за гармошку прошу вас не лапать». Почему это не полагается? Приехал человек из колхоза на базар, купил гармошку, а играть нельзя. Да еще и хулиганом обозвал. Да тут любой выйдет из терпения. Какую же от него требовать вежливость? Я и так еще скажу, как сказал один писатель: «Если человека каждый день называть свиньей, то он обязательно захрюкает»… Почему нельзя играть на гармошке? Глупости все это! В общем, я кончил.

— А что же ты предлагаешь? — спросили Петю.

— А я и не знаю, что предлагать. Просто нельзя дальше терпеть таких Прыщей.

Долго думали ребята, какое же предложение внести и как его сформулировать. Да так ничего и не придумали. Отложили до следующего заседания. В общем-то, все согласились: терпеть дальше нельзя. А вот что же делать с Прыщами? Решили подумать.

А гражданин Прыщ пронюхал о заседании бюро райкома комсомола и заскрипел уже в райкоме партии, у первого секретаря:

— Я дойду куда следует! Дойду! За что они опорочили голос общественности, молокососы? Вы что же распустили их так? Так вы воспитываете комсомол? С кем же мы придем в коммунизм, товарищ секретарь? — И скрипел, и скрипел, и скрипел, как разлаженный чирковый манок.

А секретарь все выслушал. Он не заплакал, как директор школы, не вскипятился сразу, как три Пети, не стал проверять, как начальник милиции, не испугался, как председатель горсовета. Он сказал так:

— Гражданин Прыщ! Я вас выслушал. Воспитывать молодежь надо. Согласен.

— От вас первого слышу такие слова! — воскликнул гражданин Прыщ. — Вот видите…

— Нет уж, я вас слушал, теперь вы послушайте. Так вот. Больше того, убежден я: в систему воспитания надо вносить коренные изменения, но… не с того конца, с которого вы… Впрочем, есть у меня совет.

— В советах я пока не нуждаюсь, мне…

— А все-таки…

— …мне не двадцать лет.

— …а все-таки…

— Это вы им советуйте, а…

— …а все-таки…

— А…

— А все-таки! Все-таки! До свиданья, черт вас возьми!

Нет! Не выдержал и секретарь. Он отошел к маленькому столику, налил из графина воды в стакан и пробовал спокойно освежить горло. Но зубы застучали о край стакана. Что поделаешь, у каждого человека нервы, а секретарь был тоже человек, и не железный. Вот и застучали зубы.

Теперь-то уж гражданин Прыщ напишет прямо в Москву. Будет и там «работа» по «делу» гражданина Прыща. Очень крепкий этот гражданин Прыщ. Крепок, как сухая мозоль: твердая, и нестерпимо больно. Сидит такая мозоль, мучает ногу и воображает, что без нее нога совсем бы пропала.

Ну что с ним делать? Да и что сделаешь, если он дошел даже и до библиотеки! Говорил «дойду» — и дошел. Там он категорически заявил, как «голос общественности», что все книги, от которых читатель смеется, надо изъять.

— Вы мне не возражайте, — монотонно зудел он там. — Вы не думаете о том, что развращаете молодежь. Да. А надо думать. Да. Учтите: народ требует. Народ наш не желает смеяться в такие ответственные моменты строительства новой жизни. Учтите! Вот так. Я говорю это вполне серьезно. Я пишу критическую статью. Скоро будет готова. Учтите. Вот так.

Не дай-то бог, чтобы гражданин Прыщ проник еще и в литературу! Тогда мы перестанем смеяться, а сатире закажем гроб с бархатной обивкой и такими надписями: с одной стороны — «Со святыми упокой рабу божию сатиру», а с другой — «Жила бледно, умерла незаметно».

Что бы такое придумать для работы в деле борьбы с Прыщами? Правда, Петя-ершистый предложил написать такой лозунг: «Товарищи дорогие! Не проходите мимо Прыщей. Очень просим от лица всей молодежи».

Кто ж его знает? Может быть, он и прав, этот Петя-умница…

А насчет борьбы с Прыщами в литературе уж и не знаю, что порекомендовать. Заседание, что ли, какое-нибудь устроить в Союзе писателей в свободный от заседаний день? Или, скажем, включить в план мероприятий и каждую субботу (короткий день) всем смеяться? А? Может быть, по методу Пети вывесить золоченую табличку размером 2х2 метра, на каковой начертать крупно: «Прыщам вход воспрещен!»?.. Не знаю. Не знаю. Не знаю, дорогой читатель. Это не мое дело. Я даже и фамилию-то не хотел называть. Больно уж паршивая фамилия. Ха! Прыщ!

# Интервью сатирика

Группа молодых, пока еще неизвестных писателей-сатириков (фамилии по понятным причинам опускаем) обратилась с некоторыми вопросами к малоизвестному старому сатирику (фамилию по тем же причинам опускаем). Ниже публикуются вопросы (наводящие, прямые) и ответы (откровенные, уклончивые).

**Вопрос.** Нас, молодых, иногда замалчивают: напечатаешь рассказ, напечатаешь другой, а критика молчит и молчит. Что делать?

**Ответ.** Печатайте третий.

**Вопрос.** Как надо работать с молодыми начинающими писателями?

**Ответ.** Записывайте в литературное объединение как можно больше людей разного возраста — от пятнадцати до семидесяти пяти включительно (старше не рекомендую). Вскоре настоящий талант и откроется по безошибочному признаку — он уйдет из группы. Тут его только и ловить. Вот так и надо работать с молодыми начинающими.

**Вопрос.** Не сможете ли вы дать какой-либо совет редакциям журналов и издательств о воспитании литераторов вообще, выступающих печатно и устно?

**Ответ.** Прежде всего в каждой редакции и издательстве надо бы вывесить броские плакатики, такие, например:

1. Ко всем критикам и рецензентам (открытым и закрытым, кстати) — покорнейшая просьба: НЕ УБИЙ!

2. Лицам, пожелавшим лично стать юмористами и сатириками: если у тебя куриная слепота — не лезь в сумерки.

3. Просто прозаикам: с редактором каши не сваришь — вычерпывая воду, он выбрасывает и пшено. Приноси ему готовую кашу, памятуя о грамматике, синтаксисе и словесности, в частности.

4. Над столом редактора не худо бы поместить табличку: «Врачу, исцелися сам!»

Что же касается выступающих устно на собраниях, заседаниях и прочих симпозиумах по развитию творческой мысли, то им можно предложить плакатики:

а) думай по силе возможности, когда говоришь,

б) не ори,

в) не говори шепотом — иначе подумают, что ты сатирик,

г) молчи, если можешь, это лучше. К тому же сойдешь за философа.

**Вопрос.** Как быть с такой большой когортой людей, каковые карабкаются на Парнас, написав несколько стихов или один-два рассказа? Ведь уже не стало прохода на ту когда-то знаменитую гору!

**Ответ.** Карабкайтесь вместе с ними. А если есть терпение, то повремените — дождитесь ночи, когда ослы спят, и карабкайтесь в одиночку. Учтите: чем выше будете забираться на Парнас, тем меньше там народу всякого. А толкучка, она преимущественно у подножия упомянутой вами горы.

**Вопрос.** Как бороться с графоманами и графоманством?

**Ответ.** В теории литературы ответа на этот вопрос найти нельзя, однако анализ ряда жизненных ситуаций (а жизнь надо изучать!) подсказывает, что намечаются некоторые пути решения и этой проблемы. Например, достаточно убедительно доказано, что графоманство приходит к человеку чаще всего с возрастом и в такой отрезок жизни, когда становится нечего делать. Это факт. Да и сами подумайте: занятой человек литературой заниматься никогда не будет — ему некогда.

Теперь: как бороться? Для примера возьмем самый распространенный случай. К вам является лично готовый, законченный графоман со своей готовой, законченной рукописью. И он требует, чтобы его немедленно слушали, так как сейчас же будет читать роман вслух. Со стихами проще: внимайте, восхищайтесь (но не в письменном виде!). Роман сложнее. Главное, не возражайте — бесполезно! — но поставьте одно лишь условие: он вам читает пять страниц, а вы ему — две-три. И так поочередно. Только не свое читайте, избави боже! Берите томик А. П. Чехова и открывайте рассказ «Драма» — его хватает примерно на две-три дозы полного курса просвещения (но не излечения, к сожалению). Больше от вас почти ничего не требуется — только читать с выражением, но без выражений, то есть спокойно. Однако же последние слова «Присяжные оправдали его» замените такими фразами: «Народный суд отказал ему в рассмотрении дела. Да и пресс-папье у меня нет —

работаю ручкой-самопиской. А разве в наше время кого-то ударишь ею сильно? Ну, ткну я вас, скажем… в глаз — толку-то!»

**Вопрос.** В магазинах под видом художественной литературы много нехудожественных книг, каковые читатель не покупает. Это понятно. А вот бывает ли так, что не покупают и хорошую книгу?

**Ответ.** Вполне может быть. Дайте пространную аннотацию, чтобы читатель из нее узнал все: о чем написана книга, какое она производит на него, читателя, впечатление, как она воспитывает его и чему учит. Не купит! Убей его у прилавка — не купит. Знаю его: дотошный пошел читатель — на крючок не поймаешь. В общем, работящих аннотаторов пруд пруди. Думаю, назрела необходимость создать при всех отделениях Союза писателей комиссии или, на худой конец, малые секции аннотаторов. Иначе лучшие творения умелых рук останутся без всякого коллективного надзора.

Ах, если бы был жив Салтыков-Щедрин! Мы бы ему тоже к каждой книжке аннотацию и биографию. Да так, чтобы он закачался. Ведь сам-то он не догадался при жизни. И А. П. Чехов тоже. И И. С. Тургенев тоже. Да что там! Граф Лев Николаевич Толстой не сообразил, что книги в массы продвигают не авторы талантом, а аннотаторы и биографы-миниатюристы. Вот если бы был жив Салтыков-Щедрин, тогда… Впрочем, чего нет, того нет: своего Салтыкова-Щедрина у нас пока нет, а тот давно умер (10 мая 1889 г., по новому стилю).

**Вопрос.** А будет он, новый Салтыков-Щедрин?

**Ответ.** Каждый современный сатирик может стать Щедриным: спасение утопающих — дело самих утопающих.

**Вопрос.** При каких условиях молодой сатирик может стать Щедриным?

**Ответ.** Молодой сатирик сможет стать Щедриным при следующих условиях:

если он сумеет написать сатиру только с положительными героями и если отрицательное в жизни будет отражаться в литературе само собой, без участия автора, то есть посредством кибернетики и счетно-решающих устройств;

если сатирик будет смелым, но не настолько, чтобы можно было назвать его храбрым;

если он исключит из сатиры гиперболу (дабы не сбиться на очернительство);

если он, сатирик, следовательно, будет настоящим сатириком, то… он может и не быть Щедриным: гонорар все равно будет.

**Вопрос.** Вы противоречите сами себе: «Каждый может быть Щедриным», но «может и не быть Щедриным». Как это понимать?

**Ответ.** Если не можете понять, не напрягайте сил и не истощайте мозг излишними умственными упражнениями, ибо он вам еще пригодится в дальнейшей литературной деятельности на благо человечества и на радость Литфонду. В развитие же сказанного выше приведу небезызвестный украинский анекдот: человек, увидя с берега, как тонет его кум в холодной воде, пощупал пальцем ту воду и сказал: «Не выбивайтесь, куме, из сил — сидайте на дно». Как видите, здесь дело спасения самих утопающих выступает на первый план.

**Вопрос.** Не хотите ли сказать несколько слов о литературной критике?

**Ответ.** Нет, не хочу. Уже где-то мною сказано: «Критик к критику летит, критик критику кричит: не надравши лыка, не берись лапти плесть». А бывает, плетут. Воздушные лапти плетут по принципу «А мине не ндравится». Сами понимаете, воздушные лапти в критике — это не лучше, чем воздушные замки в прозе. Вот если бы был жив В. Г. Белинский, он сказал бы вам несколько слов о критике. А я что? Я лично критику люблю.

**Вопрос.** Скажите что-нибудь о В. Г. Белинском — о нем, о его времени.

**Ответ.** В. Г. Белинскому было хорошо: рядом были А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и другие, поэтому ему было о ком писать. И он, кроме того, знал, как писать о тех и о других.

**Вопрос.** Расскажите, пожалуйста, как вы работаете?

**Ответ.** Такой вопрос часто задают на читательских конференциях. Отвечаю: сатиру пишу, когда мне трудно, лирику — когда грустно, романы — когда нужны деньги (одной сатирой прокорм плохой). Когда же мне делать нечего — не пишу ничего.

**Вопрос.** Разрешите последний, шутейный вопрос: какая разница между дверью вашей комнаты и дверью в литературу?

**Ответ.** В мою комнату вы попали очень просто: открыли дверь и вошли, как на Воровского, 52, в правление Союза писателей. В

литературе же несколько иначе: «вход» туда через игольное ушко. Помните? «Легче верблюду пройти в игольное ушко…» У того верблюда подразумевался явный талант — иначе он полез бы напролом. А он вроде бы искал игольное ушко…

*** * ***

Все молодые сатирики встают и с пасмурной улыбкой снисхождения, смешанного с чувством превосходства, молча направляются к двери.

— Благодарю вас за внимание! — громко сказал сатирик вслед уходящим от него и как-то безыдейно вздохнул.

Он был в тот день философом, что с ним случалось редко.

Заметив в его глазах нечто похожее на тоску духа, я задал человеческий вопрос, поскольку мы остались вдвоем:

— А бывает ли вам действительно, как вы неосторожно выразились, грустно?

Он ответил, как бы оправдываясь:

— Редко. Очень редко.

И только-только я хотел задать ему еще какой-нибудь вопрос, он произнес явно загадочные слова:

— Все. Уходите. Одной ногой я в прошлом, другой ногой в будущем, а обеими руками в настоящем.

Он решительно указал мне на дверь и изрек гласом прорицателя:

— До следующего съезда писателей!

*Стенографировал интервью, вел беседу*

*и сочинял собственные раздумья*

*Г. ТРОЕПОЛЬСКИЙ.*

# *Примечания*

Настоящее издание — первое собрание сочинений Гавриила Николаевича Троепольского. В него вошли почти все художественные произведения писателя, а также отдельные образцы его публицистики.

Произведения расположены по томам и датированы автором.

Первый том составляют рассказы, преимущественно сатирического жанра, и повесть «Кандидат наук», написанные в 1952–1961 гг. Завершает том «Интервью сатирика» (1972).

## *ПРОХОР СЕМНАДЦАТЫЙ И ДРУГИЕ.*

### *Из записок агронома.*

Начало работы над циклом рассказов «Из записок агронома» относится к 1950 году. Весь цикл был завершен и опубликован в периодической печати в 1953–1954 гг. Первое отдельное издание рассказов «Из записок агронома» (М., «Правда») увидело свет в 1954 году. Под названием «Прохор семнадцатый и другие. Записки агронома» весь цикл выдержал в 1954–1955 гг. еще два издания (М., «Советский писатель», 1954 и М., «Молодая гвардия», 1955), вошел в состав первого воронежского сборника Г. Троепольского «Рассказы» (1966) и затем неоднократно переиздавался. Весь цикл или отдельные рассказы переводились на албанский, венгерский, немецкий, румынский, словацкий, чешский, китайский, английский, испанский, французский языки.

«Записки агронома» вызвали многочисленные отклики в печати. Наряду с газетами и журналами Москвы, Ленинграда и Воронежа о «Записках агронома» писали газеты Акмолинска, Балашова, Барановичей, Барнаула, Брянска, Владивостока, Гурьева, Ижевска, Калуги, Кзыл-Орды, Кокчетава, Кургана, Ленинабада, Молодечно, Мурманска, Новгорода, Петропавловска-на-Камчатке, Пскова, Рязани, Ташкента, Тюмени, Тулы, Ужгорода, Усть-Каменогорска, Хорезма, Чкалова и других городов страны.

Безупречное знание сельской действительности, живая естественная интонация, убедительный образ агронома-рассказчика создавали ощущение подлинности происходящего, полной достоверности материала, то есть реальности записок.

«Когда читаешь документальный очерк — записки Г. Троепольского… то веришь: да, то, что написал Г. Троепольский, он видел и наблюдал в жизни»[52], — писал Г. Ломидзе («Острием публицистического слова», «Октябрь», 1953, № 10). И тут же оговаривался: люди, «замеченные и наблюдавшиеся» писателем в жизни, имеют «некоторое отличие от созданных в очерке образов»[53]. Однако, не оценив должным образом этого «некоторого отличия», критик настойчиво именовал весь цикл очерковым, строя на нем свои рассуждения о средствах типизации отрицательного в художественной публицистике.

«Цепью новелл, объединенных единой идеей, одними героями и заголовком, отчасти определяющим и жанр и место действия»[54], назвал «Записки агронома» В. Огнев («Знамя», 1954, № 1). Но критик колебался («это не вполне очерки, не вполне и рассказы»[55]), и эти сомнения отразились даже в названии рецензии: «Записки Г. Троепольского». Так сильна была иллюзия документальности, так непривычен был смешанный жанр этих «Записок». Радуясь возрождению сатиры, приветствуя «вдумчивого, талантливого автора»[56], В. Огнев в то же время предостерегал писателя от смазывания острого, смелого рисунка с натуры, от быстрых побед «добродетели над злом»[57], имея в виду изгнание Самоварова, переживания Болтушка.

О том же писала и С. Бабенышева («Быть последовательным до конца», «Комсомольская правда», 19 ноября 1953 г.): «Нарисовав превосходные сатирические портреты бюрократа, болтуна, невежды, Троепольский неожиданно благополучным концом своих новелл глушит правильно намеченный удар». Критик считала, что «способный сатирик» Г. Троепольский должен не «ограничиваться талантливой зарисовкой, а изображать явление во всей сложности, правдивости».

Полемизируя с В. Огневым, отвергая, в частности, упрек в «робости мысли», которая «облыжно» приписана «неповинному

Троепольскому»[58], Б. Платонов («Новое в нашей жизни и литературе», «Звезда», 1954, № 5) отмечал, что «новаторство „Записок“ состоит именно в стремлении усилить взаимодействие выразительных средств, когда речь идет об обличении недостатков…»[59]

В той же книжке «Звезды» в разделе «Трибуна читателя» было напечатано письмо электромонтера Ф. Васюхина и агротехника И. Билыка из Харьковской области. «Искренность и правда колхозной жизни — вот что главное в рассказах Троепольского[60],— писали они. — Никишка Болтушок, Гришка Хват и другие сатирические образы — не повторение уже ранее известного, а неподдельное оригинальное новшество» [61].

Высокая и точная оценка «Записок агронома» содержалась в рецензии Н. Лордкипанидзе «Увлекательные рассказы» («Огонек», 1953, № 40): «Наиболее привлекательная черта „Записок“ — смелость и острота, с которой автор изображает действительность. Он не ждет, пока жизнь поставит „на повестку дня“ ту или иную тему, тот или иной вопрос, — следуя лучшим традициям русской литературы, он сам представляет на суд общественности то, что нуждается в поощрении или осмеянии… Знание жизни, умение анализировать ее позволяют автору подводить читателя к нужному результату постепенно, подробно раскрывая тот или иной человеческий характер. Это качество придает „Запискам“ подлинную художественность». Было замечено и лирическое начало в таланте Троепольского: «Сатирическое заострение характеристик гармонически сочетается… с лирическими, взволнованными авторскими отступлениями, и это придает рассказам особую теплоту».

О «разнообразии» дарования Троепольского писал в те годы и Сергей Залыгин («Мысли после совещания», «Новый мир», 1956, № 1): «Здесь и теплая лирика, и острый, отточенный, почти сатирический разговорный язык, и тонкая наблюдательность»[62]. Но «главное в творчестве»[63] этого писателя Залыгин видел в сатире и обращался к Троепольскому: «На вас сейчас лежит большая доля ответственности за развитие сатиры на колхозную тему»[64]. С. Залыгин не разделял мнение В. Овечкина (см. «Жизнь колхозной деревни и литература». Творческая дискуссия в Союзе писателей

СССР. М., «Советский писатель», 1956, с. 40–41), что лирические рассказы удаются Троепольскому больше, чем сатирические.

В той же статье С. Залыгин отмечал в творчестве Троепольского важную черту, которая «является его заслугой»[65]: «Он много пишет о рядовых людях, о людях без должностей… у Троепольского рядовые люди занимают определенно главное место. Он о них пишет хорошо, тепло, лирически, но рисует и сатирические образы. Здесь все жанры не только приемлемы — просто необходимы»[66].

На это же достоинство писателя обращал внимание и Б. Платонов: «В „Записках“ отчетливо проявляется та коренная черта демократической, здоровой, оптимистической литературы, развитию которой способствовали в свое время и Чернышевский и Салтыков-Щедрин: умение критиковать „диссонансы и фальшивые звуки в народной жизни“, показать народу его слабости, чтобы вылечить их»[67].

О том, что «новый способный писатель-сатирик» охотно берет уроки у великих предшественников, стремится наследовать их традиции, писал и К. Лапин («Сатирические рассказы», «Литературная газета», 1953, 27 августа). Он находил, что Троепольский «пытается использовать гоголевские и щедринские традиции в едких портретных характеристиках, в юморе, то мягком, то язвительном, в диалоге своих героев».

От «Записок агронома» веяло «свежим ветром сатиры». Это признавали все, это отвечало насущным общественным потребностям и обогащало саму литературу, возрождая силу сатирического жанра.

Сюжеты и герои «Записок агронома» послужили Троепольскому основой для киносценария «Земля и люди» (см. т. 3).

## *НИКИШКА БОЛТУШОК. ГРИШКА ХВАТ. ИГНАТ С БАЛАЛАЙКОЙ.*

Впервые — «Новый мир», 1953, № 3.

## *ПРОХОР СЕМНАДЦАТЫЙ, КОРОЛЬ ЖЕСТЯНЩИКОВ.*

## *ПРИЦЕПЩИК ТЕРЕНТИИ ПЕТРОВИЧ.*

Впервые — «Новый мир», 1953, № 8.

## *ТУГОДУМ.*

Впервые — «Новый мир», 1953, № 8.

## *ОДИН ДЕНЬ.*

Впервые — «Новый мир», 1954, № 1.

## *У КРУТОГО ЯРА.*

Впервые — «Новый мир», 1954, № 9.

«Это не охотничий рассказ. Его можно назвать поэтической прозой о жизни и повседневных подвигах простого человека, трудолюбца, тонкого знатока природы, необыкновенно находчивого и ловкого в самых сложных положениях»[68], — писал В. Панков («Октябрь», 1956, № 10). Он же находит в образе главного героя рассказа Сени Трошина «народный тип большого, внутренне красивого и цельного человека»[69].

Особенность творческой манеры Г. Троепольского критика видела в том, что через «непримечательные на первый взгляд эпизоды и таких, казалось бы, знакомых людей» в его произведениях «открывается частица большого, многообразного и сложного мира» (В. Кардин. «С хозяйской прямотой», «Советская Россия», 1956, 14 августа). Так было и в рассказе «У Крутого Яра», где, по мнению В. Кардина, тонко передана «хозяйская подоплека увлечения Сени Трошина». «Охотничий триумф Сени, — писал критик, — воспринимается не только как торжество смелости и оправданного риска, но и как победа нового отношения человека к жизни, к своему общественному долгу».

Переведен на венгерский, польский, румынский, сербскохорватский языки.

## *СОВЕСТЬ ХЛЕБОПАШЦА.*

Впервые — «Комсомольская правда», 1959, 15 октября.

## *АГРОНОМЫ.*

Впервые — «Литературная газета», 1954, 13 февраля.

## *СОСЕДИ.*

Впервые — «Новый мир», 1954, № 4.
Переведен на китайский и венгерский языки.

## *КАНДИДАТ НАУК.*

Впервые — «Новый мир», 1958, № 12.

«Как раз ко времени действия повести относится историческое постановление сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1953 года, ознаменовавшее целую эпоху в социалистическом земледелии. Все содержание повести как бы подтверждает своевременность, назревшую необходимость решений партии»[70], — писал Н. Замошкин («Отчасти сатирическая», «Москва», 1960, № 1). «Разностилье» повести критик признавал «неизбежным» при переключении с сатиры на «обычную повествовательную манеру» и нелегким для самого автора. Как достоинство Н. Замошкин отмечал, что «временами темпераментное, пристрастное в хорошем смысле слова произведение Г. Троепольского переходит и в лирическое повествование, полное чувства горечи и грусти»[71]. Беспощадно высмеивая Карлюка, писатель в то же время «немного и скорбит о

гибели в этом существе человеческих задатков»[72]. (Заметим, что отмеченное критикой «непоследовательное» отношение автора к таким персонажам, как Самоваров и Болтушок, имеет в своей основе сходное горькое чувство.) К недостаткам повести Н. Замошкин относил «затянутость» действия в последних главах, тенденцию высмеивать само звание кандидата наук, а также то, что некоторые фигуры (Масловский, например) «очерчены лишь с одной производственно-профессиональной стороны»[73].

Иную точку зрения высказывал В. Назаренко в статье «О хорошем вкусе» («Звезда», 1959, № 3). Признавая допустимым сращение сатирических и несатирических элементов в художественном произведении, он видел недостаток повести в «определенных слабостях самих сатирических картин, которые потому не срастаются с остальным, что и сами по себе недостаточно жизненны»[74]. По мысли критика, само действие повести — борьба «положительных героев с самоочевидными прохвостами, захватившими какие-то места, какую-то власть в науке»[75],— «не может быть названо сатирическим»[76]. К тому же «учеба у Гоголя»[77] закончилась тем, что «заимствованный стиль начинает исподволь внушать читателю превратное мнение о неистребимости Карлюков, о тщетности борьбы с ними»[78]. Это весьма узкое представление о специфике сатиры и ее предмете, а также опасения рапповского толка насчет идеологической активности «заимствованного стиля» были в дальнейшем отвергнуты исследователями советской сатиры. Отмечалось, что поиски Троепольского «совпали с магистральным направлением советской сатиры, напряженно ищущей с середины 20-х годов путей синтетического изображения нашей действительности»[79] (Л. Ершов. «Советская сатирическая проза». М. — Л., «Худож. литература», 1966).

«Вещь написана с жаром, гневом…», — писал о «Кандидате наук» А. Т. Твардовский, высоко ценя сильные стороны повести и хлопоча о «доведении ее до читателя» (см. «Литературное обозрение», 1976, № 4, с. 104–105). Трудно укладываясь в какую-либо литературоведческую схему, «Кандидат наук» по сем день сохраняет живой смысл и общественное значение.

Повесть переведена на болгарский и польский языки.

## *ЭКЗАМЕН НА ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ.*

Впервые — «Странный сон, или экзамен на здравый смысл. Рассказ старого агронома». — «Литература и жизнь», 1960, 9 октября. Рассказ продолжает и дополняет центральные идейные и нравственные мотивы «Кандидата наук».

## *ПАРШИВАЯ ФАМИЛИЯ.*

Впервые — «Крокодил», 1958, № 32.

## *ИНТЕРВЬЮ САТИРИКА.*

Впервые — «Крокодил», 1972, № 23. «Интервью» приурочено к 50-летию журнала.

# Примечания

# 1

*Л. Мартынов.* Стихотворения и поэмы. М., 1965, т. 1, с. 292.

# 2

«Подъем», Воронеж, 1968, № 1, с. 163.

# 3

*Там же.*

# 4

«Подъем», Воронеж, 1968, № 1, с. 164.

# 5

*Ю. Томашевский*. Встречи. Воронеж, 1975, с. 61.

# 6

*Г. Троепольский*. Чернозем. Митрич. У Крутого яра. М., «Современник», 1973, с. 450.

# 7

«Новый мир», 1961, № 11, с. 164.

# 8

Жизнь колхозной деревни и литература. М., «Сов. писатель», 1956, с. 40, 41.

# 9

Жизнь колхозной деревни и литература. М., «Сов. писатель», 1956. с. 40, 41.

# 10

«Литературный Воронеж», 1955, № 36, с. 109.

# 11

М. Бахтин. Творчество Франсуа Рабле. М., 1965, с. 231.

# 12

«Подъем», Воронеж, 1971, № 5, с. 20, 36, 19.

## 13

*Там же.*

## 14

*Там же.*

# 15

«Подъем», Воронеж, 1961, № 4, с. 140, 141.

## 16

*Там же.*

# 17

«Литературное обозрение», 1976, № 4, с. 104–105.

## 18

*Там же.*

# 19

«Литературное обозрение», 1976, № 4, с. 104–105.

# 20

*Г. Троепольский*. Здравый смысл. М., 1975, с. 192.

# 21

*Там же*, с. 454–455.

# 22

*Г. Троепольский*. Здравый смысл. М., 1975, с. 454–455.

# 23

*Там же*, с. 353.

# 24

*Там же.*

# 25

*Там же*, с. 346.

# 26

*Я. Берковский*. О мировом значении русской литературы. Л., 1975, с. 97.

# 27

*Там же*, с. 100.

# 28

*Г. Троепольский*. Здравый смысл, с. 243.

# 29

*Г. Троепольский*. В камышах. Воронеж, 1969, с. 6.

# 30

*Г. Троепольский*. В камышах. Воронеж, 1969, с. 69.

# 31

*Там же*, с. 8.

# 32

*Там же*, с. 14.

## 33

*Там же*, с. 149–150.

# 34

«Новый мир», 1965, № 1, с. 209.

# 35

*Там же.*

# 36

*Там же*, с. 205.

# 37

«Правда», 11 марта 1956 г.

## 38

*Там же.*

# 39

Жизнь колхозной деревни и литература. М., 1956, с. 137.

# 40

*Там же.*

# 41

«Новый мир», 1965, № 1, с. 192.

# 42

*Г. Троепольский*. Рассказы. Воронеж, 1956, с. 178.

# 43

*Г. Троепольский*. Чернозем. М., 1973, с. 430.

## 44

*Там же*, с. 431.

# 45

*Там же*, с. 451.

# 46

*Там же*, с. 458.

# 47

*Г. Троепольский.* Рассказы. Воронеж, 1956, с. 212.

# 48

*Г. Троепольский*. Чернозем, с. 333.

## 49

*Г. Троепольский*. Здравый смысл, с. 505.

# 50

*Г. Троепольский.* Здравый смысл. М., 1975, с. 539.

# 51

Г. Троепольский. Здравый смысл. М., 1975, с. 197.

# 52

«Октябрь», 1953, № 10, с. 188.

# 53

*Там же, с. 189.*

# 54

«Знамя», 1954, № 1, с. 182.

# 55

*Там же*, с. 182.

# 56

*Там же*, с. 188.

## 57

*Там же.*

# 58

*«Звезда», 1954, № 5, с. 172.*

## 59

*Там же.*

# 60

«Звезда», 1954, № 5, с. 190.

## 61

*Там же*.

# 62

«Новый мир», 1956, № 1, с. 225.

# 63

*Там же*, с. 224.

## 64

*Там же.*

## 65

*Там же.*

# 66

*Там же*, с. 224–225.

# 67

«Звезда», 1954, № 5, с. 170.

# 68

«Октябрь», 1956, № 10, с. 172.

# 69

«Октябрь», 1956, № 10, с. 172.

# 70

«Москва», 1960, № 1, с. 219.

# 71

«Москва», 1960, № 1, с. 219.

## 72

*Там же.*

# 73

*Там же.*

# 74

«Звезда», 1959, № 3, с. 197.

# 75

*Там же*, с. 198.

## 76

*Там же.*

# 77

*Там же*, с. 197.

# 78

*Там же*, с. 199.

**79**

*Л. Ершов*. Советская сатирическая проза. М. — Л., 1966, с. 223.